



*Шмелев Алексей Дмитриевич, родился в 1957 году.
Доктор филологических наук; профессор кафедры русского языка
Московского педагогического государственного университета.*



ЯЗЫК • СЕМИОТИКА • КУЛЬТУРА

1 $\frac{03-2}{193-5}$

А. Д. Шмелёв

РУССКИЙ ЯЗЫК
И ВНЕЯЗЫКОВАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2002

ББК 81.031
Ш 72



2002121034

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 01-04-16114



Шмелев А. Д.

Ш 72 Русский язык и внеязыковая действительность. —
М.: Языки славянской культуры, 2002. — 496 с. —
(Язык. Семиотика. Культура).

ISBN 5-94457-074-1

Книга посвящена различным сторонам отражения в русском языке внеязыковой действительности.

Первая часть посвящена проблемам референции, т. е. описанию того, как механизмы, задающие способ соотнесения языковых выражений с внеязыковой действительностью, определяют функционирование различных уровней языковой системы русского языка. В частности, рассматриваются проблемы, связанные с семантикой и синтаксисом местоимений, правила «семантического согласования» предиката и связанных с ним имен, интерпретация морфем в составе сложного слова, высказывания тождества и т. д.

Во второй части рассматриваются ключевые идеи русской языковой картины мира, т. е. совокупность представлений об устройстве мира, которые говорящими на русском языке воспринимаются как сами собою разумеющиеся, и делается попытка выявить связь этих представлений с некоторыми специфическими особенностями русской культуры. В частности, рассматривается семантика ряда трудно переводимых русских слов, обсуждается вопрос о том, каков образ человека в русской языковой картине мира, как в ней представлены время и пространство, какие бытовые представления и общие жизненные установки в неявном виде закодированы в значении русских слов, в чем заключаются особенности задаваемых русским языком этических представлений.

81.031

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavica@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-94457-074-1



9 785944 570741 >

© А. Д. Шмелев, 2002

© Ю. С. Саевич. Оформление серии, 2002

Оглавление

От автора	12
Часть I	
Референциальные механизмы языка	
Введение	15
0.1. Предмет и цель исследования	15
0.2. Метод и материал исследования	22
0.3. Структура работы	26
Глава 1. Неокаузальная теория референции	28
1.1. Основные понятия неокаузальной теории референции. Понятие денотативного пространства . . .	28
а) Денотат, экстенционал, референт	28
б) Автонимные и квазиавтонимные употребления	29
в) Дескриптивная и индексальная референция; «цитатное» употребление	31
г) Релевантное денотативное пространство	35
д) Временной срез как денотативное пространство	39
е) Миропорождение	42
1.2. Пробный камень теорий референции	43
а) Референция собственных имен: прагматический принцип	43
б) «Нестандартные» употребления ИС: мнимые отклонения от «прагматического принципа» . .	48
в) Определенность и идентификация в «неокаузальной» теории референции	51

Глава 2. Классы и индивиды: пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения	56
2.1. Типы внеязыковых сущностей	56
2.2. Эпизодические и гномические предикаты	60
2.3. «Суперкатегория» предложения	67
Глава 3. Определенность — неопределенность и проблемы квантификации	72
3.1. Определенность — неопределенность: логический, прагматический и синтаксический подходы	72
а) Проблемы определения определенности	72
б) Синтаксический подход к определенности	75
в) Определенность — неопределенность генерализованных и абстрактно-референтных имен	77
3.2. Кванторные выражения русского языка: семантика, референция, коммуникативные свойства	81
а) Естественная языковая и логическая квантификация	81
б) Кванторные выражения, указывающие на полноту охвата: лексемы <i>весь, всякий, каждый</i>	83
в) Кванторные выражения, указывающие на большое и малое количество: <i>мало, много, немногие, многие</i> и др.	89
г) Краткие выводы	97
Глава 4. Определенность и неопределенность: виды референциальных противопоставлений	98
4.1. Постоянное и переменное денотативное пространство	98
а) Дистрибутивная референция	98
б) Наглядно-примерная референция	100
в) Гипотетическая референция	101
4.2. «Миропорождение» и противопоставление <i>de re — de dicto</i>	102
а) Референция к объектам ирреального мира	102
б) <i>De re — de dicto</i> и другие референциальные противопоставления	104
в) Жесткие десигнаторы в ирреальных суждениях тождества	105
г) <i>De re — de dicto</i> в контексте пропозициональных установок	106
4.3. <i>Кто-то</i> и <i>кто-нибудь</i> в контекстах миропорождения	108

а) Условия употребления местоимений на <i>-то</i> и на <i>-нибудь</i>	108
б) Противопоставленность местоимений на <i>-то</i> и на <i>-нибудь</i>	109
4.4. Коммуникативный аспект референции: позиция говорящего	111
а) Различия в позиции говорящего и виды неопределенности	111
б) Референтность — атрибутивность как отражение позиции говорящего	114
в) Референтность — атрибутивность и другие референциальные противопоставления	116
4.5. «Местоимение + собственное имя»: проблемы интерпретации	118
а) Предварительные замечания	118
б) Конструкции «указательное местоимение + ИС»	118
в) Конструкции «неопределенное местоимение + ИС»	119
г) Конструкции «обобщающее местоимение + ИС»	125
д) Общие выводы	126
4.6. Семантика неопределенных местоимений: лексикографический аспект	127
а) Два подхода к описанию семантики местоимений	127
б) <i>Какой-то</i> vs. <i>какой-нибудь</i>	128
Глава 5. Референция при передаче чужой речи	133
5.1. Стратегии передачи чужой модели мира	133
а) Репортаж (<i>de dicto</i>) vs. интерпретация (<i>de re</i>)	133
б) <i>De dicto</i> и <i>de re</i> при передаче оценки	136
в) Стратегия <i>de re</i> как демагогический прием	145
5.2. Косвенные вопросы	146
а) Косвенно-вопросительное придаточное — отличие от придаточных других типов	146
б) Два типа косвенно-вопросительных предложений	149
в) Косвенно-вопросительные придаточные и фактивность	153
Глава 6. Референция личных местоимений	157
6.1. Состав и свойства русских личных местоимений	157
а) Сколько в русском языке личных местоимений?	157
б) Транспозиция личных местоимений	167

6.2. Нулевые местоимения: референция и прагматика	172
а) Референциальные и прагматические свойства местоимения $\emptyset/ты$	172
б) Референциальные и прагматические свойства нулевого местоимения $\emptyset_{ЗМН}$	176
в) Местоимения в обобщенном значении: разные типы обобщенности	179
г) $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{ЗМН}$ в системе русских личных местоимений	182
Глава 7. Референция в высказываниях идентификации	186
7.1. Идентификация с точки зрения неокказуального подхода	186
а) Вступительные замечания	186
б) Два типа идентификации	186
в) Предикация или идентификация?	190
7.2. Переосмысление высказываний тождества	193
а) Псевдоидентификация	193
б) «Тавтологии»	194
в) Контрфактическое тождество	199
Глава 8. Референциальный потенциал как словарная характеристика	205
8.1. Семантика существительного и его референциальный потенциал	205
а) Общие замечания	205
б) Результативные имена	207
в) Актуальные имена	211
г) Референциальный потенциал качественных существительных	216
д) Референциальные особенности функциональных имен	220
е) Реляционные имена	227
ж) Прономинальные существительные	231
8.2. Проблема словарного отражения референциальных характеристик	232
а) Инкорпорированный объект: типы референции	232
б) Референциально ориентированный словарь?	235
Глава 9. Референция и художественный текст	239
9.1. Логический статус «вымышленной действительности»	239
а) Истинность в вымышленном мире	239

б) Вымысел и коммуникация	240
9.2. Художественная роль референциальных показателей	243
а) «Непредназначенность текста неосведомленному получателю»	243
б) Два вида «недосказанности»	246
в) Краткие выводы	251
Заключение	253
Приложения	256
1. Отсутствие эксплицитных референциальных показателей как материал для языковой игры и речевой демагогии	256
2. Собственные имена в статьях Максима Соколова	258
3. Парадокс автономности как основополагающий принцип шарады	263
4. Парадокс автореферентности (самофальсификация) По законам пародии? (экскурс)	267
5. Антикритика	283
Предметно-терминологический указатель	290
Часть II	
Русская языковая модель мира:	
Материалы к словарю	
Введение	295
Можно ли понять русскую культуру через ключевые слова русского языка?	295
Методологические замечания	296
Объект рассмотрения	298
Сквозные мотивы русской языковой картины мира	299
Строение человека в русской языковой картине мира	301
Общие принципы	301
<i>Дух и душа</i>	302
Материальный состав человека	306
Материальное и психическое в русской языковой картине мира	306
<i>Тело и плоть</i>	308
<i>Кровь</i>	309

Кости	313
Интеллектуальная жизнь человека: <i>голова</i> и <i>мозг</i>	313
Прочие материальные составляющие человека	315
Время в русской языковой картине мира	316
Загадки времени	316
Парадоксы темпоральной ориентации	316
<i>Близкое и следующее; молодое и старое</i>	320
<i>Мясопуст</i> и <i>сыропуст</i>	322
Что такое <i>мясопуст</i> и <i>сыропуст</i> ?	323
«Разночтения» и парадоксы	326
<i>Утро</i> и <i>вечер</i>	331
Когда начинаются новые сутки?	331
Принципы членения суток на периоды	332
Русское <i>утром</i> и его синонимы	336
Этикетные формулы	340
Пространственная составляющая «русской души»	342
<i>Свобода</i> и <i>воля</i>	343
<i>Простор</i>	347
<i>Пространство vs. простор</i>	347
<i>Даль, ширь, приволье, раздолье</i>	348
<i>Простор</i> или <i>уют</i> ?	349
Пространство как источник мучений	353
<i>Неприкаянность</i>	353
<i>Маяться</i> и <i>томиться</i>	354
«Широта русской души»	355
<i>Гуляния</i>	355
Что такое «широта души»?	357
<i>Тоска</i>	359
<i>Удаль</i>	362
<i>Размах</i> и <i>хлебосольство</i>	364
<i>Родные просторы</i>	365
Общие жизненные установки	367
<i>Смирение</i>	367
Установка на <i>примирение</i> с действительностью	367
«Наплеватьство»	368
Переосмысление <i>смирения</i>	370
Совместимо ли <i>смирение</i> с «активной жизненной позицией»?	372
Какое «смирение» нам подобает?	373

«Примирение с действительностью» в совет- скую эпоху	374
<i>Гордость</i>	375
<i>Попрек</i> и русская культура поведения	379
<i>Попрекать</i> нехорошо	379
<i>Попреки</i> при выяснении отношений	380
<i>Стыд</i> в кругу родственных концептов	382
Когда и кому бывает <i>стыдно</i>	383
Чем различаются <i>стыд</i> и <i>позор</i> ?	389
Мелкие слова как выразители жизненной позиции	395
<i>Авось</i>	396
<i>На всякий случай, в случае чего, если что</i>	398
<i>Небось</i>	403
Бытовые представления носителей русского языка	406
<i>Собираться</i> и <i>заодно</i>	406
<i>Собраться/собираться</i>	406
<i>Заодно</i>	407
Непредсказуемость	409
<i>Неожиданности</i> в русской языковой картине мира	409
«Гадательное» <i>вдруг</i>	419
Отношения между людьми	422
<i>Закуска</i> : «задушевность» в застольном общении	423
Любовь и счастье	427
Язык дружбы	435
Философия жизни	443
Жизнь по правде	443
<i>Правда</i> в кругу смежных концептов	443
<i>Справедливость</i> в русской наивной этике	448
<i>Долг</i> и <i>обязанность</i>	458
<i>Судьба</i>	460
Библиография	463
Словари (принятые сокращения)	463
Список литературы	463
Указатель лексических единиц	483

От автора

В основу первой части настоящей книги положена серия работ по референциальной семантике, опубликованных автором в 1983—1993 гг. (в ней использованы также некоторые результаты исследований, проведенных автором совместно с †Т. В. Булыгиной — особенно это касается глав 2, 5, 6, а также раздела 2 главы 3). Некоторые результаты этих исследований были обобщены в монографии «Референциальные механизмы русского языка», опубликованной в 1996 г. в серии *Slavica Tampereusia* и практически не доступная российским читателям. При подготовке настоящего издания возникал соблазн подвергнуть текст монографии переработке, дополнить его новыми примерами, подтверждающими высказанные положения, а может быть, и вновь написанными разделами, уточнить кое-какие формулировки; но в конце концов было принято решение воспроизвести основной текст, изданный в 1996 г., лишь исправив замеченные опечатки. Однако были слегка дополнены новым материалом четыре приложения к работе и написан раздел «Антикритика» (пятое приложение), в котором я отвечаю на замечания, сделанные рецензентами тамперского издания.

В основу второй части легли исследования, проведенные в 1991—2000 гг. (часть из них — совместно с †Т. В. Булыгиной, Анной А. Зализняк или И. Б. Левонтиной). Ее первоначальный вариант был написан в 1997 г. при поддержке Research Support Scheme of Higher Education Support Program (грант № 511/1995); в последующие годы были сделаны существенные дополнения. Окончательный вариант второй части был закончен в 2001 г. при поддержке РФФИ (грант № 01-06-80401) и вышел отдельной книгой в 2002 г. Для настоящего издания сделаны некоторые добавления.

ЧАСТЬ I

**РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЯЗЫКА**

Введение

0.1. Предмет и цель исследования

Хотя положение о том, что языковые единицы определенным образом соотносятся с внеязыковой действительностью, всегда признавалось одной из методологических основ языкознания, лишь недавно в русской лингвистике возник интерес к механизмам референции¹. По данным С. А. Крылова, первое упоминание термина «референт» российскими лингвистами относится к 1961 г. [Булыгина 1961: 260]. Однако более систематическое использование терминов, относящихся к сфере теории референции и референциальной семантики, началось лишь в середине 70-х гг. — в первую очередь в работах Н. Д. Арутюновой и в рамках того направления русской лингвистики, которое позже получило условное и не вполне точное наименование «логический анализ естественного языка».

Применение к естественному языку методов логического анализа позволило выявить большое разнообразие типов референции языковых выражений. Так, скажем, существительное *собака* в высказывании *Собака — друг человека* относится к целому классу объектов (речь идет обо всех собаках или по крайней мере о большинстве). Это же существительное в высказывании *Хорошо бы собаку купить* (Бунин) означает единичный объект (выражается желание купить лишь одну собаку), но объект не зафиксирован в реальном мире (речь не идет о какой-либо конкретной собаке). В высказывании *На дворе лает какая-то собака* существительное *собака* указывает на конкретную собаку, хотя и неизвестную говорящему (ср. высказывание *Не забудь покормить собаку*, где, скорее всего, говорящий имеет в виду вполне определенную известную ему собаку).

¹ Референция (от англ. refer «относить(ся) к объекту») — отнесение языкового выражения к внеязыковому объекту. В философской логике термин «референция» иногда понимается шире — как соотнесение мыслей и реальности посредством языка.

В основу подхода, принятого в настоящей работе, положено следующее представление о сущности референции. Каждый из участников коммуникации — и говорящий, и адресат речи — имеет свое собственное представление о мире («картину мира»). При этом в картину мира говорящего входит представление о том, какова картина мира адресата речи, а в картину мира адресата речи — представление о том, какова картина мира говорящего. В процессе коммуникации говорящий осуществляет референцию к объектам, входящим в его картину мира, выбирая то или иное языковое средство в зависимости от того, какое место (по его представлению) занимают соответствующие объекты в картине мира адресата речи. Воспринимая полученную информацию, адресат речи тем или иным образом модифицирует свою картину мира (возможно, лишь тот ее фрагмент, который относится к его представлениям о картине мира говорящего).

Таким образом, все правила, регулирующие осуществление референции средствами языка, содержат явную или неявную отсылку к участникам коммуникации и картине мира каждого из них. Не случайно З. Вендлер назвал теорию референции *pièce de résistance* (самой главной частью) прагматики. Разумеется, все формулировки референциальных правил имеют в виду не представления о мире реальных участников коммуникации, в процессе которой было употреблено то или иное языковое выражение, а ту картину мира, которую должны иметь участники коммуникации, чтобы употребление языковых выражений (с референциальной точки зрения) считалось корректным.

Иными словами, референция наряду с предикацией составляет основу языковой коммуникации. Используя языковые единицы, мы, во-первых, осуществляем референцию к внеязыковым объектам, а во-вторых, приписываем (предицируем) им какие-то свойства.

При таком подходе можно говорить о референции любых языковых единиц, тем или иным образом соотносящихся с картиной мира участников коммуникации, независимо от того, какому уровню языковой системы они принадлежат. В частности, в настоящей работе речь идет о референции частей слова — отдельных морфем, о референции синтаксических нулей, о референции частей сложного предложения, о референции как о суперкатегории предложения. Однако традиционно референциальная проблематика вообще и применительно к русскому материалу в частности рассматривается в связи с референци-

альными свойствами именных групп (ИГ) и с категорией определенности — неопределенности, аналогичной соответствующей грамматической категории артиклевых языков, а также в связи с задачей описания семантики и синтаксиса местоимений (поскольку для ИГ в системе средств выражения референции центральное место занимают именно местоимения, изучение референции ИГ есть в значительной степени изучение семантики местоимений²).

В соответствии со сказанным описание референциальных механизмов русского языка, как правило, ведется в рамках описания способов выражения определенности — неопределенности и в рамках описания значения русских местоимений. Описания первого типа носят по преимуществу синтетический характер — речь идет о способах выразить значение определенности или неопределенности (или, при более детальной классификации референциальных значений, какую-либо разновидность определенности или неопределенности). Описания второго типа, как правило, можно отнести к аналитическим — они посвящены интерпретации местоимения, а в случае многозначности — условиям, при которых «выбирается» то или иное понимание.

То же самое можно сказать и по-другому. Если описание свойственных русскому языку механизмов референции ведется в большей степени в синтетическом ключе, оно, как правило, бывает сосредоточено на способах выражения определенности — неопределенности в таком безартиклевом языке, как русский; при ориентации на анализ в центре внимания чаще всего оказываются местоимения и выражаемые ими референциальные значения.

В то же время следует иметь в виду, что ни категория определенности — неопределенности, ни семантика и функционирование местоимений не исчерпываются референциальным аспектом. Так, противопоставление по определенности — неопределенности присуще не только ИГ, используемым для осуществления референции к объекту, но и предикатным ИГ: ср. высказывания *Анна — самая красивая девушка города* (определенность) и *Анна — красивая девушка* (неопределенность)³. Местоимения при переносном, «несобственном» употреблении часто

² О местоимениях как «главном средстве референции» см., в частности, [Падучева 1985: 10].

³ Примеры из [Шмелев 1984в], сходную мысль высказал Э. Честерман [Chesterman 1991: 53].

не несут информации о референциальном статусе соответствующей ИГ, а выражают то или иное отношение говорящего к референту. Строго говоря, настоящая работа ограничивается описанием механизмов референции; однако в ряде случаев оказалось целесообразным учесть и «нереференциальный» аспект категории определенности — неопределенности и местоименной семантики.

Многочисленные работы, посвященные вопросу о функционировании категории определенности — неопределенности как референциальной категории, ее месту среди референциальных категорий, попыткам ее отграничения от таких смежных категорий, как «известность» — «неизвестность», индивидуализированность — неиндивидуализированность и др., продемонстрировали, что проблема функционирования категории определенности — неопределенности не может быть сведена к проблеме выбора определенного или неопределенного артикля. «Артикль — это только одно из средств, выражающих некоторую широкую категорию... Если мы будем рассматривать только артикли, мы сможем исследовать только часть этой проблемы» [Krámský 1972: 9]. Еще в 1940 г. А. В. Щерба отмечал, что в русском языке выделяются «аспекты имени существительного, отвечающие главнейшим функциям французских артиклей»: «Когда я говорю *философ*, то это может значить 'какой-нибудь философ' (*хотелось бы напечатать статью и философа...*), или 'всякий философ' (*философ привык ценить форму...*), или 'данный философ' (*философ подошел к собеседнику...*)» [Щерба 1974: 278]. Именно в этом плане чрезвычайно плодотворным оказалось применение аппарата теории референции к материалу безартиклевых языков, в частности русского языка, в котором отсутствие артиклей компенсируется разветвленной системой местоименных показателей референции и, кроме того, в выражении референциальных значений участвуют едва ли не все уровни языковой системы⁴.

Настоящая работа и посвящена референциальному аспекту функционирования различных языковых уровней. При этом в центре внимания оказываются референциальные механизмы, специфичные для русского языка. Именно поэтому особое внимание уделяется случаям словарной закрепленности референциальной информации: референциальной предназначенно-

⁴ Разумеется, возможны случаи сознательной игры на отсутствии артиклей, когда референциальная неоднозначность используется в демагогических или иных целях.

сти местоимений, референциальному потенциалу существительных, референциальным ограничениям на сочетаемость предикатных выражений и т.д. Рассматриваются также некоторые лингвоспецифичные синтаксические конструкции, для которых особенно существен референциальный аспект. При этом исследуются механизмы выражения референциальных значений — языковые средства, при помощи которых в русском языке маркируется тот или иной тип референции (референциальный статус). В то же время специально не рассматриваются такие проблемы, как анафорические средства русского языка, проблемы поиска антецедента анафорического выражения, связь референциальных категорий с категориями актуального членения и т.п. (мы касаемся их лишь в случаях, если они отражаются в различии типов референции) — тем более, что при описании соответствующих явлений мы часто имеем дело с универсальными языковыми механизмами.

В частности, в силу сказанного, значения русских неопределенных местоимений (на *-нибудь*, на *-то*, *один* и т.д.) рассматриваются с некоторой степенью подробности, поскольку функция этих местоимений в значительной степени в том и состоит, чтобы маркировать тот или иной тип референции. Что же касается до специфически русских средств выражения кореферентности при анафоре (*этот*, *тот*, *это* в сопоставлении с *он* и т.д.), большинство из которых уже неоднократно служило объектом пристального внимания в исследованиях последних лет⁵, то, несмотря на всю их лингвоспецифичность, они специально не анализируются, поскольку между ними нет различий в маркируемом ими типе референции (отмечаются лишь случаи, когда выбор одного из этих средств предопределяет различия в референциальном статусе каких-либо языковых единиц или, напротив, бывает обусловлен такими различиями).

Достаточно полное описание референциальной семантики русского языка возможно лишь после того, как будет исследована структура поля референциальных значений и выявлена роль категории определенности — неопределенности в ее взаимоотношении с другими референциальными категориями.

⁵ Так, проблеме выбора между личным местоимением третьего лица и местоимением *это* были специально посвящены статья [Падучева 1981] и особые разделы книги [Падучева 1985] и [Селиверстова 1988]; вопрос о выборе между *он* и субстантивным *тот* специально рассматривался в работах [Падучева 1985: 125—127; Селезнев 1985; Крейдлин, Чехов 1988]. Следует, впрочем, отметить, что описания, предложенные в указанных работах, не совпадают.

Здесь важная роль принадлежит работам И. И. Ревзина, впервые применившего к категории определенности — неопределенности «функциональный» подход [Ревзин 1978: 133—272; Ревзина 1979]. И. И. Ревзин различает когнитивный (логический) и коммуникативный аспекты определенности — неопределенности. Когнитивный аспект любого высказывания связан со свойствами той объективной действительности, которую высказывание призвано отразить, точнее — с логическим содержанием отображаемого факта действительности. Коммуникативный аспект связан с теми элементами значения, которые не могут быть сформулированы или формулировка которых неполна «вне фиксации отношения между говорящим (или слушающим), его пространственно-временной локализацией, с одной стороны, и конкретным высказыванием, включающим этот элемент, — с другой» [Ревзин 1978: 139]. Среди референциальных показателей (в терминологии И. И. Ревзина — локализаторов) выделяются когнитивные локализаторы (кванторы): *все, каждый, всякий* — и коммуникативные локализаторы, устанавливающие «место тех или иных объектов по отношению к участникам акта коммуникации и акту речи» и потому «понятные только в конкретной ситуации общения либо в связанном тексте»: *этот, тот* [Ревзин 1978: 143]. Значение артиклей в артиклевых языках (и, соответственно, категории определенности — неопределенности в безартиклевом языке) связано с обоими аспектами: артикли имеют как связанное с ситуацией коммуникативное значение, так и независимое от ситуации кванторное значение [Ревзин 1978: 143, 198].

Впрочем, и в применении к русскому языку речь может идти не столько о подразделении референциальных показателей на два непересекающихся класса коммуникативных и когнитивных локализаторов, сколько о том, что значение каждого из них, подобно значению артиклей артиклевых языков, связано с обоими аспектами. Так, значение русских кванторных выражений не сводится к когнитивному аспекту — чрезвычайно важную роль для них играет коммуникативный аспект (см. [Булыгина, Шмелев 1988б, в], а также главу 3). С другой стороны, нельзя говорить, что, скажем, значения русских указательных местоимений лишены какого бы то ни было «когнитивного» содержания и потому могут быть поняты лишь в контексте или ситуации. Все местоимения обладают тем или иным лексическим значением, понимаемым независимо от прагматических факторов (мы отвлекаемся от возможной многозначности местоимений, разрешаемой, как и любая многозначность, в

контексте); другое дело, что одним из компонентов этого лексического значения оказывается как раз апелляция к контексту или ситуации. В этом смысле можно согласиться с О. Н. Селиверстовой, которая настаивает на том, что «значение местоимений... не зависит от контекста и ситуации речи (она может включать в себя, например, указание на роль актанта ситуации в акте речи, но при этом не меняется в зависимости от акта речи): другими словами, значение местоимений задано в системе языка и не является ситуационно изменчивым», и в то же время высказывает гипотезу, что «своеобразие местоименного значения заключается в его несамодостаточности, что связано с делением местоименного значения на два... слоя» [1988: 3], как раз и соответствующие когнитивному и коммуникативному аспекту референции в понимании И. И. Ревзина.

Следует указать также на работы Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой, которым принадлежат обобщающие исследования по общей теории референции и применение выработанного аппарата теории референции к русскому материалу. Именно эти исследования в значительной степени обусловили появление целого ряда работ, в которых различные вопросы референциальной семантики разрабатываются на материале русского языка (можно упомянуть кандидатские диссертации М. Г. Селезнева и М. А. Кронгауза, докторскую диссертацию Л. Б. Лебедевой и др.). Широкую популярность получил разработанный Е. В. Падучевой инвентарь типов референции (денотативных статусов) [Падучева 1979; 1985: 83—101]. Использование инвентаря денотативных статусов в целом ряде конкретных лингвистических описаний наглядно продемонстрировало плодотворность референциального подхода к анализу языка. В то же время так и остались невыявленными источники разнообразия типов референции, их взаимоотношения. Выяснилось, что ряд употреблений вообще не может быть однозначно подведен под какой-либо статус в данной классификации; ср. выделенные именные группы в примерах: *Каждый сын должен уважать своего отца* (определенная? экзистенциально-дистрибутивная? переменная⁶?); *Женщины коварны* (универсальная? родовая?); *Собака верно служит людям. Это животное называют другом человека* (определенная? родовая?).

⁶ ИГ-переменные как особый денотативный статус местоимения (ср. *Каждый человек хочет, чтобы его уважали*) выделялись лишь в первоначальной версии классификации Е. В. Падучевой [Падучева 1979]. В [Падучева 1985: 98] указывается, что таким употреблением нельзя приписать никакого денотативного статуса.

По-видимому, указанные трудности отчасти обусловлены тем, что классификация Е. В. Падучевой является древовидной, она основана на представлении, что основное противопоставление, подразделяющее все «термовые» (т. е. не предикатные и не автонимные) употребления ИГ на два четко различающихся класса, — это противопоставление «референтных» и «нереферентных» употреблений. Все остальные референциальные признаки оказываются существенны лишь внутри какого-либо из этих классов. При таком описании отчасти затушевывается несомненно существующая связь между отдельными видами употреблений, принадлежащими разным классам, а само существование многих проблем, связанных с функционированием русских референциальных механизмов, может казаться парадоксальным. Так, одна из классических проблем употребления русских неопределенных местоимений (рассматриваемая и Е. В. Падучевой [1985: 219—220]) касается «конкуренции» местоимений на *-то* и на *-нибудь*. Но в рамках классификации Е. В. Падучевой указанные типы местоимений не имеют ничего общего: местоимения на *-то* маркируют «референтный» тип употребления, т. е. относятся к тому же классу, что и указательные местоимения, а местоимения на *-нибудь* считаются «нереферентными» и попадают в тот же класс, что и, скажем, местоимение *все*.

Можно попытаться построить универсальную классификацию типов референции, предположив, что в основе их наблюдаемого разнообразия лежит некоторое ограниченное число базовых референциальных противопоставлений. Анализ таких противопоставлений уместно предварить некоторыми общими методологическими замечаниями.

0.2. Метод и материал исследования

В основу настоящей работы положено представление, согласно которому описание семантики естественного языка может носить «интегральный» характер. Существо «интегрального» подхода состоит в том, что различные компоненты лингвистического описания должны быть согласованы между собою и в совокупности давать полное представление об описываемом языке. Если требование полноты в настоящее время неосуществимо (и едва ли когда-нибудь будет осуществимо), то требование согласованности различных частей, выход за рамки какого-либо одного уровня описания составляет существенную

методологическую предпосылку целого ряда современных лингвистических (и, в первую очередь, семантических) исследований.

Сущность «интегрального» подхода к описанию языка с точки зрения взаимодействия словаря и грамматики впервые изложена в ряде работ Ю. Д. Апресяна (см., в частности, [1986]). Под интегральным понимается описание, в котором словарь и грамматика согласованы друг с другом по типам помещаемой в них информации и по способам ее записи. В частности, в основу описания семантики слов и семантики тех или иных грамматических единиц должны быть положены одни и те же принципы и при этом должен использоваться один и тот же семантический метаязык. Создавая словарную статью, лексикограф обязан работать на всем пространстве грамматических правил и учесть в словарной статье все свойства описываемой лексемы, обращения к которым могут потребовать грамматические правила. В то же время, строя то или иное правило, лингвист обязан работать на всем множестве лексем и учесть все типы их поведения, не предусмотренные в словаре.

Еще дальше в требовании «интегральности» лингвистического описания идет А. Вежбицка (ср., в частности, [Wierzbicka 1991]). В соответствии с ее подходом, единство объекта лингвистической семантики определяется, в первую очередь, единством семантического метаязыка, и потому, скажем, семантические представления высказывания *Вы не опоздаете на метро?*, обращенного хозяйкой к гостям, и глагола *намекнуть* должны включать один и тот же компонент, который формулируется в обоих случаях одинаковым образом (при помощи одних и тех же элементов семантического метаязыка).

В настоящей работе также принимается взгляд, в соответствии с которым всякое конкретное референциальное значение должно быть представлено в семантическом описании единообразно, независимо от того, какие уровни языковой системы участвуют в его выражении. В то же время необходимо подчеркнуть, что используется язык признаков, никак не претендующий на то, чтобы выступать в роли универсального семантического метаязыка. Постулируемые референциальные признаки чаще всего не являются семантически элементарными, каждый из них может мыслиться как скрывающий за собою некоторый, возможно достаточно сложный, компонент толкования соответствующего языкового выражения. Утверждается лишь, что, если некоторый референциальный признак постулируется для ряда языковых выражений, то в толковании

каждого из этих выражений должен содержаться один и тот же компонент, соответствующий указанному признаку⁷. Вопрос о выборе метаязыка, при помощи которого эксплицируются эти компоненты, таким образом, не ставится. Это позволяет отвлечься от посторонних для настоящей работы общих вопросов об оптимальном метаязыке семантических толкований, возможной и желательной степени его формализации, исходном наборе элементарных смыслов и т.д. Кроме того, представляется, что для решения многих практических задач, связанных с функционированием референциальных категорий в языке, удобно иметь непосредственный доступ к информации о референциальных характеристиках той или иной языковой единицы, а не оказываться вынужденным каждый раз анализировать ее толкование, извлекая из него необходимые сведения. Аппарат референциальных признаков, очевидно, позволяет решить эту задачу.

Но необходимо подчеркнуть, что главная задача исследования состоит не столько в поисках формального аппарата для описания общеизвестных языковых фактов, сколько в обнаружении новых фактов, ранее ускользавших от внимания лингвистов или получавших неточную интерпретацию. Указанной цели служит и то, что наряду с условными «ярлыками» референциальных признаков при описании рассматриваемых явлений широко используются слова повседневного языка. Это позволяет очертить более реалистичную семантическую перспективу в тех случаях, когда анализ по референциальным признакам может оказаться чрезмерно схематичным, что, возможно, частично компенсирует отмеченный М. Лейнонен нежелательный эффект попыток наложения чересчур ригористичных схем на семантику естественного языка («It may be true that working with logical systems can sharpen one's vision, but it may just as often absorb all the energy of the linguist and force his attention away from the fluidity of meaning. The result will be an unrealistically strict categorization of the linguistic material» [Leinonen

⁷ В то же время допустимо полагать, что в каких-то случаях референциальные признаки представляют собою своего рода «фигуры содержания» в смысле Л. Ельмслева (о том, что максималистские требования к семантическому метаязыку, предъявляемые А. Вежбицкой, не во всех случаях адекватно отражают языковую реальность и, возможно, следует допустить существование семантических элементов, принципиально невыразимых посредством семантического метаязыка, базирующегося на естественном языке, см., в частности, [Апресян 1994: 38—39]).

1982]). И, говоря о совмещении неформальных комментариев и описания посредством референциальных признаков, можно цитировать слова, сказанные по несколько иному поводу Умберто Эко [Есо 1987: 13]: «May be the latter have reached a higher degree of formalization, but the former have provided us with a higher degree of understanding». В совокупности такое описание может частично возместить отсутствие собственно толкования — тем более что, как отмечается в [Баранов и др. 1993: 11], и «невозможно — без какой-то очень глубокой и существенной потери — воспроизвести, например, анализ по „семантическим примитивам“ А. Вежбицкой или толкования Ю. Д. Апресяна: копия останется копией, а оригинал — оригиналом».

В отношении подбора материала в работе совмещался метод наблюдения с методом эксперимента. Соответственно, в качестве источников используются как примеры употребления интересующих нас слов, выражений и конструкций в реальных текстах на русском языке, так и искусственно сконструированные примеры. При этом следует иметь в виду, что главным основанием для оценки того или иного употребления как приемлемого или неприемлемого служит собственная языковая интуиция автора данной работы.

Последнее замечание существенно, поскольку в ряде случаев мы сталкиваемся с тем, что языковые представления различных носителей языка не совпадают. Особенно часто это имеет место в точках нестабильности языковой системы, когда старая система разрушается и заменяется новыми закономерностями (см., например, [Копчевская-Тамм, Шмелев 1994]). Оценки конкретного высказывания иногда колеблются в таких случаях от категоричного «так сказать нельзя» до не менее категоричного «а что здесь может вызвать сомнения?» Как писала Вежбицка [Wierzbicka 1985: 42], основой лингвистического исследования должно быть «не анкетирование, а методическое самонаблюдение и размышление».

Опора на собственную интуицию иногда приводила и к тому, что в качестве «отрицательного языкового материала» (термин Л. В. Щербы [1974]), т. е. примеров языковых аномалий, могли рассматриваться не только искусственно сконструированные примеры, но и высказывания, реально встретившиеся в текстах на русском языке, составленных носителями языка. В последнем случае они могли оцениваться как языковая небрежность, ляпсус, следование устаревшим правилам или же сознательное отклонение от норм правильного употребления с экспериментальными или иными целями. Такой подход

к корпусу текстов издавна используется исследователями, изучающими живые языки (подробнее об этом см. [Булыгина 1980а; Bulygina, Shmelev 1987; Булыгина, Шмелев 1990а, в]). В то же время примеры из реальных текстов могли использоваться и как средство проверить свою интуицию, подтвердить или опровергнуть высказанные гипотезы.

0.3. Структура работы

Работа состоит из Введения, девяти глав, Заключения и Приложения.

В первой главе обсуждается понятийный аппарат теории референции, формулируется «неокаузальная» теория референции.

Во второй главе рассматриваются типы внеязыковых сущностей, к которым может производиться референция. Вводится представление о пространственно-временной локализации как референциальной суперкатегории предложения.

В третьей главе рассматриваются проблемы определения определенности и анализируются логический, прагматический и синтаксический подходы к категории определенности — неопределенности. Обсуждается вопрос о признаке определенности — неопределенности применительно к генерализованным именным группам. Предлагается описание кванторных слов русского языка.

Четвертая глава посвящена референциальным противопоставлениям, связанным с различными типами релевантного денотативного пространства и с референциальными и коммуникативными намерениями говорящего. Обсуждается вопрос о семантике русских неопределенных местоимений и ее лексикографической фиксации.

В пятой главе рассматриваются различные стратегии, используемые при референции к чужой речи. Специальное внимание уделяется так называемым косвенно-вопросительным придаточным.

В шестой главе анализируется система личных местоимений и обсуждается вопрос о целесообразности включения в эту систему «нулевых» местоимений и об их прагматических и референциальных свойствах.

Седьмая глава посвящена высказываниям идентификации в русском языке и связанным с ними референциальным и логическим парадоксам.

В восьмой главе рассматривается вопрос о референциальном потенциале как словарной характеристике, т.е. о способности лексем приобретать или маркировать тот или иной тип референции. Обсуждается проблема отражения референциального потенциала лексической единицы в словаре.

В девятой главе рассматривается вопрос о логическом и референциальном статусе утверждений, касающихся содержания художественных произведений. Описываются референциальные особенности художественного текста.

В Заключении подводятся основные итоги исследования. В Приложении рассматриваются случаи нестандартного использования референциальных механизмов.

Глава 1

Неокаузальная теория референции

1.1. Основные понятия неокаузальной теории референции. Понятие денотативного пространства

а) Денотат, экстенционал, референт

Современная теория референции характеризуется значительным терминологическим разнообразием. Так, говоря об объектах, обозначаемых посредством языковых выражений, используют термины «референт», «денотат», «экстенционал», «десигнат», «релят», «значение» (по Фреге), «номинат» и др.; при этом понимание данных терминов у разных авторов оказывается различным. В настоящей работе используются три из этих терминов («референт», «денотат» и «экстенционал»), причем между ними проводятся следующие терминологические разграничения.

Внеязыковой объект, наименованием которого может служить некоторое языковое выражение, является денотатом данного языкового выражения. В конкретном высказывании языковое выражение может соотноситься со всем множеством своих денотатов (с экстенционалом) или лишь с некоторыми (в частном случае — с каким-то одним) из них. Объект или множество объектов, с которыми соотносится языковое выражение в конкретном высказывании, называется референтом этого языкового выражения¹. Если два выражения соотносятся с одним и тем же референтом, говорят, что они кореферентны. Например, кореферентны существитель-

¹ Следует иметь в виду, что встречается и иное употребление терминов теории референции. В частности, иногда термины «денотат» и «референт» употребляют недифференцированно.

ное мальчик и местоимение он в высказывании *В комнату вошел мальчик, он был очень взволнован.*

б) Автонимные и квазиавтонимные употребления

Еще в средневековой логике (в частности, Вильямом Оккамом) было принято различать случаи, когда языковое выражение действительно обозначает внеязыковой объект и когда оно имеет референцию к самому себе. В первом случае референция языкового выражения (в средневековой логике использовался термин «суппозиция» — *suppositio*) определяется его значением, которое понималось не как понятие, а как множество объектов, т.е. фактически как экстенционал выражения. Во втором случае референция («суппозиция») не зависит от значения (такое употребление сейчас принято называть автонимным употреблением языкового знака). Случаи «независимого от значения» (автонимного) употребления языкового выражения Оккам подразделял на случаи, когда выражение имеет в качестве референта стоящее за ним понятие (их было принято называть «простой суппозицией» — *suppositio simplex*), и случаи, когда референтом является устная или письменная форма данного выражения (они назывались «материальной суппозицией» — *suppositio materialis*). Примеры автонимного употребления: «*Молодость*» — понятие относительное («простая суппозиция»); «*Хлеб — имя существительное*» («материальная суппозиция»).

Иногда к автонимным причисляют ИГ в высказываниях, выражающих дефиницию, номинативное тождество или используемых для представления незнакомого человека: *Декарт и Картезиус — одно лицо; Морфема — это минимальная значимая единица языка; Знакомьтесь, это Коля.* Действительно, эти высказывания могут быть перефразированы как *Декарт и Картезиус — имена одного и того же лица; Морфемой называется минимальная значимая единица языка; Этого человека зовут Коля*, т.е. при помощи предложений, в которых указанные ИГ имеют автонимный статус. Тем не менее ИГ в исходных предложениях относить к автонимным не следует. Ведь если бы они были автонимными, т.е. обозначали бы самих себя, то данные высказывания имели бы значения 'Имя Декарт и имя Картезиус — одно лицо', 'Термин морфема — минимальная единица языка', 'Это — имя Коля', полностью отличные от значений исходных предложений. Такие ИГ, не являющиеся автонимными, но соответствующие автонимным

ИГ в синонимичных высказываниях, в работе [Шмелев 1984б] было предложено назвать квазиавтонимными.

Следует подчеркнуть, что к автонимному употреблению способны не только существительные. Любое языковое выражение может означать самого себя, функционируя при этом «в значении существительного», т.е. занимая синтаксическую позицию имени. Так, в следующих высказываниях автонимным статусом характеризуются языковые выражения, стоящие в кавычках: «Любить» — это глагол; Суффикс «-тель» является одним из наиболее употребительных в данном словообразовательном типе; В предложении «И волчью вашу я давно натуру знаю» нестандартный порядок слов и т.д.²

В то же время далеко не всегда автонимное употребление специально маркируется в письменном тексте (при помощи кавычек или иным образом), а в устной речи автонимные употребления вообще никак не выделены. В силу этого возможно замаскированное автонимное употребление языковых знаков, которое может служить источником многочисленных загадок, парадоксов, языковой игры. Так, загадка *Чем кончаются и ночь, и день?* основана на том, что человек, впервые услышавший эту загадку, скорее всего, будет интерпретировать употребление слов *ночь* и *день* как «обычное», неавтонимное и ему не придет в голову правильный ответ — «мягким знаком».

Поэтому для правильного понимания текста необходимо уметь отличать автонимные употребления от неавтонимных. Некоторые контексты, для которых характерна автонимная интерпретация, описаны в работе [Шмелев 1984б]. Так, ИГ в позиции несогласованного приложения (*газета «Правда»*) всегда имеет автонимный статус. Имя собственное в именительном или творительном падеже при глаголе именованья (*звать(ся)*; *назвать*; *называть(ся)* и т.п.) также почти всегда понимается автонимно — например, у Пушкина: *Ее сестра звалась*

² Кавычки имеют и множество других функций, помимо указания на автонимность; а с другой стороны, это не единственный способ указания на автонимный статус ИГ. В лингвистических текстах, для которых автонимное использование языковых единиц неизбежно и необходимо, фактически различаются разные виды автонимности, и если для «материальной суппозиции» (референции к внешней стороне языкового выражения) обычно используется курсив, то для «простой суппозиции» (референции к понятийной стороне) — так называемые «марровские кавычки». Однако речь идет лишь о не вполне устоявшейся практике, которая может варьировать от одного автора к другому.

Татьяна; И так, она звалась Татьяной; Дорогой узнал я от солдата, что старую барыню зовут Каролиной Ивановной; Его зовут Алеко; Муж просто звал ее: Наташа, / Но мы — мы будем называть: / Наталья Павловна; Звала Полиною Прасковью и т.п. Затруднения может вызвать квалификация нарицательного существительного или распространенной ИГ при глаголе именованя. В некоторых случаях такая ИГ является автонимной: *Это животное называют муравьедом; ...после болезни, называемой черной немочью* (Пушкин) и т.п. Но часто она скрывает за собою предикатную ИГ: *Не зови меня счастливецем* (Жуковский) (\approx 'не считай меня счастливым'); ср. у Пушкина: *Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией* (\approx '...что они считают поэзией'); *...на то, что некоторые философы называют* (\approx 'считают') *естественным состоянием человека; ...Никто... не называл его педантом* и т.п. В подобных случаях глагол именованя фактически выступает в функции глагола пропозициональной установки: *назвать Петра мерзавцем* \approx *сказать, что Петр — мерзавец*. Используя такую конструкцию, говорящий указывает на то, что данная предикация принадлежит не ему, а субъекту установки; но в случае совпадения или «солидарности» говорящего с субъектом установки предикация воспринимается как более категоричная; ср. *Вот что чудом-то зовут* [\approx 'Вот это настоящее чудо!'] (Пушкин); *Это я называю благородством* [\approx 'Это, по-моему, истинное благородство'] (Э. Кестнер, пер. с нем. К. Богатырева). Предикатный статус имеют также ИГ при глаголе именованя в сообщениях о присвоении объекту нового статуса, ср. *назвать своей женою, назвать своим приемником*³.

в) **Дескриптивная и индексальная референция; «цитатное» употребление**

Случай, когда для осуществления референции основную роль играет понятийное содержание соответствующей ИГ, в работе [Шмелев 1984б] было предложено назвать дескриптивной референцией. Дескриптивные ИГ не содержат в своем составе местоименных референциальных показателей, а тип референции определяется особенностями выбранной дескрипции. Использование для референции ИГ, включающих местоименные референциальные показатели, в той же работе предлагалось

³ Более подробно об интерпретации ИГ в конструкциях с глаголами именованя см. [Шмелев 1988б].

назвать индексальной референцией. При индексальной референции тип референции предопределен типом местоименного референциального показателя; дескриптивное содержание ИГ вообще отсутствует (как при референции личных местоимений) или же не играет решающей роли для установления референта (как, например, в случаях, когда дескриптивное содержание ИГ недостаточно для идентификации — ср. *Какой-то дурак все испортил; Дай-ка мне эту штуку*).

Для ИГ, характеризующихся признаком определенности, различие дескриптивной и индексальной референции оказывается близким различию индивидуализации и идентификации (см. [Головачева 1979: 175—176]): при дескриптивной референции однозначность обеспечивается индивидуализирующей функцией дескриптивного содержания, при индексальной референции — идентифицирующей функцией референциального показателя.

Одно из следствий проводимого языком разграничения дескриптивной и индексальной референции состоит в том, что, если дескриптивное содержание ИГ достаточно для того, чтобы однозначно идентифицировать объект, индексальная референция оказывается невозможной. Содержательно это означает, что местоимение в составе ИГ, которая однозначно указывала бы на объект и при отсутствии показателя идентификации, не является референциальным показателем — оно может иметь, напр., экспрессивное значение: *Надоела мне эта лингвистика!* Это объясняет и тот неоднократно отмечавшийся факт, что ИГ, имеющая в своем составе идентифицирующее местоимение, не может использоваться для длинной серии повторных упоминаний одного и того же объекта.

К особой разновидности индексальной референции относится употребление качественных имен с нулевым референциальным показателем. Так, в примере *Вот бегают дворовый мальчик, ...Шалун уж отморозил пальчик* (Пушкин) слово *шалун* характеризуется определенностью, хотя его дескриптивное содержание само по себе едва ли достаточно для идентификации референта. Качественные существительные в подобных примерах имеют не только референтную функцию, но выражают также дополнительную предикацию. Наличие дополнительного предикативного значения у таких ИГ обуславливает возможность появления различных обстоятельственных оттенков, напр. причинного, уступительного и т. п.: *Ты один не умывался И грязнулю остался, И сбежали от грязнули И чулки, и башмаки* [≈ '...сбежали потому, что ты грязнуля'] (К. Чуковский);

Вольнодумец — начал ходить в церковь и заказывать молебны; *европеец* — стал париться в бане (Тургенев); *Глупец*, хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами (Лермонтов). Такие высказывания почти синонимичны высказываниям с ненулевым показателем идентификации: *Глупец, он хотел уверить нас...* (или *Этот глупец хотел уверить нас...*); *Вольнодумец, он стал ходить в церковь...*; *И сбежали от тебя, грязнули, и чулки, и баиньки.*

От случаев индексальной референции с нулевым референциальным показателем следует отличать повторную номинацию лиц в таких примерах, как *Михайловский писал в «Отечественных записках» ..Далее критик указывал...; В третьей книге Аристотель характеризует пять разновидностей мужества. К первой философ относит гражданское мужество; Кампоманес не склонен терять время на попытки вернуть Фишера на шахматную арену... Прошло уже двенадцать лет, как победитель матча в Рейкьявике оставил шахматы («64», 1984, № 18); Кажется у Репина спросили: «Какого цвета снег?» Старик рассердился: «Только не белый!». В приведенных примерах в качестве antecedента анафорического выражения выступает имя собственное, а для повторной референции используется одна из дескрипций, входящих в имеющееся у участников коммуникации «мысленное досье»⁴ носителя имени. При этом говорящий исходит из следующего представления: адресату речи известно, что Михайловский был критик, Аристотель — философ, Фишер выиграл у Спасского в Рейкьявике, а Репин дожил до преклонного возраста. При этом дескриптивное содержание используемых номинаций может быть достаточно (*победитель матча в Рейкьявике*) или недостаточно (*критик, философ, старик*) для однозначного выделения референта.*

Данную разновидность определенной референции можно назвать, как это было предложено в работе [Шмелев 1984б], «презумптивной» референцией. Реально адресат речи может и не располагать «мысленным досье» носителя имени, в котором бы имелись соответствующие дескрипции, и в этом случае он устанавливает кореферентность лишь на основе «презумпции связности текста»⁵ (ср. [Беллерт 1978; Падучева 1973а]). Однако во всех случаях говорящий строит текст так, как если

⁴ Этот термин, заимствованный нами из работы С. Схоорла [Schoorl 1980: 162], использовался в [Шмелев 1984б; 1989а; 1993 и др.]; см. также главу 1.

⁵ А. В. Головачева [1979: 185] замечает, что текст *Сидоров сегодня опоздал к обеду. Профессор сел не в тот поезд* будет понят правильно,

бы он был уверен в наличии у адресата речи соответствующих сведений. Даже если говорящий вводит в повторную номинацию информацию, заведомо новую для адресата речи, это лишь сознательная эксплуатация законов коммуникации⁶, не противоречащая общему правилу о презумптивном характере сведений, используемых при определенной референции данного типа (как отмечалось выше, формулировки всех референциальных правил исходят из презумпции корректного использования языка).

Как от дескриптивной, так и от индексальной референции отличаются «цитатные» употребления ИГ, которые подобно ИГ, используемым при «презумптивной» повторной номинации, характеризуются определенностью. При «цитатном» употреблении референт обозначается посредством той же ИГ, посредством которой он был обозначен в предшествующем тексте, хотя дескриптивное содержание такой ИГ недостаточно для однозначной идентификации референта. Так, цитатным является повторное употребление слова *гражданин* в следующем отрывке:

Как раз в это время входит еще гражданин с большим таким портфелем. Вошел, портфелем покачал... и прямо за наш столик. «Разрешите? Чтобы уж один общий был заказ?» Я говорю: ...«Вот у него спрашивайте!» — и показываю на кота. Гражданинзел... Ну и далее уже как-то само собою последовал рассказ гражданина о себе (Залыгин).

Дескриптивное содержание слова *гражданин*, очевидно, не является индивидуализирующим: в тексте рассказа, из которого взят этот отрывок, фигурируют и другие люди, к которым могла бы быть применена эта дескрипция. Однако слово *гражданин* является стандартным обозначением именно данного персонажа на протяжении всего текста. Обратим внимание на невозможность поставить перед данным обозначением показатель идентификации; это связано с тем, что в пределах рассматриваемого текста слово *гражданин* является однозначным условным обозначением соответствующего персонажа — его своего рода «прямым именем» (термин Е. В. Падучевой [1973б: 150]).

даже если адресату речи заранее не известно, что Сидоров является профессором.

⁶ О подаче новой информации под видом пресуппозиции как об одном из приемов «языковой демагогии» см. работу Т. М. Николаевой [1988].

В работе А. Вежбицкой [1982] рассматриваются многочисленные примеры «цитатного» употребления оценочных выражений; ср.: *просто приятная дама* и *дама, приятная во всех отношениях* (Гоголь); *Прекрасная Дама* (Блок); *великий комбинатор* (Ильф и Петров) и т.п. (напр., у Гоголя: «*Какой веселенький ситец!*» — *воскликнула дама, приятная во всех отношениях, глядя на платье просто приятной дамы*). Deskриптивное содержание оценочных выражений не способно индивидуализировать референт, и потому определенность оценочного выражения при отсутствии специального индексального показателя является признаком «цитатного» употребления. В случаях, когда «цитатные» употребления конвенционализируются, соответствующие ИГ приобретают характер прозвищ и тем самым переходят в разряд собственных имен. И это не случайно: как мы увидим в разделе 1.2, стандартные употребления собственных имен весьма близки к «цитатным» употреблениям.

г) Релевантное демотативное пространство

При описании соотнесенности языковых единиц с внеязыковой действительностью необходимо иметь в виду, что в роли такой внеязыковой действительности может выступать не только реальный мир, но и некоторая воображаемая действительность, например, вымышленный мир художественного произведения. «Язык представляет собою не просто действительность, но и какую угодно действительность, в том числе и предполагаемую, а иной раз даже фиктивную, даже сознательно искаженную и без всяких оснований придуманную» [Лосев 1981]. Лингвисту, вообще говоря, важно не то, реальным или воображаемым является внешний мир того или иного речевого отрезка, а то, подчеркивается ли возможное несовпадение этого «мира» с реальным миром при помощи специальных языковых средств: наклонения, модальных слов, интонации и т.п. Таким образом, для лингвиста реальная действительность — это действительность, которая подается говорящим как реальная⁷. Именно о «действительности», подаваемой говорящим в качестве реальной, мы будем говорить как о соответствующей картине мира говорящего, или об универсуме речи.

⁷ В то же время некоторые особенности производимой при художественном вымысле референции к объектам вымышленного мира могут представлять специальный интерес (художественный вымысел в аспекте референции рассматривается в главе 9).

Как правило, для участников коммуникации важен лишь определенный фрагмент внеязыковой действительности. Услышав просьбу: *Сходи за спичками на кухню*, — адресат вряд ли будет гадать, о которой из множества кухонь, имеющих в различных домах, идет речь; существенный фрагмент действительности здесь квартира, в которой находятся оба собеседника.

Любой фрагмент внеязыковой действительности может быть назван денотативным пространством. Для всякого языкового выражения, употребленного в речи, релевантным является то денотативное пространство, в котором фиксируется референт данного языкового выражения.

Таким образом, поиск референта предполагает предварительное выявление релевантного денотативного пространства. Не всегда эта задача может быть разрешена посредством достаточно простых правил. Для существительного *ректор* в высказывании *Я расскажу об этом ректору* релевантным при некоторой естественной интерпретации является денотативное пространство института, в котором работает говорящий, взятое в момент, одновременный с моментом речи (т.е. объектом, обозначаемым посредством существительного *ректор*, является человек, выполняющий функции ректора данного института в момент речи). В определенных контекстных условиях возможны и другие интерпретации: например, речь может идти об институте, в который говорящий собирается прийти в качестве посетителя, о лице, которое станет ректором в некоторый момент в будущем, и т.п. Вычислив релевантное денотативное пространство, мы можем однозначно определить обозначаемый объект; в противном случае мы не сможем сделать выбор между лицами, которые являлись и будут являться ректорами различных учебных заведений в различные моменты времени.

Особенно важны правила выявления релевантного денотативного пространства для выявления референции ИГ в безартиклевом языке (и, в частности, в русском). Противопоставление определенной и неопределенной референции в безартиклевом языке могло бы быть описано с точки зрения соотношения референта ИГ с ее экстенционалом в релевантном денотативном пространстве (подробнее см. [Шмелев 1984а]).

В некоторых случаях в релевантном денотативном пространстве можно выделить один или несколько центральных объектов. Для референции к объекту, являющемуся центральным в релевантном денотативном пространстве, может оказаться несущественным дескриптивное содержание ИГ, и в таком

случае используется «индексальная» референция. С другой стороны, если дескриптивное содержание ИГ достаточно для того, чтобы однозначно идентифицировать референт, определенная индексальная референция оказывается невозможной.

В ряде случаев говорящий волен употребить или не употребить показатель идентификации — в зависимости от того, насколько он убежден в индивидуализирующих способностях дескрипции⁸: *Мы увидели лыжника. Вдруг (этот) лыжник упал.* При употреблении показателя идентификации *этот* мы имеем дело с индексальной референцией, в противном случае имеет место чисто дескриптивная референция. Необходимость референциального показателя в высказывании *Мы увидели лыжника и вспомнили, что этого лыжника уже встречали и раньше* обусловлена тем, что во второй части высказывания речь идет об иной ситуации, связанной с иным моментом времени и потому предполагающей иное денотативное пространство, в котором дескрипция *лыжник* не могла бы однозначно определить референт. В то же время референт ИГ *этого лыжника* является центральным в релевантном пространстве, как объект, только что введенный в «поле зрения» адресата речи.

При определении того, какое именно из многих возможных денотативных пространств является релевантным для конкретного употребления ИГ, действует «принцип Приоритета»⁹. В соответствии с этим принципом в роли релевантного денотативного пространства могут выступать микромиры любого из участников коммуникативной ситуации и любого из объектов, каким-то образом введенных в поле адресата речи¹⁰, множество участников описываемой ситуации и т.п., причем объекты, непосредственно названные в предшествующем тексте, имеют приоритет перед коннотируемыми объектами, объекты, на которые говорящий непосредственно указывает (напр., при помощи указательного жеста), — перед названными в предшествующем тексте объектами, объекты, занимающие централь-

⁸ А. В. Головачева [1979] называет подобные случаи контекстами «слабой идентификации».

⁹ Рассмотрение проблем, связанных с прагматическим «принципом Приоритета» и выбором приоритетных стратегий, см. в [Бергельсон, Кибрик 1981].

¹⁰ При этом нахождение объекта в поле зрения адресата речи не обязательно связано с дейксисом или анафорой: ср. *И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать* (Л. Андреев).

ное место в описываемой ситуации, — перед периферийными. Указанные стратегии действуют как при индексальной, так и при чисто дескриптивной референции; в обоих случаях может возникать двусмысленность, связанная с тем, что применение приоритетных стратегий не дает однозначного результата — ср. *Мать Оли, когда она заболела, стала очень нервной*¹¹ (она — мать или Оля?) и *Петров попросил Иванова рассказать обо всем отцу* (отцу Петрова или Иванова?).

Трудности, связанные с использованием приоритетных стратегий для выявления релевантного денотативного пространства, можно продемонстрировать на примере использования терминов родства в тех случаях, когда объект родственного отношения не указан эксплицитно. Стандартная приоритетная стратегия состоит в следующем: при определении лица, в микромире которого фиксируется референт, субъект действия имеет приоритет перед говорящим, говорящий — перед адресатом речи (за исключением случаев, когда один из участников коммуникации ребенок: он имеет приоритет перед всеми). В силу этого в высказывании *Иван рассказал обо всем матери* речь, скорее всего, идет о матери Ивана, в высказывании *У мужа неприятели* — о муже говорящей; в высказывании *Жена с работником на хутор за рассадой уехала* (А. Веселый) жена обозначает жену говорящего, а в высказывании *Работник с женой уехал на хутор* обозначала бы жену работника. Тем не менее различные факторы могут повлечь изменение стратегии: так, высказывание *Вы ненавидите мужа*, взятое изолированно, скорее всего было бы понято как высказывание субъекта предложения, т. е. слушающей, однако в пьесе «Дядя Ваня» Чехова пол участников коммуникации (Елена Андреевна говорит Войницкому) однозначно показывает, что речь идет о муже говорящей. Если беседуют две женщины, то высказывание *Муж рассказал мне...* понимается как высказывание о муже говорящей, а *Что рассказал муж?* — скорее как вопрос о муже слушающей. Нормально, если в предложении есть несколько терминов родства, их референты фиксируются в одном и том же микромире. Это вытекает из единственности фокуса эмпатии — см. [Купо 1976]; однако следует учитывать возможность смены фокуса эмпатии для достижения того или иного эффек-

¹¹ Пример Д. Э. Розенталя [1974: 162]; ср. обыгрывание возможности различного соотношения личного местоимения с референтом у М. Булгакова: *О браслете знает Константин. Передай ему (не браслету, а Константину) мой привет.*

та: *Он рад, что непохож на мужа барыниной Аннушки* [в фокусе эмпатии Аннушка], *с которым скандалы происходят раз в две недели: он ломится к жене* [в фокусе эмпатии муж], *а та боится* (Б. Зайцев).

Релевантное денотативное пространство может ограничиваться каким-то одним временным срезом, определяемым моментом отсчета (т.е. моментом, хронологически совпадающим с описываемой ситуацией или с моментом речи). Релевантное денотативное пространство может сужаться под воздействием и других элементов высказывания.

Указанные приоритетные стратегии существенны не только для установления референта, но и для выбора номинации. В примере из Л. Толстого¹²: *Продам мешок огурцов — на эти деньги курицу куплю* — ИГ с указательным местоимением (*эти деньги*) не может быть заменена ни на личное местоимение (**Продам мешок огурцов — на них курицу куплю*), ни на ИГ без местоимения (**Продам мешок огурцов — на деньги курицу куплю*). Использование личного местоимения невозможно, поскольку при установлении antecedenta местоимения объект, названный в предшествующем тексте, имеет приоритет перед подразумеваемым («туманным» antecedентом), а «деньги» лишь коннотируются глаголом *продать*. В то же время чисто дескриптивная референция невозможна ввиду свойств подчиняющего глагола *купить*, имеющего в своем толковании сему 'деньги' (что обуславливает тавтологичность сочетания **куплю на деньги*). При других подчиняющих предикатах предпочтительной оказывается чисто дескриптивная референция: *Продам мешок огурцов, а (*эти) деньги закопаю в саду (пропыю, потрачу на курицу)*¹³.

д) Временной срез как денотативное пространство

Понятие релевантного денотативного пространства позволяет во многих случаях сформулировать правила, регулирующие употребление и референциальную интерпретацию имен и дескрипций, более простым образом. Рассмотрим в этой связи наблюдения М. М. Бурас и М. А. Кронгауза [1987], касающиеся употребления определенных дескрипций, обозначающих

¹² Этот пример приводится М. И. Алехиной [1975: 54] и Е. В. Падучевой [1982а: 29] в подтверждение тезиса, что ИГ с указательным местоимением может соотноситься с коннотированным в предшествующем тексте объектом.

¹³ Таким образом, упомянутый тезис М. И. Алехиной и Е. В. Падучевой нуждается в некотором уточнении.

временное свойство, в высказываниях, содержащих обстоятельство времени, которое указывает на момент, предшествующий моменту речи. Согласно этим наблюдениям, ИГ может быть использована, если выражаемое ею свойство присуще объекту в момент времени, фиксируемый в высказывании: *В 19.. г. страны Латинской Америки посетил президент США; Осенью я познакомился с вдовой акад. Петрова; В 1837 г. был убит на дуэли автор «Евгения Онегина».* Если же объект не обладает данным свойством в момент, фиксируемый в высказывании, но обладает им в момент речи, использование соответствующей ИГ возможно только в том случае, когда ее референт принадлежит «данному», а не вводится в рассмотрение при помощи данной ИГ¹⁴: говоря о нынешнем президенте США, можно сказать *Президент США родился в 1911 году*, но едва ли допустима фраза *В 1911 г. родился президент США*; точно так же правильно высказывание *С женой Иванова мы вместе учились в школе*, но аномально: *В классе у нас была хорошая компания: жена Иванова...*

Указанный факт получает естественное объяснение в терминах приоритетных стратегий при выборе релевантного денотативного пространства: временной срез, соответствующий «данному», имеет приоритет перед временным срезом, соответствующим «новому». Сказанное объясняет и нарушения правила М. М. Бурас и М. А. Кронгауза в случае такого диалога: *Какие знаменитые люди родились в 1911 году? — Ну, например, шестой чемпион мира по шахматам.* Дело в том, что в данном случае релевантное денотативное пространство не ограничивается каким-то одним временным срезом: вопрос ставится о том, чем именно 1911 г. выделен среди других годов, составляющих временной континуум.

Упомянутые приоритетные стратегии объясняют выбор точки отсчета не только для определенных дескрипций, но и для ИГ прочих референциальных типов. В силу этих стратегий в высказываниях *Мы увидели всадника; Все поздравляли победителя* точка отсчета совпадает с временем, о котором идет речь, а в высказывании *Наш дорогой покойник все-таки умел драться* (Шварц) — с моментом речи. Для ИГ, включающих дейктический показатель, релевантным всегда является временной срез, определяемый моментом речи: ср. *Мы уже где-то встречали этого всадника.* «Парадоксальные» высказывания в контексте

¹⁴ Исключение составляют «прямые имена» объекта типа *мой отец, моя жена* и т. п.

прошедшего времени могут иметь место в случае, когда приоритетные стратегии предполагают совмещение разных точек отсчета в рамках одного высказывания, напр.: «Ты была пионеркой? ...А разве бабушек принимают в пионеры?» — заинтересовался Мишутка. «А я тогда не была бабушкой». «Вот странно, — подумал Мишутка, — бабушка и вдруг не была бабушкой» (Ю. Яковлев).

Иногда приоритетные стратегии должны были бы указать не на то денотативное пространство, которое имеет в виду говорящий, выбирая нужную ему номинацию. Язык располагает специальными показателями «сдвига» денотативного пространства — средствами, маркирующими несоответствие между выбранной номинацией и свойствами объекта в релевантном денотативном пространстве. Так, использование в составе дескрипции слов *бывший*, *прежний*, *будущий* показывает, что базой для дескрипции служит не точка отсчета, а какой-то предшествующий (для *бывший* и *прежний*) или последующий (для *будущий*) момент.

Иными словами, сочетания *бывший X* и *прежний X* используются для референции к объекту, который обладал свойством, позволяющим ему именоваться *X* в какой-то момент, предшествующий точке отсчета. В то же время указанные сочетания не синонимичны¹⁵.

Сочетание *бывший X* указывает на референт, который раньше обладал свойством 'X', а теперь (в момент, соответствующий точке отсчета) не обладает. Поэтому *бывший* не сочетается с обозначениями свойств, полученных объектом «навечно»: с именами естественных классов (**бывшая курица*), с так называемыми «перфектными» именами (**бывший автор*) и т. д. При этом безразлично, имеется ли «теперь» какой-либо объект, обладающий свойством 'X'. Если мы говорим *бывшая жена Y-а*, то ясно, что «теперь» референт этого выражения женою Y-а не является, но ничего не говорится о том, женат ли «теперь» Y.

Сочетание *прежний X* указывает на референт, который обладал свойством 'X', при этом существенно, что в настоящее время существует объект, обладающий этим свойством. В частном случае это даже может быть тот же самый объект: *Все остаются на прежних местах; У него новая жена? — Нет, у него прежняя*

¹⁵ Попытка выявить семантические различия между прилагательными *прежний* и *бывший* была предпринята в работах Е. С. Яковлевой [1992] и М. А. Кронгауза [1989; 1990]. Здесь мы касаемся тех сторон их семантики, которым, как кажется, не было уделено достаточного внимания в упомянутых работах.

жена. Использование сочетания *прежняя жена Y-а* возможно лишь при условии, что Y женат и в момент, соответствующий точке отсчета.

Таким образом, *бывший X* вызывает представление о референте, который меняет свои свойства (был X-ом, теперь перестал быть таковым), а *прежний X* — о свойствах, попеременно присущих разным объектам (или, точнее, роли, попеременно исполняемой разными объектами). Ср.: *А наш прежний дом разрушили* (теперь говорящий живет в другом доме, а референт выделенной ИГ вообще не существует) vs. *Мы видели бывший дом генерал-губернатора* (теперь никакого дома генерал-губернатора, как и самого генерал-губернатора, нет, но само здание — референт выделенной ИГ — сохранилось).

Не случайна и различная интерпретация слов *бывший* и *прежний* с собственными именами: *бывшая Татьяна* — это женщина, которую раньше звали Татьяна (очевидно, она сменила имя; ср. *бывший Исаак* в рассказе Чехова «Перекасти-поле»); *прежняя Татьяна* — Татьяна, какой она была когда-то (очевидно, она изменилась; ср. *Но и следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрести*).

Будущий X употребляется как в соответствии с *бывший X*, так и в соответствии с *прежний X*. Ср. *Маша познакомилась со своим будущим мужем еще в школе* (в момент, о котором идет речь, референт выделенной ИГ существовал, но ни он, ни какой-либо другой объект не обладал соответствующим свойством — «быть Машиним мужем») vs. [из биографии Гарри Каспарова:] *Будущий чемпион мира еще не родился, когда Нимцович сформулировал «принцип избыточной защиты»* (в момент, о котором идет речь, референт выделенной ИГ еще не существовал, однако объект, обладающий соответствующим свойством — «быть чемпионом мира по шахматам» — имелся). Возможность двойной интерпретации может приводить к затруднениям при выборе номинации, ср. предложение из воспоминаний акад. Сахарова, сопровождаемое метаязыковым комментарием в скобках: *Появление Саши, напомню читателю, стало возможным в результате борьбы за приезд к мужу ее будущей мамы (можно ли так сказать? будущей ведь была Саша)*.

е) Миропорождение

Пока мы рассматривали случаи, когда происходит сужение релевантного денотативного пространства до некоторого фрагмента модели мира говорящего (действительности, представля-

емой говорящим как реальная). Однако встречаются и случаи, когда говорящий вводит в рассмотрение ту или иную воображаемую или предполагаемую действительность. Это может иметь место во всех случаях, когда говорящий не располагает непосредственной информацией о соответствующем положении дел, т.е. в рамках любого речевого акта, отличного от простого сообщения: всех видов вопросов, разнообразных побуждений (приказов, просьб, советов и т.д.), гипотез (о гипотезах как особом типе речевых актов см. [Булыгина, Шмелев 1993а, б]), обещаний, прогнозов и т.д.

Во всех указанных случаях порождаются особые множества денотативных пространств, отличных от модели мира говорящего, и в этом смысле мы можем говорить о «миропорождении». Языковые показатели соответствующих речевых актов относятся, таким образом, к «миропорождающим операторам». Другой тип «миропорождающих операторов» — это модальные операторы, показатели контрфактичности, возможности или необходимости, вводящие в рассмотрение «множества возможных миров». Наконец, к «миропорождающим операторам», вводящим в рассмотрение денотативные пространства, отличные от модели мира говорящего, относятся так называемые глаголы пропозициональной установки: глаголы мнения, речи и т.п.

Именные группы в контексте «миропорождающих операторов» характеризуются особыми референциальными свойствами, и русский язык располагает специальными средствами, маркирующими некоторые особенности такого поведения. В последующих главах мы рассмотрим некоторые из таких свойств.

1.2. Пробный камень теорий референции

а) Референция собственных имен: прагматический принцип

Ключевой вопрос для всякой теории референции — каким образом адресат речи устанавливает референты языковых единиц в тех случаях, когда они не находятся в его актуальном «поле зрения». «Пробным камнем» теорий референции принято считать имена собственные (ИС), и в соответствии с этим мы и обратимся к рассмотрению того, какую трактовку референция ИС получает в различных теориях.

Можно различать классический (концептуальный) и каузальный подходы к референции ИС¹⁶. В соответствии с классическим подходом, ИС обладают смыслом, и референция ИС устанавливается точно так же, как и референция определенных дескрипций: в релевантном денотативном пространстве находится объект, соответствующий смыслу ИС; этот объект и является референтом. Можно выделить три разновидности классического подхода. Теория «скрытой дескрипции» (Б. Рассел, Х. Сёрсенсен) приравнивает смысл ИС к определенной дескрипции: *Аристотель* = 'учитель Александра Македонского'; теория «пучка дескрипций» (Дж. Серль) рассматривает смысл ИС как совокупность определенных дескрипций: *Аристотель* = 'учитель Александра Македонского + автор «Метафизики» + автор «Категорий + ...'. Согласно теории, которая получила условное наименование «das so-und-so Genanntsein» (см. [Sørensen 1963]), всякое ИС адекватно толкуется через конструкцию, в которой это же ИС употреблено автономно, т.е. обозначает само себя.

В 70-е гг. этот подход подвергался резкой критике в работе С. Крипке, К. Доннелана и др., указывавших, что любая из трех разновидностей классической теории не позволяет адекватно отразить референцию ИС во всех контекстах. В качестве альтернативы классическому подходу был предложен так называемый «каузальный подход», рисующий следующую картину референции ИС. В результате акта «первоначального наречения имени» фиксируется референция ИС (остенсивно или, реже, посредством дескрипции). От этого акта можно провести «каузальную цепочку» к любому из реальных речевых употреблений данного ИС. Такая цепочка объясняет жесткую связь ИС с референтом, осуществляемую без посредства смысла. При этом ни говорящий, ни адресат речи не обязаны уметь проследить всю цепочку вплоть до акта «наречения имени»; они могут вообще не знать, когда и при каких обстоятельствах такой акт имел место. У них в сознании просто есть образ данного объекта, и они знают, что данное имя закреплено за ним. Ни классический, ни каузальный подход не могут адекватно отразить роль ИС в формировании смысла высказывания, в котором это ИС было употреблено. Особенно это очевидно в случаях, когда ИС употреблено в причинном

¹⁶ Подробное описание классического, каузального и «неоклассического» подходов к референции собственных имен дается в [Шмелев 1984б; 1989а].

контексте. Когда-то Б. Х. Парти обратила внимание на то, что предложения (1) *Поскольку мне сказал об этом врач, я склонна отнестись к этому серьезно* и (2) *Поскольку мне сказал об этом сосед сверху, я склонна отнестись к этому серьезно* имеют разный смысл, даже если номинации *врач* и *сосед сверху* обозначают одно и то же лицо: причина беспокойства в них явно не одна и та же. Мы можем вообразить ситуации, в которых могли бы быть произнесены (1) и (2), и эти ситуации явно различны. Рассмотрим в этой связи предложение *Поскольку мне сказал об этом Джон, я склонна отнестись к этому серьезно*. Данное высказывание могло бы быть произнесено как в тех ситуациях, когда уместно высказывание (1), так и в тех, когда уместно высказывание (2). Иными словами, есть ситуации, когда имени *Джон* можно было бы приписать смысл 'врач', и ситуации, когда оно выражает что-то вроде 'сосед сверху'.

Из сказанного следует, что неадекватными оказываются все три разновидности классического подхода. Действительно, какой бы языковой смысл мы ни приписали ИС Джон: 'человек, которого зовут Джон' (в соответствии с теорией «*das so-und-so Genanntsein*»), 'врач' или 'сосед сверху' (в соответствии с теорией «скрытой дескрипции»), — найдутся ситуации, когда ИС будет выражать не этот, а другой смысл. Не спасает положения и теория «пучка дескрипций». Ведь в конкретной ситуации говорящий, как правило, не имеет в виду ни всех, ни даже большинства смыслов, входящих в такой пучок; выбираются различные смыслы для разных ситуаций.

С другой стороны, каузальный подход предполагает, что ИС не принимает участия в формировании смысла высказывания. В таком случае при замене в высказывании одного ИС на другое изменяется лишь референт соответствующей именной группы. Но подстановка одного ИС вместо другого никак не является синонимичным преобразованием. При наличии у говорящей соседа сверху по фамилии Смит и личного врача по фамилии Браун можно ожидать, что высказываниям *Поскольку об этом сказал Смит...* и *Поскольку об этом сказал Браун...* будет приписан различный смысл. Каузальный подход оставляет загадочной возможность переносного употребления ИС (*северный Орфей*) и способность ИС выступать в качестве производящего (*маркизм*). Что же, если не смысл ИС, может мотивировать переносный смысл, смысл производного, а также суждения, в которое ИС входит в качестве конституента?

Некоторый синтез классического и концептуального подходов осуществлен в «неоклассической теории референции»

Дж. Катца: у него ИС не имеют смысла в языке, но приобретают тот или иной смысл в конкретном речевом употреблении. При этом в зависимости от контекста и ситуации речевой смысл ИС в разных случаях может быть различным. Иногда он адекватно толкуется по схеме «das so-und-so Genanntsein»: *С каким-то Чацким я когда-то был знаком* (= 'С некоторым человеком по фамилии Чацкий...'). В других случаях смысл ИС может передаваться какой-либо другой дескрипцией. С точки зрения «неоклассической» теории, нет ничего удивительного в том, что одно и то же имя Джон в одной ситуации имеет смысл 'врач', а в другой — 'сосед сверху'.

Однако «неоклассическая теория референции» не объясняет, каким образом адресат речи может установить речевой смысл ИС в конкретном высказывании. Ссылка на контекст и ситуацию недостаточна. Ведь при фиксированных контексте и ситуации не безразлично, какое ИС вместо другого мы употребили, подстановка одного ИС вместо другого может менять смысл, даже если контекст и ситуация произнесения высказывания не меняются. Невыраженность речевого смысла ИС Г. Кастаньеда [Castañeda 1979] предложил называть «пропозициональной непрозрачностью» (propositional opacity).

Для того чтобы понять, как устанавливается речевой смысл ИС, следует обратить внимание на основной прагматический принцип употребления собственных имен: в отсутствие специальных показателей интродуктивности ИС может быть употреблено с референцией к конкретному объекту только в том случае, если адресат речи, по мнению говорящего, располагает какими-то сведениями о носителе ИС [Звегинцев 1980]. Эти сведения можно представлять себе хранящимися в «мысленном досье» носителя имени в соответствующем участке памяти адресата речи. Именно из этого «мысленного досье» адресат речи может почерпнуть характеристики, составляющие основу речевого смысла ИС. Таким образом, речевой смысл ИС вычисляется с помощью двух факторов: контекста вместе с ситуацией и «мысленного досье» носителя ИС, которым, по мнению говорящего, располагает адресат речи.

Нарушение этого принципа влечет за собой коммуникативную неудачу. Ср.: *«... Дмитрий Прокофьевич, вы еще не знаете: Марфа Петровна умерла!»* — *«Нет не знаю; какая Марфа Петровна?»* *«После, маменька, — вмешалась Дуня, — ведь они еще не знают, кто такая Марфа Петровна»* (Достоевский); *«Где Степкин? — беседует со мной человек, самый главный в районной РКИ... — Куда ты укрыв Степкина? Какие сведения ты имеешь о Степкине?»* Я отве-

чаю: «Какой такой Степкин. Не знаю Степкина. И в жизни своей не знал» (Залыгин).

Если у говорящего нет прагматической пресуппозиции о наличии в памяти адресата требуемого «мысленного досье», то, прежде чем использовать ИС для референции к объекту, он должен представить носителя имени адресату (т. е. дать инструкцию открыть в сознании новое «досье»). Последующие употребления ИС позволяют адресату речи его пополнить. Таким образом, к каждому референтному употреблению ИС можно провести «каузальную цепочку» от интродуктивного акта, посредством которого носитель имени был представлен адресату речи; при помощи употреблений, входящих в эту цепочку, формируется и пополняется «мысленное досье». Разумеется, интродуктивный акт мог быть произведен давно, и говорящий не обязан иметь о нем представление; он только должен быть уверен, что такой акт когда-то имел место. Мы видим, что излагаемый здесь подход прагматизирует «неоклассическую» теорию, дополняя ее представлением о «каузальной цепочке», формирующей «мысленное досье». Поэтому данный подход может быть назван «неоказальным».

Способы представления носителя ИС адресату речи могут быть различны. В повседневной жизни часто используется остенсивное представление (напр.: *Знакомьтесь, это Коля*). В письменных текстах для представления служат автонимные или квазиавтонимные употребления ИС. Иногда встречается имплицитное представление, основанное на презумпции связности текста: объект обозначается посредством дескрипции, а затем в какой-то момент по отношению к нему используется ИС; и читатель сам должен установить кореферентность этих сообщений¹⁷.

¹⁷ Различные способы представления носителя имени в письменном тексте и примеры из художественной литературы подробно разбираются в [Шмелев 1984б]. Отметим, что интродуктивное употребление ИС недопустимо в тех случаях, когда у говорящего не может быть разумных сомнений в том, что носитель данного имени известен адресату речи. Поэтому прагматически аномально *покойный писатель Гоголь* (Зоценко). Ср. в этой связи высказывание Н. А. Добролюбова: «Странно бывает обществу образованных людей, когда в среду их вторгается рассказчик, не умеющий, напр., произнести ни одного собственного имени без нарицательного добавления и говорящий беспрепятственно: *город Париж, королевство Пруссия, фельдмаршал Кутузов, гениальный Шекспир, река Дунай, брюссельская газета „Le Nord“* и т. п. Вы знаете, что все его прибавки справедливы, вам нечего сказать против них; но вы чувствуете почему-то, что лучше обойтись без них». До-

Таким образом, «обычное», неинтродуктивное употребление ИС оказывается контекстно-связанным — в том смысле, что предполагает **предшествующий** интродуктивный акт, в котором было бы употреблено данное имя. Тем самым ИС оказываются близки «цитациям», но своего рода «конвенциональным цитациям». Если в качестве «цитации» использовалась та или иная характеристика референта, то ее конвенционализация как раз и приводит к превращению «цитации» в ИС (прозвище). Интересно, что интродуктивные употребления ИС также в некотором отношении являются контекстно-связанными — в том смысле, что предполагают какие-то **последующие** употребления данного ИС (иначе интродуктивный акт не имел бы смысла)¹⁸.

б) «Нестандартные» употребления ИС: мнимые отклонения от «прагматического принципа»

Как известно, возможны и «переносные» употребления ИС: метонимическое (*На стене висели три Рембрандта*) и метафорическое (*Казмин-Вьюгов, таким Наполеоном, ворвавшимся в победоносцевский мир, лихо в пять минут разрушил его до основания, но когда у этого Наполеона спросили: а что же вы построите на развалинах? — он вяло забормотал что-то чрезвычайно банальное...* [К. Чуковский])¹⁹.

Метонимическое употребление ИС не раз отмечалось в литературе. Контекстные условия, предопределяющие метонимическое прочтение ИС, подробно проанализированы в одной из работ Л. И. Василевской [1983] — сюда относятся, например, сочетания с предикатами, обозначающие те или иные действия,

бавим, что не являются интродуктивными и вполне допустимы «этикетные» соединения нарицательных и собственных имен: *тетя Маша*, *президент Клинтон*, *граф Толстой* или (из приведенных Добролюбовым примеров) *фельдмаршал Кутузов*. Такие соединения фактически представляют собою самостоятельные ИС, не толкуемые как квазиавтонимные: *тетя Маша* — это «женщина, которую зовут *тетя Маша*», а не «тетя, которую зовут *Маша*».

¹⁸ Ср. противопоставление этих двух типов контекстной связанности («семантической неполноты») в работе [Федосюк 1983].

¹⁹ Некоторые случаи переносных употреблений ИС рассматриваются в работах Л. И. Василевской [1979; 1983; 1984], причем автор называет все такие употребления нереперентными. Подобная характеристика представляется не слишком удачной, так как часто речь идет не об отсутствии референта, а о его несовпадении с носителем ИС.

направленные на материальную или содержательную сторону результата творческого труда: *приобрести Дала, иллюстрировать Достоевского, изучать Гоголя, исполнять Баха* и т.д.

Условия метафорического прочтения ИС подробно описаны в работе [Шмелев 1984а] (ср. также [Кронгауз 1987]). К показателям «метафоричности» относятся, напр., определение, несовместимое с «прямым» пониманием имени (*тверской Ловелас, северный Орфей, Клеопатра Невы*), соединение рассматриваемого ИС с отчеством или фамилией реального референта (напр., *Бейрон Сергеевич* — Жуковский о Пушкине), множественное число ИС (*У нас Гоголи-то как грибы растут*) и т.д.

Для описания переносных употреблений ИС также важно разграничение референции в языке и референции в речи. Языковым референтом (т.е. денотатом) ИС является носитель имени. Знакомство адресата речи с речевым референтом (если он имеется) при переносном употреблении ИС не обязательно (ср. *Я покажу вам нового Шагала, которого недавно приобрел*); но обязательным является наличие сведений (в виде «мысленного досье») о денотате.

Лишь в случае конвенционализации переносного употребления имени (т.е. фактически перехода его в нарицательные) знакомство адресата речи с носителем имени не требуется. Вероятно, не всем носителям русского языка, употребляющим слова *хам, ловелас, галифе* известны носители соответствующих имен. В случае конвенционализации переносного употребления имени можно говорить, что оно приобрело смысл в языке и тем самым перешло в разряд нарицательных имен. Таким образом, именно проверка того, подчиняется ли употребление имени прагматическому принципу, может служить критерием перехода ИС в нарицательное (ср. находящиеся на полпути к нарицательным имена *Иуда, Плюшкин, Манилов, Янус, Гамлет, Отелло* и т.п.).

На первый взгляд, некоторые употребления ИС отступают от сформулированного выше в самом общем виде прагматического принципа. Так, предложение *Если бы мы с Голубом не поссорились, я могла бы стать пани Голубова* (речь идет о Чехословакии) в наиболее естественном понимании означает: «я могла бы стать женою Голуба». Чтобы понять это высказывание, адресат речи не обязан заранее располагать «мысленным досье» носителя ИС *пани Голубова*; более того, ИС *пани Голубова* может вообще не иметь денотата в универсуме речи (напр., если Голуб так и остался холостым). Другой пример кажущегося отступления от прагматического принципа употребления

ИС связан с использованием вариантов. Автор некоторого текста может, рассчитывая на то, что у читателей сформировалось «досье» персонажа по имени *Иван*, в какой-то момент употребить по отношению к нему ИС *Иванушка* или *Ваня*, даже если эти варианты не были ранее введены в поле зрения читателей в качестве имени данного персонажа.

Чтоб охватить все подобные примеры, в работе [Шмелев 1984а] пришлось точнее сформулировать прагматический принцип, регулирующий употребления ИС (см. также [Шмелев 1989а: 59]). А именно, для всякого речевого употребления ИС постулировалось мотивирующее ИС в языке. В самом простом случае употребление ИС в речи относится к мотивирующему ИС как речевое употребление знака (token) к тому же знаку в языке (type), а речевой референт ИС совпадает с денотатом мотивирующего ИС. Но возможно и несовпадение речевого референта с денотатом мотивирующего ИС (в случае «переносных» употреблений) или случаи, когда мотивирующим оказывается материально отличное ИС. Необходимым для корректного употребления ИС является знакомство адресата речи с денотатом мотивирующего имени. При такой формулировке прагматический принцип оказался применим и к некоторым еще более экзотическим случаям употребления ИС (напр., при обозначении члена или потомка династии: *Что из того, что я Рюрикович?*).

Прагматический принцип употребления ИС нарушается лишь в случае так называемых «условных» имен, когда ИС обозначает общую категорию людей с детализацией пола, национальности и пр.; ср. *Фриц* как обозначение немецкого солдата периода Второй мировой войны; *какая-нибудь Петрова* (= «русская») ²⁰; *Минушки, Кларушки, Марьянны и т.п. похорошили донельзя, но стоят страшных денег* (Достоевский). Сюда же относится употребление «условных» имен в пословицах: *У всякого Федорки свои отговорки; У всякого Павла своя правда; У всякого Гришки свои делишки* и т.п.

Таким образом, оказалось возможно различить «стандартное» и «нестандартное» употребление ИС. При стандартном употреблении ИС референт предполагается известным адресату речи. Случаи, когда требования известности референта нет, являются «нестандартными»; к ним относятся квазиавтонимные употребления, когда нет требования известности денотата адресату речи, и переносные употребления, когда есть требо-

²⁰ На возможность такого употребления ИГ *какая-нибудь Петрова* указала Т. М. Николаева [1983: 245].

вания известности денотата мотивирующего ИС, но референт не совпадает с указанным денотатом.

К мнимым отклонениям от прагматического принципа употребления ИС относятся и случаи, когда в художественных произведениях персонаж уже при первом появлении на сцене обозначается при помощи ИС, не сопровождаемого никакими дескрипциями. Если рассматривать художественный текст как коммуникативный акт, в котором отправителем сообщения является автор (повествователь), а адресатом — потенциальные читатели, то такое отклонение от основного прагматического принципа употребления собственных имен может восприниматься как нарушение коммуникативных прав адресата. Но обычно оно является свидетельством того или иного коммуникативного сдвига: текст начинает восприниматься как ориентированный на «посвященного» читателя. Читатель ощущает себя находящимся в гуще событий; иногда может возникнуть ощущение автоадресации или направленности на узкий круг «общих знакомых». Правда, в современной литературе введение имен персонажей без представления стало настолько обычным, что стерлось его значение как художественного приема (подробнее о коммуникативных и референциальных сдвигах в художественном тексте см. главу 9).

Основной прагматический принцип употребления собственных имен может нарушаться и помимо художественных текстов. Но всегда отклонение от указанного принципа сопровождается коммуникативным сдвигом по сравнению со стандартной коммуникативной ситуацией. Поэтому все подобные отклонения никак не противоречат прагматическому подходу к ИС, принятому в «неокаузальной теории референции».

в) Определенность и идентификация в «неокаузальной» теории референции

Общая картина референции, рисуемая «неокаузальной теорией», применима не только к описанию функционирования собственных имен. Скажем несколько слов о том, как трактуются в этой теории два традиционно трудных вопроса референциальной семантики: проблема категории определенности — неопределенности и референциальный статус высказываний идентификации²¹.

²¹ Подробнее проблема противопоставления по определенности — неопределенности рассматривается в главе 3, высказывания идентификации в главе 7.

С точки зрения «неокаузального» подхода, для адресата речи установить референцию именной группы значит локализовать ее референт в соответствующем участке памяти (если референт ему был ранее известен, то локализация состоит в его идентификации с объектом, «мысленное досье» которого уже хранится в памяти адресата). Та область памяти, в которой осуществляется локализация референта, соответствует релевантному денотативному пространству. Участок, в котором локализуется референт, может иметь специальное название («прямое имя» референта, в частности ИС), и тогда отсылка к этому участку производится при помощи данного названия. Другой способ отсылки описательный, как бы задающий маршрут, который приводит к искомому участку. Если найденный таким образом участок релевантного денотативного пространства позволяет однозначно локализовать референт (т.е. в точности совпадает с участком, который должен быть выделен для референта), имеет место определенная референция. Если же для референта отводится лишь некоторая часть в полученном участке, то его локализация оказывается неопределенной. Поскольку получаемый участок соответствует экстенсионалу именной группы (в релевантном денотативном пространстве), можно сказать, что определенная референция есть совпадение референта с экстенсионалом, а неопределенная имеет место, когда референт составляет лишь часть экстенсионала [Шмелев 1984а].

Из сказанного ясно, что неспособность адресата речи установить референцию именной группы бывает двух типов.

Во-первых, ранее неизвестный ему объект может быть обозначен посредством именной группы, не содержащей указаний на маршрут, который приводил бы к соответствующему участку памяти (напр., при помощи ИС). Подобная ситуация имеет место, в частности, при нарушениях основного прагматического принципа употребления ИС.

Во-вторых, речь может идти об объекте, известном адресату речи, но адресат может заново локализовать объект, не проведя необходимой идентификации и не извлекая из памяти «мысленное досье» объекта.

В первом случае адресат речи непременно осознает свою неспособность установить референцию; во втором неспособность может оказаться «продленной», так что один и тот же объект будет локализован в памяти дважды в соответствии с двумя разными ипостасями.

Чтобы устранить или предупредить неспособность адресата речи установить референцию, используются высказывания идентификации. Первый компонент высказывания — именная группа, референцию которой требуется установить; второй — именная группа, задающая локализацию референта.

В соответствии со сказанным выше, высказывания идентификации можно подразделить на два типа: «поясняющая» и «уточняющая» идентификации.

В высказываниях «поясняющей» идентификации первый компонент задает название выделяемому для референта участку памяти, а второй указывает на местонахождение этого участка и содержит сведения, которые следует включить в мысленное досье референта. Эти высказывания удовлетворяют естественной коммуникативной потребности адресата речи: *«Кто такой Жак?» — «Жак — это моя собака»* (М. Булгаков); *«Что такое корень уравнения? — Корень — это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное равенство»*.

Высказывания «уточняющей» идентификации позволяют локализовать референт первого компонента более точно, (а) отослав к уже выделенному ранее участку памяти или (б) сообщив адресату речи сведения о референте, без которых он не может быть локализован надлежащим образом: (а) *Старый сей монах Не что иное был, как Дух переодетый* (Пушкин); *Гость был не другой кто, как наш почтенный Павел Иванович Чичиков* (Гоголь); (б) *Твой оскорбитель — Волшебник страшный Черномор, Красавиц давний похититель...* (Пушкин); *Что это за гусь такой? — Это наш знаменитый химик Ефросимов* (М. Булгаков); *Это, изволите ли видеть, патефон* (М. Булгаков). Под подтип (б) маскируются высказывания типа *Это негодяй*, когда говорящий делает вид, что свойство, обозначаемое вторым компонентом, настолько важно для понимания сущности объекта, что, не зная его, правильно локализовать референт невозможно.

Таким образом, «неокаузальный» подход позволяет объяснить, почему, несмотря на все разнообразие высказываний идентификации, мы ощущаем единство этого класса и используем в разных типах высказываний идентификации одни и те же языковые средства.

Изложенный подход позволяет также объяснить и тот отмеченный Е. В. Падучевой [1981] факт, что в высказываниях идентификации для обозначения первого компонента используется не местоимение 3-го лица, а местоимение *это*. Дело в том, что местоимение 3-го лица используется для «глобального» представления референта, а местоимение *это* — для «аспекти-

визированного», но требующего пополнения через индивидуализацию или таксономическую характеристику [Селиверстова 1988: 37—45]. На языке «неокаузального» подхода можно было бы сказать, что использование местоимения 3-го лица отсылает ко всей совокупности дескрипций, хранящихся в «мысленном досье» референта, а местоимение *это* — выделяет какую-то одну дескрипцию («ипостась» референта) и предполагает непременно пополнение соответствующего «мысленного досье».

В связи со сказанным стоит подробнее остановиться на способах представления референта. Общее правило состоит в том, что (речевой) смысл всякой используемой ИГ входит в семантическое представление референта. Поэтому он должен соответствовать смыслу высказывания и, в частности, вступать в правильное семантическое взаимодействие с другими составляющими предложения. Использование дескрипции, не соответствующей смыслу высказывания, приводит к аномалии, комическому эффекту или семантическому сдвигу. В последних двух случаях смысл ИГ приводится в соответствие с семантическим заданием (которое может, в частности, состоять в создании комического эффекта или в переосмыслении каких-то составляющих предложения). Так, многократно (в частности, Е. В. Падучевой [1973б] и Г. Е. Крейдлиным [1982: 24]) отмечался комический эффект, возникающий при использовании дескрипции *литераторы* в предложении *Напившись, литераторы немедленно начали икать* (М. Булгаков). Ср. также примеры, приводимые О. Н. Селиверстовой [1988: 24]: *Чемпион съел мороженое* (эффект иронии); *Я предложил стул, и гордая девушка села* (семантическое рассогласование, ср. при согласовании: *Я предложил ей помощь, но гордая девушка отказалась*).

Иногда речевой смысл ИГ не извлекается в готовом виде из ее толкования, а должен быть извлечен адресатом речи из «мысленного досье» референта. Это, в частности, имеет место при использовании местоимений 3-го лица, функция которых состоит в «глобальном» представлении референта, активизированного в оперативной памяти адресата речи, а также «прямых имен» референта. В качестве прямых имен нормально используются ИС, но окказионально в этой функции могут выступать дескрипции. Последнее возможно, если дескрипция является принятым в данном микроколлективе обозначением референта (ср. *Старик сегодня совсем плох*) или же используется «цитатно» или в рамках «презумптивной» референции (см. 1.1г).

В этом смысле и можно говорить о «пропозициональной непрозрачности» местоимений 3-го лица и «прямых имен»,

в точности соответствующей их «референциальной прозрачности». Дескрипции, дающие «аспективизированное» представление референта, «пропозиционально прозрачны» — в том смысле, что точно указывают на то, какое свойство референта существенно для смысла высказывания, но «референциально непрозрачны», поскольку не указывают на референт непосредственно, а лишь задают «маршрут» — способ поиска соответствующего участка памяти. «Прямые имена», дающие «глобальное» представление референта, «пропозиционально непрозрачны», поскольку не указывают прямо, какие свойства референта имеет в виду говорящий, но «референциально прозрачны», поскольку непосредственно отсылают к референту или, что то же, к участку памяти, в котором референт локализован.

Разумеется, предложенное здесь изложение неокаузального подхода является в значительной степени метафорическим. Но в целом можно думать, что на языке «неокаузальной теории» многие утверждения теории референции могут получить простую и компактную формулировку, а ряд спорных вопросов — заслуживающее внимания решение.

Глава 2

Классы и индивиды: пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения*

2.1. Типы внеязыковых сущностей

Среди внеязыковых сущностей, к которым может производиться референция, различаются классы и индивиды. Различие между классами и индивидами можно рассматривать как исходное, неопределяемое (ср. [Carlson 1982]). Сводится оно к тому, что классы представляют собою открытые, перечислимые множества объектов, тогда как индивиды являются единичными объектами или закрытыми, перечислимыми множествами. Так, ИГ *дети* в высказывании *Дети любопытны* соотносится с классом (открытым, принципиально неограниченным множеством), а в высказывании *Дети у нее плохо воспитаны* или *Дети спят* — с индивидом (закрытым множеством). Референцию к классу мы в дальнейшем будем называть генерализованной референцией, а референцию к индивиду — индивидной референцией.

Существенно отметить, что для номинализаций, обозначающих факты, генерализованная референция исключается, такие номинализации с классами соотноситься не могут. Иными словами, факты всегда представляют собою индивиды и не объединяются в классы. Если контекст диктует генерализованную интерпретацию номинализованной пропозиции, она не может восприниматься как фактуальная (обладающая «презюмтивной модальностью» по Е. В. Падучевой [1974: 197]). Так предложение *За игру рукой футболист получает предупреждение* имеет два прочтения: 'всякий раз, когда футболист сыграет рукой, он

* В основу данной главы положены исследования, проведенные совместно с †Т. В. Булыгиной.

получает предупреждение' (\cong 'всякий футболист, сыгравший рукой, получает предупреждение') и '(конкретный) футболист за то, что он сыграл рукой, получает предупреждение'. При первом прочтении выделенная ИГ имеет генерализованную референцию и не может соотноситься с фактом. При таком прочтении вовсе не предполагается, что игра рукой действительно имела место, указывается только, что если это произойдет, допустивший такое нарушение футболист должен получить предупреждение. При второй интерпретации речь может идти только о конкретном футболисте, сыгравшем рукою; выделенная ИГ соотносится с конкретным фактом (с тем фактом, что данный футболист сыграл рукою), а генерализованное прочтение указанной ИГ исключается.

Разумеется, из несовместимости фактуальности и генерализованности не следует, что нефактуальность («нейтральный» статус по Е. В. Падучевой) всегда влечет генерализованность. Вполне возможна нефактуальная индивидуальная интерпретация номинализованной пропозиции. Напр., в предложении *Судья обещал, что удалит этого футболиста с поля за первое же нарушение правил* выделенная ИГ не является фактуальной, хотя соотносится не с классом событий, а с конкретным (пусть воображаемым событием). Поэтому противопоставление фактуальность — нефактуальность нельзя рассматривать как противопоставление «индивидуальность — генерализованность» на множестве номинализованных пропозиций.

Отметим, что при неполной номинализации (т.е. в случаях, когда сентенциальный актант выражен придаточным предложением) семантическое различие между фактуальностью и нефактуальностью (и, соответственно, между возможностью и невозможностью генерализованной интерпретации) имеет внешнее выражение в русском языке, а именно: фактуальные сентенциальные актанты в контексте оценочных и (некоторых других) предикатов присоединяются союзом *что* (ср. *Хорошо, что вы поете; Мне нравится, что вы поете; Я рад, что вы поете*), а нефактуальные — союзами *когда, чтобы* и т.п. (ср. *Я радуюсь, когда вы поете; Мне нравится, когда вы поете; Лучше, чтобы вы спели нам*)¹. Что же касается до случаев полной номинализации, то в русском языке различие между фактуальностью и гипотетичностью у таких ИГ внешне не выражается.

¹ Союз *как* присоединяет сентенциальные актанты, соотносящиеся не с пропозициями, а с процессами или событиями; для таких актантов нельзя говорить о фактуальности — нефактуальности.

Остановимся подробнее на ИГ, соотносящихся с индивидуом (индивидуных ИГ). Референт такой ИГ может представлять собою конкретную пространственно-временную манифестацию объекта, а может соотноситься с объектом как таковым, взятым в отвлечении от конкретных пространственно-временных манифестаций (в работе [Булыгина, Шмелев 1989а] мы предложили называть референты первого типа «инстанциями», а референты второго типа — «абстрактными индивидами»). Так, в высказывании *Дети сыты* или *Дети спят* ИГ *дети* соотносится с множеством, взятым в конкретной пространственно-временной реализации («инстанцией», или «инстантом»), а в высказывании *Дети у нее плохо воспитаны* — с абстрактным множественным индивидом.

Противопоставление «инстантов» и абстрактных индивидов связано с признаваемым логикой онтологическим и эпистемологическим различием между подлинно единичными объектами, к которым «...с определенностью можно отнести только объекты, в принципе доступные непосредственному восприятию, т. е. вещи в пространстве — времени» [Рвачев 1966: 5], и абстрактными объектами, с которыми, напр., имеет дело экспериментатор, «отождествляющий свою аппаратуру и сотрудников в разные моменты времени» [Там же: 3]. Тот факт, что ИГ, соотносимые с абстрактными индивидами, в том числе имена собственные, а также существительные с так называемой «уникальной референцией» (*солнце, луна*) содержат в себе элемент обобщения, был замечен и лингвистами. Так, С. Д. Кацнельсон [1965: 10] справедливо отметил, что «выделяя какое-либо лицо, собственное имя объединяет различные состояния и аспекты его деятельности, различные периоды его физического и духовного развития» (можно добавить, что объединяются различные моменты существования данного лица). Упомянем также замечание А. Вежбицкой [1982: 255], что в таких предложениях, как *Я хорошо знаю Яна; Ян добрый, умный, спокойный, смелый*, «преддицируемый признак приписывается, строго говоря, не Яну, а множеству событий, которые тем или иным образом связаны с Яном (множество, которое нельзя просто перечислить, так как его нельзя приравнять ни к какому закрытому списку)».

Отметим, что противопоставление «инстантов» и абстрактных индивидов присуще только предметным ИГ. Что же касается до индивидуных ИГ, соотносимых с ситуациями, то они могут относиться лишь к «инстантам» — любое обобщение на множестве ситуаций ведет к представлению о классе ситуаций.

Иными словами, операция отождествления «инстантов», манифестирующих один и тот же индивид, на множестве ситуаций не задается, и мы не говорим о ситуациях как об (абстрактных) индивидах. Можно говорить о заходах солнца вообще или о конкретном заходе солнца, имеющем место в некоторый данный момент, но мы не можем отождествить два наблюдавшихся в различное время захода солнца в качестве представителей одного абстрактного индивида (как бы некоторого индивидуального захода солнца, отличного от других заходов, но при этом способного к различным манифестациям).

Подчеркнем, что интерпретация референта как «инстанта» или же абстрактного индивида не зависит от выбранного способа его номинации. Так, *пьяница* в предложении *Пьяница упал* соотносится с инстантом, поскольку высказывание касается только одного «временного среза» обозначаемого лица. В то же время номинация выбирается на основе не локализованных во времени свойств лица (свойство «быть пьяницей» присуще обозначаемому лицу независимо от конкретного момента, когда произошло событие, о котором идет речь). Именно поэтому одна и та же предметная ИГ в разных высказываниях может соотноситься то с «инстантом», то с абстрактным индивидом, а выбор интерпретации определяется контекстом и, в первую очередь, свойствами подчиняющего предиката. Напр., в предложении *Солнце излучает тепло и свет* ИГ *солнце* соотносится с абстрактным индивидом, и истинность соответствующего высказывания прямо не зависит от конкретных событий, происходящих в пространстве и времени (так, оно не перестанет быть истинным, будучи произнесенным, скажем, зимней ночью). Напротив того, в таких предложениях, как, напр., *Солнце греет до седьмого пота, И бушует, одурев, овраг* или *Солнце грустно сегодня, как ты, Солнце нынче, как ты, северянка*, указанная ИГ соотносится с отдельными «инстантами» солнца (свойства «греть до седьмого пота» или «испытывать грусть», «выглядеть грустным» не входят в число свойств солнца как абстрактного индивида).

Таким образом, можно выделить три типа сущностей, к которым может производиться референция при помощи предметной ИГ: 1) абстрактные классы (открытые множества объектов); 2) абстрактные индивиды (индивидуальные объекты, взятые в отвлечении от конкретных пространственно-временных манифестаций); 3) «инстанты» (т.е. конкретные пространственно-временные «срезы» объектов). Для ИГ, соотносимых с ситуациями, возможны лишь два типа таких сущностей: 1) абстракт-

ные классы и 2) «инстанты». Для фактуальных ИГ референтом является «факт» — индивид, о котором нельзя сказать, представляет ли он собою абстрактный индивид или «инстант». Дело в том, что для фактов данное противопоставление вообще лишено смысла, поскольку фактуальные номинализации не являются непосредственными обозначениями событий, происходящих или происходивших в мире. Факты — это отражение соответствующих событий в сознании, объект сознания, размышления, объект, вызывающий те или иные эмоции, и вопрос о пространственно-временной локализации фактов не возникает.

При этом отсутствие последовательного внешнего выражения отнесенности референта к одному из указанных типов приводит к тому, что разрешение возможной неоднозначной интерпретации ИГ должно опираться на семантическое взаимодействие с предикатными выражениями, с которыми сочетается данная ИГ в конкретном предложении, ср. интерпретацию выделенных ИГ в следующих высказываниях *Дети любопытны*; *Собака — млекопитающее* (референт — класс объектов); *Дети у нее плохо воспитаны*; *Собака любит Ивана* (референт — абстрактный индивид); *Дети сыты*; *Собака залаяла* (референт — «инстант»).

В этой связи можно упомянуть различные сочетаемостные возможности предикатов *нравиться*, *любить* и *любитель*. Предикат *нравиться* допускает в качестве установки и классы, и абстрактные индивиды и «инстанты», ср.: *Мне нравятся красивые женщины* (класс); *Ты мне всегда нравишься* (абстрактный индивид); *Ты мне что-то сегодня не нравишься* («инстант»). Объект установки, обозначаемой глаголом *любить* — либо класс, либо абстрактный индивид, ср.: *Я люблю детей* (класс); *Я люблю своих детей* (абстрактный индивид). Предикат *любитель* может подчинять только генерализованный объект (так как объект установки соотносится с классом), ср.: *Он любитель красивых женщин*, но не **Он любитель своей жены*². Этому не противоречат такие высказывания, как *Он любитель Блока*, так как имя собственное употреблено здесь метонимически, по отношению ко всей поэзии Блока, т. е. не к индивиду, а к целому классу.

2.2. Эпизодические и гномические предикаты

Полное описание выбора интерпретаций референта ИГ как класса, «инстанта» или абстрактного индивида предполагает на-

² Различие лексем *любить* и *нравиться* вполне аналогично отмеченному А. Вежицкой различию польских лексем *lubić* и *podobać się*.

личие соответствующей классификации предикатов. Наиболее существенными представляются характеристики предикатного выражения (ПВ) с точки зрения локализованности во времени (роль, которую признак локализованности во времени играет в построении общей классификации ПВ, подробно рассмотрена в работе [Булыгина 1982; 1983]). Четко разграничиваются два типа употребления ПВ: эпизодические и качественные. При эпизодическом употреблении ПВ представляют собою процессы или события как конкретные, реально происходящие или происшедшие в некоторый момент или период времени, или же описывают ситуации или состояния, приуроченные к конкретному временному отрезку. При качественном употреблении ПВ описывают признаки, не связанные с конкретным моментом времени. Ср. различие временной отнесенности высказываний *Егор был очень молод, но уже пьяница* [Ю. Казаков] (признак не локализован во времени) и *Девять часов утра, а он уже пьян* (локализация во времени). Существуют ПВ, для которых соответствующая характеристика оказывается фиксированной — тем самым выделяются предикаты *episodica tantum* (напр., *быть пьяным, безмолвствовать, быть при смерти*) и предикаты *qualitativa tantum* (*быть пьяницей, быть молчаливым, быть смертным*). Для других ПВ данная характеристика является «флективной» (в смысле [Булыгина 1980б]), и вне контекста такие ПВ оказываются неоднозначными: так, *Он курит* может означать как то, что он курит в данный момент, так и то, что он вообще курящий.

Эпизодические ПВ (в том числе *episodica tantum*) могут «повышаться в ранге» с помощью «гномического оператора» (напр., такого выражения, как *бывает, всегда, иногда*). Более того, именно способность сочетаться с гномическим оператором может рассматриваться как характеристическое свойство эпизодических ПВ: в сочетании с качественными ПВ такие слова, как *бывает, всегда, иногда*, не имеют значения гномического оператора, а прочитываются как квантор при генерализованном субъекте, как, напр., в предложениях *Голубоглазые кошки бывают глухими; Математики иногда разбираются в лингвистике*; а в предложениях с качественным предикатом и единичным субъектом такие слова вообще невозможны: **Он бывает пьяницей* (см. [Булыгина 1982]).

«Повышенные в ранге» эпизодические ПВ можно назвать узуальными. Мы не относим к узуальным ПВ, обозначающие серию упорядоченных во времени действий, даже в тех случаях, когда речь идет о повторяющихся действиях. В частности, не могут употребляться в «узуальном» значении «ите-

ративные» употребления так называемых однонаправленных глаголов движения и некоторых глаголов несовершенного вида, возникших в результате вторичной имперфективации, — таких, как *выкуривать, прочитывать, выпивать (чашку молока)*. Прибавлением к таким ПВ слов типа *бывало, всегда, иногда* не превращает эти ПВ в узуальные (в указанном понимании данного термина), они и в этом случае сохраняют конкретную пространственно-временную локализацию, а их сочинение указывает на следующие во времени друг за другом действия (ср. *Каждый вечер он ужинал, выпивал чашку кофе, выкуривал сигарету и шел гулять*). Показательно употребление партитива при глаголе несовершенного вида у Ю. Казакова (этот пример уже приводился нами в работе [Булыгина, Шмелев 1989а]): *На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и израя глазами* (ср. невозможность **пьет коньяку*)³. Этим ПВ рассматриваемого типа отличаются от таких ПВ, как, скажем, *пить вино, курить трубку, ходить за грибами, читать детективы*, которые могут употребляться, не предполагая пространственно-временной локализации и давая общую характеристику субъекту. *Слегка за шалости бранил И в Летний сад гулять* описывает общий круг обязанностей губернатора, не упорядоченных во времени, тогда как *слегка за шалости бранил и вел гулять в Летний сад* указывало бы на повторяющуюся последовательность действий: '(каждый раз) сперва бранил за шалости, а затем вел гулять в Летний сад'.

Узуальные ПВ образуют вместе с качественными ПВ единый класс гномических ПВ. Они могут сочетаться в пределах одной сочиненной группы (напр., *Он заботился о своем здоровье и ходил на работу пешком*), тогда как ни тот ни другой тип гномического ПВ не может вступать в сочинительную связь с эпизодическим: **Он заботился о своем здоровье и шел на работу пешком* (как уже говорилось, однонаправленные глаголы движения даже в итеративном значении остаются эпизодическими); **Он болен и любит чай с лимоном*⁴. Однако в рамках указанного единого класса определенные различия между узуальными

³ Таким образом, встречающееся в грамматических описаниях утверждение, что глагол несовершенного вида не может сочетаться с партитивом, нуждается в уточнении.

⁴ Отмеченная в свое время Ю. Д. Апресяном аномальность предложений типа **Он высок и болен* также может быть объяснена невозможностью сочинения гномического *высок* и эпизодического *болен*.

и качественными ПВ сохраняются: качественное ПВ обозначает не локализованное во времени свойство, а узальное ПВ соотносится с рядом явлений, имеющих пространственно-временную локализацию (хотя и неопределенную)⁵.

Разграничение эпизодических и гномических употреблений ИГ позволяет сформулировать закономерности, касающиеся связей между типом ПВ и референциальными характеристиками подчиненных ему ИГ. Гномические предикаты (как качественные, так и узальные) могут относиться к классам или к абстрактным индивидам, эпизодические предикаты — к «инстантам». Другими словами, в контексте гномических предикатов ИГ всегда понимаются обобщенно, в отвлечении от конкретных пространственно-временных манифестаций. Именно с гномическими предикатами чаще всего сочетаются «слабо индивидуализирующие» ИГ, напр. ИГ с предикатной семантикой (такие ИГ склонны к генерализованному употреблению — см., в частности, [Шмелев 1984б; 1989а], а также главу 8). Однако даже «слабо индивидуализирующие» ИГ в контексте предикатов, относящихся к *episodica tantum*, понимаются как соотнесенные с «инстантами». Так, в примерах, приведенных в [Булыгина 1982: 11], в предложениях с гномическими предикатами (*Старики не терпят возражений; Молодые люди умеют веселиться; Дети любознательны; Лентяй — обуза для коллектива*) «слабо индивидуализирующие» ИГ-подлежащие воспринимаются как генерализованные; однако в контексте эпизодических предикатов те же самые ИГ могут быть поняты только как соотнесенные с конкретными «инстантами» (*Старики в раздразнении; Молодые люди пьяны; Дети голодны; Лентяй утомлен*).

Если обобщенная интерпретация для той или иной ИГ в силу каких-то причин оказывается невозможной, эта ИГ не может сочетаться с гномическими предикатами. А. Вежбицка отметила, что аномальность предложения *Lubię to ciastko* 'Я люблю это пирожное' объясняется тем, что невозможно представить себе, чтобы человек «обычно охотно ел» одно и то же пирожное [Вежбицкая 1982: 255]. Действительно, можно любить пирожные вообще, но существование конкретного пирожного достаточно эфемерно: как только «любовь» к пирожному (в одной из его пространственно-временных манифестаций) будет проявлена, пирожное прекратит свое существование и невозможным окажется проявление любви к другим его манифеста-

⁵ О разграничении качественных и узальных ПВ и проблемах, связанных с таким разграничением, см. [Булыгина 1982].

циям. А, как уже говорилось, объектом при глаголе *любить* всегда должно быть некоторое открытое множество манифестаций — т.е. абстрактный индивид или класс. Этим же объясняется и то, что в предложении *Мне нравится это пирожное* предикат *нравится*, который, вообще говоря, может функционировать и как эпизодический, и как гномический, получает эпизодическое прочтение.

Из сказанного вытекает согласованность референциальных статусов всех ИГ, подчиненных одному и тому же предикату. Действительно, наличие хотя бы одной ИГ, соотнесенной с «инстантом», предопределяет эпизодический характер подчиняющего предиката, а это, в свою очередь, детерминирует соотнесенность с «инстантами» для всех прочих подчиненных ему ИГ. Соответственно, наличие хотя бы одной ИГ, соотнесенной с открытым множеством пространственно-временных манифестаций (т.е. с классом или с абстрактным индивидом), предопределяет гномический характер предиката, а это означает, что среди подчиненных ему ИГ не может быть соотнесенных с «инстантами».

В этой связи необходимо отметить особый характер фактуальных ИГ. Во многих отношениях они ведут себя подобно ИГ, соотнесенным с «инстантами». Отметим аномальность сочетаний таких ИГ с качественными ПВ: **Я люблю, что в комнате порядок*; ср. правильное сочетание того же ПВ с нефактуальным актантом: *Я люблю, когда в комнате порядок*; *Мне нравится, чтобы в комнате был порядок*. Потенциально неоднозначные ПВ получают в контексте «фактуальных» ИГ однозначно эпизодическую интерпретацию: высказывание *Я радуюсь, что в комнате порядок* указывает на конкретно переживаемую эмоцию; ср.: *Я радуюсь, когда в комнате порядок*, предполагающее постоянное отношение к рассматриваемому положению дел. Полностью номинализованные ИГ могут, как уже говорилось, функционировать и как фактуальные, и как нефактуальные; но в контексте «только эпизодических» ПВ они получают однозначную фактуальную интерпретацию (ср. *Я рад порядку в комнате*), а в контексте «только качественных» ПВ — нефактуальную интерпретацию (ср. *Я люблю порядок в комнате*).

Тем не менее существуют предикаты, которые в качестве одного из актантов могут иметь факт, а в качестве другого — не «инстант», а открытое множество «инстантов». Сюда относятся такие фактивные предикаты, как *быть виноватым в*, *знать о* и т.п. В качестве объекта они имеют фактуальные ИГ, а в качестве субъекта выступает абстрактный индивид

или даже класс индивидов. Общим для рассматриваемых ПВ является то, что все они обозначают свойства, не имеющие конкретной пространственно-временной локализации, но возникшие в результате локализованных во времени событий и так и оставшиеся связанными с субъектом. Если воспользоваться определением факта как «тени, отброшенной событием на экран знания» [Арутюнова 1980а: 355], то можно сказать, что тень инкриминируемого события неразрывно связывается с виновным. Провинившись в чем-либо, он остается виноват в этом навсегда.

Мы видим, что из трех выделенных разновидностей референтов — классов, абстрактных индивидов и «инстантов» — первые две (представляющие собою открытые множества «инстантов») обнаруживают значительное сходство с точки зрения сочетаемости с ПВ и вместе противопоставлены «инстантам». Если а priori основным кажется противопоставление классов и индивидов, то в ряде работ последних лет — особенно в тех, где обсуждается сочетаемость предикатов с ИГ различных референциальных типов, — наблюдается тенденция отождествлять (в явном виде или чаще имплицитно) классы и абстрактные индивиды. Ср. приведенное выше замечание А. Вежбицкой о том, что в таких предложениях, как *Я люблю Яна; Я хорошо знаю Яна; Ян добрый, умный, спокойный, смелый*, имя *Ян* соотносится не с самим Яном, а с множеством событий, так или иначе связанных с Яном. В неявном виде опираются на отождествление «абстрактно-индивидуальных» ИГ с родовыми (генерализованными) такие утверждения, как «*нравится* допускает объект в референтном ДС, а *любит* — только в „родовом“» [Падучева 1982а: 231]. Однако утверждение, что для *любит* возможен только родовой объект, затушевывает различие между, скажем, *любит женщин* и *любит (эту) женщину*, ср. замечание Вл. Соловьева: «...Если я люблю женщин, а не *эту* женщину, значит, я люблю только родовые качества, а не существо, и, следовательно, это не есть истинная любовь».

В то же время, несмотря на несомненное сходство классов и абстрактных индивидов (и то и другое представляет собою открытое множество «инстантов»), соответствующие ИГ должны быть отнесены к разным референциальным типам, в частности и потому, что существуют предикаты, которые могут приписываться только первым, но не вторым. К таким предикатам относится уже упоминавшееся выше ПВ *быть любителем* (аномально *любитель Маши*, хотя вполне возможно *любитель красивых женщин*). Другой пример ПВ, требующего класса в ка-

честве объекта, — это *знаток*. Можно сказать: *Ты большой знаток женщины: Ты, наверно, можешь предугадать, как на это посмотрит Маша*, — но аномально высказывание **Ты большой знаток Маши. Как она на это будет реагировать?* (следует: *Ты хорошо знаешь Машу. Как она на это посмотрит?*). Сочетание *знаток Пушкина*, как и *любитель Пушкина*, возможно только потому, что имя *Пушкин* здесь имеет возникшее на основе метонимии генерализованное значение и обозначает творчество Пушкина и все, что с ним связано, — все то, что составляет объект пушкинистики. Сочетание *знаток «Евгения Онегина»* более естественно, чем *знаток стихотворения «Я помню чудное мгновенье...»*, поскольку *«Евгений Онегин»* легче подвергается метонимическому переносу, при котором приобретает генерализованное значение. Ср. также *охотник до (Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен при аномальности *Он большой охотник до моей жены)*.

Есть еще один тип ПВ, сочетающихся только с генерализованными, но не с индивидуальными ИГ. Это такие предикаты, как *быть в дефиците*, *быть редкостью*, *вымереть*, *подорожать*, *получить большое распространение*, *иметься в продаже*⁶ и т.п. (некоторые из таких ПВ были приведены в работе [Булыгина 1983: 291]). Не являются контрпримерами высказывания типа *Эта книга сейчас есть в продаже*, так как, несмотря на наличие указательного местоимения, ИГ *эта книга* соотносится не с отдельным объектом, а с целым классом.

ПВ рассматриваемого типа описывают конкретные («случайные») состояния мира, и в этом смысле они сходны с эпизодическими предикатами. С эпизодическими предикатами их сближают и некоторые собственно языковые свойства, напр. сочетаемость с гномическими операторами: ср. *Здесь всегда в продаже есть мороженое*. В то же время, в отличие от эпизодических предикатов, не сочетающихся с генерализованными ИГ, указанные ПВ как раз только к таким ИГ и могут относиться. Однако они характеризуют не существенные свойства класса, а его преходящие состояния, поэтому их уместно называть «предикатами состояния класса». В каком-то смысле можно сказать, что субъекты предикатов «состояния класса» так относятся к

⁶ Способность сочетаться только с генерализованными ИГ отличает ПГ *имеется в продаже* от сходного по смыслу предиката *продаваться*, сочетающегося как с генерализованными (*У нас продаются подержанные автомобили*), так и с индивидуальными (*Продается почти новый автомобиль*) ИГ.

классам, о которых идет речь в высказываниях с гномическими предикатами, как «инстанты» относятся к абстрактным индивидам.

2.3. «Суперкатегория» предложения

Нагляднее всего описанные закономерности можно представить на языке семантических признаков, помня при этом, что названия семантических признаков представляют собою всего лишь условные обозначения и не претендуют на выражение сущности эксплицируемых различий. В работе [Булдыгина, Шмелев 1989а] нами было предложено использовать для этой цели два бинарных семантических признака: «± актуализованность» и «± локализуемость». Абстрактные индивиды и «инстанты» различаются «актуализованностью»: абстрактным индивидам приписывается признак [-актуализ], а «инстантам» — [+актуализ] (поскольку «инстант» фактически и представляет собою «актуализированный» индивид). В то же время индивиды, независимо от того, идет ли речь о фактах, абстрактных индивидах или «инстантах», могут быть тем или иным образом «локализованы» — в отличие от классов, которые представляют собою открытые множества и могут считаться «нелокализуемыми». Поэтому приписываем индивидам признак [+локализ], а классам — признак [-локализ], при этом классы оказываются не характеризованными по признаку «актуализованность». Теми же признаками можно характеризовать и соответствующие ИГ.

Те же самые два бинарных признака используются и для классификации предикатов. Гномические предикаты получают признак [-актуализ] и, в общем случае, не характеризуются по признаку «локализуемость»⁷, предикаты «состояния класса» — признаки [-локализ] и [+актуализ], эпизодические предикаты — признаки [+актуализ] и [+локализ].

Между признаками ПВ и признаками референтов подчиненных ему ИГ должна быть согласованность: не допускается сочетание ИГ и ПВ с противоположными значениями одного и того же признака. Поэтому гномические предикаты (признак [-актуализ]) не могут сочетаться с ИГ, относящимися к «инстантам» (признак [+актуализ]); эпизодические предикаты (признаки [+актуализ] и [+локализ]) не сочетаются ни с

⁷ Для некоторых типов гномических ПВ значение признака «локализуемость» является словарной характеристикой.

генерализованными ИГ (признак [–локализ]), ни с ИГ, относящимися к абстрактным индивидам (признак [–актуализ]); предикаты «состояния класса» (признак [–локализ]) не могут приписываться индивидам (признак [+локализ]).

Указанные закономерности, по-видимому, могут служить достаточным основанием для того, чтобы выделить, как это и предлагалось в работе [Булыгина, Шмелев 1989а], единую категорию пространственно-временной локализации, включающей в свою сферу действия всю пропозицию и определяющей как тип вершинного предиката, так и тип референта каждой из подчиненных ему ИГ. Предложенный подход позволяет объяснить уже упомянутую выше возможность двоякого понимания временных наречий типа *всегда*, *иногда*, *часто*, *редко*, слов типа *бывает* и т.п. По существу, указанные слова выступают как кванторы на множестве ситуаций. Если предикат допускает актуализованную интерпретацию, эти слова играют роль гномических операторов («дезактуализаторов»); если же мы имеем дело с гномическим предикатом, предикат прочитывается как квантор при множестве, обозначенном субъектом. Именно поэтому указанные слова невозможны в высказываниях с единичным субъектом и квалитативным предикатом: в этом случае у нас нет множества, которое могло бы подвергаться квантификации.

Как кванторы могут рассматриваться и модальные показатели типа глагола *мочь*. Суждения, содержащие такие показатели, могут интерпретироваться при помощи аппарата модальной логики, в соответствии с которым истинностное значение немодализованной пропозиции p считается находящимся в функциональной зависимости от рассматриваемого «случая» h . Если обозначить область определения функции $p(h)$ как H , то можно сказать, что модализованное суждение о «возможности» p истинно тогда и только тогда, когда $\exists h \in H (p(h) \text{ истинна})$, т.е. когда есть случаи, когда пропозиция $p(h)$ истинна. Сами «случаи» могут интерпретироваться различным образом. В модальной логике принято понимать их как «возможные миры» или «возможные состояния мира» (ср. [Kripke 1980]). Но в естественном языке возможны и иные интерпретации, полностью соответствующие приведенной формуле.

Интересна ситуация, когда множество «случаев» находится во взаимно-однозначном соответствии с некоторым множеством объектов и «случаи» могут интерпретироваться как денотативные пространства, однозначно определяемые соответствующими объектами. При такой ситуации модализованное высказы-

вание оказывается эквивалентно немодализованному, содержащему квантификацию соответствующего множества: напр., высказывание *В прямоугольном треугольнике катеты могут быть равны* означает лишь 'существуют прямоугольные треугольники, в которых катеты равны'. Такое употребление характерно для языка математики, в котором утверждение возможности эквивалентно утверждению существования, поскольку для математических объектов потенциальное и реальное существование не различаются [Шмелев 19896].

Но такое употребление встречается не только в математических текстах. Высказывание *Цветки сирени могут иметь пять лепестков вместо четырех* означает: 'Некоторые цветки сирени имеют пять лепестков вместо четырех'. Иногда же модализованное высказывание оказывается эквивалентно немодализованному, содержащему квантификацию по временным срезам (тогда «случаи» могут интерпретироваться как состояния мира в различные моменты времени): *Странные отношения в этом доме: все дружны и, однако, немного равнодушны друг к другу. Вечерами вдруг разбредаются кто куда. Но могут и собраться вместе* [\approx '...иногда собираются вместе'] (Ю. Трифонов). Поэтому когда на вопрос корреспондента: *А Горбатов вам изменял?* — Т. Окуневская отвечает: *Если я была на концертах, он мог поехать к женщинам* («ЛГ», 5.09.1994), — у корреспондента не возникает сомнений, что это утвердительный ответ (\approx 'бывало...'), а не сообщение о нереализовавшейся возможности ('мог, но не ездил').

Выбор интерпретации зависит от характеристик подчиненного глаголу *мочь* предиката и субъекта при нем. Так, «временная» интерпретация примера из Трифонова, так же, как и ответа Т. Окуневской, связана с тем, что предикаты *собраться вместе* и *поехать* относятся к числу эпизодических, а субъекты *все (в доме)* и *он* не допускают квантификации. Напротив того, интерпретация высказываний с *мочь* как утверждений о существовании бывает связана с тем, что соответствующие предикаты относятся к «квалитативным», а субъекты способны подвергаться квантификации. В случае неоднозначной характеристики субъекта и предиката высказывание оказывается неоднозначным с рассматриваемой точки зрения: ср. пример *Дети могут быть очень жестокими*, который может иметь целый ряд значений — 1) 'некоторые дети очень жестоки'; 2) '(все) дети иногда очень жестоки'; 3) '(эти) дети иногда очень жестоки'; 4) 'некоторые дети иногда очень жестоки', не говоря о различных модальных прочтениях, напр. 'детям позволительно

быть жестокими [а вот взрослым это непростительно]⁸. Существующие зависимости здесь вполне аналогичны тем, которые существуют между типом ИГ и предикатов, с одной стороны, и интерпретацией кванторных наречий — с другой.

Сказанное позволяет заключить, что прием модальной логики, заключающийся в экстенционализации понятия возможности, сведения его к понятию множества (ср. «...the theory of possible worlds has been proposed just in order to solve intensional problems by translating them into extensional terms» [Eco 1987: 38]), получает неожиданное обоснование в фактах естественного языка. Решающую роль здесь играет представление о пространственно-временной локализации как суперкатегории предложения.

Наряду с рассмотренными противопоставлениями можно упомянуть и некоторые другие референциальные противопоставления, связанные с типом обозначаемого объекта. В частности, для генерализованных ИГ, так же как для множественных индивидуальных именных групп, принято выделять противопоставление распределенного («дистрибутивного») и нераспределенного, собирательного понимания. При распределенном понимании высказывание касается не только всего множества в целом, но и отдельных его элементов. Так, предложение *Я прочел эти книги* относится не только ко всем книгам, о которых идет речь, в совокупности, но и к каждой из этих книг. Точно так же высказывания *Собаки любят суп*; *Собака — друг человека* относятся не только к классу собак в целом, но и к отдельным его представителям. Но при нераспределенном (тотальном) понимании высказывание имеет силу только по отношению ко всему множеству в целом: высказывания типа *Мебель загромодила комнату*⁹; *Динозавры вымерли* не имеют смысла в применении к отдельным членам множества. Выбор интерпретации зависит от характеристик предиката. Есть предикаты, требующие тотального понимания субъекта, точнее, требующие множественного субъекта в тотальной интерпретации (*загромождать*; *перессориться*; *разъехаться*; к этим предикатам относятся, в частности, и предикаты состояния класса). От таких

⁸ Проблемы интерпретации высказываний, содержащих модальный оператор, в частности глагол *мочь*, подробно рассматриваются в [Булыгина, Шмелев 19906].

⁹ Данный пример демонстрирует, что существенным является не противопоставление единственного — множественного числа субъекта, а именно способность субъекта восприниматься как множество.

предикатов следует отличать симметричные предикаты (типа *быть похожими*), также требующие множественного субъекта в абсолютивной диатезе (именно невозможность единичного субъекта объясняет юмористический эффект фразы Чехова: *Посмотрите, как похожи братья, особенно Александр*). Поэтому едва ли относится к собирательным субъект в высказывании *Все китайцы похожи друг на друга* (пример Е. В. Падучевой [1979]). Действительно, предикат здесь не может относиться к каждому отдельно взятому элементу класса, но свойства предиката таковы, что он предполагает выбор элементов класса не по отдельности, а попарно. Говорящий хочет сказать, что для любой пары китайцев верно, что ее члены похожи друг на друга. Но тогда это распределенное понимание, только референтное множество представляет собою множество пар.

Противопоставление распределенного и тотального понимания множественных ИГ не служит предметом специального рассмотрения в настоящей работе. Однако оно может быть приведено в качестве дополнительной иллюстрации связи референциальных характеристик субъекта и типа предиката, побуждающей рассматривать соответствующие референциальные противопоставления как реализацию категорий, которые имеют сферой действия все предложение.

Определенность — неопределенность и проблемы квантификации

3.1. Определенность — неопределенность: логический, прагматический и синтаксический подходы

а) Проблемы определения определенности

Если в 1951 г. В. Я. Пропп справедливо констатировал, что об артиклевых значениях «писано чрезвычайно мало» [218], то уже к началу 80-х гг. на фоне «бурного развития теории референции» [Яковлева 1983] и появления целого ряда исследований механизмов определенной референции, способов выражения категории определенности — неопределенности в безартиклевых языках (в частности, в русском) стало ясно, что само понятие определенности не является элементарным и нуждается в тщательном анализе. Необходимо было четко отграничить определенность от таких категорий, как «данное», «известное», «уникальное», «индивидуализированное», эксплицитировать понятие определенности таким образом, чтобы были ясны критерии отнесения той или иной ИГ в конкретном речевом употреблении к определенным или неопределенным.

Для артиклевых языков самое формально простое решение заключалось бы в том, чтобы считать «определенными» те ИГ, при которых имеется определенный артикль. А для безартиклевого языка и, в частности, для русского критерием отнесения ИГ к определенным могла бы быть возможность употребления определенного артикля при ее переводе на артиклевый язык. Именно такой подход демонстрирует исследование Э. Честермана [Chesterman 1991], посвященное категории определенности в английском (артиклевом) и финском (безартиклевом) языках.

Такое решение во многом соответствует интуиции. На практике многие авторы работ, посвященных категории определенности в безартиклевом языке, в качестве доказательства определенности той или иной ИГ используют факт наличия определенного артикля в существующих переводах на какой-либо артиклевый язык (или необходимость употребления артикля при переводе). Но при этом данные различных артиклевых языков нередко расходятся, и следовало бы указать, какой язык берется в качестве «эталона». Кроме того, нередко ИГ, которые в большинстве употреблений естественно считать определенными (как это чаще всего и делается), не требуют при переводе на многие артиклевые языки определенного артикля.

К тому же «формальный» подход мало приближает нас к пониманию семантического содержания данной категории. В любом случае он должен быть дополнен семантическим анализом, который, в частности, должен снабдить нас ответом на вопрос: существует ли семантический инвариант значения определенности или же мы обречены на то, чтобы представлять значение определенности как совокупность «частных» значений? Таким образом, мы сосредоточимся на семантических критериях, в равной мере пригодных как для артиклевых, так и для безартиклевых языков.

В исследованиях, посвященных категории определенности — неопределенности, обнаруживаются две тенденции, которые можно назвать логическим и прагматическим подходом.

При прагматическом подходе определенность чаще всего связывается с известностью референта участникам коммуникативного акта (в частности, необходимо, чтобы референт был известен адресату речи). При этом «известность» понимается не в бытовом смысле: не является необходимым «личное» знакомство с объектом, знание каких-либо его отличительных признаков, способность узнать объект, если он будет предъявлен. «Известным» считается любой объект, который когда-либо был введен в поле зрения участников коммуникации; например, значение определенности возникает в тех случаях, когда объект уже упоминался в предшествующем контексте (анафорическая известность), когда объект находится в поле зрения участников коммуникации, так что на него можно указать пальцем (дейктическая определенность), или когда сведения об объекте принадлежат общему фонду знаний говорящего и слушающего (апперцепционная известность).

Однако есть случаи, когда ИГ несомненно является определенной, а между тем ее референт неизвестен адресату речи. Так, значение определенности присуще ИГ *автор «Слова о полку Игореве»* в любых употреблениях; определенной является ИГ *мои родители* в устах любого говорящего — даже если адресат речи с его родителями не знаком и ничего про них раньше не слышал. При логическом подходе определенность связывается с единственностью объекта, удовлетворяющего выбранной номинации. Так, мать у человека может быть только одна, поэтому ИГ *моя мать* является определенной, к ней нельзя присоединить неопределенное местоимение (**одна моя мать*). С другой стороны, друзей можно иметь много, и поэтому возможна неопределенная ИГ *один мой друг*. При логическом подходе не принимаются во внимание факторы, связанные с конкретной ситуацией, в которой произведено высказывание (намерения говорящего, позиция адресата речи, контекст и т.п.). Требование единственности соответствующим образом переформулируется по отношению к именам во множественном числе.

Основную трудность для логического подхода составляют «неполные» определенные дескрипции — имена, которые получают определенность лишь в контексте или ситуации, например: *Один человек заказал пряжу тонкие нитки, пряжа спрядла тонкие нитки, но человек сказал, что нитки не хороши* (Л. Толстой). Для объяснения определенности в таких случаях сторонники логического подхода постулируют исходную форму номинации, содержащую ограничительное придаточное (*тот человек, который заказал тонкие нитки*). Однако существуют «неполные» определенные дескрипции, для которых нельзя восстановить исходной формы, не содержащей прагматической отсылки к речевому акту, — например, если референт вводится в поле зрения адресата речи посредством интродуктивного экзистенциального предложения: *Жил-был старик* (неопределенная ИГ). *У старика* (определенная ИГ) *был сын*. Ясно, что об уникальности денотата слова (у) *старика* можно говорить лишь применительно к данному высказыванию, постулируя ограничительное придаточное типа *о котором идет речь*; но в этом случае ограничительное придаточное целиком опирается на прагматическую отсылку к акту речи, что противоречит строго логическому подходу.

Более того, в некоторых случаях объект, казалось бы, является и известным, и уникальным, а значение определенности все равно не имеет места. Если преподаватель говорит сту-

денту-дипломнику: *Вы написали хорошую дипломную работу*, — то референт ИГ *хорошая дипломная работа* заведомо известен студенту (так как это его собственная работа) и уникален (вряд ли студент написал более одной дипломной работы), но данная ИГ является неопределенной, что подтверждается необходимостью ее перевода на артиклевые языки при помощи ИГ с неопределенным артиклем. Обратим внимание на то, что в почти синонимичном высказывании *Дипломная работа, которую вы написали, очень хорошая* ИГ, соотносимая с тем же самым референтом, является определенной.

Всестороннее рассмотрение примеров подобного рода позволяет синтезировать логический и прагматический подходы определенности — неопределенности. На основе такого синтеза в работе [Шмелев 1984б] был предложен следующий критерий определенности: определенная референция имеет место в случае совпадения референта ИГ с ее экстенсионалом в прагматически релевантном денотативном пространстве.

б) Синтаксический подход к определенности

Возможно и более простое изложение идеи, легкой в основу указанного синтеза. Для этого введем понятие индивидуализирующего признака. Признак объекта, упомянутого в том или ином высказывании, является индивидуализирующим, если он известен адресату речи и при этом адресат речи знает, что никакой другой объект не обладает этим признаком. Ясно, что всякий упомянутый объект обладает по меньшей мере одним индивидуализирующим признаком — в роли такого признака выступает то, что объект обозначен посредством данной ИГ в рассматриваемом предложении. Этот индивидуализирующий признак можно назвать тривиальным.

К тривиальным индивидуализирующим признакам можно отнести также индивидуализирующие признаки, названные в компонентах высказывания, синтаксически подчиняющих данную ИГ. При этом, как принято при построении формальных моделей синтаксиса, считается, что подлежащее синтаксически подчинено сказуемому. Таким образом, в высказывании *Петров написал хорошую дипломную работу* тривиальным для дипломной работы оказывается признак «написанная Петровым», а в высказывании *Я прочел дипломную работу, написанную Петровым* этот же признак не является тривиальным (поскольку назван не в подчиняющем, а в подчиненном синтаксическом компоненте).

Из данного определения тривиального индивидуализирующего признака ясно, что к нетривиальным относятся индивидуализирующие признаки, либо названные в самой ИГ или в подчиненном синтаксическом компоненте, либо подразумеваемые в соответствии с контекстом или ситуацией.

Может быть дана следующая интерпретация категории определенности — неопределенности: ИГ является определенной, если ее референт обладает нетривиальными индивидуализирующими признаками; в противном случае ИГ является неопределенной. Так, ИГ *моя мать* является определенной при любом употреблении, так как сама эта ИГ называет индивидуализирующий признак обозначаемого лица и тем самым признак является нетривиальным. В высказывании *Один человек заказал пряжу тонкие нитки, пряжа спряла тонкие нитки, но человек сказал, что нитки не хороши* первое употребление слова *человек* является неопределенным, так как референт обладает лишь тривиальными индивидуализирующими признаками; второе употребление оказывается определенным, так как референт обладает нетривиальным индивидуализирующим признаком — он уже был назван ранее в предшествующем контексте.

Аналогичным образом объясняется неопределенность в высказывании *Вы написали очень хорошую дипломную работу* и определенность в высказывании *Дипломная работа, которую вы написали, очень хорошая*. В первом случае индивидуализирующий признак назван подчиняющим компонентом (сказуемым) и поэтому является тривиальным. Во втором случае тот же самый индивидуализирующий признак выражается придаточным (т. е. подчиненным компонентом) и является нетривиальным.

Такой подход к определенности — неопределенности учитывает синтаксическую структуру высказывания и может быть назван синтаксическим¹. Синтаксический подход объединяет сильные стороны логического и прагматического подхода. Основа определенности — индивидуализация, как при логическом подходе. Однако индивидуализирующие признаки могут определяться и контекстом, ситуацией или другими прагматическими факторами; важно лишь, чтобы они не были тривиальными. Содержательно это связано с тем, что тривиальные признаки нельзя выразить строго выделительным придаточным — высказывание станет тавтологичным; ср. **Вы написали хорошую дипломную работу, которую вы написали; *Жил-был старик, о котором я говорю*.

¹ Синтаксический подход к категории определенности — неопределенности был предложен в работах М. Г. Селезнева [1985; 1987].

Можно показать, что предложенный критерий эквивалентен утверждению, что определенная референция имеет место в случае совпадения референта ИГ с ее экстенционалом в прагматически релевантном денотативном пространстве. Отметим, что при формулировке частных правил иногда бывает целесообразно прибегать не к единому синтаксическому («процессуальному») подходу к определенной референции, а рассматривать логическую и прагматическую определенность по отдельности. Так, говоря о функциях анафорических или дейктических местоимений (типа *этот*), необходимо отметить их роль в выражении значения прагматической определенности. Ингерентной прагматической определенностью характеризуются также имена собственные при «стандартном» употреблении. Действительно, как указывалось в предыдущей главе, «стандартное» употребление ИС предполагает непременную известность референта адресату речи, что и соответствует прагматическому критерию определенности. Лишь при «нестандартных» употреблениях у ИС могут быть иные типы референции. С другой стороны, основное средство выражения логической определенности — дескрипции, имеющие базу [Селезнев 1987: 66—68]: ИГ, подчиняющие строго выделительное придаточное или возглавляемые названием каузатора (такими словами, как *автор, убийца, победитель*) и т.п.

в) Определенность — неопределенность генерализованных и абстрактно-референтных имен

Пока мы рассматривали противопоставление определенности — неопределенности лишь по отношению к индивидуальным ИГ. Но оно релевантно и для генерализованных ИГ. Применение предложенных выше критериев определенности показывает, что противопоставление по определенности — неопределенности предстает в применении к открытым множествам как противопоставление общеродовых и общеэкзистенциальных ИГ.

Общеродовые ИГ имеют референцию ко всему классу объектов: имеются в виду все или по крайней мере типичные представители неперечислимого класса (*Собака — друг человека; Все дети любят сказки; В равнобедренном треугольнике углы при основании равны*). Среди общеродовых ИГ иногда (ср. [Падучева 1985]) различают подлинно универсальные ИГ и допускающие исключения генерические (родовые) ИГ: *Норвежцы высокого роста* (не обязательно все норвежцы). Однако различие между универсальными и генерическими

предложениями состоит, по-видимому, не в типе референции ИГ, а в степени категоричности суждения [Шмелев 1984г].

Общеэкзистенциальные ИГ имеют референцию не ко всему экстенсionalу общего имени, а к некоторой неопределенной (но принципиально неограниченной) его части: *Некоторые логики разбираются в лингвистике*. При повторной референции к тому же множеству используются ИГ, имеющие общеродовой статус: *Некоторые логики разбираются в лингвистике. Они (или Эти логики) обладают хорошим языковым чутьем* (имеются в виду те логики, которые разбираются в лингвистике). В этом отношении общеэкзистенциальные и общеродовые ИГ соотносятся точно так же, как неопределенные и определенные².

Следует подчеркнуть, что речь идет о содержательном противопоставлении. От противопоставления общеродовых и общеэкзистенциальных ИГ следует отличать противопоставление генерализованных ИГ с определенным и неопределенным артиклем (так называемые definite и indefinite generics) в артиклевых языках. Выбор артикля в них подчиняется специальным правилам, вообще говоря, особым для каждого конкретного языка (хотя можно обнаружить и некоторые закономерности — см. [Шмелев 1984г]). Для русского языка более существенны правила выбора единственного и множественного числа генерализованных ИГ. Почему мы можем сказать *Воробей — птица*, но не можем **Чех — европеец* (пример И. И. Ревзина)? Почему мы говорим *Норвежцы высокого роста* (а не *Норвежец высокого роста*; последнее высказывание было бы понято не в общеродовом значении, а как сообщение об определенном норвежце); но у Маяковского встречаем в общеродовом значении (об американцах вообще) *Янки подошвами шлепать ленив*? Некоторые правила приводятся в [Шмелев 1984г] (см. также [Красильникова 1989]), однако этот вопрос заслуживает специального и более подробного изучения. На сугубо неформальном уровне можно отметить, что использование единственного числа для

² Отнесение общеродовых ИГ к определенным позволяет упростить формулировку многих правил, требующих обращения к референциальным характеристикам. В частности, это касается выбора порядка слов (о порядке слов как об одном из основных средств выражения определенности — неопределенности и в русском языке см., в частности, [Рестан 1985], а также [Гладров 1992] и указанную в последней работе литературу). С точки зрения сочетаемости с кванторными словами, общеродовые ИГ также ведут себя аналогично определенным индивидуальным ИГ (подробнее см. следующий раздел).

референции к классу возможно, когда в сознании говорящего имеется некоторый единый образ эталонного представителя соответствующего класса³. В частности, с этим связано то, что такое употребление возможно для обозначений естественных классов, но не номинальных классов (о естественных и номинальных классах см. [Шатуновский 1982; Шмелев 1984г]).

Однако необходимо специально отметить, что от генерализованных ИГ, выраженных существительным в единственном числе, следует отличать абстрактно-референтные ИГ⁴ (абстрактно-референтные ИГ как особый референциальный статус были выделены в [Шмелев 1984б]). Приведем примеры словосочетаний с абстрактно-референтными ИГ: *пойти в магазин*; *лечь в больницу*, *записаться к врачу*; *ездить на работу автобусом*. Такие ИГ соотносятся с индивидами, а не с классами; однако в данной коммуникативной ситуации индивидуальные различия между членами соответствующего класса оказываются как бы нерелевантными. Не случайно в артиклевых языках употребление артикля при таких ИГ подчиняется достаточно прихотливым правилам. Так, выражение *лечь в больницу* на британский английский переводится как *go to hospital*, а на американский английский — как *go to the hospital*; *ходить в школу* следует перевести на английский как *go to school*, *ходить в колледж* — как *go to college*, но *ходить в университет* — как *go to the university*.

До сих пор речь шла об абстрактно-референтных ИГ, характеризующихся определенностью. Возможна для абстрактно-референтных имен и неопределенная референция. Сюда относятся такие примеры, как *Иван может убить медведя*; *Лампочка имеет форму груши* и т.д. Е. В. Падучева [1985: 97] относит такие употребления к родовым. Однако представляется, что нельзя говорить, будто референция здесь

³ Наряду с этим имеются имена, для которых выбор единственного или множественного числа при родовом употреблении лексикализован — ср. *Я люблю огурцы, помидоры, свеклу, морковь*, но не *Я люблю *огурец, *помидор, *свеклы, *морковки* (о такой лексикализации см., в частности, [Поливанова 1983]; семантическая мотивированность лексикализации такого рода обсуждается в книге [Wieizbicka 1988]; см. также [Бурас, Кронгауз 1990] и указанную там литературу).

⁴ Не следует смешивать абстрактные ИГ с ИГ, обозначающими абстрактные индивиды. Говоря об абстрактном индивиде, мы абстрагируемся от различий между разными временными манифестациями индивида; говоря об абстрактных ИГ, мы абстрагируемся от различий между разными индивидами, принадлежащими одному классу.

производится к целому классу объектов (пусть даже в лице наиболее типичных представителей), как в примерах *Собака — друг человека* или *Норвежцы высокого роста*. Скорее, можно полагать, что в указанных примерах, как и в случае с определенными абстрактно-референтными ИГ, говорящий игнорирует различия между индивидами внутри некоторого класса. Но если для определенных абстрактно-референтных ИГ индивидуальные различия нерелевантны, поскольку говорящий как бы отождествляет всех индивидов внутри класса (или, что то же, представляет класс как бы состоящим из одного индивида), то для неопределенных абстрактно-референтных ИГ нерелевантность индивидуальных различий связана с тем, что все члены класса рассматриваются как одинаковые, обладающие эталонными признаками («default value»), которые только и существенны для рассматриваемой ситуации.

Разумеется, противопоставление определенности и неопределенности для абстрактно-референтных ИГ должно удовлетворять тем же критериям определенности, что и для ИГ прочих типов. И действительно, отождествляя всех представителей некоторого класса, мы тем самым считаем сам факт принадлежности к данному классу индивидуализирующим признаком, а поскольку этот признак выражен в наименовании, он является нетривиальным. Если же все члены класса одинаковы в отношении набора эталонных признаков, то один факт принадлежности к классу не позволяет выделить соответствующий индивидуальный объект из этого класса и тем самым индивид не обладает нетривиальным индивидуализирующим признаком.

Таким образом, мы видим, что предлагаемые в данной главе критерии определенности являются универсальными — в том смысле, что позволяют охарактеризовать по признаку определенности — неопределенности не только индивидуальные ИГ, но и генерализованные ИГ, а также особый тип индивидуальных ИГ — абстрактно-референтные ИГ.

3.2. Кванторные выражения русского языка: семантика, референция, коммуникативные свойства*

а) Естественная языковая и логическая квантификация

Анализ категории определенности продемонстрировал нам роль квантификации, т.е. количественной оценки, даваемой референту, для установления типа референции. Действительно, одно из возможных определений определенности основано на количественном совпадении референта ИГ с ее экстенсионалом в релевантном денотативном пространстве. Если же референт составляет лишь часть экстенсионала, мы имеем дело с неопределенностью. Отсюда референциальная роль показателей количественной оценки — так называемых кванторных выражений. В частности, как указывалось выше, И. И. Ревзин считал кванторные выражения одним из двух основных типов референциальных показателей, наряду с коммуникативными локализаторами.

Поэтому не случайно в работах, посвященных логическому анализу естественного языка, много внимания уделяется механизмам квантификации и значению кванторных выражений. Однако чаще всего объектом исследования оказываются языковые выражения, значения которых подобны значению логических кванторов. Фактически ставится вопрос о том, как значения логических кванторов передаются средствами естественного языка. Широко обсуждались вопросы о сводимости значения русских неопределенных местоимений (всех или только некоторых) к значению квантора существования (\exists). Рассматривались также естественные языковые аналоги квантора общности (\forall), напр. русские обобщающие местоимения: *всякий, каждый, любой, какой бы то ни было, все* и т. д. Кванторные выражения часто рассматриваются как наиболее «объективные», «логические» языковые единицы, функционирование которых в минимальной степени связано с коммуникативными, прагматическими факторами.

Между тем, как мы постарались показать в [Булыгина, Шмелев 1988б] формальный аппарат, необходимый для описания квантификации в естественном языке, далеко не исчерпывается инструментом анализа, принятым в математической логике.

* В основу данного раздела положены исследования, проведенные совместно с Т. В. Булыгиной.

Прежде всего, отметим, что интерпретация естественной языковой квантификации, скорее всего, должна быть основана не на классической теории множеств (set-theory), а на теории, аксиоматика которой разработана Г. Бантом (ensemble-theory, см. [Bunt 1985]). В основу аксиоматики Г. Банта кладется не отношение «элемент — множество», а отношение «часть — целое». На основе этого отношения и определяются все операции над множествами.

Обычные дискретные множества оказываются при таком понимании частным случаем бантовых множеств (ensembles). Необходимость использования для описания естественной языковой квантификации именно расширенного понимания множества связано с тем, что в естественном языке количественной оценке подвергаются не только множества, состоящие из отдельных элементов, но и неисчислимы совокупности: мы говорим не только *много книг, все книги*, но и *много хлеба, весь хлеб*.

Другая особенность естественной языковой квантификации состоит в том, что в естественном языке используются количественные оценки двух различных типов (ср. [Larsson 1973]).

При квантификации первого типа оценивается количественное соотношение референта именной группы (ИГ) с «исходным» («объемлющим») множеством. Кванторное слово при этом типе квантификации, подобно логическому квантору, указывает на совпадение референта с «объемлющим» множеством (напр., в предложении *Все геологи — романтики и поэты* (Ю. Казаков) референт ИГ *все геологи* совпадает с «объемлющим» множеством — экстенсионалом слова *геологи*) или на то, что референт представляет собою подмножество «объемлющего» множества (напр., в предложении *Некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут* (Ю. Казаков) референт ИГ *некоторые писатели* — подмножество экстенсионала слова *писатели*). В роли исходного множества могут выступать и конечные множества объектов, задаваемые описанием или находящиеся в «поле зрения» участников коммуникации: *Некоторые из моих друзей — лингвисты; Все они красавцы, все они таланты, все они поэты* (Окуджава). Данный тип квантификации можно назвать логическим.

Наряду с ним в естественном языке используется и другой, совершенно отличный тип квантификации, представленный в предложениях типа *В комнате было много народу*. Здесь вопрос о количественном отношении числа людей, находившихся в комнате, к какому-либо исходному множеству, напр., к мно-

жеству всех живущих на земле людей, ни в коей мере не релевантен. Кванторное слово в этом предложении оценивает не референт по отношению к какому-либо «объемлющему» множеству, а по сравнению с некоторым стереотипом — тем количеством, которое говорящий ощущает нормальным для данной ситуации. Этот тип квантификации, который можно назвать прагматическим, в корне отличается от логической квантификации.

Наконец, для естественной языковой квантификации существенной оказывается коммуникативная сторона. Эта сторона функционирования кванторных выражений нередко ускользает от внимания при логически ориентированном подходе. В русском языке есть слова, интерпретируемые в словарях как синонимичные или квазисинонимичные (напр., *мало* и *немного*), которые тем не менее в реальном употреблении передают полностью различную информацию. Это, по-видимому, связано с особенностями коммуникативной структуры кванторных слов; напр., для слов одного типа существование квантифицируемого множества может входить в ассертивный, а для слов другого типа — в пресуппозитивный компонент.

Все сказанное позволяет предположить, что исследование взаимоотношений квантификации в естественном языке и в языке математической логики должно вестись со стороны первого. Ниже мы обратим внимание на некоторые свойства русских кванторных слов, которые иллюстрируют функционирование механизмов естественной языковой квантификации и их роль в общей системе референциальных механизмов русского языка.

б) Кванторные выражения, указывающие на полноту охвата: лексемы *весь*, *всякий*, *каждый*

Явно недостаточное внимание в работах, анализирующих естественный язык со стороны логики, уделяется лексеме *весь*. Это особенно заметно на фоне большого числа работ, в которых рассматривается форма *все* как один из естественной языковых аналогов квантора общности. Тот факт, что значение формы *все* легко может быть сопоставлено со значением квантора общности, тогда как форма *весь* не имеет очевидного логического аналога, приводит многих исследователей к мысли о том, что *весь* и *все* не могут рассматриваться как формы одной лексемы. Иногда эта мысль принимается в неявном виде (когда говорят о лексеме *все*, игнорируя или отвергая традиционный взгляд,

в соответствии с которым *все* — форма множественного числа лексемы *весь*), иногда мотивируется существованием важных семантических различий между *весь* и *все*. Так, в [Зализняк, Падучева 1974: 33] отмечается, что «значение слова *весь* — ‘целиком’ — при переводе определяемого существительного во мн. число не сохраняется: *Я помню весь рассказ* = *Я помню один имеющийся в виду рассказ целиком*; *Я помню все рассказы* = *Я помню каждый из имеющихся в виду рассказов* (\neq *Я помню каждый из имеющихся в виду рассказов целиком*)». Иными словами, *все* не имеет значения ‘целиком каждый предмет, о множестве предметов’. При этом *все* в предложениях типа *Извел все чернила* рассматривается А. А. Зализняком и Е. В. Падучевой как форма «ед. числа четвертого рода» лексемы *весь*, употребляющаяся при согласовании с существительными *pluralia tantum*.

При таком подходе *весь* рассматривается как показатель того, что объект берется «целиком» и значение этого слова может сопоставляться в первую очередь со значением слова *целый*, тогда как *все* рассматривается как квантор, применяемый к множеству объектов, которые берутся по отдельности, и сопоставляется с такими словами, как *всякий* или *каждый*.

В то же время необходимо отметить, что между значениями *весь* ‘в полном объеме’ и *все* ‘в полном составе’ нет никакой непроходимой границы. Наряду с использованием *все* в «totalном» значении (т. е. как бы в качестве формы слова *весь*, причем не только в сочетании с существительными *pluralia tantum*, ср. *Все руки исцарапаны*; *Просидел дома все пять дней*; *Все эти годы он любил ее*), следует отметить и использование формы единственного числа для квантификации дискретных множеств: *На дачу вывезли всю мебель* (\approx ‘все столы, стулья и т. д.’). О возможности дискретного понимания собирательных имен, квантифицируемых при помощи формы единственного числа *весь*, свидетельствует, в частности, сочетаемость с дистрибутивными предикатами, как, скажем, в примерах из работы [Булыгина, Шмелев 19886: 7] ...*При взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон* (Пушкин); ср. также *Весь сектор перессорился*; *Вся семья разъехалась* (\approx *Все домашние разъехались*); *Все стулья, столы, сундуки* (\approx *Вся мебель*) *были переломаны, вся посуда перебита*; *Прочел всего Шекспира* (‘все произведения Шекспира’). Вообще дискретное или недискретное понимание часто зависит от предиката или других элементов контекста: напр., в строчке *Вся комната в табачной синева* (Мандельштам) кванторное слово *весь* квантифицирует недискретный объект — пространство, а в предложе-

нии *В кабинете коменданта собралась вся наша комната* — дискретное множество людей. Ср. также недискретное понимание в *съел всего гуся* и дискретное — при наличии более широкого контекста: *Что ж, Петрович, омуля всего съел, ни одного на развод не оставил?* (Ю. Казаков).

Таким образом, не обнаруживается корреляция между противопоставлением дискретного значения 'в полном составе' и недискретного 'в полном объеме', с одной стороны, и противопоставлением форм множественного и единственного числа — с другой. Мы не имеем оснований рассматривать форму *весь* как показатель тотальной референции, а форму *все* — как показатель распределенной референции. В предложении *Все эти годы он любил ее* ИГ имеет недискретное осмысление, несмотря на множественное, а в примере *Я, перебрав весь год, не вижу того счастливого числа...* (К. Симонов) — ИГ *весь год*, несмотря на единственное число, рассматривается как обозначение дискретного множества — собрания дат, относящихся к данному году.

В примерах типа *Выпил все молоко (все сливки), съел все печенье, все пирожные и конфеты* представляется очевидным полный параллелизм в употреблении форм единственного и множественного числа. И использование бантовской аксиоматики дает нам возможность сформулировать единое значение местоимения *весь*: совпадение референта соответствующей ИГ с «объемлющим» множеством. Напомним, что под множеством (*ensemble*) в системе Г. Банта понимается любой объект, у которого можно выделить части, по отношению к которым он выступает как целое. Выбор формы единственного или множественного числа местоимения определяется поверхностно-синтаксическими правилами согласования, хотя статически чаще (но не всегда) единственное число соответствует недискретному, а множественное число дискретному пониманию. Различие между дискретным и недискретным пониманием ИГ связано не со свойствами кванторного слова, а с типом исходного множества, т.е. со значением имени в соответствующем контексте; а в ряде случаев противопоставление дискретного и недискретного понимания вообще оказывается нерелевантным (ср. ...*на весь бы мир одна Наткала я полотна* [Пушкин]).

Существенно обратить внимание на то, что квантификация при помощи *весь/все* оказывается успешной, только если «объемлющее» множество является определенным для адресата речи. Такая определенность может иметь место в двух случаях: (1) когда «объемлющее» множество включает все объекты данного типа, т.е. представляет собою экстенционал соответ-

ствующего имени (ср. *Все дети, кажется, уснули*); (2) когда «объемлющее» множество состоит из одного или нескольких объектов, введенных в поле зрения адресата речи или однозначно определяемых выбранной дескрипцией (ср. *Все слоны любят земляные орехи*)⁵. В первом случае мы имеем дело с общеродовой (универсальной) референцией, во втором — с конкретной определенной референцией: (1) *Замечу кстати: все поэты Любови мечтательной друзья*; (2) *Но панталоны, фрак, жилет — Всех этих слов на русском нет; Онегин молча отвечал И после во весь путь молчал*⁶. Таким образом лексема *весь* в русском языке выступает в качестве показателя определенности.

Значение определенности отличает кванторную лексема *весь/все* от прилагательного *целый*. Последнее вообще не является кванторным выражением в собственном смысле слова. Оно не квантифицирует множества и не является референциальным показателем. Количественное значение словосочетаний со словом *целый* возникает потому, что оно присоединяется к ИГ, которые сами по себе связаны с идеей количества (часто это названия той или иной меры: времени, объема и т.п.). Иными словами, «количественность» характеризует не собственно семантику, а сочетаемость слова *целый*. *Целый* в сочетании с существительными количественной семантики имеет прагматическое значение: «надеюсь, ты понимаешь, что это много». Невозможны сочетания *целый* с ИГ, не указывающими на количество, в частности — с названиями открытых классов или с вещественными существительными: *Все (но не *Целые) дети любят мороженое; Он выпил все (*целое) молоко*.

Таким образом, условия употребления слов *весь* и *целый* полностью различны. У слова *весь* практически нет селективных ограничений, поскольку мы можем что угодно мыслить состоящим из каких-то частей. Но это слово предполагает известность квантифицируемого множества адресату речи и потому имеет тенденцию использоваться в составе ИГ, входящих в тематический компонент высказывания. Напротив того, слово *целый* характеризуется сильными селективными ограничениями — как уже говорилось, оно сочетается только со словами количественной семантики (или имеющими количественные коннотации) и принадлежит к классу слов, которые, так сказать, исключают тематичность.

⁵ Ср. используемые С. А. Крыловым [1984] термины «перманентная известность» и «окказиональная известность».

⁶ Мы видим, что и здесь, как и во многих других случаях, общеродовые имена ведут себя как определенные.

Рассматриваемые слова могут употребляться и в тождественных контекстах, а именно в сочетании со словами количественной семантики или предполагающими количественность. Но в этом случае соответствующие ИГ различаются по значению. Сочетания лексем *весь/все* и *целый* со словами количественной семантики различаются тем, что в первом случае выражается значение определенности. Ср., например, *Иван выпил всю бутылку водки* и *Иван выпил целую бутылку водки*. Первое высказывание может иметь целью сообщение о том, что некоторой известной адресату бутылки водки больше нет (указание на значительное количество выпитого отсутствует), т.е. что количество выпитой водки составляет содержимое данной бутылки в полном объеме. Второе же может информировать адресата речи о плачевном состоянии Ивана; оно не предполагает, что адресату было известно о наличии бутылки водки, а сообщает о количестве выпитой водки, по мнению говорящего, превышающем норму. Иными словами, слово *целый* в сочетании *целая бутылка водки* не дает количественной оценки референта, а прагматически оценивает количество ('водка в количестве одной бутылки'), на которое указывает подчиняющая ИГ.

Подобным образом, такие ИГ, как *весь день*, *всю неделю*, *весь месяц*, могут быть употреблены, если известно, о каких дне, неделе, месяце идет речь, другими словами они почти синонимичны ИГ *весь этот день*, *всю эту неделю*, *весь этот месяц* (ср. неупотребительность сочетаний типа **целый этот день*). *Весь день* и *целый день* различаются по значению: *целый день* только указывает на длительность, но при этом может быть неизвестно, какой день имеется в виду.

Таким образом, *весь* и *целый*, часто рассматриваемые как синонимы, не могут быть взаимозаменяемы в большинстве контекстов. Единственный случай, когда они оказываются близки по значению, — сочетания с именами, одновременно выражающими значение количества («объемности») и определенности: ср. *...только вряд Найдете вы в России целой Три пары стройных женских ног* (\approx *во всей России*); *Во всем мире* (\approx *В целом мире*) *нет таких лошадей*.

Упомянем также о семантическом отличии формы *все* от лексемы *каждый*, которое состоит в том, что *каждый*, в отличие от *все*, выражает значение выделенности, т.е. предполагает индивидуальное рассмотрение элементов множества, участвующих в описываемой ситуации. Напр., как некоторая неправильность воспринимается следующее предложение (перевод со словацкого): *В подобной ситуации каждый мужчина ведет себя одинаково*

глуго (лучше было бы сказать: *все мужчины*). Индивидуальное рассмотрение элементов множества оказывается несовместимым с «симметричным» предикатом, включающим слово *одинаково*.

Во фразе, открывающей «Анну Каренину»: *Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему*, — выбор двух разных кванторных лексем, конечно, не случаен. Показателен псевдоперевод этой фразы на англ. яз., сделанный Набоковым в «Аде» *All happy families are more or less dissimilar, all unhappy ones are more or less alike*. Дело здесь в том, что, якобы цитируя Толстого, Набоков не только переворачивает смысл толстовской сентенции, но и меняет форму выражения, употребляя в обоих случаях симметричные предикаты *быть похожим* и *быть непохожим*, требующие в английском, как и в русском, кванторной лексемы со значением «все», а не «каждый».

Таким образом, слово *каждый*, в отличие от *весь/все*, квантифицирует лишь множества, состоящие из элементов (sets), а не любые бантовы множества. Его значение максимально близко к значению логической квантификации некоторого множества M , т.е. $\forall x \in M$, и может быть сформулировано на языке логики как 'Какой бы элемент x (из) множества M мы ни взяли...', иными словами, утверждение *Каждый x p* в логической нотации записывается как $(\forall x \in M)(p(x))$. Множество M при этом предполагается известным адресату речи (вследствие «перманентной» или «окказиональной» известности). Оно может представлять собою как открытое множество (т.е. класс — ср. *Каждый человек имеет право искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ*), так и ограниченное множество (т.е. множественный индивид — ср. *На этой неделе каждый день случалось что-нибудь непредвиденное*).

Несколько иным значением обладает местоимение *всякий*⁷. Оно может использоваться только по отношению к открытым классам и не предполагает поэлементного рассмотрения элементов множества. Из этого следует, что оно совместимо лишь с гномическими предикатами и не может использоваться в составе ИГ, подчиненных эпизодическим предикатам (см. главу 2); аномально **Всякий мужчина уступил такой женщине место в автобусе* (ср. правильное *Всякий мужчина уступит такой*

⁷ Особенности семантики местоимения *всякий* и его отличия от *каждый* проанализированы в статье М. А. Кронгауза [1984], откуда мы и заимствуем ряд примеров.

женщине место в автобусе с гномическим уступит); **Всякий человек умер* (ср. правильное *Всякий человек смертен*) и т.д. Только *всякий* (но не *каждый*) может быть употреблено, когда квалифицируемое множество не является множеством в классическом смысле (set): ср. *Всякая (*Каждая) ирония содержит в себе оценку того, что осмеивается; Придет день, и всякая (*каждая) невинно пролитая кровь будет отмщена; Всякая (*Каждая) жалость унижает человека*. В частности, только *всякий* (но не *каждый*) может присоединяться к именам, содержащим незаполненные (и не заполняемые конситуативно) семантические валентности: *Всякий (*Каждый) друг познается в беде; Всякая (*Каждая) форма — это плоть содержания*. Сочетание *каждое множество* может быть корректно употреблено только если речь идет о множествах из некоторого заданного набора (\approx 'каждое из этих множеств'); *всякое множество* можно сказать о множествах вообще. Это, несомненно, связано с тем, что в классической теории множеств нет понятия 'множество всех множеств' (которое предполагалось бы общеродовым употреблением сочетания *каждое множество*), а его постулирование приводит к известному парадоксу.

в) Кванторные выражения, указывающие на большое и малое количество: *мало, много, немногие, многие* и др.

Перейдем к рассмотрению слов, непосредственно указывающих на малое или большое количество квантифицируемого множества, а именно слов *мало, много, немногие, многие* и др.

Распространенные представления о семантике слов *мало* и *немного*, отраженные и в словарных толкованиях, заключаются в том, что эти слова имеют очень близкое значение — и то и другое указывает на небольшое количество или на небольшую степень проявления признака. Действительно, в некоторых контекстах эти слова взаимозаменяемы с сохранением смысла высказывания (ср. *Денег у него осталось совсем мало* и *Денег у него осталось совсем немного*). Однако есть и такие высказывания, которым слова *немного* и *мало* придают скорее противоположное значение или, по крайней мере, противоположную коммуникативную предназначенность. Высказывание *Ивана немного беспокоил исход дела* сообщает об обеспокоенности Ивана, высказывание *Ивана мало беспокоил исход дела* — о том, что Иван не волновался.

То же самое верно и в отношении таких высказываний, как *У меня дома есть немного водки* и *У меня мало водки*. В ответ на

предложение *Почему бы нам не выпить?* первое звучит почти как приглашение, а второе — скорее как объяснение, почему предложение не может быть принято.

Такие явления могут быть объяснены исходя из особенностей семантики и информационного потенциала слов *мало* и *немного*.

Высказывание со словом *немного* содержит прежде всего утверждение о существовании квантифицируемого множества или проявлении признака. Посредством высказывания, содержащего слово *мало*, говорящий сообщает, что квантифицируемое множество меньше или признак проявляется в меньшей степени, чем можно было бы ожидать, а само существование квантифицируемого множества или признака является при этом пресуппозицией, и в этом смысле *мало* является «пресуппозиционно маркированным» (термин из работы [Givón 1971: 55 и сл.]). Любопытно, что Т. Гивон в цитированной работе рассматривает «пресуппозиционную маркированность» как признак единиц, содержащих (возможно, скрытое) отрицание. В этом смысле можно сказать, что в русской паре *мало — немного* семантическое отношение обратное морфологическому. Содержащее морфологическое отрицание *немного* не является, с точки зрения данного критерия, семантически отрицательным, а *мало* должно рассматриваться как семантически отрицательная единица.

Рассматриваемая особенность актуального членения объясняет неупотребительность слова *мало* в собственно экзистенциальных предложениях, т.е. в предложениях вида *У X-а есть...: нельзя сказать *В книге есть мало опечаток; *У меня есть мало денег; *Нет ли у тебя мало соли?* (ср.: *У меня есть немного денег; Нет ли у тебя немного соли?*). Такие предложения неправильны именно потому, что экзистенциальное *есть* сообщает о существовании как о чем-то новом (и в предложениях с *не* существование также находится в коммуникативном фокусе), а наличие слова *мало* указывает на то, что существование входит в пресуппозицию, т.е. предполагается заранее. Информационный потенциал слова *мало* отражается и на интонационных характеристиках соответствующих высказываний: *мало* обычно несет на себе логическое ударение. Существенно при этом, что его коммуникативная роль не зависит от интонации. Информация о релативности слова *мало* — это словарная характеристика данной лексемы. Поэтому, даже если высказывание *У меня мало денег* встретилось нам в письменном тексте, мы понимаем, что наличие денег — пресуппозиция, а то, что их мало, —

ассерция. Представляется, что указанное свойство слова *мало* заслуживает лексикографической фиксации.

Слово *немного* обладает иными коммуникативными свойствами. Высказывание, в котором *немного* квалифицирует признак, выражает собой сообщение о самом факте проявления этого признака, а то, что признак проявляется в небольшой степени, составляет добавочное сообщение. Поэтому *немного* в таких предложениях никогда не может нести главного логического ударения (ср. *Я немного устал*; *Она немного странная* и т.п.). Часто добавочное сообщение, заключенное в слове *немного*, совсем отходит на задний план, так что *немного* используется только для «смягчения» высказывания. Высказывание *Она немного странная* не означает, что «количество» странности меньше, чем можно было бы ожидать. Скорее, таким образом «смягчается» более сильное утверждение, как иллюстрирует следующий диалог из перевода одного романа Айрис Мердок: *Она немного странная, не правда ли? — Вы имеете в виду сдвинутая, сумасшедшая.*

Что касается высказываний, в которых *немного* квантифицирует множество, то они коммуникативно неоднозначны.

Если *немного* не несет логического ударения, актуальное членение сходно с актуальным членением предложений, в которых *немного* квантифицирует предикативный признак: сообщение о существовании квантифицируемого множества и есть основное сообщение, тогда как существование этого множества в небольшом количестве — дополнительное сообщение. Таким образом, предложение *У меня осталось немного денег* имеет два прочтения: с ударением на слове *немного* оно сообщает, что денег осталось мало, без ударения на этом слове оно сообщает, что остались деньги (и при этом немного). На письме это различие выражается в том, что в первом случае *не много* может писаться раздельно: *У меня не много денег*, *В кабаках меня не любят* (Мандельштам); *Но таких удач в романе не много* (В. Шкловский)⁸.

⁸ Тем самым мы видим, что практика (отражающая языковую интуицию пишущих) противоречит букве рекомендаций, содержащихся в некоторых орфографических пособиях: писать *немного* слитно, когда оно синонимично слову *мало*. Авторы таких рекомендаций некритично применяют принцип, действующий во многих аналогичных случаях: писать *не-* слитно в тех случаях, когда соответствующий комплекс можно заменить синонимом без *не-*. Предполагается, что в таких случаях *не-* уже не выражает отрицания и превращается в приставку. Но, в силу отмеченного выше отсутствия параллелизма между семантикой

В тех случаях, когда слово *немного* относится к неисчисляемому имени, смысл высказывания может вообще состоять только в сообщении о существовании соответствующего (недискретного) множества, а сообщение о том, что множество невелико, может не просто отходить на задний план, а вообще не входить в смысл высказывания. В таких случаях *немного* означает просто «некоторое количество»: *Возьми на радость из моей ладони Немного солнца и немного меда* (Мандельштам; здесь *солнце* употреблено как вещественное имя). В сочетании с исчисляемыми именами (когда квантифицируется дискретное множество) в этом же значении чаще употребляется слово *несколько*.

Различие в коммуникативном поведении слов *мало* и *немного* не пропорционально различию между *много* и *немало*, как можно было бы ожидать, исходя из пропорциональности их морфологического строения. Слова *много* и *немало* гораздо более сходны между собой и по ряду признаков вместе противостоят, с одной стороны, слову *мало*, а с другой — слову *немного*. От *мало* они отличаются меньшей, а от *немного* — большей степенью рематичности. Будучи «менее рематичными», нежели *мало*, слова *много* и *немало* свободно употребляются (в отличие от *мало*) в собственно экзистенциальных предложениях со словом *есть*⁹: *У него есть немало недостатков; В работе есть много интересных наблюдений*.

Сходное соотношение (имеющее естественное прагматическое объяснение) наблюдается и между другими кванторными словами, занимающими соответствующие — полярные — места на количественной шкале, например, между словом *редко* (и его квазисинонимом *нечасто*), с одной стороны, и словом *часто* (и *нередко*) — с другой. Слово *часто* в позиции синтаксической безударности образует дополнительную ассерцию в высказываниях, главным утверждением которых является сообщение о самом наличии квантифицируемых событий, тогда как слово *редко* непременно должно быть главной ремой — его безударным, нерематическим коррелятом является слово *изредка*. Ср.:

слов *мало* и *немного* и их морфологическим строением, *не* выражает отрицание именно тогда, когда *немного* (*не много*) синонимизируется с *мало* (поскольку *мало* семантически отрицательно). Напротив того, если *не* — не выражает отрицания, *немного* не может иметь *мало* в качестве синонима.

⁹ Тем самым нуждается в уточнении замечание К. Чвани [Chvany 1973: 71]: «...*est*' does not normally appear in sentences whose „object“ is quantified or qualified».

Часто приезжали гости, и тогда он отрывался от рукописи; Изредка приезжали гости... или: Гости приезжали редко, но не *Редко приезжали гости, и тогда он отрывался от рукописи. Таким образом, мы имеем нечто вроде семантической (не морфологической!) пропорции: *немного* : *мало* : *много* (немало) \approx *изредка* : *редко* (*нечасто*) : *часто* (*нередко*).

Ср. следующий пример из В. Шкловского, в котором обращает на себя внимание некорректность употребления слова *редко* вместо более уместного *изредка* (или *иногда*) [Шкловский рассказывает о своем посещении больного Юрия Тынянова]: *Я просил, — сказал Юрий, — чтобы мне дали вино, которое мне давали в детстве, когда я болел. — «Сант-Рафаэль»? — спросил я. Мы были почти однолетки, и мне когда-то редко давали это сладкое желтое вино.* Если прочесть последнее предложение с фразовым ударением на глаголе (т.е. без выделения слова *редко*), то это будет противоречить просодическим правилам употребления слова *редко*, а если прочесть его с закономерным просодическим выделением — будет нарушена связность текста.

Возвращаясь к словам *много* и *немало*, отметим, что, даже находясь в позиции синтаксической безударности, они все же всегда входят в ассертивную часть высказывания, хотя бы на правах дополнительного утверждения. В этом и состоит их большая рематичность по сравнению со словом *немного*, которое в определенных случаях, как было отмечено, выполняет артиклеобразную функцию. Поэтому вхождение слов *немало* и *много* в некоторые типы высказываний с заранее заданным актуальным членением может вести к рематической перегрузке. Примером может служить отрывок из статьи о русском языке, написанной литовцем: *Необходимо заметить, что по сравнению с немецким языком литовский пассив не изучался так широко и глубоко. Только в последнее время его изучению было посвящено немало работ.* Последнее предложение, пожалуй, также аномально (хотя не в такой степени, как пример из Шкловского), и объясняется это, по-видимому, тем, что в составе экзистенциального предложения ИГ *немало работ* (характеризующихся хотя бы и ослабленной рематичностью) плохо сочетается с сильной рематической частью *только в последнее время*.

Мы рассмотрели особенности слов *мало*, *немного*, *много*, *немало*. Существенно, что эти особенности проявляются на фоне общих черт, объединяющих указанные слова. Все эти слова могут квантифицировать как дискретные, так и недискретные множества. При этом они дают количественную оценку относительно к исходному множеству — экстенсionalу квантифицируемой ИГ.

Высказывание *Осталось мало денег* указывает на то, что количество денег невелико по сравнению с ожидавшимся, но безотносительно к общему количеству денег в универсуме. Именно поэтому посредством слов *мало* и *немного*, так же как и *много*, можно дать количественную оценку всему экстенсионалу: *Много званных, но мало избранных; Лжей много, а правда одна; На свете много интересного*. Конечно, это не значит, что количественная оценка, даваемая посредством слов *мало*, *много*, *немного*, является абсолютной. Просто оценка, будучи относительной, дается по отношению к предполагаемой норме, а не по отношению к исходному множеству.

Указанные признаки отличают рассмотренные слова от их адъективных и субстантивных коррелятов *многие*, *немногие*, *многое*, *немногое* (для слова *мало* адъективным коррелятом будет *мало какие*, а субстантивным — *мало кто*, *мало что*). Названные корреляты всегда квантифицируют дискретные множества, поэтому адъективные корреляты могут сочетаться только с исчисляемыми именами. Для субстантивных коррелятов *многие*, *немногие*, *мало кто* в роли исходного множества выступает множество людей, а для слов *многое*, *немногое* — множество неодушевленных (часто абстрактных) и при этом разнородных объектов (ср. *Многое еще, наверно, хочет Быть воспетым голосом моим* [А. Ахматова]).

Другая важная особенность слов *многие*, *мало кто* и т.д. состоит в том, что оценка, которую они дают, — это не оценка по отношению к некоторой норме, а оценка количественного соотношения референта ИГ и исходного, объемлющего множества. Иными словами, они осуществляют не прагматическую, а логическую квантификацию. Высказывание *Многие лингвисты разбираются в математике* означает, что в математике разбирается значительная часть всего множества лингвистов. Субстантивные кванторные слова рассматриваемого типа также дают оценку референту по отношению к объемлющему множеству, что объясняет их употребительность в составе элективных ИГ: ср. *многие из них* при невозможности **много из них*. Иногда объемлющее множество не называется, а лишь подразумевается: в стихотворении Лермонтова «Бородино» *Немногие вернулись с поля* означает: немногие из тех «богатырей», о которых рассказывает старый солдат.

Соотношение коммуникативных свойств кванторных слов и сочетаний *немногие*, *мало какие*, *мало кто*, *мало что* во многом подобно особенностям их аналогов *немного* и *мало*. Сочетания *мало какие*, *мало кто*, *мало что* всегда соответствуют главной

реме предложения. Ср.: *Город еще военный, мало кто вернулся, и те, кто вернулись, тоже думают о войне* (В. Шкловский). Другими словами, единственная ассерция предложения, содержащего такие сочетания, — это сообщение о том, что суждение касается лишь небольшой части объемлющего множества.

Слово *немногие* употребляется двояким образом. В тех случаях, когда оно несет на себе главное логическое ударение, оно выражает единственную ассерцию предложения (как в высказывании *Немногие вернулись с поля*). Но возможны и высказывания, в которых *немногие* не несет на себе главного логического ударения и выражает лишь добавочную ассерцию.

Так, например, приведенное выше сложносочиненное предложение из Шкловского — с двумя самостоятельными утверждениями: (1) *Мало кто вернулся* и (2) *те, кто вернулись, тоже думают о войне* — соотносимо с близким по смыслу свернутым простым предложением, в котором сообщение о малочисленности субъекта составляет дополнительное утверждение: *Город еще военный. Немногие вернувшиеся тоже думают о войне*. При этом квантификация, выражаемая словом *немногие*, может быть дополнительным сообщением, но не может полностью отойти на задний план: если количественная оценка дискретного множества вообще не существенна для смысла высказывания, используется кванторное слово *некоторые* — адъективный и субстантивный коррелят слова *несколько* (в этом отношении *немногие* отличается от *немного*).

Отметим также ряд особенностей кванторного прилагательного *немногие*, отличающих его от *многие*. Так, *немногие* (в отличие от *многие*) свободно сочетается с признаком определенности: употребительно сочетание *те немногие* и сомнительно **те многие* (речь идет об определенности референта, а не объемлющего множества: референт сочетания *многие из них* является неопределенным, хотя объемлющее множество определенное).

Еще одно отличие от *многие* (связанное с первым) состоит в том, что слово *немногие* может участвовать в квантификации обоих типов: и логической, и прагматической. Так, в предложении *На Петин доклад пришли немногие друзья* это слово — в зависимости от просодического контура — может либо давать количественную оценку всему множеству Петиных друзей по отношению к предполагаемой количественной норме имеющих у человека друзей (т. е. указывать на то, что у Пети не так много друзей: тогда *немногие друзья* \approx *его немногочисленные друзья*), либо оценивать количественное отношение актуального множества к исходному (*немногие друзья* \approx *незначительная*

часть множества Петиных друзей»). В первом случае мы имеем дело с прагматической квантификацией, во втором — с логической. Слово *многие* выражает только значение второго типа (логическое), тогда как значение первого типа (прагматическое) выражается прилагательным *многочисленные*.

В большинстве случаев потенциальная неоднозначность сочетаний, включающих слово *немногие*, разрешается в контексте. Так, мы можем уверенно говорить, что в следующих двух примерах различие в значении не сводится к указанию на малочисленность субъекта в (1) и его многочисленность в (2): (1) *Немногие присутствующие лингвисты обиделись, услышав, что лингвистика не наука* (\approx 'Присутствующие лингвисты — а их было немного — обиделись...'); (2) *Многие присутствующие лингвисты обиделись, услышав, что лингвистика не наука* (\approx 'Многие из присутствующих лингвистов...', т.е. 'Некоторые, причем значительная часть, из присутствующих лингвистов...'). Здесь в (1) имеет место прагматическая квантификация, а (2) — логическая. Но иногда интерпретация квантификации, выраженной словом *немногие*, не столь ясна (возможно, что «диффузно» выражаются оба значения). Ср.: *Его редактор принадлежал к тем немногим людям, которые сразу по «альфе» (1905 г.) поняли «омегу» (1917 г.) русской революции* (В. Шульгин) — то ли '...к тем немногим из людей...', то ли '...к тем людям (а их было меньше, чем можно было ожидать)'.

Наконец, следует отметить несимметричность количественных оценок «незначительная часть объемлющего множества» — «значительная часть объемлющего множества». О «незначительной части» можно говорить только в случае, если эта часть не превышает половины исходного множества; но оценка «значительная часть» может даваться по отношению к подмножеству, большему или меньшему половины исходного множества. Поэтому можно сказать *Многие ушли, но многие и остались*, но нельзя **Мало кто ушел, но мало кто остался*¹⁰.

¹⁰ В работе [Булыгина, Шмелев 1988б: 17] отмечается сходное различие в поведении слов *возможно* и *вероятно*: допустимо высказывание *Возможно, Петя уйдет, возможно — останется*, но неправильно **Вероятно, Петя уйдет, вероятно — останется*. Объяснение здесь сходно: слова типа *вероятно* употребляются в тех случаях, когда по оценке говорящего вероятность больше 50 процентов.

г) Краткие выводы

Итак, для описания механизмов квантификации в русском языке существенно учитывать прагматические и коммуникативные особенности различных кванторных лексем, а также их сочетаемостные свойства. Кратко перечислим факторы, влияющие на выбор и употребление кванторной лексемы.

1) Существенную роль играет дискретность — недискретность квантифицируемого множества. Так, выбор лексем *несколько* и *немного* зависит от признака дискретность — недискретность: ср. *Он съел немного супа / несколько ложек супа*. Слово *несколько* квантифицирует только дискретные множества и отличается в этом отношении от слов *сколько* и *столько*, которые (в именительном и винительном падеже) могут использоваться и для квантификации недискретных множеств. С противопоставлением по дискретности связано и различие слов *число* и *количество*; ср. пример ошибки, связанной с неучетом противопоставления по дискретности, из одного лингвистического сочинения: **Такой подход требует учета большого числа разноаспектной информации*.

2) Очень существенно различие в типе информации. Оно, в частности, обуславливает различное употребление слов *несколько* и *некоторые*; *несколько* указывает на то, что референт состоит из неопределенного числа объектов (обычно от трех до семи — безотносительно к числу объектов какого-либо «объемлющего» множества); *некоторые* в количественном значении указывает на то, что референт представляет собою неопределенную часть исходного множества. Логическая квантификация свойственна словам *весь/все, многие, многое*, прагматическая — словам *много, мало, немного*. Смешение указанных типов квантификации отражено в примере из Шкловского: *Толстой предвидел возмущения, и у него много осталось в черновиках* — следовало бы сказать *многое* (правда, в данном примере нарушена и поверхностно-синтаксическая правильность: словам типа *много* не свойственно субстантивное употребление).

Чрезвычайная важность коммуникативных характеристик кванторных слов иллюстрируется поведением таких лексем, как *мало, немного, много; немногие, многие; редко, изредка* и т. п. Их учет заставляет пересмотреть когнитивное значение и отказать от узкологического подхода к естественной языковой квантификации.

Глава 4

Определенность и неопределенность: виды референциальных противопоставлений

4.1. Постоянное и переменное денотативное пространство

а) Дистрибутивная референция

Релевантное денотативное пространство может быть переменным. В этом случае переменным оказывается и референт соответствующей ИГ. Возьмем, напр., высказывание *В каждом равнобедренном треугольнике медиана совпадает с биссектрисой*. Ни о каком конкретном треугольнике речь не идет; высказывание имеет обобщенное значение. В то же время нельзя предположить, что референт слова *медиана* — множество всех медиан всех равнобедренных треугольников, а референт слова *биссектриса* — множество всех биссектрис: ведь утверждение о совпадении всех медиан и всех биссектрис просто лишено смысла. Совпадение, о котором идет речь, имеет место в пределах «микромира» любого равнобедренного треугольника; тем самым в роли релевантного денотативного пространства здесь поочередно выступают «микромиры» различных равнобедренных треугольников. Референты слов *медиана* и *биссектриса* фиксируются внутри каждого такого «микромира», но остаются нефиксированными в целом.

Часто релевантное денотативное пространство бывает переменным, когда оно задается поочередно выбираемыми элементами некоторого введенного в рассмотрение множества. В этом случае ИГ, вводящая в рассмотрение данное множество, выступает в роли «миропорождающей». Ср.: *Конь иногда сбивает седока* (Пушкин) — переменное денотативное пространство для слова *седок* вводится «миропорождающей» ИГ *конь*; *Иногда лю-*

бовники убивают своих любовниц (Чехов) — «миропорождающая» ИГ *любовники* вводит денотативное пространство, релевантное для ИГ *своих любовниц*; *Конец венчает дело* (пример Е. В. Падучевой) — «миропорождающая» ИГ *дело* обуславливает нефиксированность референта ИГ *конец*.

В случае когда к ИГ, «порождающей» переменное денотативное пространство, производится анафорическая отсылка, мы имеем дело с так называемой «коассигнацией», напр. ...*каждый, вольностью дыша, Готов охлопать entrechat...*, *Чтоб только слышали его* (Пушкин); *Каждый пишет, что он слышит* (Окуджава). В классификации Е. В. Падучевой [1979] анафорическому местоимению при коассигнации соответствует особый денотативный статус — ИГ-переменная. Однако следует иметь в виду, что местоимение не единственный способ индексальной референции, связанной коассигнацией с множественной ИГ: ср. ...*Он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот высказывал намерение загулять* (А. Грин).

Представляется, что во всех рассмотренных случаях имеет место один и тот же тип референции — определенная референция в переменном денотативном пространстве. В пределах каждого из изменяющихся денотативных пространств референт определяется однозначно, хотя по отношению к различным из этих денотативных пространств ИГ соотносится с различными референтами. Такую разновидность определенной референции целесообразно назвать дистрибутивной определенностью [Шмелев 1984в: 7]. В случае, когда ИГ обозначает объекты, распределенные по некоторому множеству денотативных пространств, и при этом в каждом из изменяющихся денотативных пространств имеет место неопределенная референция, можно говорить о дистрибутивной неопределенности. В каждом из меняющихся денотативных пространств дистрибутивно неопределенной ИГ соответствует свой объект, хотя в каких-то из пространств объекты могут и совпасть; ср. *У любых двух людей найдется тема для разговора*: «миропорождающая» ИГ — *любых двух людей*, дистрибутивно неопределенная ИГ — *тема для разговора*.

Дистрибутивная неопределенность имеет в русском языке специальное средство выражения — местоимения на *-нибудь*, передающие значение нефиксированности референта в реальном мире: ср. *Каждый день к нему кто-нибудь приходил*; *У каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант* (Чехов); *Я вставал рано с рассветом и тотчас принимался за какую-нибудь работу* (Чехов).

Дистрибутивные ИГ отличаются двойственностью референциальных характеристик. По отношению к каждому из меняющихся денотативных пространств дистрибутивная ИГ характеризуется соотносительностью с фиксированным референтом; с другой стороны, по отношению ко всей совокупности этих пространств такая ИГ может пониматься обобщенно. Слово *отца* в высказывании *Всякий человек должен почитать отца* соотносится с конкретным лицом для микромира каждого отдельного человека, однако по отношению к совокупности всех людей слово *отца* понимается обобщенно, соотносится со всяким отцом.

Такую двойную соотносительность дистрибутивных ИГ необходимо учитывать в тех случаях, когда дистрибутивная референция лежит в основе соотносительности с внеязыковой действительностью целого отрывка. Именно на основе двойной соотносительности строятся многие математические рассуждения. Ср.: *Возьмем произвольный равнобедренный треугольник. Проведем в нем медиану. Докажем, что медиана образует с боковыми сторонами равные углы...* Предложения строятся так, как если бы речь шла о конкретном треугольнике, а ИГ *в нем, медиана, с боковыми сторонами* соотносились с конкретными объектами: с самим рассматриваемым треугольником или с определенными его элементами. С другой стороны, рассуждение сохраняет силу для любого треугольника (на этом и строится доказательство); поэтому и все ИГ, используемые в нем, имеют обобщенное значение.

б) Наглядно-примерная референция

Такой способ соотносения языковых выражений с внеязыковой действительностью может быть назван наглядно-примерным описанием [Шмелев 1984б]. Чаще всего обобщенную окраску выражениям в наглядно-примерном описании сообщает анафорическая связь с генерализованной ИГ, выступающей в таком случае в роли «миропорождающего» оператора. Приведем такие примеры:

- (1) Вслед за фронтом шел наш брат...
 И служил ему котомкой
 Боевой противогаз.
 Шел он, серый, бородатый
 ...
 И по горькой той привычке,
 Как в пути велела честь,

Он просил сперва водички,
А потом просил поестъ
(Твардовский).

(2) Настоящий писатель работает по десять часов в день... Наконец он ставит точку. Теперь он пуст... Потому что он вдруг, видит, что... весна прошла... Целый век прошел, а он прозевал, не видал ничего этого (Ю. Казаков).

В начале отрывка (1) встречается ИГ *наш брат* в значении 'мы и нам подобные'. В данном значении эта ИГ всегда имеет общеродовую референцию. Последующие предложения с личным местоимением строятся так, как будто бы речь шла о конкретном лице, однако анафорическая связь с выражением *наш брат* придает местоимению и всему описанию обобщенное значение. В примере (2) общеродовое употребление ИГ *настоящий писатель* обеспечивает обобщенное понимание последующих местоимений — несмотря на использование их в предложениях с предикатами, не употребляющимися в общих суждениях.

Особенно характерны наглядно-примерные описания для писателей-романтиков, поскольку художественный метод романтизма предполагает такое изображение конкретных, единичных явлений, при котором в этих явлениях проясняется нечто общее¹ (при этом в тексте не обязательно представлен эксплицитный «миропорождающий» оператор).

в) Гипотетическая референция

С «миропорождающими» операторами дистрибутивности сходны «миропорождающие» операторы гипотетической модальности, в роли которых может выступать вопросительность или собственно гипотетичность, выражаемая такими вводными словами, как *вероятно, конечно, по-видимому*, — иными словами, все операторы, выражающие предположение о том, как может обстоять дело в реальной действительности. В роли переменного денотативного пространства, порождаемого такими операторами, выступает множество «возможных миров» (возможных положений дел), совместимых с тем, что известно говорящему

¹ Ср. характеристику романтического метода Жуковского, данную Г. А. Гуковским [1965: 45]: «Конкретность романтизма специфична... Герой романтика — единичный человек, но он в то же время всякий любой человек в потенции» (подробнее о наглядно-примерном описании в творчестве В. А. Жуковского см. [Шмелев 1984а]).

о реальной действительности, и с высказываемой гипотезой. Поскольку в каждом из этих возможных миров с ИГ может соотноситься свой референт, мы имеем дело с фиксированностью референта в каждом из меняющихся денотативных пространств и нефиксированностью референта в реальной действительности, т. е. как раз с тем, что характерно для дистрибутивной референции. Это обуславливает, в частности, употребление в контексте гипотетической модальности показателей нефиксированности референта (местоимений на *-нибудь*): *Наверно, кто-нибудь уже решил задачу; Кто-нибудь решил задачу?; Возможно, кто-нибудь из вас его знает; Быть может, нас слышал кто-нибудь*. Иногда употребление местоимения на *-нибудь* является основным показателем, свидетельствующим о значении предположительности, напр. *«Судно мне незнакомо, — сказал Рениор, — ...Кто его капитан?» Никто не знал этого... «Какой-нибудь молокосос», — пробурчал Эстамп (А. Грин). — ср. ...Какой-то молокосос, где нет значения предположительности. В подобных случаях «миропорождающий» оператор со значением предположительности в тексте не представлен, однако о наличии этого значения свидетельствуют референциальные свойства ИГ.*

4.2. «Миропорождение» и противопоставление *de re — de dicto*

а) Референция к объектам ирреального мира

Несколько иной тип «миропорождающих» операторов представлен показателями ирреальной, контрфактической модальности, когда мы имеем дело не с предполагаемой, а с воображаемой действительностью; условным и повелительным наклонением, будущим временем, конструкциями со значением цели. Так, в высказывании *Не худо бы, если вдруг въехала во двор карета, а в карете сидела бы Наталья Николаевна!* (Пушкин) объект, обозначаемый посредством ИГ (*в карете*), может быть идентифицирован только в данной воображаемой ситуации. В роли релевантного денотативного пространства, порождаемого такими операторами, выступает множество возможных миров, совместимых с содержанием контрфактического предположения. Поскольку такое денотативное пространство является переменным, в нем могут возникать все те явления, которые связывались с денотативными пространствами, порождаемыми дистрибутивностью и гипотетической модальностью.

Референт, фиксируемый в таком денотативном пространстве, остается нефиксированным в реальной действительности; ср. использование анафорического местоимения в следующих примерах, пока мы остаемся в пределах порожденного ирреальным оператором денотативного пространства, и невозможность такого местоимения при выходе за его пределы²: *А мне бы Бог дал хоть кривобоку старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике (Чехов); Вот простую девку из станицы Полюбить мне было б хорошо. Я б легко встречал ее улыбки... На ночевках при июльском лете Я грустил бы песнями о ней (П. Васильев).*

Однако тот факт, что переменное денотативное пространство, порождаемое ирреальным оператором, несовместимо с реальной действительностью, позволяет говорящему выбирать номинацию объекта двояким образом: с точки зрения описываемой ирреальной ситуации или с точки зрения реальной действительности. В первом случае мы имеем дело с номинацией *de dicto*, во втором — с номинацией *de re*. Случай, когда объект удовлетворяет номинации и с точки зрения описываемой ирреальной ситуации, и с точки зрения реальной действительности, удобно описывать как номинацию, являющуюся одновременно номинацией *de dicto* и *de re*. Этим двум видам номинации соответствуют два вида интерпретации заданной номинации: понимание *de dicto* и понимание *de re*.

Не всегда ясно, какими правилами определяется выбор понимания *de dicto* или *de re* в модальном контексте в каждом конкретном случае. Так, в высказывании *Если бы Маша прочла его стихи, она бы поняла, с какой тонкой натурой имеет дело, и это бы изменило ее мнение о нем* ИГ *ее мнение о нем* должна пониматься *de re* — то мнение, которое Маша имеет в реальной действительности. В то же время в высказывании *Если б Антонина Владимировна видела его в эту минуту, то несомненно сочла бы за ангелочка в чистейшем оригинале. А если бы знала, о чем он думает, наверно изменила бы свое мнение* (Б. Зайцев) ИГ *свое мнение* понимается *de dicto* — то мнение, которое Антонина Владимировна имела бы в рассматриваемой контрфактической ситуации.

² Не являются контрпримерами такие высказывания, как *У меня уже лихорадочно работает голова над вопросом, где взять переписчицу. И взять ее, конечно, и негде, и невозможно* (М. Булгаков), поскольку местоимение третьего лица (*ее*) употреблено здесь просто как местоимение «лени» [Geach 1962], служащее для того, чтобы избежать повтора.

б) De re — de dicto и другие референциальные противопоставления

Нередко делалась попытка отождествить противопоставление пониманий de dicto — de re и противопоставления фиксированности референта в ирреальных денотативных пространствах (при нефиксированности в реальной действительности) и его фиксированности в реальной действительности. Независимость этих двух противопоставлений иллюстрируется высказыванием *А ведь у меня могла бы быть дача с газовым отоплением*. Это высказывание имеет четыре возможных прочтения. При нефиксированном в реальной действительности референте ИГ *дача с газовым отоплением* и понимании de dicto говорящий высказывает утверждение, что в некоторой ирреальной ситуации он мог бы приобрести какую-нибудь дачу и оборудовать на ней газовое отопление. При фиксированности референта и понимании de dicto говорящий имеет в виду приобретение вполне определенной дачи, на которой он мог бы оборудовать газовое отопление. При нефиксированности референта и понимании de re говорящий предполагает, что мог бы приобрести какую-нибудь дачу, на которой имеется газовое отопление. И, наконец, при фиксированности референта и понимании de re говорящий имеет в виду несостоявшееся приобретение конкретной дачи, на которой есть газовое отопление.

Правда, следует иметь в виду, что, хотя рассматриваемые противоречия теоретически независимы, в ряде случаев наличие эмпирическое совпадение между ними. Так, в высказывании *Даже в такой ситуации я бы не мог ударить мою жену* в наиболее естественном прочтении ИГ *мою жену* соотносится с референтом, фиксированным в реальной действительности, и понимается de re (женщина, реально являющаяся женой говорящего); а в высказывании *Даже в такой ситуации я бы не мог ударить свою жену* естественно понимать ИГ *свою жену* de dicto, и тем самым она может характеризоваться дистрибутивной референцией (различные референты в возможных мирах). Иными словами, первое высказывание можно понимать как 'Моя жена такова, что я не мог бы ее ударить', а второе — 'Я таков, что не мог бы ударить своей жены'. Таким образом, названные противопоставления необходимо учитывать, формулируя правила рефлексивизации в русском языке.

Следует иметь в виду, что неоднозначности, связанные с противопоставлением de dicto — de re, не очень характерны для модальных контекстов. Ситуации, когда это противопо-

ставление необходимо учитывать для правильного понимания номинации в модальном контексте, чаще встречаются на страницах работ, посвященных проблемам референции, нежели в процессе реальной коммуникации. В частности, это объясняется тем, что миры, служащие денотативным пространством при описании контрфактических ситуаций, не имеют самостоятельного существования, независимого от выбранного нами способа описания этой ситуации. В определенном (весьма неформальном) смысле можно было бы сказать, что употребление ИГ в модальных контекстах в естественном языке в большей степени согласуется с подходом С. Крипке, нежели с подходом Я. Хинтикки. В соответствии с представлениями С. Крипке, многие языковые выражения вообще не различают прочтений *de dicto* — *de re* в модальном контексте. Другими словами, по отношению к любой воображаемой ситуации они обозначают тот же самый объект, что и по отношению к реальной действительности. Такие языковые выражения получили название жестких десигнаторов. К ним относятся имена собственные, названия естественных классов, как правило — названия артефактов и др.

в) Жесткие десигнаторы в ирреальных суждениях тождества

С поведением жестких десигнаторов в модальном контексте связан ряд проблем. Мы остановимся лишь на одной из них — на употреблении жестких десигнаторов в ирреальных суждениях тождества.

В соответствии с анализом С. Крипке, любое возможное суждение тождества является необходимым; или, что то же, любое тождество, не имеющее места в реальном мире, является невозможным. Отсюда следует, что в биноминативных суждениях тождества с ирреальной модальностью главные члены не могут быть жесткими десигнаторами. Действительно, соответствующее суждение оказывается либо тавтологичным, либо противоречивым.

Из сказанного вытекает следствие: в ирреальных биноминативных предложениях при наличии в качестве главных членов двух жестких десигнаторов один из них должен пониматься нежестко, в переносном значении. Основные способы нежесткого понимания — метафорическая интерпретация (*Если бы А был В* = 'Если бы А был похож на В') и функциональная интерпретация (*Если бы А был В* = 'Если бы А был на месте В'). Эти два способа переносной интерпретации жесткого

десигнатора в ирреальном биноминативном суждении каламбурно сталкиваются в известном диалоге: [Парменион:] *Если бы я был Александр, я бы принял условия мира.* — [Александр:] *И я бы принял их, если бы я был Парменион.* В первом высказывании имя собственное в позиции сказуемого должно пониматься функционально ('на месте Александра'); во втором — метафорически ('Если бы я был такой (робкий), как Парменион...')³.

г) De re — de dicto в контексте пропозициональных установок

Несколько иначе обстоит дело с ИГ в контексте предикатов пропозициональной установки. В этом случае в роли релевантного денотативного пространства выступает мир представлений субъекта пропозициональной установки. Устройство этого денотативного пространства может почти непредсказуемым образом отличаться от устройства реального мира. Поэтому проблема перекрестной идентификации, имеющая для модальных контекстов, с точки зрения С. Крипке, лишь эпистемологическую значимость, в контексте предикатов пропозициональной установки превращается в семантическую проблему. Объекты, принадлежащие денотативному пространству, порождаемому пропозициональной установкой, не совпадают с объектами, принадлежащими реальной действительности, и отождествляются с ними лишь в результате перекрестной идентификации (которая к тому же в ряде случаев может осуществляться различными способами). Таким образом, понятие жесткого десигнатора неприменимо к контекстам глаголов пропозициональной установки; любое тождество денотатов разных имен, имеющее место в реальном мире, может не иметь места в денотативном пространстве пропозициональной установки. Сказанное отчасти сформулировано С. Крипке в виде «загадки контекстов мнения» [1986] и одновременно служит разрешением этой загадки.

Поскольку в роли релевантного денотативного пространства выступает мир представлений субъекта установки, адекватной номинацией объектов является номинация, выбираемая с точки зрения субъекта установки, т.е. номинация de dicto. Номинация de re имеет место, когда говорящий производит перекрестную идентификацию объектов релевантного денотативного пространства (т.е. мира представлений субъекта установки)

³ Подробнее вопрос об интерпретации жестких десигнаторов в ирреальных предложениях рассматривается в главе 7.

и реального мира и использует для обозначения референта имя или дескрипцию его коррелята в реальном мире. Задача содержания чужого мнения или высказывания при этом оказывается не вполне адекватной⁴.

В случае, когда пропозициональная установка не включает модального значения, напр., при передаче содержания чужого высказывания, она не порождает неперемного денотативного пространства и значения нефиксированности референта. Однако переменное денотативное пространство порождается такими предикатами, содержащими сему модальности, как *предполагать, хотеть, ждать*. В контексте этих предикатов существенны и противопоставление фиксированности — нефиксированности референта, и противопоставление *de dicto* — *de re*. Как и в случае ирреальной модальности, эти противопоставления независимы друг от друга, что иллюстрируется примером Дж. Фодор: *Чарли хочет купить пальто как у Билла* [Fodor 1979] где ИГ *пальто как у Билла* имеет четыре прочтения: 1) Чарли хочет купить некоторое конкретное пальто; он знает, что у Билла есть такое же пальто, и поэтому описывает пальто, которое хочет купить, как *пальто как у Билла*; 2) Чарли хочет купить некоторое конкретное пальто; он не знает, что у Билла есть такое же пальто; говорящий знает, что у Билла есть такое же пальто и, желая описать пальто, которое хочет купить Чарли, выбирает номинацию *пальто как у Билла*; 3) Чарли хочет купить какое угодно пальто, лишь бы оно было как у Билла; 4) Чарли хочет купить какое-нибудь пальто некоторого определенного покроя и не знает, что такое пальто есть у Билла; говорящий знает это и, описывая желание Чарли, выбирает номинацию *пальто как у Билла*. В то же время и здесь имеет место эмпирическое совпадение этих противопоставлений: ИГ с референтом, не фиксированным в реальном мире, как правило, предполагает номинацию *de dicto*, ИГ со значением известности говорящему — номинацию *de re*. Иными словами, в высказывании *Иван хочет жениться на какой-нибудь красоте* номинация *красотка*, скорее всего, принадлежит Ивану и выражает сущность его желания, а в высказывании *Иван хочет жениться на одной красоте* номинация принадлежит, скорее всего, говорящему, а Иван может с ней быть не вполне солидарен.

⁴ Вопрос о противопоставлении *de re* — *de dicto* при передаче чужого высказывания или мнения подробнее рассматривается в главе 5.

Таким образом, следует различать миропорождающие операторы, ответственные за возможную нефиксированность референта в реальном мире, и операторы, порождающие возможность номинации *de dicto*. Оба этих свойства присущи показателям ирреальной модальности и предикатам пропозициональной установки с семой модальности. Максимальное число референциальных неоднозначностей, связанных с порождением особых денотативных пространств, возникает в контексте этих последних.

4.3. Кто-то и кто-нибудь в контекстах миропорождения

а) Условия употребления местоимений на *-то* и на *-нибудь*

Изложенное в предыдущих параграфах представление о переменном денотативном пространстве применимо к описанию употребления русских неопределенных местоимений на *-то* и *-нибудь*. Рассмотрим предложение *Сегодня к нему кто-то приехал*. Здесь существенный фрагмент действительности фиксирован, референт местоимения *кто-то* — тоже, заменить на *кто-нибудь* нельзя. В то же время в предложении *Каждый день к нему кто-нибудь приезжал* мы имеем дело с переменным фрагментом действительности (в роли таких фрагментов выступают «микромиры» различных дней). В каждый отдельный день приезжал вполне определенный человек (или вполне определенные люди); но в разные дни могли приезжать разные люди, так что референт местоимения *кто-нибудь* оказывается нефиксированным. Высказывание *К тебе кто-то приходил* сообщает о реальном событии. Мы употребляем местоимение *кто-то*, подчеркивая фиксированность референта в реальном мире. В вопросительном предложении *Ко мне кто-нибудь заходил?* референт фиксируется лишь в предполагаемой действительности, поэтому употреблено местоимение *кто-нибудь*. О воображаемой или предполагаемой действительности идет речь в предложениях с ирреальной модальностью (ср. *Хоть бы кто-нибудь зашел!*), в контексте модальных глаголов (*Кто-нибудь может прийти*) и, шире, глаголов с семой модальности (например, *хотеть*, *ждать* и др.: *Он ждет, что кто-нибудь навестит его*), модальных слов, выражающих предположение (*Возможно, кто-нибудь приходил*) и т.п. Именно «порождение» переменного денотативного пространства (или, что то же, множества денотативных про-

странств) является общим свойством разнообразных ситуаций употребления местоимений на *-нибудь*, выделяемых Е. В. Падучевой [1985: 215—216] со ссылкой на работу [Шелякин 1978].

Отметим специально, что местоимения на *-нибудь* не могут быть употреблены в контексте «квазиассертивов» (термин из [Булыгина, Шмелев 1993а]) — таких слов, как *кажется, вроде*. Можно сказать: *Кажется, кто-то пришел*, — но нельзя: **Кажется, кто-нибудь пришел* [Яковлева 1983]. Дело в том, что эти слова (в отличие от показателей гипотетичности *вероятно, наверно, возможно*) не выражают предположение, а свидетельствуют, что говорящий не уверен в имеющихся у него сведениях. Условные употребления показателя гипотетичности — говорящий не располагает непосредственной информацией о реальном положении дел; «квазиассертивы» же используются, когда говорящий почему-либо не вполне доверяет имеющейся у него непосредственной информации о реальном положении дел (подробнее об особенностях языкового поведения квазиассертивов, их отличиях от показателей гипотетичности, их подразделении на «импрессивы» и «квотативы» см. [Булыгина Шмелев 1993а; 1993б]).

б) Противопоставленность местоимений на *-то* и на *-нибудь*

Высказывание *Маша вышла замуж за какого-то математика* сообщает о событии, которое произошло в реальном мире. Референт ИГ *какой-то математик* фиксирован в реальной действительности, и местоимение *какой-нибудь* здесь неуместно; если же его употребить (*Маша вышла замуж за какого-нибудь математика*), высказывание приобретет статус гипотезы о вероятной специальности Машиного мужа. Но в контексте модального глагола *хотеть* можно употребить и местоимение *какой-то*, и местоимение *какой-нибудь*. Однако соответствующие высказывания семантически противопоставлены. Высказывание *Маша хочет выйти замуж за какого-то математика* предполагает, что она имеет в виду совершенно определенного человека, о котором мы знаем, что он математик, в дальнейшем мы можем сообщить об этом человеке дополнительную информацию, употребляя для обозначения его личные местоимения (например, *Он живет в другом городе*). В отличие от этого, высказывание *Маша хочет выйти замуж за какого-нибудь математика* сообщает лишь о пожелании Маши относительно специальности ее будущего мужа; никакой конкретный человек не имеется в виду; иными словами, референт ИГ *какой-нибудь математик* не

фиксирован в реальном мире. Поэтому мы не можем продолжить высказывание, сообщая новую информацию о референте данной ИГ. Личное местоимение третьего лица может быть ко-референтно с ИГ, включающей местоимение *кто-нибудь*, лишь в том случае, если мы остаемся в пределах предполагаемого или воображаемого мира, в котором фиксируется референт. Так, употребление личного местоимения в высказывании *Маша хочет выйти замуж за какого-нибудь математика и писать с ним совместные статьи* возможно потому, что речь идет об одном и том же воображаемом мире желаний Маши.

Тем самым использование форм на *-нибудь* свидетельствует, что релевантное денотативное пространство является переменным и референт соответствующей ИГ фиксируется только в нем, но не в модели мира говорящего. Напротив того, использование форм на *-то* свидетельствует о фиксированности (хотя и неопределенной) референта в модели мира говорящего. Не случайно *когда-то* обычно отсылает к некоторому моменту в прошлом, уже однозначно фиксированному на временной оси, хотя и неизвестному говорящему, а *когда-нибудь* — чаще всего к некоторому моменту в будущем (как уже говорилось, денотативные пространства, отнесенные к будущему, являются переменными)⁵. Ср. также игру на противопоставлении местоимений *кто-то* и *кто-нибудь* в стихотворении А. Кронгауза: *Ты, кажется, кого-нибудь ждала, кого-нибудь ждала, а не кого-то* (наличие *кажется* не препятствует употреблению местоимения на *-нибудь*, поскольку переменное денотативное пространство порождается здесь глаголом *ждать*).

В то же время следует подчеркнуть, что местоимения на *-то* свободно используются при референции к объектам, принадлежащим переменному денотативному пространству. Ничто в семантике этого местоимения ('говорящий не берется описать референт полнее и точнее') не противоречит такому употреблению. При этом иногда, как в рассмотренном выше примере *Маша хочет выйти замуж за какого-то математика*, возникает значение фиксированности референта: о каком бы из сменяющих друг друга денотативных пространств ни шла речь, имеется в виду один и тот же объект. В этом случае местоимение на *-то* отчетливо противопоставляется соответствующему местоимению на *-нибудь*. В других же случаях значения фиксирован-

⁵ Но, разумеется, при наличии какого-либо другого миропорождающего оператора *когда-нибудь* может относиться и к прошлому: *Может, я когда-нибудь его и встречал, но что-то не помню.*

ности референта нет и местоимение на *-то* оказывается близко по функции соответствующему местоимению на *-нибудь*: *Во избежание перегрузки лифта кто-то из пассажиров должен выйти; Куда же делась эта книга? Вероятно, кто-то ее взял почитать и забыл отдать; Если кто-то будет меня спрашивать, скажи, что я вернусь в семь часов.* В таких случаях некоторые авторы говорят о том, что местоимения на *-то* и на *-нибудь* синонимичны в данном контексте (напр., [Кузьмина 1989]); другие же, напротив, и такие контексты считают отражающими основное семантическое (референциальное) противопоставление рассматриваемых типов местоимений (напр., [Падучева 1985]). По-видимому, выбор того или иного решения в значительной мере зависит от того, считать ли рассматриваемые местоимения моносемичными (и тогда для всех контекстов, в которых они могут появляться, должна реализоваться та или иная модификация базового противопоставления) или полисемичными (и тогда вполне может оказаться, что местоимения, противопоставленные в одних значениях, оказываются синонимичными в других). Вопрос о том, как можно описать семантическую структуру неопределенных местоимений, рассматривается ниже, в разделе 4.6.

4.4. Коммуникативный аспект референции: позиция говорящего

а) Различия в позиции говорящего и виды неопределенности

Рассмотрим теперь различия между неопределенным местоимением *один* и местоимениями на *-то*. Употребление рассматриваемых местоимений свидетельствует о фиксированности референта в реальном мире, однако между местоимениями на *-то* и местоимением *один* имеется существенное различие. Говорящий использует местоимение *один* в тех случаях, когда располагает какими-то дополнительными сведениями о референте, но предполагает, что референт не может быть идентифицирован адресатом речи; местоимения на *-то* используются обычно в случае «неизвестности» референта говорящему (ср.: *Маша вышла замуж за одного писателя — Маша вышла замуж за какого-то писателя*). «Неизвестность» говорящему здесь означает именно отсутствие дополнительных сведений, даже если имеет место визуальное знакомство с референтом; ср. диалог в пьесе Тургенева: *«Какой-то господин вас желает видеть-с»*. — *«Какой*

господин?» — «Не знаю-с. Незнакомый-с». При этом необходимо учитывать «точку зрения», с которой ведется повествование. Так, в тексте *Кто-то позвонил в дверь. Вася открыл: это была Лена* употребление местоимения на -то обусловлено тем, что события описываются как бы с точки зрения Васи, которому в момент звонка референт был неизвестен, хотя, несомненно, в момент речи референт известен говорящему. В косвенной речи местоимения на -то могут указывать на неизвестность референта субъекту косвенной речи, ср.: *В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» — ему отвечали: «Какой-то чиновник»* (Гоголь). Приведенный пример показывает также, что значение неизвестности предполагает именно отсутствие дополнительных сведений: здесь оно возникает, несмотря на то, что референт известен докладывающим визуально, они знают его фамилию и социальный статус⁶.

В свете сказанного объяснима широкая употребительность местоимения *один* в начале повествования, в интродуктивных предложениях: *Есть у меня один знакомый...; У одного целовека был большой дом...* (Л. Толстой); *Один солдат на свете жил...* (Окуджава) и т.п. Ведь указанное местоимение указывает на то, что говорящий располагает какими-то дополнительными сведениями о референте, помимо сообщаемых в высказывании, и естественно (исходя из общих законов речевой кооперации) ожидать, что он собирается поделиться этими сведениями с адресатом речи. Интродуктивные предложения со словом *один* обычно представляют собою экзистенциальные предложения или могут интерпретироваться как «компрессия» двух предложений, первое из которых является интродуктивным экзистенциальным (ср. работы Матезиуса, а также [Арутюнова 1976: 363]): *Один мужик захотел есть* ⇐ *Жил-был мужик. Он захотел есть* (см. подробнее [Рестан 1985]).

Местоимение *какой-то* в интродуктивной функции в настоящее время не употребляется⁷. Использование местоимения *какой-то* в художественном тексте, как правило, указывает на

⁶ Более точно говорить не о «неизвестности», а о неспособности говорящего дать более точное описание; значение 'неизвестность' представляет собою речевую импликацию использования местоимений на -то (см. 3.7).

⁷ В баснях Крылова мы встречаем использование местоимения *какой-то* в интродуктивной функции: *Какой-то Муравей был силы непомерной...; Какой-то смолоду Скворец Так петъ щегленком научился...* Однако такое употребление ощущается устаревшим.

то, что повествование ведется с чьей-либо «точки зрения», отличающейся от позиции «всезнающего» автора (подробнее вопрос о роли местоимения *какой-то* в художественном тексте рассматривается в главе 9).

Таким образом, противопоставление местоимений на *-то* и местоимения *один* связано с категорией говорящего, с его референциальными намерениями. Тем самым выбор местоимения оказывается до некоторой степени субъективным. Иногда в одной и той же коммуникативной ситуации говорящий может употребить как то, так и другое местоимение, а выбор местоимения будет свидетельствовать как о его референциальных и коммуникативных намерениях, так и о его интерпретации ситуации. Так, в одной и той же ситуации можно сказать своему коллеге *Тут к тебе заходил один твой аспирант, свою фамилию не назвал, сказал, что зайдет попозже* и *Тут к тебе заходил какой-то твой аспирант, свою фамилию не назвал, сказал, что зайдет попозже*. Референт, обозначаемый именем *аспирант* с местоимением, ранее был неизвестен говорящему, и он сам решает, достаточны ли дополнительные сведения, полученные им в процессе краткой беседы с аспирантом, для того чтобы использовать по отношению к нему местоимение *один* (кстати, указанный пример лишний раз демонстрирует, что нередко встречающееся в лингвистических работах включение в описание смысла рассматриваемых местоимений компонента «референт неизвестен адресату речи» без всяких оговорок может привести к неточному представлению об их семантике).

Упомянем также эксперименты К. Бонно, демонстрирующие необходимость учета коммуникативной ситуации при выборе одного из указанных местоимений [Bonnot-Saoulski 1983: 12]. Так, если на скамейке в парке сидят друзья и мимо них проходит незнакомый мужчина, возможны следующие диалоги: (1) *Хотите я проверю, внимательные вы или нет? Сейчас прошел мимо нас один (*какой-то) мужчина. Видели его? — Видели. — Тогда скажите, какого цвета у него волосы и глаза, какого цвета его костюм, сколько ему лет;* (2) *Мы, кажется, совсем потерялись. Ничего не узнаю. — А вот мимо нас только что прошел какой-то (?один) мужчина. Почему ты его не спросил?* В обоих случаях знания говорящего о референте кажутся идентичными, но говорящий интерпретирует степень своего знакомства с референтом по-разному.

Аналогичным образом устроено и противопоставление слов *когда-то* и *однажды*. И то, и другое слово обычно отсылает к некоторому моменту в прошлом, однако используется в различ-

ных речевых режимах. *Когда-то* предполагает, что говорящий из момента речи делает отсылку к какому-то моменту в прошлом, его использование уместно в ситуации воспоминания; *однажды* используется в повествованиях, как бы вводя в поле зрения адресата речи некоторый момент, в который и произошли события, о которых говорящий намеревается рассказать.

б) Референтность — атрибутивность как отражение позиции говорящего

Различия в позиции говорящего объясняют также и противопоставление атрибутивных и референтных употреблений определенных дескрипций, введенное К. Доннеланом [1982]. При атрибутивном употреблении референциальное намерение говорящего состоит в том, чтобы произвести референцию к объекту, удовлетворяющему выбранной номинации, каков бы он ни был: *«Позовите заведующего»* (слова покупателя в магазине); *Полиция разыскивала убийцу* и т.п. При референтном употреблении намерение говорящего состоит в том, чтобы произвести референцию к определенному объекту, выбрав одну из возможных номинаций данного объекта (но не единственно возможную): ср. *Заведущий вышел к покупателю*; *Два трупа перед ним лежали*; *Убийца страшен был лицом* (Пушкин) и т.п. В следующем примере первое употребление слова *заведующий* является атрибутивным, а второе — референтным: *«Нельзя ли видеть заведующего?» Старик ласково ответил: «Это я» ...Я вынул карандаш, и заведующий косо написал: «Прошу назначить секретарем Лито...»* (М. Булгаков).

Рассматриваемое противопоставление обыгрывается и в романе А. Дюма «Три мушкетера». Кардинал пишет миледи оправдательную грамоту: *То, что сделал предьявитель сего, сделано по моему приказанию (предьявитель сего — референтная ИГ, поскольку кардинал имел в виду именно миледи, а не любого возможного предьявителя грамоты). Д'Артаньян, овладевший документом, предьявляет его в оправдание, интерпретируя ИГ предьявитель сего как атрибутивную (ср. билет на предьявителя).*

Во многих случаях интерпретация определенной дескрипции как референтной или атрибутивной предопределена семантикою ИГ. Так, для высказывания *Полиция разыскивает убийцу Смита* выбирается атрибутивное понимание, а для высказывания *Полиция разыскивает человека, подозреваемого в убийстве Смита* — референтное понимание (по-

следний пример естественно может быть продолжен описанием примет этого человека).

Е. В. Падучева пишет, что «атрибутивная дескрипция — весьма изысканное [подразумевается — ‘и редкое’] явление» [1985: 97]. Дело в том, что в логической (а следом и лингвистической) литературе в качестве примеров атрибутивного употребления определенных дескрипций приводятся употребления ИГ, референт которых неизвестен говорящему. Однако, как это разъяснил сам К. Доннелан, такое ограничение не входило в первоначальный замысел вводимого им противопоставления. Существенно лишь, чтобы высказывание основывалось бы лишь на тех признаках референта, которые вытекают из свойств, обозначенных в дескрипции, т.е. чтобы в качестве основания для высказывания говорящий не использовал дополнительную информацию, вытекающую из его знакомства с референтом.

Поэтому в высказывании *Автор «Бесов» родился в 1821 г.* выделенная ИГ понимается как референтная (свойство ‘родиться в 1821 г.’ никак не вытекает из свойства ‘быть автором «Бесов»’), а в высказывании *Автор «Бесов» словно предвидел то, что случилось в нашем веке* та же ИГ понимается атрибутивно (речь идет о предвидении, отразившемся в тексте «Бесов»).

Следует иметь в виду, что для многих контекстов разграничение атрибутивных и референтных употреблений определенных дескрипций оказывается нерелевантным (или, что то же, у нас нет достаточных оснований для того, чтобы отнести конкретное употребление той или иной определенной дескрипции к атрибутивным или референтным). Так, исходя из канонического, введенного К. Доннеланом примера противопоставления атрибутивного и референтного понимания, мы можем сказать, что в высказывании *Убийца Смита сумасшедший* выделенная ИГ является атрибутивной, если говорящий выносит суждение на основании обстоятельств убийства, и референтной, если он основывается на каких-то особенностях личности человека, которого он считает убийцей Смита. Но человек, прочитавший в газете описание обстоятельств убийства, сопровождающееся описанием личности задержанного преступника, может вынести свой вердикт на основании совокупности данных, особенно не вникая в то, какие из этих данных оказываются решающими. Кроме того, часто мы не можем в точности знать, что послужило основанием для того или иного высказывания. Когда Достоевский писал о Толстом: *Такие люди, как автор «Анны Карениной», суть учителя обще-*

ства, наши учителя, а мы лишь ученики их, — трудно сказать, основывался он лишь на факте написания Толстым «Анны Карениной» или на всей совокупности своих представлений о Толстом.

Как и следует ожидать, разграничение референтных и атрибутивных употреблений оказывается релевантным для общеродовых ИГ, которые представляют собою разновидность определенных ИГ. Так, предложение *Самый опасный хищник живет в Африке* неоднозначно с точки зрения рассматриваемого противопоставления: если общеродовая ИГ *Самый опасный хищник* понимается как относящаяся к классу леопардов, которым говорящий ставит в соответствие данную дескрипцию, то мы имеем дело с референтным употреблением; если говорящий не связывает свое высказывание со свойствами конкретного класса, не отраженными в дескрипции, употребление ИГ *самый опасный хищник* является атрибутивным.

в) Референтность — атрибутивность и другие референциальные противопоставления

Введенное К. Доннеланом противопоставление породило посвященную ему обширную логическую и лингвистическую литературу. Неоднократно предпринимались попытки отождествить его с каким-либо из уже известных логикам (и рассмотренных выше в данной главе) референциальных противопоставлений, напр., с противопоставлением *de re* и *de dicto* или же с противопоставлением фиксированных и нефиксированных употреблений неопределенных ИГ⁸. Эти попытки, скорее всего, были связаны с неточным пониманием существа рассматриваемого противопоставления (или с его вольной интерпретацией). Так, отождествление его с фиксированностью — нефиксированностью невозможно вследствие полностью различной природы указанных противопоставлений. Значение нефиксированности референта возникает лишь в тех случаях, когда мы имеем дело с переменным денотативным пространством, тогда как атрибутивные употребления, как и референтные, возможны и при фиксированном денотативном пространстве. Неточным представляется замечание Е. В. Падучевой о том, что «атрибутивное понимание ИГ требует неутвердительного статуса пропозиции» [1985: 97]: ведь в высказываниях типа

⁸ Обзор литературы по этому вопросу, имевшейся к началу 80-х гг., см. в [Булыгина, Шмелев 1984].

Автор «Бесов» словно предвидел то, что случилось в нашем веке имеет место обычное утверждение, а атрибутивный статус ИГ автор «Бесов» обусловлен не тем, что мы не знаем или не хотим утверждать определенно, кто является референтом указанной ИГ, а тем, что для высказываемого суждения существенна именно данная дескрипция референта и только она, — речь идет не вообще о предвидении Достоевского как писателя, а о его предвидении как оно отразилось в тексте «Бесов». Высказывания о референтах, неизвестных говорящему, действительно, как правило, предполагают неутвердительный статус пропозиции (трудно высказывать положительное суждение о ком-то или чем-то неизвестном), но, как уже говорилось, неизвестность референта говорящему не составляет конституирующего признака атрибутивных дескрипций.

Еще чаще делались попытки отождествить противопоставление референтность — атрибутивность с противопоставлением *de re — de dicto* (см., напр., [Коул 1982: 402—4; Cole 1978: 3]), Однако независимость этих противопоставлений хорошо видна из следующего примера. В шахматном журнале «64» (1984, № 18) описываются мысли Капабланки во время международного петербургского турнира 1914 г.:

Вспоминая о статье, Капабланка поморщился: «Кажется, Ласкер специально написал ее, чтобы доказать, что он, Капабланка, вовсе не гений... Интересно, что Ласкер скажет после окончания турнира. Если даже победитель не гений, то кто же тогда побежденные, в частности сам Ласкер?!»

Дескрипция *победитель* употреблена референтно (в смысле К. Доннелана) — а именно, с референцией к Капабланке. Однако это номинация *de dicto*, поскольку она соответствует лишь миру мечтаний Капабланки (в действительности турнир выиграл Ласкер). Отсюда ясно, что мы не можем приравнять, как это предлагал П. Коул, понимание *de dicto* к атрибутивности, а понимание *de re* — к референтности.

В то же время можно отметить, что в качестве противопоставления атрибутивность — референтность в сфере неопределенности можно рассматривать противопоставление местоимений на *-то* и местоимения *один*.

Атрибутивность имеет место, когда говорящий не располагает какой-либо релевантной информацией, индивидуализирующей референта, за исключением той, которая сообщается в высказывании; в противном случае мы имеем дело с референтной ИГ. Как и для противопоставления референтности

и атрибутивности определенных дескрипций, данное противопоставление для неопределенных дескрипций нередко оказывается нерелевантным — иными словами, в отсутствие неопределенного местоимения *один* или местоимений на *-то* часто бывает трудно судить, каковы референциальные намерения говорящего (ср. [Падучева 1985: 92]), а выбор местоимения, как указывалось выше, часто зависит от субъективной интерпретации ситуации говорящим. Можно лишь предположить, что возможность сопоставить противопоставление по референтности — атрибутивности с противопоставлением, выражаемым местоимениями *один* и *какой-то*, проходила мимо внимания многих исследователей, поскольку они ориентировались на употребления в западноевропейских языках (в первую очередь, в английском), в которых соответствующее противопоставление для неопределенных дескрипций не имеет никакого внешнего выражения.

4.5. «Местоимение + собственное имя»: проблемы интерпретации

а) Предварительные замечания

Как уже говорилось выше (в главе 1), функционирование собственных имен подчиняется основному «прагматическому принципу», который состоит в том, что ИС нормально может быть использовано для референции к объекту (носителю имени) лишь при условии, что носитель имени известен адресату речи. В противном случае носитель ИС должен быть представлен адресату речи. В силу указанного принципа ИС, не сопровождаемые дескрипцией носителя, как правило, характеризуются ингерентной прагматической определенностью.

Такая жесткая закреплённость ИС за одним типом референции может нарушаться в тех случаях, когда ИС сопровождается эксплицитным референциальным показателем — местоимением (М.). В этом случае могут происходить те или иные сдвиги в значении ИС или референциального показателя.

Ниже мы рассмотрим основные разряды М., сочетающихся с собственными именами.

б) Конструкции «указательное местоимение + ИС»

Употребление конструкций «указательное М. + ИС» определяется тем, что, как для указательного М., так и для ИС

основная функция состоит в идентификации референта: поэтому в таких конструкциях либо ИС, либо М. утрачивают эту функцию. Так, указательное М. в идентифицирующем значении употребляется при ИС в тех случаях, когда ИС только что введено в фонд знаний говорящего или адресата речи и, по мнению говорящего, еще ощущается недостаточность для идентификации; ср.: «...Она в беспамятстве бредит Валерианом», — «Кто этот Валериан?»» (Пушкин); *Никитин жил... вместе со своим товарищем учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч...* (Чехов).

Указательное М. может использоваться для идентификации референта в случаях, когда ИС употреблено в метафорическом (т.е. неидентифицирующем) значении (и референт не совпадает с носителем имени): М. в этом случае служит также показателем метафорического употребления.

Наконец, в некоторых случаях идентифицирующую функцию выполняет ИС, а указательное М. служит не для идентификации, а для выражения эмоционального отношения к референту: *Славная была девочка эта Бэла!* (Лермонтов); *Какой странный человек этот Чичиков!* (Гоголь); *Опять эта Варя!* (Чехов); *Каналья этот Петлюра* (М. Булгаков) и т.п. (в этом значении указательное М. часто выступает в сочетании *уж этот мне*).

в) Конструкции «неопределенное местоимение + ИС»

Неопределенные М. употребляются при ИС в тех случаях, когда носитель имени, по мнению говорящего, неизвестен адресату речи (т.е. когда говорящий полагает, что у адресата нет «мысленного досье» носителя ИС). При этом чаще всего неопределенное М. в сочетании с ИС сохраняет свое основное значение. Рассмотрим подробнее функционирование различных неопределенных М. в таких сочетаниях, тем более что словарные толкования и описания значения конструкций «неопределенные М. + ИС» в лингвистических работах не вполне удовлетворительны.

1) Основное значение М. *какой-то* — указание на объект, не известный говорящему. Прежде всего следует отметить, что ИС лица не принадлежит чувственно воспринимаемым характеристикам. Поэтому если, увидев незнакомого мальчика, мы можем сказать: «Пришел *какой-то* мальчик», — то назвать по имени незнакомое лицо (*Пришел какой-то Петров*) мы можем только в том случае, если это лицо представилось нам или

было кем-то названо. Другими словами, всякое употребление ИС в сочетании с М. *какой-то* носит «цитатный» характер, содержит непосредственную отсылку к употреблению этого ИС другим лицом. Из сказанного ясно, что в художественном тексте в собственно авторской речи имя персонажа не может сопровождаться М. *какой-то* (поскольку автор, очевидно, не может знать о своем персонаже понаслышке). Поэтому сочетания вида «*какой-то* + ИС» в художественном тексте могут быть употреблены только в прямой, косвенной (ср. ...*Доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин* [Гоголь]) или в несобственно-прямой речи; в последнем случае они, как и в других случаях употребления данного М. в авторской речи в художественном тексте, указывают на отличное от «всезнающего автора» лицо, чью «точку зрения» отражает соответствующий отрывок.

Правда, следует учитывать, что не всегда использование сочетания «*какой-то* + ИС» указывает на то, что носитель ИС неизвестен говорящему. Иногда М. *какой-то* может быть употреблено и перед именем лица, заведомо известного и говорящему, и адресату речи. В этом случае сочетание «*какой-то* + ИС» имеет ярко выраженную пейоративную окраску («не заслуживающий того, чтобы его знать»); ср.: *Не хочу, чтобы какой-то Родов мне указывал, про что писать* (П. Васильев), а также приводимый Н. Г. Микадзе [1982: 350] пример: *Неужели вы всерьез думаете, что от стихов какого-то Птушкова пострадает мировое коммунистическое движение?* Употребление местоимения *какой-то* в высказывании: *То вы мне рассказываете происшествие, которое никогда ни с кем из нас не случилось и наверное не случится, то поминаете какого-то Владимира Мономаха, ...до которого нам во всяком случае нет никакого дела* (Вл. Соловьев) — указывает на то, что, по мнению говорящего, исторические параллели нерелевантны для решения нравственных вопросов (значение М. — «не заслуживающий внимания»). В предложении *Последнее слово должно принадлежать им, а не «какой-то» Снегиревой* («ЛГ» 4.04.1984), взятом из статьи, описывающей конфликт сотрудников одного отдела со своим руководителем, употребление М. *какой-то* указывает на пренебрежительное отношение сотрудников к руководителю, а кавычки — на то, что автор статьи не разделяет их позиции.

Заметим, что в сочетании с *какой-то* ИС может выступать и в переносном значении: метонимическом и метафорическом. При метонимии *какой-то* чаще всего реализует значение неизвестности говорящему (хотя может быть реализовано и пейоративное значение). Так в диалоге — *Что читает Петя?* —

Какого-то Зайцева — говорящий, скорее всего, указывает на свое незнание носителя ИС *Зайцев* — писателем *Зайцевым*; употребление ИС *Зайцев* в таком высказывании является «цитатным», хотя не обязательно отсылает к речевому акту (ответу на вопрос: «Что ты читаешь?»): говорящий мог сам увидеть фамилию автора на обложке. Метафорическое значение может появиться у ИС в сочетании с *какой-то* лишь в специальных условиях (напр., в позиции предиката): *По-вашему, Рудин — Тартюф какой-то*. В случае метафоры носитель ИС должен быть известен говорящему, *М. какой-то* может передавать пейоративную окраску или иметь значение 'своего рода', 'что-то вроде'.

2) Сочетания ИС с неопределенными *М. некто, некий* используются в тех случаях, когда, по мнению говорящего, адресату речи неизвестен носитель ИС; при этом говорящему носитель имени может быть известен⁹. Следует отметить, что толкования, даваемые значению *М. некто, некий* в сочетании с ИС в толковых словарях, не могут быть признаны вполне удовлетворительными. Так, в Малом академическом словаре русского языка (т. 2, с. 451) указывается, что каждое из этих местоимений «употребляется в сочетании с фамилией, именем, когда говорится о мало кому известном человеке». Аналогичные толкования даются и в ряде лингвистических работ (см. напр., [Микадзе 1982: 348—349]). Однако анализ конкретных примеров употребления конструкций «*некто (некий) + ИС*» свидетельствует о неадекватности подобных толкований. Так, нельзя сказать, что в отрывке

Был *некто Анджело*, муж опытный, не новый
 В искусстве властвовать, обычаем суровый,
 Блестящий в трудах, ученье и поете,
 За нравы строгие прославленный везде...

(Пушкин)

речь идет о человеке, мало кому известном (говорится: *прославленный везде*). Существенно, что он пока неизвестен читателю, и это оправдывает использование в сочетании с его именем неопределенного *М.*

Более точные толкования сочетаниям «*некто (некий) + ИС*» строятся на основе признака 'неизвестность адресату речи' [Николаева 1983; Падучева 1985]. Иными словами, в сочетании с ИС *некто* и *некий* (а также *такой* в разговорной речи)

⁹ В разговорной речи в этой функции используются сочетания с *М. такой*, напр.: *Есть у нас такой Иванов*.

выполняют ту же функцию, что *один* в сочетании с именем нарицательным.

В терминах «неокаузального» подхода употребление неопределенного М. при ИС показывает, что, по мнению говорящего, у адресата речи может не быть «мысленного досье» на носителя данного ИС; используя М., говорящий дает адресату речи указание завести такое досье, однако никаких данных (дескрипций) для этого «досье» ему не представляет. Разумеется, группа «неопределенное М. + ИС» может сопровождаться и содержательным описанием носителя ИС, ср.: *Некто Петерсон, строгий пресвитерианец, но тихий и ученый мыслитель* (Пушкин); *Некий Беликов, учитель греческого языка* (Чехов); однако наличие такого описания совсем не является обязательным.

В косвенной речи интродуктивные употребления ИС могут использоваться как в тех случаях, когда носитель ИС неизвестен адресату всего высказывания, так и в тех случаях, когда он неизвестен адресату косвенной речи. Ср. интродуктивное употребление ИС с неопределенным М., основанное на шутовском предположении о том, что адресат косвенной речи забыл носителя ИС (т.е. «досье» на носителя стерлось из его сознания)¹⁰: *Напомни этому милому, беспмятному эгоисту, что существует некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихотворец* (Пушкин).

Интродуктивное употребление ИС используется и в тех случаях, когда говорящий сомневается, известен ли носитель ИС адресату речи (иными словами, когда у него нет уверенности, что у адресата речи имеется «мысленное досье» на носителя данного ИС): ср. *Ее имя вряд ли вам известно — это некая профессор Мушкина* (или у Пушкина: *Надобно знать, что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором вы, вероятно, никогда не слыхали*). В связи с этим некоторые сомнения вызывает интерпретация Е. В. Падучевой примера из сказки В. Каверина: *Не знаете ли вы, где здесь живет некто Кощей Бессмертный?* Это предложение выглядит аномальным или, во всяком случае, несколько необычным. Е. В. Падучева объясняет аномальность этого предложения тем, что семантика М. *некто* («говорящему известен денотат, и он предполагает, что адресату речи денотат неизвестен») вступает в противоречие с условиями успешности вопроса, состоящими в том, что

¹⁰ С точки зрения наивной модели памяти, описанной в работе [Туровский 1990], точнее было бы говорить, что он утратил доступ к «досье» носителя данного имени.

говорящий предполагает, что адресату речи известно о Кошее больше, чем ему. Но представляется, что достаточным условием для употребления неопределенного М. перед ИС является отсутствие у говорящего уверенности в том, что носитель известен адресату речи; уверенности в противоположном (т.е. в том, что адресату речи носитель ИС неизвестен) не требуется; ср. у Чехова: *Со мной кончил курс некто Рябовский. Это не родственник ваш?*

Отметим, что необычность (или даже аномальность) высказывания *Не знаете ли вы, где живет некто Кошей Бессмертный?* не зависит от того, что ИГ *некто Кошей* употреблена в вопросительном предложении. Другое предложение из той же сказки *Как известно, мою сестренку похитил некто Кошей* выглядит в той же степени аномальным. По-видимому, такая аномальность была бы свойственна любому предложению, содержащему ИГ *некто Кошей*, и связана не с особенностями речевого акта, а со свойствами именно этой ИГ. Дело в том, что имя *Кошей* может претендовать на статус общеизвестного (в особенности в Кошеевой стране, в которой происходит действие в сказке В. Каверина); поэтому говорящий не должен даже допускать, что *Кошей* может быть неизвестен адресату речи¹¹.

Употребление неопределенного М. перед ИС, носитель которого заведомо известен адресату речи, обычно имеет своей целью выразить пренебрежение к носителю имени. Употребляя ИС с неопределенным М., говорящий как бы подчеркивает, что считает носителя имени не заслуживающим того, чтобы о нем было известно адресату речи. Показательна реакция на такое употребление одного из жителей Кошеевой страны: *Как ты смеешь говорить — «некто Кошей»? Ты должен был спросить: «Не знаете ли вы, где здесь живет Кошей? Да здравствует Кошей!»* Другой пример, когда носитель ИС заведомо известен адресату речи и семантический компонент 'неизвестность адресату речи' переходит в пейоративную коннотацию: *Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо* (Эренбург). Показателен также пример употребления такого сочетания при описании внутренней речи героя, когда заведомо не может иметь место значение 'говорящему известен, а адресату речи неизве-

¹¹ В главе I отмечалось, что интродуктивное употребление ИС недопустимо в тех случаях, когда у говорящего не может быть разумных сомнений в том, что носитель данного имени известен адресату речи.

стен объект' (так как говорящий и адресат речи — одно лицо): *Некая Оля Нечаева, небось, локти себе будет кусать от раскаяния, что отвергла такого серьезного, скромного и, главное, обаятельного человека, как Петя* (Катаев).

Заслуживает внимания вопрос о том, синонимичны ли сочетания «некто + ИС» и «некий + ИС». Толковые словари дают им одинаковые толкования; Е. В. Падучева [1985] также не усматривает семантических отличий между ними. Однако в некоторых работах делается попытка выявить и описать различия в значении этих сочетаний.

Так, Л. Я. Маловицкий [1971: 88] пишет, что «„некто Устименко“ — это кто-то, какой-то человек по фамилии Устименко или называющий себя Устименко...; „некий Устименко“ — это Устименко, но неизвестно, какой именно». Представляется, что приведенное описание недостаточно эксплицитно для того, чтобы судить, отвечают ли различия в толковании действительным семантическим различиям. Если же интерпретировать приведенное толкование сочетания *некий Устименко* как предполагающее выбор из множества людей по фамилии Устименко, то оно не отвечает использованию сочетаний «некий + ИС» в речи.

Т. М. Николаева [1983: 345, 348] толкует *некто* в сочетании с ИС как «Вы его не знаете», «безвестный», а *некий* в сочетании с ИС — как «небезызвестный, не мешало бы знать», «неизвестный вам, но далеко не безызвестный». Действительно, в каких-то случаях этим М. могли бы быть приписаны именно такие значения. Однако существуют и примеры, в которых употреблено *некто*, несмотря на то что речь идет о небезызвестном человеке (ср. приведенный выше пример употребления ИГ *некто Анджело* у Пушкина); а с другой стороны, сочетания с *некий*, как показывает материал, могут употребляться и без коннотации «небезызвестный». Общим для всех употреблений как сочетаний «некто + ИС», так и сочетаний «некий + ИС» является лишь компонент 'говорящий допускает, что адресату речи неизвестен носитель ИС'; вопрос же о семантических различиях между ними остается открытым. Но даже если такие различия имеются, существенно, что семантическое противопоставление возможно лишь в именительном падеже, поскольку *некто* не имеет форм косвенных падежей.

Мы видим, что интерпретация неопределенных М. *какой-то*, *некто* и *некий* в сочетании с ИС подчиняется следующему принципу: в сочетании с именем лица, известного участникам коммуникативного акта, значение неизвестности переходит в

пейоративное значение ('не заслуживает того, чтобы быть известным'). Этот принцип соответствует наблюдениям Г. М. Николаевой [1983: 246—247] относительно того, что коннотативно-оценочно-модальные значения возникают у неопределенных М. в тех случаях, когда они сочетаются с существительными, характеризующимися определенностью.

3) Такие же значения может иметь сочетание с М. *какой-нибудь*, указывающее на нефиксированный референт (употребление в этом же значении М. *некий* является устаревшим). Чаще всего ИС, сочетаясь с *какой-нибудь*, понимается метафорически; группа «*какой-нибудь* + ИС» при этом имеет значение 'кто-нибудь вроде носителя ИС', часто возникает оттенок пренебрежения или отчужденности (особенно часто в сочетании *какой-нибудь там*): ср. *Что может быть общего у тебя или вот у него с каким-нибудь там Заметовым?* (Достоевский).

Употребление ИГ «*какой-нибудь* + ИС» может быть эксклюзивным: *Между ними может находиться какой-нибудь Наполеон* ('кто-нибудь похожий на Наполеона, но не он сам') — или инклюзивным: *Иногда придет какая-нибудь Наталия Фаддеевна погостить...* (Гончаров) ('кто-нибудь, напр., Наталия Фаддеевна'); *Найдут хорошее качество, хороший поступок, хорошее слово у какого-нибудь Нерона — и пишут целые сочинения* (С. М. Соловьев). В некоторых случаях такое употребление опирается не на «досье» носителя ИС, а на абстрактный образ, возникающий при произнесении данного ИС (и тем самым мы имеем дело с условным именем), так что метафора оказывается связана не со свойствами конкретного носителя имени, а с обобщенным образом, возникающим при употреблении данного ИС; *Жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с какой-нибудь Анфисой или Акулиной* (Чехов); *Не для какой-нибудь Анюты из пушек делаются салюты* (К. Прутков). Здесь не предполагается существования конкретного носителя ИС, а следовательно, и знакомства с ним адресата речи.

г) Конструкции «обобщающее местоимение + ИС»

Обобщающие М. с ИС, как правило, не сочетаются. Примеры из [Кронгауз 1984: 116], призванные проиллюстрировать свободное присоединение М. *каждый* и *все* к ИС (*Все Аксиньи живут в Советском Союзе; Все Маргариты, живущие в Москве, замужем; Каждая Лена из седьмой комнаты несчастна по-своему*) выглядят, на мой взгляд, не вполне естественно.

Но присоединение М. *все* к ИС становится возможным, если ИС стоит во множественном числе и представляет собою «название рода» [Щерба 1974: 84], обозначение членов одной семьи: *Все Кузнецовы отличались богатырским здоровьем.*

Частые сочетания ИС с обобщающим М. в пословицах и поговорках связаны с тем, что ИС в них не соотносятся с конкретными носителями, а выступают как «условные» имена: ср. *У всякого Федорки свои отговорки; Всяк Еремей про себя разумеет; У всякого Павла своя правда* и т. п.

Присоединение к ИС М. *всякий* и *любой*, свидетельствующих о соотношенности с открытым классом, возможно также при метафорическом понимании ИС. При этом возникает значение пренебрежения: *Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных* (Блок)¹².

д) Общие выводы

Приведенные наблюдения свидетельствуют о следующей общей закономерности функционирования М. в сочетании с ИС: один из компонентов такого сочетания подвергается переосмыслению. Необходимость переосмысления связана с тем, что использование референциального показателя при «стандартном» употреблении ИС, когда имя характеризуется прагматической определенностью, или оказывается избыточным (когда к ИС присоединяется идентифицирующее М.), или ведет к противоречию (если значение референциального показателя не соответствует прагматической определенности ИС).

Сдвиг в значении ИС обычно состоит в том, что ИС утрачивает идентифицирующую функцию. Такой сдвиг возможен либо при неизвестности носителя имени адресату речи, либо при переносном употреблении ИС. Сдвиг в значении М. состоит в том, что оно перестает функционировать в роли референциального показателя. Чаще всего в этом случае оно передает информацию об отношении говорящего к носителю ИС.

¹² Показателем того, что М. подверглось переосмыслению, может служить здесь множественное число ИГ: значение генерализации передается М. *всякий* и *любой* в составе именных групп в единственном числе. Ср. описание этого круга явлений с точки зрения постулируемой автором семантической категории чуждости в работе [Пеньковский 1989].

4.6. Семантика неопределенных местоимений: лексикографический аспект

а) Два подхода к описанию семантики местоимений

Семантике русских неопределенных местоимений посвящена огромная литература — как специальные научные исследования, так и пособия для изучающих русский язык. В работе [Шмелев 1984б] указывались 28 работ, посвященных неопределенным местоимениям, на результаты которых в значительной мере опирался автор. С тех пор появился еще целый ряд публикаций, из которых в наибольшей степени здесь были использованы результаты исследований Е. В. Падучевой [1985], О. П. Ермаковой [1986], О. Н. Селиверстовой [1988] и С. М. Кузьминой [1989].

В указанных исследованиях можно выделить две линии.

Одна из них направлена на то, чтобы максимально точно сформулировать инвариантное значение каждого местоимения (или даже группы местоимений, напр., всех местоимений на *-то*). Это инвариантное значение (возможно, с какими-то модификациями) далее усматривается исследователем во всех случаях употребления данного местоимения или группы местоимений и противопоставляется инвариантному значению другого местоимения или группы местоимений. Подлинная синонимия разных местоимений при таком подходе оказывается невозможной, хотя возможна частичная нейтрализация соответствующего противопоставления.

Другая линия состоит в том, чтобы дать каждому из местоимений лексикографическую трактовку традиционного типа, не исходя из презумпции моносемичности. При таком подходе каждому из местоимений приписывается некоторый набор словарных значений и вполне могут оказаться одинаковые значения в наборах, соответствующих разным местоимениям. В таком случае, если указанные значения получают полностью тождественные толкования, можно говорить об абсолютной синонимии местоимений в данных значениях.

Представляется, что оба подхода имеют сильные и слабые стороны. Первый подход позволяет ярко представить «основную идею» каждого из местоимений; однако необходимость свести к этой идее все примеры реального употребления местоимения заставляет подгонять интерпретацию примеров под данное толкование. При втором подходе оказывается ярче представленным семантический потенциал местоимения, отсут-

ствуется насилие над материалом; однако семантические и референциальные особенности каждого местоимения оказываются отраженными менее ярко. Кроме того, выясняется, что даже в значениях, которым даются тождественные толкования, местоимения не абсолютно синонимичны. Каждое из них как бы несет на себе след «основной идеи» данного местоимения — рассматриваемое значение «играет» на фоне остальных.

По-видимому, наиболее реалистичным является следующий подход к описанию семантики неопределенных местоимений, в известном смысле синтезирующий указанные два подхода. Толкованию каждой из частных разновидностей употребления местоимения предшествует описание его «общей идеи» — своего рода «прототипического» или «канонического» случая. Частные «значения» местоимения описываются как модификации «прототипического» значения.

б) *Какой-то* vs. *какой-нибудь*

Так, общей идеей местоимения *какой-то* является значение 'говорящий понимает, что может потребоваться более точная характеристика; но он не может описать объект точнее'¹³. Такая формулировка общей идеи данного местоимения предпочтительна по сравнению с формулировкой 'неизвестность'¹⁴; она позволяет объяснить, в частности, сомнительность примеров типа *Из леса вышел какой-то волк при приемлемости По двору бегала какая-то собака*. Действительно, можно вообразить более точное описание собаки (напр., можно задаться вопросом, какой она породы, кто ее хозяин и т.д.). Однако трудно представить себе более точную характеристику волка, не отраженную в номинации *волк*. Есть также случаи, когда местоимение *какой-то* не может быть опущено: *Жизнь появилась на каком-то этапе эволюции материи* (пример из работы [Кузьмина 1989]). Для данного контекста очевидна необходимость определения к существительному *этап*, и, не имея возможности дать содержательное уточнение, говорящий вынужден использовать местоимение *какой-то*.

¹³ Можно было бы сказать, что *какой-то* используется в тех случаях, когда уместно ожидать вопроса *какой?* (ср. анализ условий такого вопроса в работе Г. Е. Крейдлина и Е. В. Рахилиной [1984]).

¹⁴ Ср. толкование местоимения *какой-то* у А. Н. Баранова [1984: 168]: «референт может быть описан полнее и точнее».

В свете сказанного перестает казаться парадоксальным и пример, приводимый Е. В. Падучевой [1985: 211] для иллюстрации «сложной природы семантического компонента 'неизвестность'»: *Я узнал ее издали по каким-то одному мне известным приметам.* Здесь нет противоречия между 'известностью', выражаемой прилагательным *известный*, и значением местоимения, поскольку речь идет о том, что говорящему известны эти приметы, но он не в состоянии их описать точнее.

Различные значения местоимения *какой-то* могут рассматриваться как модификация указанной «общей идеи». Так, С. М. Кузьмина выделяет пять значений у данного местоимения: (1) 'неизвестно какой (*Дверь открылась, и в комнату вошла какая-то девушка*); (2) 'точно не определяемый' (*Пусть у фонемы отсутствует какой-то признак...*); (3) 'небольшой, незначительный' (*За какой-то час он выкопал большую яму*); (4) 'не заслуживающий внимания' (*Не хочу я зависеть от какого-то Дроздова*); (5) 'похожий на...' (неточность номинации: *Во всем какое-то изящество*).

Значение 'неизвестность' можно рассматривать как естественно возникающую речевую импликацию местоимения *какой-то*. Действительно, если говорящий не в состоянии дать более точное описание объекта, это естественно связать с «незнанием». Но возможны и более специальные случаи.

Напр., если мы имеем дело с переменным денотативным пространством, объект может быть не выделенным в универсуме речи, так что соответствующие признаки объекта оказываются просто не заданными; отсюда и неспособность говорящего указать их. Но незаданность признаков в переменном денотативном пространстве как раз и означает, что конкретная информация об объекте несущественна для данного сообщения (хотя ее наличие было бы желательно по каким-то причинам — возможно чисто синтаксическим, как, напр., в данном замечании в скобках), т. е. что можно «точно не определять» объект. В то же время в высказываниях типа *Маша хочет выйти замуж за какого-то математика* использование местоимения *какой-то* свидетельствует о том, что желательно более точное описание этого математика, а следовательно, имеет место значение неизвестности, а не «несущественности».

Значение (5) предполагает, что номинация, к которой присоединяется *какой-то*, является не столько неполной, сколько неточной. По свидетельству С. М. Кузьминой [1989: 173], в разговорной речи употребления местоимения *какой-то* в данном значении нередко сопровождаются «самообрывами» — паузами

для подыскания подходящего слова. Не случайно реализация этого значения почти полностью ограничивается сферой разговорной речи, когда имеет место неподготовленность, отсутствие времени на обдумывание более точного определения, а также художественной речи: так, в поэтической речи оно позволяет имитировать «невыразимость», в романах Достоевского — создать иллюзию повествования от лица репортера, у которого нет времени выбрать точную номинацию. Напротив того, оно практически не реализуется в «строгих» жанрах, предполагающих подготовленность, таких как, скажем, научная речь.

Значения (3) и (4) объединены идеей 'незначительности'. Ее можно сформулировать так: 'не заслуживает того, чтобы говорить об этом более полно'. Говорящий как бы становится в такую позицию: 'если попросите уточнений, я не смогу их дать, потому что выбросил это из головы'. Речь идет именно об имитации такой позиции, поскольку данные значения возникают в сочетании с именами, нормально никакого уточнения не требующими: с количественными ИГ для значения (3), с прагматически определенными ИГ (напр., с ИС) для значения (4). Ср., пример, приводимый С. М. Кузьминой [1989: 172]: *Что дают? — Антрекоты какие-то* (отвечает стоящий в очереди человек, который, очевидно, хочет сделать вид, что покупка антрекотов для него не такое уж важное дело).

Основная идея местоимения *какой-нибудь* состоит в том, что 'говорящий, думая о разных «случаях», допускает, что в них данную роль выполняют разные объекты'. Именно наличие этой идеи объясняет употребление *какой-нибудь* (как и других местоимений на *-нибудь*) лишь в контексте «миропорождающих» (иначе говоря, порождающих денотативные пространства, т.е. «случаи») операторов.

Различные модификации этой общей идеи отражаются в различных значениях местоимения. Приведем значения, выделенные С. М. Кузьминой: (1) 'безразлично какой' (*Спойте какую-нибудь песенку*); (2) 'точно не определяемый' (*Каждый день со мною случается какое-нибудь несчастье*); (3) 'небольшой, незначительный' (*Каких-нибудь два часа — и ты на юге*); (4) 'не заслуживающий внимания' (*Платят мне не больше, чем какому-нибудь бездельнику*); (5) 'похожий на...' (*Налей мне какой-нибудь кока-колы*).

Так, модификация 'безразлично какой', соответствующая значению (1), возникает в ситуации выбора, т.е. то, что в разных «случаях» выбираются различные объекты, естественно связывается с тем, что безразлично, какой объект выбрать.

Именно поэтому данное значение проявляется у местоимений на *-нибудь* в строго определенных контекстах (см. [Падучева 1985: 216]), а именно в контекстах цели, в побудительных контекстах, вообще в контекстах слов, предполагающих отношение к будущему выбор объекта.

Значение (2) толкуется С. М. Кузьминой так же, как значение (2) местоимения *какой-то*. Действительно, *какой-то* 2 и *какой-нибудь* 2 оказываются взаимозаменяемыми в случае, когда речь идет об объекте, признаки которого не заданы в универсуме речи. Отметим близость значений высказываний *Надо было принять какое-то решение* и *Надо было принять какое-нибудь решение*. В работе [Шмелев 1984б: 64] в таких случаях предлагалось говорить о «нейтрализации» оппозиции «нефиксированности» и «неизвестности». Е. В. Падучева [1985; 219—220] указывает, что и в случаях взаимозаменяемости полного тождества смысла нет: «частица *-то* „замещает“ *-нибудь*... принося свойственное именно местоимениям на *-то* представление о единственном, хотя и неизвестном участнике ситуации и вытесняя идею безразличия к выбору участника, свойственную *-нибудь*». Но С. М. Кузьмина [1989: 190—191] отмечает, что «взаимозамена без ощутимого изменения смысла возможна в тех контекстах, в которых затушеван как компонент безразличности выбора, так и компонент неизвестности объекта» — а именно, в языке науки, в сочетании с именами, передающими абстрактные понятия. По поводу примера *Если мы обнаруживаем язык, совпадающий по какому-то признаку с другим языком...* С. М. Кузьмина [1989: 191] пишет, что здесь «вряд ли можно говорить о значении неизвестности, скорее о безразличии выбора».

Представляется, что исходя из описанной выше «общей идеи» каждого из указанных местоимений можно объяснить как чрезвычайную близость значений *какой-то* и *какой-нибудь* в такого рода контекстах, так и смутно ощущаемые, но не всегда верно формулируемые носителями языка и исследователями тончайшие семантические различия между ними. Действительно, когда речь идет о незаданности признаков объекта в универсуме речи, эта ситуация естественным образом концептуализуется как невозможность дать объекту более полное и точное описание. Отсюда использование местоимения *какой-то*, которое, как признается большинством исследователей, в таких контекстах более употребительно (Э. Даль даже высказывает предположение [Dahl 1970], что выбор местоимения на *-то* для таких контекстов нечто вроде формального согласо-

вания) и едва ли «вносит» какую-то дополнительную идею. Использованием же местоимения на *-нибудь*, которое оказывается для таких контекстов маркированным, говорящий как бы подчеркивает: незаданность признаков может привести к тому, что в разных «случаях» (т. е. в разных денотативных пространствах) роль референта могут выполнять разные объекты. Для «бесстрастных» научных текстов семантическое различие почти неощутимо. Добавление экспрессии подчеркивает и указанное различие; ср. рассмотренные выше высказывания *Надо было принять какое-то решение* и *Надо было принять какое-нибудь решение* и пару более экспрессивных высказываний: *Надо же наконец принять хоть какое-то решение* и *Надо же наконец принять хоть какое-нибудь решение*. Представляется, что во второй паре выбор местоимения *какой-нибудь* подчеркивает относительную безразличность для говорящего того, как решение будет принято.

Референция при передаче чужой речи*

5.1. Стратегии передачи чужой модели мира

а) Репортаж (*de dicto*) vs. интерпретация (*de re*)

В каком-то смысле можно сказать, что именно при передаче чужой установки — чужой речи или чужого мнения — имеет место акт референции *par excellence* — в соответствии с употреблением английского *refer to smb.'s words*. А поскольку при передаче чужой речи в рассмотрение вводится денотативное пространство, отличное от модели мира говорящего, то релевантным здесь оказывается противопоставление номинаций *de re* и *de dicto*. Более того, речь может идти не только о номинации того или иного объекта, но о выборе общей стратегии при передаче речи или мнения.

Так, описывая осуществленный другим лицом речевой акт (РА), говорящий далеко не всегда может претендовать на роль беспристрастного репортера; часто он вносит в свое описание ту или иную интерпретацию скрытых намерений субъекта РА, дает оценку уместности данного речевого действия или его содержания. То, как РА видится и описывается «со стороны», может совсем не совпадать с тем, как субъект РА видит (или хочет представить) его «изнутри». Именно в случае такого несовпадения и можно сказать что говорящий выбирает стратегию *de re*.

Как правило, описание речевых действий ведется именно «со стороны». Субъект РА не описывает этот РА, он его производит (разумеется, впоследствии он может дать описание РА, но такое описание уже не будет производиться более или менее «со стороны» — парадоксально и самоубийственно

* В основу данной главы положены исследования, проведенные совместно с Т. В. Булыгиной.

сказать *Я лгу*, но вполне возможно задним числом признаться: *Я (тогда) солгал*¹. Поэтому в работе [Булыгина, Шмелев 1994] мы настаивали на том, что толкования языковых средств описания РА, в первую очередь глаголов речи, должны предусматривать интерпретативный компонент. В этом смысле толкования глаголов речи (в духе известной книги А. Вежбицкой [Wierzbicka 1987b]) от лица субъекта РА, обозначаемого как «я», сколь бы они ни были пронизательны, часто оказываются вводящими в заблуждение. Попытка сохранить единое «1-е лицо», совпадающее с субъектом РА, введя в иллокутивную структуру таких, например, глаголов, как *inform on* 'донести', или *lecture* 'прочитать нотацию', «самокритичные компоненты» типа 'Я знаю, что люди подумают нечто плохое о человеке, который говорит такие вещи' или 'Я допускаю, что говорить подобные вещи в такой манере — это плохо', не всегда приводит к интуитивно удовлетворительным результатам, иногда вступая в противоречие с другими компонентами толкований. Так, в *inform on* компонент 'Я полагаю, что мне следует сообщить вам об этом' вызывает представление о должном и не вполне вяжется с характерным для «донесителя» стремлением избежать огласки, основанном на осознании того, что в глазах других людей и, как следует из комментариев А. Вежбицкой, в глазах самого субъекта такая деятельность является достаточно неблагоприятной. Не случайно глаголы типа *донести/доносить*, *выдать/выдавать*, *настучать/стучать* не могут употребляться перформативно — в отличие от выражений *информировать*, *сигнализировать* и т.п., которые могут обозначать те же самые РА, но не содержат интерпретационного компонента и поэтому могли бы быть использованы в перформативных оборотах в составе соответствующих РА (ср. *Довожу до Вашего сведения...*; *Считаю своим долгом информировать Вас...* и т.п.).

Существенно при этом именно наличие интерпретативного компонента. Компонент типа 'Я допускаю, что я поступаю плохо', вообще говоря, может быть необходимым элементом толкования некоторых выражений, описывающих собственный РА. Таков, например, русский глагол *грешить (на)*, второе значение которого толкуется в словаре [СЯП] как 'без основания дурно думать о ком-н., возводить напраслину на кого-н.' Такое толкование не вполне точно. Из него вытекала бы невозможность перформативного употребления, которое приводило бы к

¹ Ср. аргументы М. Я. Гловинской [1993] в пользу толкования глаголов речи в форме третьего лица.

«иллокутивному самоубийству» [Вендлер 1985] (как аномально **Я возвожу напраслину на X-а*). Напротив того, глагол *грешить* (*на*) преимущественно употребляется в 1-м л. ед. ч. Более точное толкование могло бы выглядеть так: *Я грешу на X*: 'Я не знаю, кто совершил плохой поступок, о котором идет речь; я думаю, я могу сказать: это сделал — X; я сознаю, что я поступаю плохо' (это толкование предложено в работе [Бульгина, Шмелев 1994: 50]).

Наличие сильного интерпретативного компонента препятствует перформативному употреблению многих глагольных выражений. При этом неспособными к перформативному употреблению оказываются не только подрывающие иллокутивную цель РА «самоубийственные» выражения, описанные З. Вендлером [1985], но и те выражения, интерпретативный компонент которых, казалось бы, только подкрепляет иллокутивные намерения. Нельзя сказать не только **I insinuate...*; **I allege that...*; **Я ошибочно утверждаю, что...*; **Я неискренне извиняюсь*, но и **Справедливо замечу, что....* Поэтому, как мы уже отмечали в работе [Бульгина, Шмелев 1994: 51], аномальным является предложение, по иронии судьбы встретившееся в сборнике, посвященном теории речевых актов: *По поводу этого высказывания мы склонны прежде всего, и притом справедливо, заметить, что...*

Иногда А. Вежбицка вводит в толкование глагола речи другое «я» — интерпретатора, отличного от субъекта РА (ср. ее комментарии по поводу глагола *pag* 'изводить придирами, «пилить»' [Wierzbicka 1987b: 145]). Такое может показаться еще больше вводящим в заблуждение, но все становится на свои места, если мы поймем, что фактически А. Вежбицка описывает не употребление глагола речи в первом лице, а интерпретацию чужого речевого акта, производимую при помощи соответствующего глагола. Эта интерпретация ведется в форме первого лица, но используется стратегия *de se*, что означает, что субъект речи, возможно, не согласился бы с такой интерпретацией своего речевого акта. Тем самым толкования из книги [Wierzbicka 1987b] следовало бы заключить в кавычки и предварить показателем того, что это интерпретация чужого речевого акта, чем-нибудь 'X сказал: «...»' или даже 'X сказал, мол:...' ².

² О использовании частицы *мол* как показателя того, что мы имеем дело с интерпретацией чужой установки, передаваемой в форме прямой речи, см. [Арутюнова 1992б: 42–52].

В различных описаниях чужого РА удельный вес интерпретации может быть различным. Описывая некоторое высказывание как *похвалу*, мы в меньшей степени вводим в описание собственную интерпретацию, чем когда мы описываем это же высказывание как, скажем, *расхваливание*.

Менее всего интерпретативный компонент проявляется в тех случаях, когда говорящий, описывая РА другого лица, избирает стратегию «беспристрастного репортажа», своего рода репортажа *de dicto*, стремясь буквально передать все, «как было сказано». Собственную интерпретацию он вводит в описание в той мере, в какой избирает стратегию репортажа *de re*, претендуя на раскрытие того, что субъект РА имел в виду «на самом деле». Можно сказать, что само название *de re* оказывается вводящим в заблуждение: если выбирая стратегию *de dicto*, говорящий стремится передать то, что в действительности сказано другим лицом, то при стратегии *de re* он передает свое видение чужого РА.

б) *De dicto* и *de re* при передаче оценки

Особенно существенно отличать «беспристрастный репортаж» *de dicto* от пристрастной интерпретации *de re* в тех случаях, когда в описании чьего-либо РА другим говорящим содержится оценка. Чтобы правильно понять такое описание, необходимо установить, кому принадлежит оценка: говорящему-интерпретатору или субъекту РА.

Проиллюстрируем сказанное на примере различия между предикатами *винить/обвинять* и *осудить/осуждать*. Следуя подходу, предложенному Ч. Филлмором [Fillmore 1971] при анализе английских глаголов *accuse* и *criticize*, можно описать эти различия следующим образом. И тот и другой предикат связан с идеей ответственности лица за некоторый предосудительный поступок (поведение, свойство). Но иллокутивные цели соответствующих РА различны. В случае *обвинения* в намерения говорящего входит сообщение о том, что некто совершил некий поступок, а предосудительность этого поступка подается как нечто само собой разумеющееся. В случае *осуждения* данным, известным полагается определенное деяние, а ассерция состоит в том, что деяние является, с точки зрения субъекта иллокуции, предосудительным. Иными словами, различие между *обвинить/обвинять* и *осудить/осуждать* состоит, в частности, в различном распределении ассерции и пресуппозиции. С этим связан ряд более или менее специфичных для данной

пары глаголов особенностей. Так, к тривиальным следствиям названного различия относится их различное поведение в отрицательных и вопросительных предложениях, ср.: *Я не обвинял Ивана во лжи* (предосудительность лжи не отрицается; отрицается лишь тот факт, что говорящий делал соответствующее утверждение) и *Я не осуждаю Ивана за ложь* (тот факт, что Иван солгал, не отрицается, а говорящий отрицает, что считает это предосудительным, скажем, исходя из того, что это была ложь во спасение).

С обсуждаемыми особенностями коммуникативной структуры глаголов *осуждать* и *обвинять* связан и ряд других особенностей этих предикатов: представление об определенных моральных полномочиях *осуждающего*, различная интерпретация модальных глаголов в сочетании с *обвинить/обвинять* и с *осудить/осуждать*, а также сочетаний глаголов *обвинять* и *осуждать* с наречиями *напрасно* и *зря* (см. описание рассматриваемых глаголов в работе [Булыгина, Шмелев 1994]).

При этом, когда¹ соответствующий РА описывается «со стороны», то при описании *de dicto* указанные presupпозиции принадлежат субъекту РА и могут не разделяться говорящим (т.е. они не являются presupпозициями в собственном смысле слова). Ср. у Л. Карсавина: *Всякую метафизику обвешивают в «оптимизме», в том, что она недооценивает «трагизма» жизни. — Навязные обвинения и смешные слова: «оптимизм», «пессимизм»! Нет, лучше, достойнее — «быть пессимистом» в самой жизни, в метафизике же — «бы оптимистом». К тому же здесь и нельзя им не быть.* В соответствии с описанной выше семантической структурой глагола *обвинять* отрицательная оценка «оптимизма» должна являться presupпозицией. Но эта оценка принадлежит лишь неопределенно-личному субъекту РА, обозначенному здесь посредством глагола *обвинять*. Из текста ясно, что говорящий (Карсавин) не разделяет отрицательной оценки оптимизма в метафизике, и тем самым ее нельзя считать подлинной presupпозицией.

Напротив, при интерпретации *de re* говорящий «навязывает» presupпозицию, которую, возможно, никак не разделял субъект РА. Ср. при отрицании: [Депутаты] *не осуждают ни нарушения законов и прав граждан со стороны съезда и Верховного Совета, ни наглые провокации национал-коммунистов, ни хамство собственных лидеров* (газета «Известия»). В соответствии с описанной выше семантической структурой глагола *осуждать* данное предложение должно было бы означать, что, не подвергая сомнению presupпозицию, т.е. то, что имеют место «наруше-

ния законов и прав», «наглые провокации», «хамство», депутаты отказываются признать, что это плохо. Сами депутаты, скорее всего, не согласились бы с такой трактовкой. Естественно ожидать, что они отрицательно относятся к нарушению законов и хамству, но не согласны с тем, что все это имеет место в действительности. Пресуппозиция здесь принадлежит говорящему-интерпретатору, а не субъекту описываемого РА.

Таким образом, мы видим, что, выделяя в семантической структуре оценочных глаголов речи пресуппозитивный компонент, мы должны отдавать себе отчет в том, что указанная «пресуппозиция» может принадлежать разным «я»: как субъекту обозначаемого РА (при стратегии *de dicto*), так и говорящему-интерпретатору (при стратегии *de re*) — и не обязательно должна разделяться другим «я». Именно поэтому возможны такие высказывания, как *Обвинение в консерватизме я принимаю*. Оно может означать, что некий X обвинил говорящего (Y-a) в консерватизме и, как это и следует из особенностей семантической структуры глагола *обвинить*, исходил из пресуппозиции 'консерватизм — плохо' и утверждал, что Y-у свойствен консерватизм. Говорящий, принимая *обвинение*, хочет показать, что не разделяет этой пресуппозиции, хотя соглашается с характеристикой себя как консерватора.

Возможны и более сложные, комбинированные стратегии, совмещающие подход *de re* («репортаж») с подходом *de dicto* (интерпретация). Так, то же самое высказывание *Обвинение в консерватизме я принимаю* могло бы быть использовано в ситуации, когда некий X констатировал консерватизм Y-a, не давая ему никакой оценки, а Y интерпретировал соответствующее высказывание как *обвинение* (подход *de re* — интерпретация) и при этом использовал выражение *обвинение*, пресуппозицию которого не разделяет (подход *de dicto*, имитация «репортажа»). Иначе говоря, он продемонстрировал стратегию *de re*, имитирующую стратегию *de dicto*, т.е. интерпретацию, замаскированную под «репортаж».

Как мы видели, глаголы *обвинить/обвинять* и *осудить/осуждать* (и их производные) могут использоваться и при «репортаже», и при «интерпретации». В то же время есть предикаты, обладающие преимущественной или исключительной способностью к интерпретативному употреблению. Таковы, в частности, предикат *упрекнуть/упрекать* и существительное *упрек*³.

³ Ниже используются некоторые результаты анализа глаголов *упрекнуть/упрекать* и *попрекнуть/попрекать*, приведенного в работе [Булы-

Упрекнуть/упрекать имеет в современном языке две основные модели управления: *кого-л. за что-л.* и *в чём-л.* Иными словами, рассматриваемый предикат может иметь модель управления, сходную с предикатом *осудить/осуждать* или с предикатом *обвинить/обвинять*. И, действительно, в какой-то степени предикат *упрекнуть/упрекать* может сближаться с обвинением и осуждением в зависимости от модели управления: ср. различную интерпретацию выражений *его не упрекнешь в трусости* ('он ничего не боится') и *его не упрекнешь за трусость* ('в такой ситуации всякий бы испугался'). Но в целом описание, сводящееся к особенностям распределения пресуппозиции и ассерции, не удастся применить к указанным двум разновидностям предиката *упрекнуть/упрекать*. *Упрекая* за что-то, субъект основывается на пресуппозиции, что соответствующая ситуация имеет место, как и в тех случаях, когда он *осуждает*; но в отличие от *осуждения* он не утверждает, что это плохо, а скорее напоминает это или косвенным образом указывает на это. Аналогично, *упрекая* в чем-то, субъект исходит из пресуппозиции, что это плохо (как и в случае обвинения), но то, что соответствующая ситуация имеет место, является не ассерцией, а содержанием напоминания или косвенного указания. Именно эта «косвенность» «квазиассертивного компонента» отличает *упрекать* от *обвинять* или *осуждать*. Упреки часто могут выражаться тоном (ср. *сказать с упрёком*), взглядом (ср. *посмотреть с упрёком*), мимикой или даже молчанием (ср. *В молчаньи твоего ухода Упрек невысказанный есть* [Пастернак]). *Упрекнуть* значит не столько 'высказать упрёк', сколько 'сказать нечто с упрёком'. Директор не может **упрекнуть подчиненного в нарушении трудовой дисциплины*, точнее — прямое замечание директора не может быть описано как *упрек*. Типичная ситуация, когда высказываются *упреки*, — выяснение отношений между близкими людьми, чаще всего они высказываются непосредственно тому, кого *упрекают*, и имеют целью побудить адресата задуматься о своем поведении, пробудить угрызения совести. Непосредственная направленность на адресата — характерологическая, но не обязательная черта *упреков*, ср.: *Его капризы, раздражительность, вечные упрёки по адресу «общества потребления» иной раз смешат, а иной — сердят* (Н. Ильина).

гина, Шмелев 1994], а также [Булыгина, Шмелев 1996а]. Независимо от нас (и раньше) ряд замечаний, касающихся семантики глагола *упрекать*, сделала М. Я. Гловинская [1993: 198].

Однако элемент «косвенности» присутствует всегда, и именно он является подрывающим фактором, препятствующим перформативному употреблению глагола *упрекать*. Мы не можем прямо сказать *Я упрекаю...*, потому что содержащаяся в семантике глагола косвенность противоречит прямому утверждению. В результате мы и получаем иллокутивное самоубийство. Напротив, с отрицанием этот глагол может употребляться в 1-м л. наст. вр.: *Я не упрекаю Вас, но...*⁴.

Важная черта *упрека* (определенным образом связанная с его косвенностью) — нежелание говорящего придавать поводу для упрека слишком большое значение. То, в чем или за что *упрекает* говорящий, не влияет на его общее хорошее отношение к упрекаемому⁵. Можно *упрекнуть* диссертанта за отсутствие списка проанализированных слов, но нельзя **упрекнуть в плагиате* (или *за плагиат*). *Упреки по адресу «общества потребления»* никак не противоречат тому, что упрекающий продолжает жить в этом обществе и пользоваться всеми его благами. Со стороны постороннего мы скорее услышали бы инвективы или обличения.

Именно с этим связана часто имеющая место некоторая «интимность», «семейность» упреков. М. Я. Гловинская даже включает в толкование глагола *упрекать* компонент, указывающий на включенность упрекаемого в личную сферу говорящего [1993: 198]. По-видимому, указанный компонент все же не обязательно присутствует во всех случаях *упреков* — поэтому и возможны *упреки по адресу диссертанта* или *общества потребления*. М. Я. Гловинская отмечает, что нельзя *упрекать* незнакомого человека за то, что он наступил тебе на ногу в троллейбусе. Это, несомненно, справедливое замечание, однако мы едва ли станем *упрекать* за это и члена семьи. Обычно *упрекают* в таких вещах, как холодность, недостаточная внимательность — а такие упреки естественно обращать именно близким людям. *Упрекать* можно и в чем-то серьезном (тогда имеют место *горькие упреки*), но *упрек* уместен только в контексте общего хорошего отношения говорящего к упрекаемому.

Основная цель упрека — указать, что упрекаемый обманул наши ожидания (ср. один из шести компонентов, выделяемых

⁴ Посредством такой формулы обычно высказывается именно *упрек*. Тем самым приведенное высказывание может рассматриваться как пример самофальсификации в смысле [Шмелев 1990].

⁵ В частности можно *упрекать* самого себя, как Евгений Онегин, который *упрекал себя во многом*.

М. Я. Гловинской в толковании глагола *упрекать*: 'X мог ожидать другого Р от Y-а' [Гловинская 1993: 198]). Сам повод для упрека, как отмечалось выше, предполагается известным упрекаемому. *Упрекая*, мы не сообщаем упрекаемому новой информации. Не случайно вербальное выражение упреков часто включает частицу *же*: типичные формулы упреков — *Что же ты не пришел (сделал, сказал и т.д.)?* [Гловинская 1993] или даже просто *Что же ты?* (поскольку повод для упрека предполагается известным, нет необходимости в его вербальной экспликации). По этой же причине упрек может быть выражен невербально, поскольку нет необходимости эксплицитно указывать на повод для упрека.

Мы видим, что семантика *упрека* парадоксальна. Особенности данного РА в значительной степени связаны с внутренними установками говорящего. Лишь сам упрекающий может знать, что именно он хотел сказать своим молчанием, изменилось ли его хорошее отношение к упрекаемому и т.д. Иными словами, уверенно судить, имеем ли мы дело с *упреком*, может лишь упрекающий. С другой стороны, описать РА как *упрек* можно лишь «извне» в силу его косвенности. Мы интерпретируем РА как *упрек* на основе наших предположений о внутреннем состоянии упрекающего, и этот элемент интерпретации оказывается решающим для семантики *упрека*. Иными словами, *упрек* и *упрекнуть/упрекать* — это не собственное имя РА, а одна из возможных интерпретаций, которая может иметь место только как результат применения стратегии *de ge*.

Таким образом, в *упреках* мы сталкиваемся с двумя видами оценки. «Упрекающий» оценивает какое-либо явление как обманывающее его ожидание и дает это понять адресату речи; наблюдатель (интерпретатор), описывая соответствующий РА посредством стратегии *de ge*, оценивает соответствующее поведение «упрекающего» как *упрек*.

На основании данных словарей русского языка можно было бы сделать вывод, что *упрекнуть/упрекать* и *попрекнуть/попрекать* (а также *упрек* и *попрек*) представляют собою близкие синонимы: они получают сходные толкования в толковых словарях (при этом *попреки* обычно трактуются в словарях как разновидность *упреков*, напр., в [МАС2]: *попрек* 'упрек, укор', *попрекать* 'делать упреки, попреки, ставить что-л. в укор кому-л.; упрекать', ср. также: «*Попрек* — незаслуженное, необоснованное обвинение, высказанное обычно в резкой, придирчивой форме, *попрекать* указывает преимущ. на придирчивость, необоснованность упреков, обычно высказываемых неоднократно» [ССРЯ]),

почти тождественные переводы в двуязычных словарях, включаются в словари синонимов. Но такое впечатление обманчиво. *Упреки* и *попреки* действительно имеют общие свойства, но в целом сущность соответствующих РА полностью различна.

Среди общих свойств *упреков* и *попреков*, по-видимому и создающих общее впечатление семантической близости, прежде всего следует отметить тот факт, что характеризовать РА как *упрек* или *попрек* можно только при референции к чужому РА, используя стратегию *de te*. Соответствующие глаголы не могут употребляться перформативно, их использование в форме первого лица оказывается «иллокутивно самоубийственным» (в смысле [Вендлер 1985]). В то же время источники такого запрета не вполне тождественны для *упреков* и *попреков*, хотя в обоих случаях они связаны с местом оценочного компонента в семантической структуре соответствующего глагола.

Отметим, что, вопреки данным словаря [ССРЯ], далеко не всякое необоснованное *обвинение*, в сколь бы резкой форме оно ни было высказано, и далеко не всякий придиричивый *упрек* могут быть названы *попреком*. Семантика *попрека* вызывает представление об иерархическом статусе коммуникантов. Обычно *попрекают* того, кто уже и так находится в униженном или зависимом положении, *попреки* делаются как бы «сверху вниз».

При этом осуществление *попрека* плохо вяжется с расположением к «попрекаемому». Сочетание *отеческий попрек* (Федин) звучит странно.

Если говорить об иллокутивной цели, которую субъект хочет представить как мотив совершения данного РА, то чаще всего *попрек* близок к упреку в неблагодарности. Как и в случае *упреков*, попрекающий не утверждает ничего нового (в отличие от *обвинения*), он лишь напоминает — чаще всего о благодеяниях, которые оказывал или оказывает адресату речи, о проявленной некогда снисходительности, недостаточно оцениваемой адресатом: *Я тебя в люди вывел, а ты...* Однако если «упрекаемый» может в дальнейшем «исправиться», то «попрекаемый» лишен этой возможности, поскольку ситуация, которой попрекают адресата, никак им не контролируется; она относится к тем аспектам прошлого, которое навсегда остается в досье «попрекаемого», ср.: *Вернусь, а ты опять попрекать начнешь: «мы тебя приютили, мы тебя накормили, мы тебя напоили»* (Михалков); *Новая родня ей колет глаз попреком, что она мещанкой родилась* (Крылов). Не вполне права М. Я. Гловинская, включившая *попрекать* в список глаголов, обозначающих

РА, которые «предпринимаются, так сказать для исправления У-а» [1993: 197]. Подлинная цель *попрека* — «поставить адресата на место», напомнить о его зависимом от субъекта РА положении, вызвать у него обиду или досаду, причем не для того, чтобы он исправился в будущем, а чтобы «чувствовал». *Попрекать* кого-либо, по общепринятому мнению, дурно⁶, и поэтому говорящий не употребляет этот глагол в 1-м лице не только в настоящем времени, но и при описании уже имевших место РА: аномально *Сын начал курить, и я сочла необходимым попрекнуть его тем, что он еще не зарабатывает денег*. Идея *попрека* не вяжется с представлением о должном. Нельзя сказать: *Чтобы пробудить в молодом поколении чувство благодарности, мы должны постоянно попрекать его жертвами, которые принесло наше поколение*. Ср. в то же время при наличии отрицания: *С этим поколением надо говорить, не попрекая его жертвами и незажившими ранами нашего поколения* (Симонов). «Попрекающий» не может быть объектом эмпатии. Не случайно нельзя сказать **Его не попрекнешь* (ср. правильное *Его не упрекнешь*⁷). Лишь для описания РА, совершенного прошлой «инстанцией» говорящего, который в момент совершения актуального РА раскаивается в прошлом РА и оценивает его как бы «со стороны» (т.е. когда эмпатии нет), употребление глагола *попрекать* возможно: *Бывало, вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой и давай твою покойную мать попрекать за расходы* (Чехов).

В то же время, когда наблюдатель оценивает со стороны какой-то РА как *попрек*, удельный вес интерпретации не так велик. «Самоубийственность» выражения *я попрекаю* связана не столько с наличием интерпретативного компонента, сколько с семантическим компонентом 'несправедливо': Такие РА, как *Мы тебя кормим, а сам ты еще денег не зарабатываешь*, едва ли могут быть описаны иначе как *попреки*, и в этом смысле выражения *попрекнуть/попрекать* и *попрек* как бы представляют собою «прямое имя» соответствующего РА. В этом отношении они отчасти подобны глаголу *выгнать/выгонять*, используемому как обозначение РА. Действие, реализуемое высказыванием *Подите вон!*, едва ли можно описать иначе как *выгонять*. Для соответствующей квалификации РА достаточны и менее

⁶ Ср. приводимые В. И. Далем пословицы: *Своим хлебом-солью попрекать грешно*; *Лучше не давай, но не попрекай*; *Сделав добро, не попрекай* и т.д.

⁷ О том, что субъект таких конструкций всегда находится в фокусе эмпатии, см., в частности, [Булыгина, Шмелев 1990г], а также главу 6.

энергичные средства выражения. Ср. пример из В. Набокова: *«Уходи к себе», — сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты, остался от удивления, как был, на коленях.* И здесь номинация РА представляется вполне адекватной и тоже, пожалуй, наиболее естественной, если не единственно возможной. В то же время это номинация *de te*, и потому невозможно перформативное **Я выгоняю вас*. Но, в отличие от *попрекнуть/попрекать* предикат *выгнать/выгонять* обозначает не столь предосудительное действие, и потому его субъект может быть объектом эмпатии (и тогда использоваться *de dicto*): ср. *Скажи Кирилу Петровичу, чтобы он убирался, пока я не велел его выгнать со двора* (Пушкин). Последний пример замечателен некоторой парадоксальностью. Ведь сказав: *Скажи Кирилу Петровичу, чтобы он убирался*, Дубровский тем самым уже «велел его выгнать со двора», поскольку сказать *Убирайтесь!* и значит *выгнать*.

Основанием для *попрека* могут быть не только благодеяния, которые «попрекающий» оказывал «попрекаемому». Можно попрекать низким происхождением (как в приведенном выше примере из Крылова) или какими-то прошлыми прегрешениями «попрекаемого», в которых он давно раскаялся. Возможны даже попреки, связанные с тем, что другие умеют что-то делать лучше, — так, Цветаева пишет, что, когда ей было пять лет, мать, огорченная недостаточной музыкальностью дочери, *постоянно попрекала [ее] трехлетним Моцартом, четырехлетней собой, а позже — Мусей Потаповой*. Примеры такого рода наводят на мысль, что и *попреки* (в разных типах употребления) связаны, как и *упреки*, с какой-то формой «обманутых ожиданий». Поэтому в толкование предиката *попрекнуть/попрекать* также можно было бы включать компонент 'X мог ожидать другого Р от Y-а', постулируемый М. Я. Гловинской для *упрекать*.

Но во всех случаях существенно, что с точки зрения говорящего-наблюдателя *попрек* является неблагоприятным и в лучшем случае бесполезным, если не злонамеренным актом. Именно на неблагоприятность *попреков* *прошлым* указывает пословица *Кто старое помянет, того черт на расправу потянет*.

При этом важное свойство *попреков* состоит в том, что, как и в случае *упреков*, субъект соответствующего РА не сообщает ничего нового, а скорее напоминает. Близкие синонимы к *попрекать* — это *колоть глаза* (ср. примеры употребления выражения *колоть глаза* из ТКС — напр., *Они колот ему глаза тем, что вывели его в люди*) или даже *ставить всякое лыко в строку*. Именно в случае *попреков* мы сталкиваемся с довольно своеобраз-

разным соотношением оценок, даваемых «двумя я». С одной стороны, субъект РА («попрекающий») демонстрирует свое плохое отношение к «попрекаемому», а наблюдатель-интерпретатор, в свою очередь, отрицательно оценивает соответствующий РА. Но с другой стороны, если субъект РА поймет, что его слова могут быть описаны как *попрек*, роли коммуникантов могут перемениться, так что, еще недавно униженный, объект попреков может оказаться на высоте положения (ср. следующий диалог из повести И. Грековой: «Молод ты еще курить. Сам заработай, тогда и кури», — «А, ты меня своим хлебом попрекаешь? Ладно же! Хватит! Не буду у тебя есть!» — «Прости меня, Вадик. Винавата. И кури, пожалуйста, только не вредничай»).

в) Стратегия *de te* как демагогический прием

Передача содержания чужого мнения или высказывания при стратегии *de te* оказывается, как уже говорилось, не вполне адекватной; в некоторых случаях, напр. при глаголах манеры речи (*прошептать*, *прокричать*), она вообще недопустима [Cole 1978]. Кроме того, при передаче чужой речи или чужой установки стратегия *de te* часто бывает связана с «речевой демагогией». Е. В. Падучева [1983] отметила, что если Филипп сказал: *Тегусигальпа находится в Никарагуа*, — то передавая это высказывание как *Филипп считает, что столица Гондураса находится в Никарагуа*, мы демагогически отказываем Филиппу не только в знании географии, но и в здравом смысле.

Не случайно стратегия *de te* широко используется в газетной и журнальной полемике. Использование этой стратегии обеими полемизирующими сторонами часто ведет к взаимному непониманию и создает впечатление, что стороны говорят «на разных языках». Так, в одной из статей в журнале «Наш современник» Н. Лебедева заявила, что *Валентин Распутин объявлен шовинистом, антисемитом и чуть ли не фашистом лишь за то, что выступил против шельмования русских*. Если ее сведения верны, т.е. если Распутина кто-то (некоторый X) действительно объявил шовинистом и антисемитом, то едва ли этот X осуществил это посредством такого РА: *Я объявляю Валентина Распутина шовинистом и антисемитом лишь за то, что он выступает против шельмования русских*. Скорее всего имел место примерно такой РА: *Я считаю Валентина Распутина шовинистом и антисемитом, поскольку он допустил шовинистические и антисемитские высказывания*. Таким образом, мы видим, что высказывание Н. Лебедевой представляет собою яркий пример

стратегии de ge. Но если мы рассмотрим реконструированное нами высказывание X-а, то мы увидим, что оно также реализует стратегию de ge. Едва ли сам Валентин Распутин готов был характеризовать свои высказывания как *шовинистические и антисемитские*. Скорее, он счел бы адекватной трактовку Н. Лебедевой и сказал бы, что *выступил в защиту русских и русского патриотизма*.

Итак, мы видим, как одна интерпретация накладывается на другую. Валентин Распутин осуществляет РА, содержание которого в интерпретации de dicto должно сводиться к 'выступлению в защиту русских и русского патриотизма'. X интерпретирует этот РА de ge как *шовинистические и антисемитские высказывания* и на основании этих высказываний обвиняет Валентина Распутина в шовинизме и антисемитизме. Н. Лебедева интерпретирует высказывания X-а de ge и сообщает, что в глазах X-а защита русских является достаточным основанием для обвинения в антисемитизме и шовинизме. Именно по такой схеме по большей части и строится современная журнальная полемика в России.

5.2. Косвенные вопросы

а) Косвенно-вопросительное придаточное — отличие от придаточных других типов

Одним из самых интересных средств отсылки к чужой речи или чужому мнению являются так называемые «косвенные вопросы» — особый тип придаточных предложений, присоединяемых при помощи вопросительно-относительного местоимения. Представляется, что описанное выше разграничение двух стратегий при передаче чужой речи может быть применено и к анализу косвенно-вопросительных придаточных. Можно задать вопросом: реализуют ли косвенно-вопросительные придаточные стратегию de ge, стратегию de dicto или же могут использоваться как при той, так и при другой стратегии?

Такому анализу должно предшествовать более точное определение объекта анализа. Иными словами, прежде всего следует определить, что понимается под косвенно-вопросительными придаточными, отграничить их от внешне сходных придаточных предложений иных типов.

От косвенно-вопросительных предложений (т.е. предложений с косвенно-вопросительным придаточным) следует, в частности, отличать «косвенно-восклицательные». Различие между

ними лингвистически существенно, хотя иногда они могут быть формально сходны. Так, предложение (1а), включающее в свой состав «косвенно-восклицательное» придаточное, отличается по ряду признаков как от предложения (1б), так и от предложения (1в):

(1) (а) Поразительно, как долго продолжалась голодовка доктора Хайдера!; (б) Корреспондента спросили, как долго продолжалась голодовка доктора Хайдера; (в) Медицине известно, как долго может продолжаться голодовка без ущерба для здоровья.

Семантическое различие состоит, в частности, в том, что в предложении (1а) слово *долго* обозначает длительный отрезок времени, существенно превышающий норму (иначе было бы неуместно «поражаться» и «восклицать»), тогда как в (1б) и в (1в) оно является просто названием соответствующего параметра ('продолжительность'). С этим связано то, что в «косвенно-восклицательное» придаточное может быть введен интенсификатор, а в косвенно-вопросительное его ввести нельзя. Так, предложение (2а) вполне возможно, тогда как предложение (2б) аномально:

(2) (а) Поразительно, как невероятно долго продолжалась голодовка доктора Хайдера!; (б) *Корреспондента спросили, как невероятно долго продолжалась голодовка доктора Хайдера.

Другое различие состоит в том, что «косвенные восклицания» несовместимы с состоянием незнания субъекта пропозициональной установки относительно положения дел, описываемого соответствующей пропозицией, тогда как для одного из двух других упомянутых типов предложений, а именно — для (1б), такое состояние, наоборот, естественно.

Еще более очевидна необходимость вывести из круга предложений с косвенным вопросом внешне иногда не отличимые от них эллиптические предложения с изъяснительным (или, может быть, определительным) придаточным, как, например, в проанализированном в работе [Булыгина, Шмелев 1988г] предложении (3):

(3) Вчера Штирлиц обнаружил, что Мюллер обнаружил неделю назад.

В зависимости от просодического контура это предложение может значить либо то, что (а) 'Штирлиц обнаружил, каковы те сведения, которыми неделю назад стал обладать Мюллер

(при этом сам Штирлиц мог располагать ими и раньше)', либо то, что (б) 'Штирлиц обнаружил вчера те (ранее неизвестные ему) факты, которые Мюллер обнаружил неделю назад'. В первом случае Штирлиц и Мюллер обнаружили разные вещи, во втором — они обнаружили одно и то же.

Указанная неоднозначность обычно разрешается средствами контекста. Ср., например, предложение (4а), сопоставимое с пониманием (а) приведенного выше примера (3), и предложение (4б), сопоставимое с пониманием (б):

(4) (а) Штирлиц знал теперь, что (именно) знал об этом деле Мюллер, и отвечал на его вопросы соответственно; (б) Штирлиц знал теперь об этом деле, что знал Мюллер, но хотел знать больше.

Следует отметить, что в русском языке смысл первого типа обычно выражается с помощью местоименного коррелята, занимающего соответствующую синтаксическую позицию в главном предложении, как в примере (5), а смысл второго типа — при помощи одиночного вопросительно-относительного местоимения, как в примере (6):

(5) Да откуда же вы, что не знаете того, что уже знают все кучера в городе? (Л. Толстой); (6) Я заранее знал, что он будет говорить в свое оправдание.

Нетрудно видеть, что предложения типа только что приведенного примера (5) или приводившегося выше (4а) соответствуют по структуре предложениям, в состав которых входит придаточное с относительным (а не вопросительно-относительным) *что*: *Как же вы не купили того, что купили все?*; *Охотно мы дарим, что нам не надобно самим*, — отличаясь от этих последних только интенциональностью объекта. Они, таким образом, не имеют отношения к косвенным вопросам и, более того не вводят в рассмотрение никакой чужой модели мира, отличной от модели мира говорящего. Поэтому они в дальнейшем не рассматриваются.

Что же касается до предложений типа *Штирлиц знал теперь, что именно знал об этом деле Мюллер* или (7) *Мне было известно, куда он поехал*, то они, скорее, сходны с предложениями вроде (8) *Штирлиц спрашивал себя, что мог знать об этом деле Мюллер* или (9) *Мне было интересно, куда он поехал*, с которыми они обычно и объединяются в один класс «косвенно-вопросительных». Следуя этой традиции, мы и будем называть косвенно-вопросительными и предложения типа (7), и предложения типа (9).

б) Два типа косвенно-вопросительных предложений

Между выделенными двумя типами косвенно-вопросительных предложений имеются значительные различия, отмеченные в работе [Булыгина, Шмелев 1988г]. Различие между значением предложений типа (7) *Мне было известно, куда он поехал* и (9) *Мне было интересно, куда он поехал* состоит, в частности, в следующем.

В предложении (9) объектом установки (содержанием ментального состояния переживающего субъекта, в данном случае — говорящего) является именно вопрос. Иными словами, косвенно-вопросительное придаточное соответствует вопросу в сознании субъекта установки, и, таким образом, иллокутивное содержание его установки передастся *de dicto*.

В то же время в предложении (7) объект установки — это суждение, служащее ответом на данный вопрос, поэтому можно говорить, что косвенный вопрос скрывает здесь за собой положительное суждение (знание) субъекта. Таким образом, объект установки полностью эксплицирован в (9) *Мне было интересно, куда он поехал*, тогда как в (7) *Мне было известно, куда он поехал* объект установки (здесь — предмет знания) эксплицитно не сформулирован, заменен на вопрос, на который, по мнению говорящего, отвечает положительное суждение. Здесь иллокутивное содержание установки передается *de re*. Предикаты, подчиняющие косвенный вопрос с собственно вопросительным значением (типа *интересно*), свидетельствуют о незнании субъектом ответа на вопрос. Поэтому в работе [Булыгина, Шмелев 1988г] их было предложено назвать «игноративными» предикатами. Предикаты, которые подчиняют косвенно-вопросительное придаточное, скрывающее за собой не эксплицированное положительное суждение субъекта установки, назовем «позитивными» предикатами.

Таким образом, в контексте «игноративного» предиката косвенно-вопросительное придаточное соответствует вопросу. Нередко оно просто буквально повторяет этот вопрос, так что передача вопроса в прямой и косвенной речи внешне не различаются: ср. *Он спросил: «Где находится дача Тамары Макаровой?»* и *Он спросил, где находится дача Тамары Макаровой.* В то же время в контексте «позитивного» предиката косвенно-вопросительное придаточное «скрывает» за собою положительное суждение, и его «вопросительность» является, таким образом, мнимой, фиктивной. Говорящий подставляет на место суждения, помысленного или высказанного субъектом, тот вопрос,

на который это суждение отвечает. Косвенно-вопросительное предложение *Он рассказал, где находится дача Тамары Макаровой* соответствует при передаче высказывания в прямой речи не предложению **Он рассказал: «Где находится дача Тамары Макаровой»*, а предложению типа *Он рассказал, что дача Тамары Макаровой находится в Песках*.

Приведем примеры «*позитивных*» предикатов: *знать, сообразить, догадаться, понимать/понять, выяснить, решить, сообщить, сказать, договориться, известно, понятно* и мн. др. Примеры «*игноративных*» предикатов: *интересоваться, размышлять, думать* (в значении мыслительной деятельности, а не состояния), *спрашивать/спросить, решать* (в значении процесса), *(по)любопытствовать, вспоминать* (*мучительно вспоминать* — в отличие от *вспомнить*), *недоумевать* и т.п. К числу особенностей позитивных предикатов, отличающих их от игноративных, относится их способность подчинять изъяснительные придаточные, вводимые союзом (не местоимением!) *что*.

Позитивные предикаты в контексте модального оператора (отрицания, вопросительности, ирреального наклонения, будущего времени, императивности и т.п.) могут функционировать как игноративные предикаты — таким образом, предикаты типа *не знать* относятся к игноративным. Ср. также: *Они решили [позитивный предикат], кто пойдет за хлебом*. Таким образом, названные выше условия предусматривают переход «*исконных*» позитивных предикатов (предикатов, для которых «*позитивность*» является словарной характеристикой) в игноративные. Обратное неверно — предикат, имеющий словарную характеристику «*игноративность*», не может функционировать как позитивный.

В работе [Булыгина, Шмелев 1988г] был отмечен целый ряд отличий в языковом поведении игноративных и позитивных предикатов.

Так, игноративные предикаты могут подчинять не только частные (как в (10а)), но и общие косвенные вопросы (с частицей *ли* — как в (10б) и (11)):

- (10) (а) Кошка бегала по пылающей кровле сарая, недоумевая, куда спрыгнуть (Пушкин); (б) ...Она спросила, Давно ль он здесь, откуда он И не из их ли уж сторон? (Пушкин).

Нередко в общем косвенном вопросе используется частица *не*:

- (11) (а) Он все гадал, не это ли магазин, где он будет жить (Набоков); (б) Все чаще думаю, не поставить ли лучше

точку пули в моем конце (Маяковский); (в) Ну что ты все чиновник, чиновник, а не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи (Гоголь).

Напротив того, в предложениях с позитивными предикатами общий косвенный вопрос обычно звучит неестественно: *Он догадался, тот ли это магазин, где он будет служить; *Он сообщил ей, давно ль он здесь.

Совсем невозможно при позитивных предикатах употребление общего вопроса в отрицательной форме: *Он знал, не это ли магазин, где он будет служить; Он сообщил ей, не из их ли он сторон.

Вместо общего косвенного вопроса при позитивных предикатах используется частный (Он сообщил ей, из каких он сторон) или — в случае необходимости (нередко в полемическом контексте) — косвенный альтернативный вопрос: Я сам знаю, идти мне туда или нет.

Лишь в контексте игноративных предикатов могут использоваться другие показатели, специфичные для вопросов: частицы же, это (кто же; где это), редупликации типа какой такой:

(12) (а) Интересно, где это (где же) они были; (б) Не пойму, куда же я дела очки; (в) Ну-с, посмотрим, какие такие ваши секреты, барышня; (г) Он хотел разобраться, почему же он ей пришелся по вкусу (Набоков).

Это едва ли возможно для позитивных предикатов:

(13) (а) *Я знаю, где это (где же) они были; (б) *Он вспомнил, куда же он дел очки; (в) ?Я прекрасно вижу, какие такие ваши секреты, барышня; (г) *Он хорошо представлял себе, почему же он ей пришелся по вкусу.

В косвенных вопросах, подчиненных игноративным предикатам, нередко употребляются модальные показатели, отнесенные к реальной ситуации⁸. Так, (14а) приблизительно синонимично предложению (14б), тогда как смысловое различие между предложениями (15а) и (15б) с позитивным предикатом существенно больше:

⁸ Это свойство косвенно-вопросительных придаточных при игноративных предикатах «наследуют» от «прямых» вопросительных предложений, которым они соответствуют (относительно особого — «удивительного» — употребления показателей модальности, в частности глагола *мочь*, в вопросительных предложениях ср. статью А. Богуславского [1993]).

(14) (а) Интересно, куда бы он мог уйти \approx (б) Интересно, куда он ушел, но (15) (а) Я представляю себе, куда он мог пойти \neq (б) Я представляю себе, куда он пошел.

Обратим внимание также на возможность употребления ирреального наклонения в косвенном вопросе, подчиненном игноративному предикату в (16а), и аномальность предложения (16б) с предикатом положительного суждения: (16) (а) *А кто бы это такое был, позвольте-ка узнать*; (б) **Мы узнали, кто бы это такое был*.

Только для игноративных, но не для позитивных предикатов характерен аффективный способ выражения: *Хотелось бы знать, зачем ему понадобилось уходить*; *Ума не приложу, куда он запропастился*; *Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву* (Пушкин) — ср. сомнительное **Мне известно, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву*.

Еще одно различие между рассматриваемыми типами предикатов состоит в разных возможностях продолжения соответствующих текстов: многочленный (минимум — двучленный), а иногда и открытый ряд для игноративов и только что-нибудь одно для предикатов положительного суждения: *Непонятно, что ей подарить: книгу, колготки, пластинку, шампунь...* и, с другой стороны, *Я придумал, что ей подарить: пластинку*.

Все эти особенности можно связать с различием в ментальном состоянии переживающих субъектов — в частности, аффективность, модализованность, характерную для косвенно-вопросительных придаточных в контексте игноративных предикатов, — с интеллектуальным дискомфортом, который вызывается присутствием в уме неразрешенного вопроса. Косвенно-вопросительное придаточное при игноративном предикате передает именно вопросительность. Иначе говоря, оно отражает установку, которую имел субъект соответствующего ментального состояния, т. е. субъект вопроса, и сохраняет языковые показатели этого состояния. При позитивном предикате никакой вопросительности косвенно-вопросительное придаточное не выражает — оно соответствует положительному суждению и не может иметь никаких показателей, характерных для вопросов.

Таким образом, мы видим, что разграничение игноративных и позитивных предикатов лингвистически весьма существенно. При косвенно-вопросительной отсылке (референции) к чужой речи или чужому мнению отнесение предиката к тому или другому классу определяет возможное строение подчиненного ему косвенно-вопросительного придаточного. Поэтому

сведения, позволяющие причислить предикат к классу игноративных или позитивных, должны сообщаться в словаре в явном виде.

В то же время возникает ряд проблем, связанных со словарной фиксацией рассматриваемого противопоставления. Так, в работе [Булыгина, Шмелев 19896] отмечено, что для многих видовых пар с ментальным значением, относящихся к «предикатам постепенного осуществления» (таким, как *решить/решать, вспомнить/вспоминать, узнать/узнавать* [у кого-л.]), имеет место следующая ситуация. Перфективный член пары относится к позитивным предикатам (ср. его способность подчинять придаточное, вводимое союзом *что*: *Мы решили, что летом поедem в Крым*), что означает, что он может употребляться и как позитивный, и как игноративный предикат (последнее в контексте модального оператора). Ср: *Мы решили* [позитивный предикат], *куда поехать летом — Надо решить* [игноративный предикат], *куда поехать летом* — в первом случае косвенно-вопросительное придаточное соответствует какому-то принятому положительному решению (напр., 'Летом мы поедem в Крым'), во втором — обсуждаемому вопросу ('Куда поехать летом?'). В то же время имперфективный член является позитивным в «тривиальных», т.е. событийных, значениях, но только игноративным — в процессных значениях. Ср. *Мы уже столько раз решали, куда поедem летом* (речь может идти о множестве конкретных принятых решений) и *Мы долго решали, куда поедem летом* (косвенно-вопросительное придаточное соответствует нерешенному вопросу). Ср. также правильность *Мы уже столько раз решали, что летом поедem в Крым* и аномальность **Мы долго решали, что летом поедem в Крым*.

Указанные закономерности не могут быть выведены из существующих словарей и грамматик, и, как представляется, это связано с тем, что противопоставлению позитивность — игноративность в них не уделяется никакого внимания.

в) Косвенно-вопросительные придаточные и фактивность

Напомним, что под фактивностью понимается свойство предиката, состоящее в том, что пояснительное придаточное при нем всегда выражает факт, т.е. истинное суждение. З. Вендлером в свое время было высказано мнение (основанное на сопоставлении фактивных и нефактивных англ. глаголов типа *know* 'знать', *tell* 'сообщить' и *believe* 'полагать, верить'), что возможность сочетаемости с косвенными вопросами является

наиболее надежным грамматическим показателем фактивности [Вендлер 1987: 303]. В терминах, используемых в настоящей работе, можно придать этому утверждению следующий смысл: 'если косвенно-вопросительное придаточное скрывает за собою положительное суждение, то говорящий считает это суждение истинным' или, что то же самое, 'позитивный предикат, подчиняющий косвенно-вопросительное придаточное, всегда является фактивным'.

Наблюдения Вендлера, лежащие в основе этого утверждения, в общих чертах подтверждаются и соответствующим русским материалом. Действительно, можно сказать: *Я знаю (или Мне сообщили), когда он пришел, куда он уехал, кто автор анонимки* (с фактивными предикатами в главном предложении), но нельзя: **Я считаю, кто автор анонимки, *Я полагаю, куда он уехал* (с нефактивными предикатами в главном предложении).

Однако рассматриваемая зависимость не безусловна. Как мы постарались показать в работе [Булыгина, Шмелев 1988г], (1) далеко не все фактивные глаголы способны подчинять косвенный вопрос; (2) те предикаты, которые, сочетаясь с придаточными изъяснительными типа *что ρ* , в одних типах употребления связаны с пресуппозицией истинности ρ , а в других — нет; и, наконец, (3) косвенные вопросы в некоторых случаях являются не менее, а более толерантными в отношении нефактивности подчиняющего предиката, чем придаточные вида *что ρ* .

Иллюстрацией первого утверждения является несочетаемость с косвенными вопросами наиболее характерных фактивных предикатов типа *расскаивается, жалеет, удивлен, странно, обидно* и т.п. Так, невозможны предложения вроде **Он рассказывает, на ком он женился; *Он жалеет, куда они поехали в отпуск; *Странно, когда он явился; *Удивительно, кто выглянул в окно*, хотя, вообще говоря, предметом раскаяния, сожаления, удивления и т.п. может быть не глобальный факт целиком, а, так сказать, определенный аспект этого факта.

С другой стороны, как уже было отмечено, и «косвенная вопросительность» не всегда предполагает фактивность (т.е. обязательную истинность суждения, скрывающегося за косвенным вопросом). Неустойчивость компонента «фактивности» свойственна, например, русск. глаголу *сказать*, соответствующему двум англ. глаголам — полуфактивному (по Вендлеру) *tell* и нефактивному *say*. Двойственность употребления этого глагола иллюстрируют следующие примеры: *Я сказал Сереже, что заседание начинается в 9.30* — здесь представлен нефактивный

смысл глагола *сказать* т.е. не предполагается ни истинность, ни ложность ρ (и даже скорее есть импликатура ложности ρ — в соответствии с «постулатом количества» по Грайсу). Однако в примере с другим просодическим контуром: *А ему сказал кто-нибудь, что конференция переносится?* наиболее естественно понять подчиненную предикацию как истинную с точки зрения говорящего. Та же двойственность сохраняется и в сочетаниях с косвенными вопросами. Косвенный вопрос чаще предполагает фактивное значение: *Он сказал, где он живет*, действительно нормально понимается как сообщение истины. Однако употребление косвенно-вопросительного придаточного само по себе не гарантирует фактивности. Следующие примеры, как представляется, не нарушают литературной нормы: *Так что, ты узнал что-нибудь новое? — Ну, он сказал мне, кого назначают директором, но я не очень-то доверяю его сведениям; Ты все выяснил? — Ну, она сказала мне, сколько денег получает, но, по-моему, она тут прихвастнула* (ср. невозможность снятия presupпозиции истинности ρ в сочетаниях с подлинно фактивным предикатом: *Он знает, кого назначают директором, но я не верю его сведениям*). Несмотря на относительную редкость употребления высказываний, подобных вышеприведенным, как кажется, нельзя отрицать, что использование предикатов типа *сказать* с косвенным вопросом не обязательно предполагает истинность соответствующего положительного суждения. А это означает только одно — истинность суждения, скрывающегося за косвенно-вопросительным придаточным при предикатах типа *сказать*, представляет собою всего-навсего речевую импликатуру соответствующих высказываний, которая, как и «положено» речевым импликатурам, может погашаться.

Не во всех типах употребления является фактивным и глагол *догадываться* (в отличие от *догадаться*), хотя он как раз преимущественно сочетается с косвенными вопросами. Употребляясь по отношению к адресату и к 3-му лицу, а также к 1-му лицу в его прошлой «инстанции», этот глагол фактивен — и с косвенным вопросом и, тем более, с придаточным, вводимым союзом *что*. Но его употребление в форме 1-го л. наст. вр. очевидным образом уже не обязывает считать соответствующую пропозицию безоговорочно истинной. Ср.: *Я догадываюсь, кто автор анонимки, но не хочу говорить, пока не вполне уверен*. То же справедливо и в отношении модализованного сочетания *Я, кажется, догадываюсь*. Заслуживает внимания то обстоятельство, что и модализация глагола *знать* (в 1-м л. наст. вр.) в значительной степени освобождает говорящего от обязанно-

сти считать суждение, скрывающееся за косвенным вопросом, безусловно истинным: *Я, кажется, знаю, в кого он влюблен; Я думаю, что знаю, с кем у нее роман; Я приблизительно знаю, когда приходит поезд из Таллинна.*

Отметим, что сочетания типа *Мне кажется, я знаю...* или *Я думаю, что я знаю...* не способны сочетаться с придаточными вида *что р*. Высказывания типа **Я думаю (или Мне кажется), что я знаю, что у него роман с Машей* оказываются аномальными — по тем же причинам, по которым неправильно высказывание **Я не знаю, что заседание начинается в 10 часов*. Презумпция истинности (с точки зрения говорящего) подчиненной пропозиции, обусловленная фактивностью глагола *знать* в сочетании с придаточным вида *что р*, приходит в противоречие с утверждением об отсутствии достоверного знания, которое эксплицитно выражено модальным компонентом предиката пропозиционального отношения. Знание, выражаемое оборотом *что р*, не может быть не только «отрицательным», но предположительным или приблизительным, тогда как сообщение о близости к истине сведений, касающихся суждения, скрытого за косвенным вопросом, оказывается возможным. Ср. разную степень приемлемости предложений *Я приблизительно знаю, где он живет (где-то в районе Арбата)* и **Я приблизительно знаю, что он живет в районе Арбата* или предложения **Я приблизительно знаю, что поезд из Таллинна приходит в 10 часов* и приведенного выше правильного предложения с косвенным вопросом.

Мы видим, таким образом, что косвенные вопросы не только совместимы с нефактивностью подчиняющего предиката, но что в контексте некоторых предикатов они в меньшей степени связаны с фактивностью, чем эксплицитно сформулированные пропозиции, выражаемые придаточным с союзом *что*.

Тот факт, что положительные суждения, скрывающиеся за косвенно-вопросительными придаточными, чаще всего все же воспринимаются как истинные суждения, по-видимому, имеет прагматическую природу. Произвести референцию к чужому высказыванию или мнению, указав лишь вопрос, на который это высказывание отвечает, естественно в том случае, когда мы считаем данное высказывание истинным ответом на этот вопрос. В противном случае более естественно было бы эксплицитировать, в чем же состоит чужое мнение или высказывание, отклоняющееся от истины, и косвенно-вопросительное придаточное для этой цели не подходит.

Глава 6

Референция личных местоимений*

6.1. Состав и свойства русских личных местоимений

а) Сколько в русском языке личных местоимений?

На первый взгляд, референциальные свойства личных местоимений не составляют проблемы: личные местоимения при нормальном употреблении всегда характеризуются прагматической определенностью. Значение местоимений 1-го и 2-го лица основано на дейктической отсылке к участникам речевого акта, и, таким образом, их референт всегда оказывается известным адресату речи; корректное использование местоимений третьего лица также предполагает известность референта участникам коммуникации.

Отклонения от правила прагматической определенности личных местоимений возможны лишь при их «цитатном» использовании. Ср. *Пролеткультцы не говорят ни про «я», ни про личность* (Маяковский); *Я бывают разные* (А. Милн в переводе Б. Заходера); *Друг — это второе я, зорко наблюдающее за первым я* (Макс Бременер). Обратим внимание на то, что при таком употреблении местоимение я утрачивает свои грамматические свойства местоимения первого лица единственного числа и фактически ведет себя как «несклоняемое» (т.е. такое, у которого все падежно-числовые формы омонимичны) существительное среднего рода.

Однако более внимательное рассмотрение системы русских личных местоимений показывает, что некоторые аспекты ее функционирования, в том числе референциальные, оказываются

* В основу данной главы положены исследования, проведенные совместно с Т. В. Булыгиной.

ся сложнее, чем это могло бы показаться на первый взгляд¹. Прежде всего необходимо остановиться на вопросе о составе этой системы. Иными словами, следует ответить на вопрос: сколько в русском языке личных местоимений и какие это местоимения?

Даже в традиционных описаниях русской системы личных местоимений нет единства взглядов по этому вопросу. В частности, дискуссионным является вопрос о сущности категорий рода и числа у русских личных местоимений, об употреблении личных местоимений в «несобственном» значении, а также вопрос о существовании нулевых личных местоимений в русском языке.

Прежде всего отметим, что функция элементов, связанных с лицом, не зависит от того, в каком конкретном месте высказывания этот элемент локализован, т. е. является ли он автономным словом или же словоизменительным аффиксом. Так, функция глагольных флексий в языках типа русского (и тем более в таких языках, как латынь, где местоимения употребляются лишь в целях эмфазы), несомненно, так же как и функция личных местоимений, относится к персональному дейксису. И если при материально выраженном субъекте выбор личной формы глагольного предиката определяется согласованием, то при отсутствии материально выраженного субъекта выбор личной формы глагола, вообще говоря, можно описывать одним из следующих трех способов. Во-первых, можно постулировать эллипсис подлежащего, с которым согласуется глагол. Во-вторых, можно постулировать нулевое подлежащее, обладающее определенной синтактикой, которая и обуславливает выбор согласующихся личных форм. Наконец, можно

¹ Отчасти это связано с тем, что в элементах, связанных с персональным дейксисом, может кодироваться разнообразная информация, способствующая идентификации говорящего и адресата, в том числе пол референта, его социальный статус, личные и социальные отношения между референтами (в первую очередь между говорящим и адресатом, реже — между говорящим и третьим лицом, о котором говорящий нечто сообщает). К языковым элементам, выражающим эту информацию, относятся прежде всего местоимения 1-го и 2-го лица (независимо от функции, которую они выполняют в предложении), в том числе и посессивные местоимения. Дейктическая функция элементов, связанных с 1-м и 2-м лицом, вообще говоря, не зависит от того, в каком конкретном месте высказывания этот элемент локализован, т. е. является ли он, скажем, автономным словом, клиткой или же словоизменительным аффиксом. Так, функция глагольных флексий в русском языке также относится к персональному дейксису.

принять точку зрения, в соответствии с которой референция к субъекту в предложениях без материального подлежащего осуществляется при помощи личного окончания глагола.

В русской грамматической традиции в отношении предложений с единственным главным членом, выраженным глаголом в первом или втором лице (так называемых «определенно-личных» предложений типа *Люблю грозу в начале мая*), фактически принимается именно эта точка зрения, хотя термин «референция» при этом, конечно, не используется. Отмечается, что эти предложения «понятны вне контекста» и подлежащее в них не является конструктивно необходимым — следовательно, постулировать эллипсис подлежащего или нулевое подлежащее нет оснований. Аналогичное решение принимается в отношении «неопределенно-личных» предложений (типа *В дверь стучат; У нас не курят; Ее там обидели* и т.п.) и «безличных» предложений (типа *В голове стучит; Здесь холодно; Ее знобило* и т.п.).

Эллипсис усматривается в предложениях с глаголом в третьем лице, «непонятных вне контекста или ситуации» (в так называемых «неполных предложениях»). Что же касается до «нулевых подлежащих», то они русской грамматической традицией не предусмотрены.

В то же время в современных лингвистических исследованиях все большее распространение получает использование так называемых «синтаксических нулей» и, в частности, активно эксплуатируется представление о «нулевом подлежащем»². Наряду с чисто синтаксическими соображениями, можно привести и референциальные аргументы в пользу постулирования синтаксических нулевых элементов, заполняющих синтаксическую позицию имени в определенных конструкциях. Так, для интерпретации целого ряда высказываний существенно, являются ли ИГ, заполняющие определенные синтаксические позиции, кореферентными. Так, существенно, что в предложении *Ивану приятно, когда его хвалят* подчеркнутые ИГ кореферентны, в предложении *Ему приятно, когда Ивана хвалят* — нет, а в предложении *Всякому приятно, когда его хвалят* имеет место особый тип кореферентности — коассигнация. Содержательная кореферентность означает, что человек, которого хвалят, и

² Краткий обзор работ, в которых используется или обсуждается понятие «нулевого подлежащего», содержится в работе [Бирюлин 1994: 61—63]. Из них отметим статью И. А. Мельчука о синтаксическом нуле [1974] и фундаментальное исследование М. Гиро-Вебер [Guiraud-Weber 1984].

человек, испытывающий при этом удовольствие, — одно лицо. Такое совпадение имеет место и при интерпретации предложения *Приятно, когда тебя хвалят*, и удобным способом отразить это в лингвистическом описании может быть постулирование в синтаксической структуре первой части нулевого синтаксического элемента (имеющего местоименную природу) в дательном падеже, кореферентного местоимению *тебя* (\emptyset_{dat} *приятно, когда тебя хвалят*). Ср. также приведенный в работе [Булыгина, Шмелев 1990г: 111] пример, в котором нулевой элемент поочередно соотносится то с одним, то с другим участником ситуации (обозначим это посредством индексов *i* и *j*): *Из рубки \emptyset_i свистнули в машину, и когда из машины \emptyset_j ответили, \emptyset_i крикнули туда, чтоб не \emptyset_j отходили от реверса. «Да я уже два часа у реверса стою!» — \emptyset_j ответили из машины* (Ю. Казаков). Во всех приведенных примерах имеет место референция к тем или иным лицам, и удобно считать, что эта референция осуществляется при помощи нулевых элементов. Но, если в примере из Ю. Казакова в качестве референтных выражений еще можно было бы рассматривать личные окончания глаголов³, то для примеров, в которых референты соответствуют синтаксическим позициям, нормально заполняемым именами в косвенном падеже, такой возможности нет. Здесь трудно приписать референциальную функцию чему-либо иному.

Таким образом, в соответствии с указанным подходом представляется разумным считать, что в качестве подлежащего «определенно-личных» предложений выступают нулевые варианты местоимений 1-го и 2-го лица; в качестве подлежащего «неопределенно-личных» предложений — нулевое местоимение с согласовательными свойствами 3-го лица множественного числа. Не случайно переводы предложений указанных типов на многие (в частности, европейские) языки часто содержат личные местоимения в качестве подлежащих: местоимения первого и второго лица для определенно-личных предложений, местоимения третьего лица (напр., *they* в английском, *on* — во французском, *man* — в немецком) — для неопределенно-личных.

Дискуссионным представляется вопрос о наличии «нулевого подлежащего» в структуре «безличных» предложений. Референциальных оснований для включения нулевых подлежащих в структуру безличных предложений нет. Лишь в некоторых разновидностях таких предложений можно говорить о каком-то

³ Ср. [Буслаев 1959: 272—273].

«производителе действия», обозначенном глаголом-сказуемым в виде неких «стихий». В целом «нулевое подлежащее» (напр., предложенный И. А. Мельчуком $\emptyset_{\text{стихий}}$) включают в структуру таких предложений в первую очередь из системных соображений, для объяснения выбора формы сказуемого (третье лицо или средний род, единственное число). Правда, во многих языках переводами русских безличных предложений служат предложения с местоимениями в роли подлежащих (английское *it*, немецкое *es*, французское *il* или *se*), но эти употребления местоимений обычно признаются «пустыми», т.е. имеющими лишь план выражения, но не содержания (иными словами, лишенными референта). Постулируемое подлежащее безличных предложений парадоксальным образом оказывается одновременно «нулевым» и «пустым», т.е. фиктивным, вводимым лишь из соображений технического удобства (на это со всей определенностью указывает Л. А. Бирюлин [1994], один из сторонников такого решения)⁴. Таким образом, решение вопроса о нулевом подлежащем безличных предложений непосредственным образом зависит от признания или непризнания существования фиктивных знаков.

В то же время, признав наличие нулевых местоимений в структуре предложений определенных типов, мы, вообще говоря, не обязаны включать эти местоимения в систему личных местоимений русского языка. Так, мы можем сформулировать правило, согласно которому при сказуемом, выраженном глаголом в настоящем или будущем времени, местоимения 1-го или 2-го лица (в определенных стилях речи) могут выступать в нулевом варианте. При таком решении не происходит неоправданного умножения сущностей. Вопрос о том, не следует ли все же включить в систему русских местоимений какие-то дополнительные (возможно, нулевые) элементы, будет рассмотрен ниже.

Следует отметить, что технические удобства, связанные с постулированием синтаксических нулей, заставляют многих лингвистов использовать их еще шире. В частности, во многих случаях «неполные» предложения рассматриваются как примеры использования «нулевых анафорических местоимений».

⁴ В частности, признав нулевое подлежащее в безличных предложениях, мы сохраним возможность формулировать общее правило о совпадении производителя действия, выраженного деепричастием, с референтом подлежащего. При этом предложения типа *Лило не переставая* не будут исключениями из правила.

При таком подходе отвергается восходящая к традиции точка зрения, согласно которой «нуль и эллипсис в языке резко противопоставлены» [Мельчук 1974: 357]. Так, С. А. Крылов [1983: 161], со ссылкой на Е. В. Падучеву [1974: 173; 1977: 88—93], Ю. С. Мартемьянова [1981] и др., говорит, что нет никаких оснований противопоставлять эти два явления, поскольку «эллипсис» — это всего лишь «частный случай употребления нулевых лексем (а именно нулевых анафорических местоимений)». А. А. Кибрик [1992: 229] полагает, что говорить об эллипсисе правомерно лишь в рамках трансформационного подхода, когда в исходной (и глубинной) структуре предложения невыраженному элементу соответствует некоторая ненулевая единица. «Более целесообразным» он считает «процедурный подход», согласно которому говорящий выбирает нулевое анафорическое средство, кодируя референт в примерах типа *Два дня Иван не находил себе места. ∅ пробовал напиток, но еще хуже стало — противно. ∅ бросил. На третий день ∅ сел писать письмо в районную газету* (Шукшин). Такой подход ведет к признанию целого ряда «анафорических нулей», входящих в местоименную систему русского языка (см. [Kibrik 1994]).

Представляется, однако, что такой подход не устраняет синтаксического различия между конструктивно полными (односоставными) и конструктивно неполными (так называемыми «двусоставными неполными») предложениями. Он сводится лишь к тому, что в обоих случаях предлагается говорить о нулевых местоимениях, не отражая указанного различия в выборе референциального средства для описания материального отсутствия конструктивно необходимого члена. Не обсуждая вопрос о целесообразности использования нулей для представления синтаксической структуры «неполных» предложений, отметим лишь, что с точки зрения референциальных характеристик отсутствующего элемента эти предложения не представляют особого интереса (см. [Булыгина, Шмелев 1990г: 110]), поскольку референциальные характеристики таких «анафорических нулей» совпадают с референциальными характеристиками личных местоимений: они всегда характеризуются прагматической определенностью. Разумеется это верно и для примеров, когда такой элемент занимает позицию дополнения, напр.: *Петя не видел мою ручку? — Видел* (← *Он видел ее*).

Предложения типа *Маша купила красную рубашку, а я купил синюю; Миша выпил чаю, и я тоже выпил* лишь отчасти похожи на только что разобранные. Здесь имеет место так называемая «неопределенная анафора» и речь могла бы идти об эллипси-

се не местоимения, а существительного: *купил синюю (фубашку); выпил (чаю)*. Материально не выраженные дополнения здесь должны были бы иметь неопределенную референцию и соответствовать английским «местоимениям лени» *one* и *some* (ср. [Channon 1983]). Невозможным здесь было бы использование местоимения 3-го лица: так, *выпил его* служит заменой для *выпил чай* (с признаком [+определенность]), а не *выпил чаю*⁵.

Заметим также, что едва ли следует усматривать какое-либо «значимое отсутствие», описываемое посредством эллипсиса или нуля, в случае абсолютного употребления глагола (*Он сидит и читает*) или нереализации факультативной валентности (*Он получил письмо — не говорится от кого*)⁶. Примеры такого рода отличаются от рассмотренных выше тем, что отсутствующий элемент в них не является ни семантически, ни конструктивно необходимым: они не вводят в рассмотрение соответствующие референты и не являются контекстно-зависимыми.

Таким образом, при обсуждении вопроса о наличии нулевых элементов в системе русских местоимений мы в основном ограничимся нулевыми элементами, выступающими в роли подлежащих в обобщенно-личных и неопределенно-личных предложениях, но способными «употребляться» и в косвенных падежах.

В отношении категории рода личных местоимений существенна ее связь с родом подразумеваемого субститута (в частном случае — с полом обозначаемого лица). Как известно, в русском языке род субститута маркируется непосредственно в местоимении 3-го лица единственного числа (*он, она* или *оно*), а в местоимениях 1-го и 2-го лица, а также в личных местоимениях множественного числа проявляется при выборе форм согласующегося слова (*я, ты — пришел* или *пришла; мы, вы, они — оба* или *обе* и т.д.). Для объяснения соответствующих фактов можно было бы постулировать наличие в русском языке трех различных (омонимичных, но различающихся по согласовательным свойствам) местоимений *я* (мужского, женского

⁵ Именно примеры данного типа служат иллюстрацией нецелесообразностью включения в парадигму личного местоимения трех омонимичных словоформ: *ego_{acc}, ego_{gen}, ego_{part}* — последняя представляет собою просто фикцию (см. [Булыгина 1977: 200—201]).

⁶ Ср. понятие «неопределенного эллипсиса» у Т. Шопена [Shopen 1973], а также постулирование в структуре подобных предложений нулевых экзистенциальных местоимений в работах Е. В. Падучевой [1977: 84—107] и Ю. С. Мартемьянова [1981: 109—158].

и среднего рода), трех различных местоимений *ты* (именно такое решение принимается А. А. Зализняком [1967]), а также трех различных местоимений *он, она* и *оно*, считая, таким образом, категорию рода для личных местоимений не словоизменительной, а словоклассифицирующей. При таком решении три рода приходится различать и у личных местоимений множественного числа — ср. *один/одна/одно из нас, из вас, из них*. Однако в большинстве традиционных описаний принимается несколько иное решение. Категория рода считается словоизменительной категорией для местоимения третьего лица; что же касается до местоимений первого и второго лица, то им не приписывается никакого значения категории рода, а выбор родовых форм согласующихся слов описывается при помощи такого понятия, как «семантическое согласование», т. е. ставится в зависимость от пола участников коммуникации.

Здесь следует отметить, что более точно было бы говорить не о семантической, а о прагматической предопределенности выбора родовой формы связанного с местоимением слова, т. е. о зависимости рода не от пола участников коммуникации, а от того, «какой пол приписывается им или приписывается ими самим себе в данной ситуации» [Lyons 1977: 577]. В качестве любопытной иллюстрации к только что приведенной формулировке Дж. Лайонза можно указать на приведенные нами в работе [Булыгина, Шмелев 1992] различные способы родового «согласования» местоимения *я* с адъективными и глагольными формами в автобиографической повести Н. А. Дуровой «Год жизни в Петербурге», с одной стороны, и в ее письмах, а также в цитированных ею диалогах — с другой⁷: в первом случае выбираются формы жен. рода (*Я написала к Александру Сергеевичу коротенькую записочку, в которой уведомляла его... и т. д.*), во-втором — формы муж. рода (*Когда покажете царю мои «Записки», скажите ему просто, что я продаю их вам, но что меня с а м о г о здесь нет; «Что вы не остановились у меня?.. — спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день. — Вам здесь не так покойно; не угодно ли занять мою квартиру в городе?.. я теперь живу на даче». «Много обя з а н вам, Александр Сергеевич, и очень охотно принимаю ваше предложение»... Он уехал, оставив меня очарованною обязательностью его поступков и той честью, что буду жить у него, то есть буду избранным гостем славного писателя*), хотя пол автора в обоих случаях один и тот же.

⁷ См. отрывки из указанной повести, а также письма в кн.: Последний год жизни Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1988. С. 190—199.

Особые правила согласования действуют при персонификации, когда в роли «говорящего» или «адресата» выступают неодушевленные (и, следовательно, «асексуальные») участники. В этом случае местоимение 1-го или 2-го лица «наследует» грамматический род субститута, т.е. кореферентного номинативного термина: *«Братец мой, — Отвечает месяц ясный: — Не видал я девы красной»*; ср.: *Красно солнце отвечало: «Я царевны не видало»*; *Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч...*, ср., *Свет наш солнышко! Ты ходишь Круглый год по небу... Не видало ль где на свете Ты царевны молодой?* (Пушкин); *Послушай, крутолобо! Чем так без дела заходить, Ко мне на чай зашло бы* (Маяковский); *Последняя туча рассеянной бури! Одна ты несешься по ясной лазури, Одна ты наводишь унылую тень, Одна ты печалишь ликующий день* (Пушкин).

За пределами подобной (безусловно, периферийной) ситуации описанное дистантно-формальное «согласование» не встречается. Внешне похожие случаи нарушения «семантического согласования», встречающиеся в некоторых жанрах общения (вроде *Ты не замерз, малыш?* — при обращении к маленькой дочери или, скажем, к возлюбленной), очевидно, более уместно объяснять в духе упоминавшейся выше ситуативной трактовки Лайонза. В самом деле выбор родовых форм выполняет в случаях подобного рода специальную экспрессивную функцию, а не является вынужденным результатом приспособления к родовой характеристике обращения⁸, выбор которого, противореча полу адресата, в свою очередь, несет соответствующую прагматическую нагрузку.

В отношении категории числа русских личных местоимений также существен вопрос, является ли эта категория словоизменительной или словообразовательной, иными словами —

⁸ Показательно, в частности, что, когда позицию обращения занимает существительное ср. рода, кореферентное местоимение, относящееся к одушевленному адресату, никогда не «перенимает» его согласовательных свойств; альтернативный выбор всецело определяется в таком случае правилами «семантического согласования»: *Шел/Шла бы ты спать, солнышко; Ты что же, один/одна дома, дитя мое?* (но не: **Шло бы ты спать, солнышко; *Ты одно, дитя мое?*). Тем более, разумеется, немисливо, чтобы формы ср. рода вступали в синтагматическую связь с местоимением 1-го лица под воздействием грамматического рода существительного, которое называет говорящего в том же контексте. Ср. отличие примера из Н. А. Дуровой (*«Нет, — отвечало дитя, — (я) не раздумала»*) от приводившегося выше, казалось бы однотипного, примера из «Мертвой царевны» (*Красно солнце отвечало: «Я царевны не видало»*).

являются ли местоимения *я* и *мы*, *ты* и *вы*, *он* и *они* формами одного местоимения или различными местоимениями. Наиболее принятым является решение, в соответствии с которым *я*, *мы*, *ты* и *вы* признаются самостоятельными местоимениями, тогда как *они* считается формой множественного числа местоимения *он*. Это решение мотивируют, в частности, семантическими соображениями: указывают, что *мы* ≠ 'я+я...' *вы* ≠ 'ты+ты...'. Таким образом, в русскую систему личных местоимений включают местоимения 1-го лица *я* (единственное число) и *мы* (множественное число), 2-го лица *ты* (единственное число) и *вы* (множественное число), а также одно местоимение 3-го лица, изменяющееся по родам и числам.

Не обсуждая вопрос о том, насколько обоснованна именно такая трактовка рода и числа личных местоимений, отметим, что вопрос об их составе в русском языке этим еще не решается. Следует обратить внимание на особый тип информации, инкорпорированной в значение личных местоимений, — информацию о социальном статусе референтов. Такая информация включена прежде всего в значение местоимений, указывающих на непосредственных участников общения, в первую очередь в значение местоимений 2-го лица, которые в русском, как и во многих других языках, оказываются наиболее дифференцированными по соответствующей категории (традиционно не вполне точно называемой «категорией вежливости»). В связи с этим закономерен вопрос, не следует ли включать в систему личных местоимений особое «вежливое» *вы*, лишь материально совпадающее с местоимением 2-го лица множественного числа. Аналогичный вопрос можно задать и о различных прагматических разновидностях других личных местоимений, напр. о «скромном» *мы*, «авторском» *мы*, «солидарном» *мы* (не вполне точно называемом в статье [Апресян 1988: 35] *мы* инклюзивным) и т.д.

Кроме того, помимо дейктической функции, местоимения 1-го и особенно 2-го лица могут выполнять в высказывании и недейктическую роль. Так, например, в предложении *Когда стоишь на горе, так тебя и тянет взлететь* местоимение 2-го лица «недейктично» — в том смысле, что для его интерпретации не требуется обращения к каким-либо чертам внеязыковой ситуации высказывания. В данном типе употребления местоимение 2-го лица функционально сходно с такими элементами, как, например, французское *on* или немецкое *man*. Вместе с тем 2-е лицо в русском языке и в таком употреблении не перестает быть «эгоцентричным» и по данному признаку отчетливо

противопоставлено другому «обобщенно-» или «неопределенно-лично-» элементу, функционирующему в качестве «нулевого подлежащего» при глаголе 3-го лица мн. числа. Ниже (в разделе 6.2) функционирование соответствующих типов предложений в русском языке будет рассмотрено подробнее. Пока можно отметить, что употребления подобного рода противоречат отмеченной выше закономерности об ингерентной прагматической определенности личных местоимений (или, во всяком случае, эту закономерность необходимо сформулировать более точно). Обратим внимание также на возникающую в связи с таким употреблением проблему, касающуюся возможного включения в систему русских личных местоимений «обобщенного» *ты*, омонимичного «обычному» местоимению второго лица, подобно тому как в систему, скажем, французских личных местоимений обычно включается *оп*. Аналогичный вопрос можно задать и об «обобщенных» вариантах других личных местоимений — *я* (ср. *...отрицание существования, наличия объекта вовсе не предполагает наличия... чего-то другого! Так, если у меня нет велосипеда, это не значит, что я имею что-то другое, например «Жигули» или «Мерседес»* [И. Б. Шатуновский]), *мы* (ср. *Охотно мы дарим Что нам не надобно самим*) и др.

Отметим, что, обсуждая вопрос о включении в систему русских личных местоимений нулевых элементов, мы должны, в случае положительного ответа, уметь ответить и на вопрос о грамматическом роде и числе этих элементов.

б) Транспозиция личных местоимений

Давно замечено, что во многих языках, в частности «во всех европейских литературных языках с развитой стилистической дифференциацией», местоимения (и личные формы глаголов) могут употребляться не в «собственном смысле» [Исаченко 1960: 416]. Внимательное исследование обычно относимых сюда фактов (не всегда достаточно дифференцируемых) представляет значительный интерес. Так, напр., осуществляя референцию к самому себе или к адресату, говорящий в общем случае не обязан пользоваться местоимением 1-го или 2-го лица; более того, в определенных социально-культурных условиях, в частности в некоторых ритуализованных актах, это может быть вообще запрещено (ср. *Суд удаляется на совещание ≠ Мы удаляемся на совещание*).

К транспозиции при обозначении личных форм принято относить: 1) использование форм 1-го и 2-го лица не в соот-

ветствии с прямым назначением и 2) указание на участников коммуникации не при помощи прямых обозначений (т.е. местоимений 1-го и 2-го лица).

Следует отметить, что способы референции к участникам коммуникации варьируются в различных ситуациях и жанрах общения. Например, общение с детьми характеризуется не только различными просодическими, фонологическими, синтаксическими, лексическими особенностями, но и специфическими средствами референции к лицам. Так, в работе [Wills 1977] отмечаются 11 категорий особого прономинального употребления, из которых наиболее обычны (в частности, и в русском языке) следующие четыре:

1) говорящий (взрослый) говорит о себе в 3-м лице:

Мама сейчас занята, малыш;

2) говорящий говорит о себе «во мн. числе»:

Сейчас мы сварим тебе кашку;

3) говорящий говорит об адресате в 3-м лице:

Алешенька хочет яблочко?;

4) говорящий, говоря об адресате, использует формы 1-го лица мн. числа:

Сейчас мы искупаемся и пойдём баньки.

Авторское *мы* характерно для научной речи, я в «обобщенном» смысле — для логико-философских рассуждений *Интернациональное состояние включает в себя убеждение. Например, если я попрошу прощения за то, что наступил на вашу кошку, я выражаю сожаление о том, что сделал это [Серль]; Мысль держится мною не как личностью, а как мыслью мысли. Она держится хотя и во мне, но во мне как в пустом пространстве думанья, откуда она тут же уйдет, как только я перестану быть для нее этим пространством... Когда я (слово «я» в этой заметке употребляется вместо «я, ты, вы» и «тот, кто...») отождествляю мысль с материалом ее выполнения... то ее там, в моем «пространстве» уже нет [А. М. Пятигорский].* Здесь заслуживают внимания собственные метаязыковые комментарии философа о значении слова *я*.

Существенно отметить, что транспозиция не меняет языковых характеристик соответствующих личных форм (синтаксического поведения, референциальных свойств и т.п.)⁹. Поэтому

⁹ Заметим, что точно так же (т.е. с референцией к «любому», точнее, к «тому или иному» лицу, но отличному от «меня») может употребляться и имя собственное, ср.: *Как мое приказание Сэму выйти*

возможность транспозиции личных форм, вообще говоря, не влияет на наше представление о системе личных местоимений. Именно это позволяет отличать транспозицию от случаев конвенционализованного (хотя этимологически также восходящего к транспозиции) употребления личных форм, описываемого при помощи постулирования особых местоимений, характеризующихся специфическими свойствами. В русском языке сюда относятся [Шмелев 1961]: 1) использование местоимения *вы* (и соответствующих глагольных форм) как «формы вежливости» по отношению к одному лицу; 2) использование форм 2-го лица единственного числа в так называемых обобщенно-личных предложениях; 3) использование форм 3-го лица множественного числа в неопределенно-личных предложениях. Следует отметить, что в существующих описаниях подобные случаи часто не отграничиваются от транспозиции.

Так, согласование с местоимением *мы* в лице и числе показывает, что оно трактуется как местоимение 1-го лица множественного числа, даже когда используется (в нелитературной речи) «вместо» *я* (*Мы псковские*, но не **Мы псковской*) или (в литературной речи), «вместо» *ты* (*Как мы себя чувствуем?*, но не *чувствуешь* или *чувствуете*). При этом множественное число используется как в глагольных, так и в подчиненных именных формах: существительных (ср.: *А... вы — замужняя? — Нет еще... девицы мы* [Горький], кратких и полных прилагательных (*Мы псковские*; ср.; *Она вытягивает губы, блаженно улыбается: «Агушеньки, маленькая, какие же мы симпатичные. Только мамка у нас, видать, еще неопытная, не заботится, чтобы нам было удобно»* [В. Добровольский], определительных местоимений (ср. авторское *мы* у Ю. Карабчиевского: *И то, что нам уже с а м и м надоело скрывать и разоблачать...*). Тем самым вводить для описания таких случаев в систему русских местоимений какое-то особое *мы*, очевидно, нет оснований.

Напротив того, как известно, «вежливое» *вы* требует множественного числа глаголов и кратких прилагательных, но единственного числа существительных и полных прилагательных. Можно добавить, что оно требует также множественного числа местоимения *сам* в именительном падеже, но единственного числа местоимения *сам* в косвенных падежах (на этот факт мы обратили внимание в работе [Булыгина, Шмелев 1992: 201]).

из комнаты относится к Сэму и репрезентирует определенное действие с его стороны, точно так же мое желание, чтобы Сэм вышел из комнаты, относится к Сэму и репрезентирует определенное действие с его стороны.

Ср., с одной стороны: *Вы должны меня оставить; Вы были правы предо мной; И говорю ей: как вы милы!; Я все детство о вас слышал — но вы были невидимы; Вы сами знаете давно, что вас любить немудрено; Полагая, что вы рассудите сами потребовать меня, до сих пор я вас не беспокоил, — и с другой: А вы: ...владимирская; Я всегда знал, что вы родная. Вы — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим; То верно б кроме вас одной Невесты не искал иной; Я верно б вас одну избрал В подруги дней моих печальных; Трудов напрасных не губя, Любите самого себя; Вам самому это было бы обидно и т.п.*

Из сказанного ясно, что нецелесообразно рассматривать «вежливое» *вы* как транспозицию «обычного» местоимения 2-го лица мн. числа, а выбор согласующихся форм объяснять «семантическим согласованием». Во-первых, это нарушает общее правило о том, что транспозиция не меняет правил «поверхностного согласования»; во-вторых, предполагаемые правила выбора «семантического согласования» окажутся достаточно сложными: почему, в самом деле, *сам* в именительном падеже подчиняется «поверхностному согласованию», а в косвенных падежах — «семантическому»? Почему в конструкциях *вам самому* и *вам самим* выбор формы определяется «семантическим согласованием» (зависит от реальной единичности/множественности референта), а в конструкции *нам самим* — «поверхностным согласованием» (выбирается множественное число даже при реальной единичности референта, как в случае «авторского *мы*», ср. приведенный выше пример из Ю. Карачиевского)? Разумнее считать, что здесь действуют специальные правила выбора форм, согласующихся с «вежливым» *вы*, тем самым вводя особое местоимение — «вежливое» *вы* — в местоименную систему русского языка. Это местоимение характеризуется особым языковым поведением, в частности — особыми синтаксическими свойствами, отличными от «обычного», «множественного» *вы*. Поэтому его нельзя рассматривать просто как результат транспозиции «обычного» *вы*.

Впрочем, следует отметить, что транспозиция местоимения 2-го лица множественного числа возможна — в той же степени и с тем же эффектом, что и, скажем, транспозиция местоимения *они* (т.е. в не слишком литературной речи как форма почтительности); ср.: *Оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с* (Достоевский, см.: [Шмелев 1961]). Ср. также диа-

лог из «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына, в котором транспозиция *вы* в реплике Алеши (подтверждаемая формой множественного числа *самых*) отзывается транспозицией *мы* в ответной мысленной реплике Ивана Денисовича: «*На, Алешка!*» — и печенье одно ему отдал. Улыбится Алешка. «*Спасибо! У вас у самых нет.*» — «*Ешь! У нас нет, так мы всегда работаем.*»

Причины и эффект транспозиции личных форм могут быть различны. Иногда это бывает связано с необходимостью избавиться от действительских элементов, чтобы свести к минимуму возможность непонимания (например, в разговоре с детьми [Langacker 1985: 127—128], в официальных документах и т. п.), ср. *Алешенька хочет баиньки?* Сюда же относится обозначение себя при представлении в разговоре по телефону: *Говорит Петя; Говорят из деканата; Крылов у аппарата* и т. п. Примечательно, что в телефонной коммуникации идентификация собеседников осуществляется при помощи местоимения *это*: *Это Петя* («вместо» *Я Петя*); *Это Петф Иванович?* или даже (в расчете на узнавание по голосу) *Это я*. При непосредственном контакте участников коммуникации уместнее использовать личные местоимения 1-го и 2-го лица: *Я Дубровский; Вы Петф Иванович?* (при идентификации незнакомого адресата речи) — или хотя бы не вполне логичное *Петф Иванович, это вы?* (при идентификации знакомого)¹⁰.

В ряде случаев референция к себе самому при помощи дескрипции вызывается этикетными соображениями (например, *Автоф полагает...* «вместо» *Я полагаю...* представляет собой своего рода фигуру скромности)¹¹. С этикетными соображениями обычно связано и использование множественного числа вместо единственного.

Стремление устранить возможность непонимания может совмещаться с требованиями этикета, ср. типичную для официальных документов формулу: *Французский посол выражает свое почтение господину председателю и просит его...*

В русскую систему личных местоимений следует также включить еще два местоимения: местоимение с синтаксическими свойствами 2-го лица ед. числа (*В/ты*)¹² и нулевое местоиме-

¹⁰ Подробнее см. главу 7.

¹¹ Это соответствует общей тенденции камуфлировать свою личность, отодвигать ее на второй план. Как писал Ф. Брюно, «*Le moi est haïssable*» («Я одиозно») [Brunot 1922: 276].

¹² Данное местоимение имеет два варианта каждой из падежных форм: нулевой и ненулевой, причем ненулевые варианты омонимич-

ние с синтаксическими свойствами 3-го лица мн. числа ($\emptyset_{\text{ЗМН}}$) [Булыгина, Шмелев, 1990г]. Эти местоимения характеризуются своеобразными референциальными свойствами, которые мы и рассмотрим в следующем разделе.

6.2. Нулевые местоимения: референция и прагматика

а) Референциальные и прагматические свойства местоимения $\emptyset/ты$

Референт местоимения $\emptyset/ты$ — это результат абстракции отождествления ряда однотипных ситуаций. Речь идет об обобщении конкретных случаев. Предполагается, что в каждом из таких случаев выделяется протагонист, лицо, находящееся в фокусе эмпатии, и что высказывание касается не одного конкретного случая, а целого класса однотипных ситуаций. При этом может обобщаться опыт говорящего: *В поездках с о м н о й постоянно бывает — то ничего, и все как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают все неинтересные, и чувствуешь, как то, из-за чего проехал все эти тысячи километров, — не дается, уходит, и, кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал. А то вдруг все является, все складывается как нельзя лучше, без всяких твоих усилий и именно так, как ты хочешь* (Ю. Казаков); может «индуктивно» обобщаться какая-то одна ситуация: *Тише едешь — дальше будешь* и т.п. Таким образом, элемент обобщения присутствует всегда, что и оправдывает традиционное название для предложений с подлежащим $\emptyset/ты$ (в нулевом варианте) — «обобщенно-личные».

ны соответствующим формам местоимения 2-го лица ед. числа *ты*. Правила выбора нулевого и ненулевого варианта достаточно сложны, и мы не будем на них останавливаться. Заметим только, что нулевой вариант выбирается не в соответствии с правилами эллипсиса личных местоимений. Поэтому нецелесообразно считать данное местоимение полностью омонимичным местоимению 2-го лица ед. числа, а наличие нулевых вариантов объяснять эллипсисом. Ведь тогда пришлось бы дополнять правила эллипсиса правилами, специально сформулированными для рассматриваемого местоимения и релевантными только для него. Доказательством того, что $\emptyset/ты$ не является транспонированным вариантом местоимения 2-го лица *ты*, служит возможность сосуществования этих форм в одном высказывании (*Тебе не дозволишься*). Ср. местоимения 1-го лица, которые не могут не быть кореферентны в пределах одного высказывания даже при транспозиции: аномально **Ну, а теперь высунем язык и покажем нам горлышко* (следует: ...и покажем доктору горлышко).

Может показаться, что в первом из рассмотренных случаев результатом обобщения различных инстантов говорящего оказывается абстрактный индивид, во втором — обобщение приводит к референции к классу. Это соответствует представлениям А. А. Шахматова, который, как известно, выделял две разновидности предложений рассматриваемого типа (по его терминологии — «неопределенно-личных бесподлежащих предложений с главным членом, выраженным формой 2-го лица ед. числа»): (1) «разновидность, где 2-е лицо заменяет 1-е» и (2) «собственно-неопределенно-личную разновидность», в которой глагольная форма «вызывает представление о человеке или о людях вообще» [Шахматов 1941: 72, 73]. В то же время следует подчеркнуть, что с чисто референциальной точки зрения указанные две разновидности не различаются. Нельзя было бы сказать, что в первом случае мы имеем дело с индивидной референцией, а во втором — с общеродовой. Характерной особенностью *В/ты* во всех типах употреблений является двойственность референциальных характеристик, свойственная наглядно-примерным описаниям (см. главу 3). Речь в предложениях с *В/ты* всегда идет о повторяющейся ситуации: в пределах одной, отдельно взятой ситуации *В/ты* соотносится с конкретным инстантом, но поскольку ситуация повторяется, эта соотношенность понимается обобщенно. Равно невозможно использование *В/ты* в высказываниях, повествующих об отдельной локализованной во времени ситуации (ср. невозможность **Идешь вчера по Кузнецкому... при допустимости Идешь, бывало, по Кузнецкому...*), и в высказываниях, сообщающих об общем законе, существующем независимо от конкретных ситуаций (аномально **У нас не курить* — следует: *У нас не курят*). Высказывания *В/ты* не могут иметь места без точки отсчета, но требуют, чтобы эта точка отсчета была переменной. Не случайно обобщенно-личные формы 2-го лица легко сочетаются с совершенным видом, который, по А. В. Бондарко [1971: 22 и сл.], является основным средством выражения «наглядно-примерного значения, ср.: *Едешь по Моховой, взглянешь на здание, и сердце каждый раз дрогнет* (А. Турков). По той же причине в предложениях с *В/ты* вполне возможны эпизодические, локализованные во времени предикаты, которые, как мы знаем (см. главу 2), не встречаются в подлинно гномических высказываниях: *У меня сегодня распустились чайные розы, хлебные розы и винные розы. Посмотришь на них — и ты с ы т и п ь я н* (Е. Шварц).

Как отмечалось выше (в прим. 12), доказательством того, что *О/ты* не является просто результатом транспозиции адресатного *ты*, может служить факт возможного их столкновения в составе одной синтаксической конструкции. Приведем примеры такого столкновения из произведений Ю. Казакова: *Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!* — субъектом глаголов *мчишься* и *не знаешь* является непосредственный адресат речи (в данном случае — сын повествователя), остальные глагольные и местоименные формы 2-го лица единственного числа употреблены с референцией к субъекту воображаемой ситуации, находящемуся в фокусе эмпатии, так что в них имеет место *О/ты* (это же местоимение в дативе можно усмотреть в конструкции *лучше ехать на телеге... — кому?*); *Счастливым ты человек, Алеша, что у тебя есть дом! Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда у тебя есть дом, в котором ты вырос* — в противопоставлении «адресатного» и «обобщенно-личного» значений играет роль разное оформление придаточных: *что у тебя есть дом*, относящееся к конкретному факту, и *когда у тебя есть дом*, относящееся к классу однотипных ситуаций; *Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходил в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!* и т. д.

Обратим внимание на то, что одновременное присутствие в одной синтаксической конструкции двух некорреферентных местоимений 2-го лица единственного числа — адресатного и неадресатного — возможно не только при максимально обобщенном характере последнего, но и когда говорящий имеет в виду в первую очередь себя, как в примере, приведенном нами в работе [Булыгина, Шмелев 1991: 57]: *Тут за день так накувыркаешься, придеешь домой — там ты сидишь* (Высоцкий). Выраженное нулевым вариантом местоимения *О/ты* подлежащее при глаголах *накувыркаешься*, *придеешь* относится к говорящему, а выраженное «обычным» *ты* подлежащее при *сидишь* — к непосредственному адресату речи. Некоторый комический эффект приведенного высказывания возникает из-за того, что говорящий указывает как на причину своих отрицательных эмоций на факт встречи с адресатом, рассчитывая в то же время на его сочувствие, но грамматически данное предложение вполне нормально.

При «наглядно-примерном» значении формы 2-го лица единственного числа и соприсутствии адресатного и неадресатного местоимения (последнее чаще бывает представлено нулевым вариантом) обычно наблюдается более или менее отчетливо ощущаемое противопоставление двух участников ситуации, как в только что приведенном примере. Поэтому пространенное представление, согласно которому обобщенно-личное значение 2-го лица единственного числа — это именно обобщенно мыслимое лицо с доминирующим адресатным значением («ты, так же, как и я и любой на моем месте» [Золотова 1982: 110]), нуждается в некотором уточнении.

Следует, впрочем, отметить, что есть определенные ограничения на совместное появление обобщенно-личного *Ø/ты* и адресатного *ты*. Это последнее должно занимать по отношению к *Ø/ты* подчиненную позицию, что возможно в двух случаях: 1) адресатное *ты* стоит в косвенном падеже при глаголе, подлежащим которого является местоимение *Ø/ты* в нулевом варианте; 2) адресатное *ты* занимает позицию подлежащего в несамостоятельном предложении, семантически подчиненном предложению с *Ø/ты*-подлежащим (как в приведенном выше примере из Высоцкого). В предложениях с адресатным *ты* в роли подлежащего обобщенно-личный объект не может выражаться косвенным падежом ненулевого варианта местоимения *Ø/ты* — в случае необходимости здесь используются другие средства выражения обобщенно-личного значения, напр. косвенный падеж лексемы *человек*, как в следующем примере: *Ты — женщина замедленного действия. Ты не сразу начинаешь действовать на человека в полную силу. ...У тебя очень удачно поставлены глаза, они могут, не отвлекаясь, заниматься своей основной специальностью: поражать человека* (А. Володин). Ср. аномальные предложения, получающиеся в результате замены словоформы *человека* нулевым вариантом обобщенно-личного местоимения: *Ты — женщина замедленного действия. *Ты не сразу начинаешь действовать на тебя в полную силу. ...*У тебя очень удачно поставлены глаза, они могут... поражать тебя* (А. Володин). Обратим внимание на то что если бы в пьесе А. Володина шла речь о свойствах не адресата, а некоторого «третьего» лица (т.е. если бы в высказывании отсутствовало адресатное *ты* в позиции подлежащего), употребление косвенного падежа обобщенно-личного *Ø/ты* было бы вполне возможно: *Она — женщина замедленного действия. Она не сразу начинает действовать на тебя в полную силу. ...У нее очень удачно поставлены глаза, они могут заниматься своей основной специальностью: поражать тебя.*

6) Референциальные и прагматические свойства нулевого местоимения $\emptyset_{3\text{МН}}$

Местоимение $\emptyset_{3\text{МН}}$ обладает совсем иными референциальными свойствами. Оно всегда бывает подлежащим и может характеризоваться различными типами референции: при наличии рестриктивного определения — определенным (*В институте его очень ценят*), при отсутствии такового — неопределенным, если предикат имеет конкретную временную локализацию (*стучат, откройте*), и генерализованным, если предикат не локализован во времени (*Скоро бегут — дальних не ждут*). Возможность неопределенной референции, не характерной для личных местоимений, оправдывает традиционное название для соответствующих предложений — «неопределенно-личные». Во всех случаях референция производится к «посторонним», к лицам, из числа которых исключается протагонист. Поэтому нормально $\emptyset_{3\text{МН}}$ не может относиться к говорящему (поскольку, если говорящий участвует в ситуации, нормально именно он находится в фокусе эмпатии). Исключением являются высказывания со смещенной эмпатией типа: *Говорят тебе...; Тебе про Фому говорят, а ты про Ерему; Да тебе же добра желают, пойми!*

Референциальный потенциал $\emptyset_{3\text{МН}}$ был подробно описан в работах [Булыгина, Шмелев 1990г; 1991]. Здесь мы коснемся лишь вопроса о том, может ли $\emptyset_{3\text{МН}}$ быть кореферентно с другими обозначениями лиц. Рассмотрим отдельно случаи, когда $\emptyset_{3\text{МН}}$ относится к референту, ранее упомянутому в тексте, и случаи, когда $\emptyset_{3\text{МН}}$ служит или могло бы служить антецедентом анафорической отсылки.

В случаях, когда использованию $\emptyset_{3\text{МН}}$ предшествует обозначение того же референта посредством ИГ с признаком «определенность» (собственного имени, личного местоимения, определенной дескрипции), $\emptyset_{3\text{МН}}$ оказывается близким личному местоимению 3-го лица: *Она навстречу, как сурова! Его не видят, с ним ни слова* (Пушкин); *Вскоре в обращении Дуси со мной я ощутила снисходительность... говорили со мной свысока* (Н. Ильина). В то же время использование $\emptyset_{3\text{МН}}$ позволяет представить ситуацию более обобщенно, так что замена $\emptyset_{3\text{МН}}$ на какое-либо обозначение, кореферентное антецеденту, несколько меняет смысл. Особенно показателен следующий пример, уже рассмотренный нами в этой связи в работе [Булыгина, Шмелев 1991: 49]: *Прощаясь, Ипполитов поцеловал ей руку. Впервые в жизни ей целовали руку* (Д. Гранин). Здесь наличие фактическое совпадение субъектов первого и второго предло-

жения, однако, по-видимому, подлинной кореферентности нет (а скорее имеет место «частичная равносильность» в смысле работы [Падучева 1974]). Замена $\emptyset_{\text{ЗМН}}$ на *он* (или *Ипполитов*) привела бы к изменению условий истинности: предложение *Впервые в жизни Ипполитов/он целовал ей руку*, в отличие от исходного предложения, могло бы быть истинно, даже если бы другие целовали «ей» руку и раньше.

В только что рассмотренных примерах использованию $\emptyset_{\text{ЗМН}}$ предшествовало обозначение того же лица посредством ИГ с признаком «определенность». Возможно и использование $\emptyset_{\text{ЗМН}}$ при неопределенном антецеденте: *Мамочка, ... его кто-то лупит по шее... а теперь его гонят в три шеи* (Шварц, описание боя Ланцелота с драконом); *В феврале мне кто-то передал, чтобы я... непременно явилась в школу. Мне сообщили, что на этот раз школьный спектакль обещала поставить профессиональная актриса (Н. Ильина). Лишь в такой последовательности кто-то и $\emptyset_{\text{ЗМН}}$ могут пониматься как относящиеся к одному и тому же референту. При обратной последовательности (*В феврале мне передали... Кто-то сообщил мне; Его лупят по шее... А теперь его кто-то гонит в три шеи*) местоимение *кто-то* воспринималось бы как вводящее новое лицо, отличное от субъекта предшествующего предложения.*

Итак, $\emptyset_{\text{ЗМН}}$ способно выступать при повторной номинации лица. С другой стороны, оно никогда не выступает в интродуктивной функции. Оно не вводит референта в поле зрения адресата речи и потому обычно не может быть антецедентом личного местоимения: Так, последовательности *В дверь позвонили. Я *ему/*им открыл* или *Если тебя обидели, прости *ему/*им* аномальны (следует использовать дескрипцию: *В дверь позвонили. Я открыл звонившему; Если тебя обидели, прости обидчику*). Ср. использование дескриптивного обозначения лица, названного ранее посредством $\emptyset_{\text{ЗМН}}$: *«Что ж это, товарищ Березкин, а мне про вас говорили как о человеке храбром, спокойном». Березкин молчал, вздохнул, должно быть, говорившие [они/*он] ошиблись в нем (Вас. Гроссман); На Садовую, конечно, съездили и в квартире № 50 побывали. Но никакого Коровьева там не нашло... С тем и уехали с Садовой, причем с уехавшими [*с ними] отбыл секретарь домоуправления Прележнев (М. Булгаков)*. В следующем диалоге использование местоимения *они* в соответствии с антецедентом, выраженным $\emptyset_{\text{ЗМН}}$, производит впечатление некоторой шероховатости: *А что, говорят, я хорошо сохранилась. — Не верьте, они преувеличивают (А. Володин)*. Ср. также приводимый в статье [Шмелев 1961] пример, ко-

торый характеризуется там как каламбурное переосмысление формы 3-го лица мн. числа: *Об том не говорят так... — Они не говорят, я — говорю* (М. Горький).

Лишь в случае определенности местоимения $\emptyset_{3\text{мн}}$ в контексте рестриктивного локализатора анафорическая отсылка к нему оказывается приемлемой (разумеется, такое употребление $\emptyset_{3\text{мн}}$ не является интродуктивным): *Дома отнеслись к моему плану отрицательно. Уж лучше бы я им ничего не говорил; На кафедре диссертацию, конечно, одобрили — они всегда снисходительны к своим аспирантам; Мне звонили из Академии. — И что они тебе сказали?*

Мы видели, что в целом референциальные возможности $\emptyset_{3\text{мн}}$ весьма разнообразны. В то же время в предложениях некоторых типов референциальный потенциал $\emptyset_{3\text{мн}}$ оказывается значительно более ограниченным. Так, в сочетании с предикатами свойства или состояния референт $\emptyset_{3\text{мн}}$ должен, как правило, быть ограничен посредством локального или темпорального локализатора и характеризоваться определенностью: *На Руси того времени хорошо понимали, что чума — это эпидемия, болезнь; В Средние века еще более преданы были этому суевию* (А. Погорельский). Еще более жесткие ограничения касаются часто проходящего мимо внимания исследователей употребления пассивных конструкций с $\emptyset_{3\text{мн}}$ -подлежащим (см. [Князев 1978: 128; Булыгина, Шмелев 1985: 289]).

Впрочем, все референциальные ограничения, связанные с употреблением $\emptyset_{3\text{мн}}$, имеют семантическую мотивацию. Дело в том, что, в отличие от $\emptyset_{\text{ты}}$, местоимение $\emptyset_{3\text{мн}}$ никогда не соотносится с лицом, находящимся в фокусе эмпатии. Референт $\emptyset_{3\text{мн}}$ — это всегда «другие», использование $\emptyset_{3\text{мн}}$ выражает своего рода «отчуждение». Значение «отчуждения» в свою очередь предполагает наличие некоторой точки отсчета, в роли которой может выступать другой партиципant (протагонист) рассматриваемой ситуации или «наблюдатель». В случаях, когда наблюдатель и другие партиципantы отсутствуют, неопределенно-личные конструкции аномальны. Так, напр., предложение *Когда влюблены, то часто приходится говорить не прямо о любви* (В. Шкловский) — с неопределенно-личным придаточным — представляется отклоняющимся от нормы¹³. Ср. грам-

¹³ Аномальность этого предложения связана и с тем, что нулевой субъект придаточного предложения должен быть кореферентен дативу при *приходится* — а, как мы знаем, употребление в косвенных падежах для $\emptyset_{3\text{мн}}$ не характерно.

матически корректное неопределенно-личное предложение с тем же именным сказуемым: *Женщина всегда чувствует, когда в нее влюблены, даже если ей не говорят о любви*, где точка отсчета — объект влюбленности. Что же касается до примера из Шкловского, то более адекватным выражением подразумеваемого смысла было бы, очевидно, предложение *Когда человек влюблен, то ему часто приходится...* или же обобщенно-личное предложение с *О/ты*, обозначающим протагониста — *Когда человек влюблен, то ему часто приходится...* Подобным же образом аномальное **В пансионате сыты* может быть сопоставлено с правильными *В пансионате хорошо кормят* (где точка отсчета — «тот или те, кого кормят») или *В пансионате ты, по крайней мере, сыт*.

Высказывание *Дома в ужасе* может быть ответом на вопрос *Как на это реагировали дома?* (точка отсчета — «это»), но аномально в ответ на вопрос *Что творится дома?* [Булыгина, Шмелев 1985]. Из правила о необходимости точки отсчета в неопределенно-личных предложениях следует, в частности, что одноактантные предикаты могут быть употреблены в них лишь при условии, что предполагается наблюдатель (примеры см., напр., в работе [Булыгина, Шмелев 1991: 53]).

в) Местоимения в обобщенном значении: разные типы обобщенности

Из всего сказанного вытекает семантическая противопоставленность *О/ты* и *О_{з_{мн}}* даже в тех случаях, когда *О_{з_{мн}}* употребляется обобщенно, т.е. с генерализованной референцией. Семантическое различие этих местоимений обусловлено двумя факторами.

Во-первых, *О/ты* указывает на протагониста, а *О_{з_{мн}}* — на «посторонних». Это различие особенно очевидно в оценочных предложениях типа: 1) *Обидно, когда ничего не слышишь*; 2) *Обидно, когда тебя не слышат*. Ясно, что дейктический центр, протагонист — это субъект оценки. В (1) этот субъект соответствует подлежащему, «выраженному» нулевым местоимением 2-го лица ед. числа, в (2) — объекту глагола (т.е. косвенному падежу того же местоимения *О/ты*); субъект же, на которого указывает *О_{з_{мн}}* — это «другие», отличные от протагониста люди, что совершенно ясно доказывается инфинитивной трансформацией: 1) *Обидно ничего не слышать*; 2) *Обидно быть неслышанным*. Точно так же *Тоскливо, когда (ты) никого не любишь* понимается как «человеку тоскливо, когда он никого не любит»; *Тоскливо,*

когда тебя не любят — как 'человеку тоскливо, когда его не любят другие', а *Тоскливо, когда никого не любят аномально, так как непонятна причина тоски (субъект оценки никак не участвует в ситуации, описываемой придаточным предложением). Семантическое противопоставление $\emptyset/ты$ и генерализованного $\emptyset_{з\text{мн}}$ отчетливо видно в примере из Цветаевой: *В каждом игравшем детстве... четыре роля. Во-первых, — тот, за которым сидишь. Во-вторых, за которым сидят...* (т.е. один, за «которым» сидит протагонист, «я», и другой, за «которым» сидят «другие»).

Второй фактор, обуславливающий смысловое различие $\emptyset/ты$ и генерализованного $\emptyset_{з\text{мн}}$, — это различие в типе обобщения; использование $\emptyset/ты$ всегда предполагает обобщение единичных однотипных ситуаций, генерализованное $\emptyset_{з\text{мн}}$ может выступать в роли субъекта общего суждения¹⁴. С этим связано и различие модальных интерпретаций соответствующих высказываний: высказывания с $\emptyset/ты$ в роли субъекта понимаются алетически, высказывания с субъектом $\emptyset_{з\text{мн}}$ — деонтически. Это ясно видно в поговорах ср.: *Тише едешь — дальше будешь* — алетическое условие (если ехать медленно, удастся проехать больше); *Скоро бегут — дальних не ждут* — деонтическое условие (если быстро бежать, разрешается или даже следует не ждать отстающих).

Не случайным является и противопоставление по виду, ср.: *С начальством не поспоришь* (алетическая невозможность), но *С начальством не спорят* (деонтическое правило) [Булыгина, Шмелев 1985]¹⁵. Предложение *С начальством не споришь* возможно только в контексте эксплицитного и скрытого дезактуализатора (*В такой ситуации с начальством не споришь, делаешь, как приказано*). Вообще, как уже говорилось, «обобщенно-личные предикаты» (с субъектом $\emptyset/ты$) возможны только в том случае, когда в содержании предложения одновременно представлены и конкретные обобщаемые ситуации, и само обобщение. С этим связано то, что они охотно используются в сложнопод-

¹⁴ Этот фактор связан с первым — ведь протагонист, наличие которого необходимо для корректного употребления $\emptyset/ты$, возникает лишь в конкретной единичной ситуации, которая может подвергаться обобщению.

¹⁵ Сходную функцию выполняет видовое противопоставление и в инфинитиве, ср.: *С начальством не поспоришь* (невозможность) — *С начальством не спорить!* (запрет); *Петю не узнать* ('невозможно узнать') — *Петю не узнавать* (предписание 'не узнавать', т.е., очевидно, делать вид, что не узнаешь).

чиненных предложениях с придаточными времени и условия, с дезактуализаторами типа *бывало* и т.п. Обстоятельства места в сочетании с такими предикатами также понимаются как указание на время или условие: *В этом доме куришь не переставая* = 'Когда бываешь в этом доме, куришь не переставая' = 'Человек, попадая в этот дом, курит не переставая'. Ср.: *В этом доме курят не переставая* — речь идет не о наблюдателе, попадающем в дом, а о людях, живущих или находящихся в доме.

Особенно наглядно видна разница в референциальных свойствах $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{з\text{мн}}$ при их столкновении в составе одного текста: *Там, в городе, ни мебели, ни прислуги... все на дачу увезли... и и т а е ш ь с я черт знает чем* (Чехов); *Все кажется печальным, но уютным, как в детстве, когда накажут ни за что ни про что, а потом жалеют, утешают, сказку рассказывают* (Шварц). В последнем примере $\emptyset/ты$ (в нулевом варианте) является объектом глаголов, имеющих в качестве субъекта $\emptyset_{з\text{мн}}$: *накажут, жалеют, утешают* (и косвенным объектом глагола *рассказывают*); возможно было бы и использование ненулевого варианта: *...когда тебя накажут..., а потом... тебе сказку рассказывают*.

Иногда факторы, определяющие употребление местоимений $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{з\text{мн}}$, вступают в противоречие, так что возникает «неразрешимая» коллизия. Так, не вполне безупречно соединение в одном сложноподчиненном предложении двух простых, в первом из которых подлежащее выражено $\emptyset/ты$ а во втором — $\emptyset_{з\text{мн}}$: *А зачем он себя застрелил? — Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя* (фраза, сказанная персонажем Бунина). Действительно, субъекты обеих частей сложноподчиненной конструкции здесь предполагаются кореферентными; однако $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{з\text{мн}}$ не могут быть кореферентны, поскольку $\emptyset/ты$ всегда относится к протагонисту, а $\emptyset_{з\text{мн}}$ — к «другим». С другой стороны, не вполне ясно, как можно было бы «исправить» это предложение. «Отчуждение» референта, удаление его из фокуса эмпатии, которое имело бы место при использовании в обоих случаях $\emptyset_{з\text{мн}}$, не соответствует предполагаемой установке на объяснение внутреннего состояния влюбленного изнутри (ср. рассмотренный выше пример из Шкловского). С другой стороны, замена $\emptyset_{з\text{мн}}$ на $\emptyset/ты$ произвела бы комический эффект: **Когда очень влюблен, всегда стреляешься*. Дело в том, что эмпатия предполагала бы какую-то апелляцию к личному опыту коммуникантов, явно неуместную в случае такого действия, как *стреляться*.

г) $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{3мн}$ в системе русских личных местоимений

Таким образом, система русских личных местоимений должна включать, по меньшей мере, следующие компоненты: 1) местоимения единственного числа — я; «адресатное» ты; «обобщенно-личное» $\emptyset/ты$; 2) местоимения множественного числа — мы; «множественное» вы, используемое при обращении к нескольким лицам; «формальное» вы, используемое при обращении к одному лицу; «неопределенно-личное» $\emptyset_{3мн}$; 3) местоимение 3-го лица, изменяемое по родам и числам. Род местоимений 1-й и 2-й группы определяется «семантическим согласованием» (с учетом сказанного выше)¹⁶.

Упомянем также следующий пример из Т. Толстой (из работы [Булыгина, Шмелев 1992: 204]): *А говорит бессмысленно, как когда уезжаешь, а тот, другой, провожает, и ты стоишь в вагоне... а тот, другой на перроне... и вы оба напряженно улыбаетесь.* В этом примере вы так же относится к $\emptyset/ты$, как «обычное» адресатное вы (2-го лица мн. числа) к адресатному ты: адресатное вы может обозначать 'ты и еще кто-то', 'ты и другой', а вы в данном примере — 'протагонист и другой'. Последовательное проведение формального взгляда на персональный дейксис потребовало бы включения в местоименную систему русского языка еще одной единицы — «третьего» вы (наряду с двумя адресатными — «множественным» и «формальным»), используемого в подобных случаях.

От случаев такого рода следует отличать употребление форм местоимения вы (в косвенных падежах) для обозначения протагониста вместо форм $\emptyset/ты$). Например, у Пастернака в строках: *...когда б вы знали, как тоскуется, Когда вас раз сто в течение дня На ходу на сходствах ловит улица* — форма вас (в отличие от адресатного вы в *когда б вы знали*) обозначает протагониста, того, кому «тоскуется»; можно было бы сказать: *когда тебя на сходствах ловит улица*. Аналогичным образом употреблена форма вам у М. Булгакова: *Так и ждешь, что он финский нож вам в спину всадит (вам кореферентно с $\emptyset/ты$).*

Подытоживая рассмотрение нулевых местоимений $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{3мн}$, на первый взгляд на имеющих отношения к дейксису (ср. традиционные представления об «обобщенно-личных» и «неопределенно-личных» предложениях), можно констатиро-

¹⁶ Правила выбора родовых форм при согласовании с местоимением, относящимся к референту, не специфицированному по полу, в том числе с нулевыми местоимениями, описаны в работе [Булыгина, Шмелев 1996б].

вать, что в их значении наблюдается ярко выраженный дейктический компонент. Значение этих местоимений не может быть адекватно описано без апелляции к противопоставлению «я» — «другие».

Любопытно, что $\emptyset_{ты}$ и $\emptyset_{3МН}$ также могут подвергаться транспозиции (еще раз подчеркнем, что транспозиция не приводит к появлению в системе новых местоимений). Так, $\emptyset_{ты}$ имеет референцию к лицу, находящемуся в фокусе эмпатии, т.е. к «я»; но при смещенной эмпатии это «я» не совпадает с говорящим, ср.: *Меня не проведешь* (меня обозначает говорящего, а $\emptyset_{ты}$ — протагониста, т.е. как бы «я»); *Со мной на лингвистические темы не побеседуешь...* (Н. Ильина)¹⁷. Референт $\emptyset_{3МН}$ («другие») нормально исключает говорящего, но, как уже говорилось, при смещенной эмпатии $\emptyset_{3МН}$ может относиться именно к говорящему. Интересны случаи, когда транспозиции подвергаются сразу несколько местоимений. Так, в примере Е. В. Красильниковой *Ей по-человечески говорят, а она не понимает* [Красильникова 1990: 87] местоимение 3-го лица употребляется «вместо» 2-го, а $\emptyset_{3МН}$ — «вместо» 1-го.

Нередко транспозиция бывает связана со смещением эмпатии, когда ситуация описывается «с точки зрения» адресата речи или 3-го лица. При этом достигается тот или иной прагматический эффект, ср.: *Тебе про Фому говорят, а ты про Ерему* ($\emptyset_{3МН}$ «вместо» я) — говорящий описывает ситуацию «с точки зрения адресата» речи, как бы подчеркивая, что оценке подлежат именно действия адресата, а не говорящего (адресат призывается критически оценить собственное поведение); *Ему про Фому говорят, а он про Ерему* ($\emptyset_{3МН}$ «вместо» я и он «вместо» ты) — говорящий как бы исключает из общения адресата речи и обращает высказывание к воображаемому другому лицу, которое и должно осудить поведение реального адресата.

Использование местоимения *мы* «вместо» я или *ты* представляет ситуацию в виде такой, в которой в равной мере

¹⁷ Здесь возможен только совершенный вид глагола, ср.: *Меня не узнаешь*, но нельзя: **Меня не узнаешь* (редкость употребления местоимения $\emptyset_{ты}$ — с референцией к лицу, отличному от говорящего, отмечаемая М. Гиро-Вебер [Guiraud-Weber 1990], связана в частности, именно с этим ограничением). В первом случае говорящий как бы глядит на себя «со стороны» и делает «прогноз». Во втором — он претендовал бы на индуктивное обобщение опыта, но как он может обобщать опыт «смотрения на него самого»? Ср.: *Меня теперь не узнают* — здесь в роли субъекта выступают «другие» и никакого сдвига эмпатии не происходит.

участвуют говорящий и адресат. То, о чем говорится, представлено как общая проблема; выражается значение солидарности, равноправия (милиционер: *граждане, давайте разойдемся; давайте не будем шуметь, граждане*; мать — ребенку: *сейчас мы сварим кашку — мы «вместо» я; сейчас мы пойдем спать — мы «вместо» ты*; то же в разговоре врача с пациентом, парикмахера с клиентом и т.д.).

Иногда выражение эмоционального расположения и солидарности совмещается со стремлением уменьшить возможность непонимания, например: [мать — ребенку] *Посиди с мамой*.

И наконец, упомянем о «непрозрачных» контекстах, в которых «транспозиция» нередко бывает вызвана необходимостью использовать дескрипцию, смысл которой включен в содержание соответствующей пропозиции. Отец, говорящий сыну: *Возмутительно, как ты разговариваешь с отцом!*, — эксплицирует причину возмущения иначе, чем если бы он сказал: *Возмутительно, как ты разговариваешь со мной!* В некоторых случаях, когда референция устанавливается в переменном денотативном пространстве, «транспозиция» приводит к изменению условий истинности, ср.: *Ты единственный человек, кто позволяет себе говорить со мной таким тоном* и (в той же коммуникативной ситуации) *Ты единственный человек, кто позволяет себе говорить с отцом таким тоном*. Из сказанного ясно, что в подобных случаях «транспозиция» оказывается мнимой; речь не идет о «лейбницевской» подстановке, сохраняющей условия истинности. «Транспозиция» в «непрозрачных» контекстах может совмещаться со сменой эмпатии, ср.: *«Ох, как бы я хотела, — зашептала она, — чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!»* (М. Булгаков) — артистка употреблено «вместо» я, $\Phi_{3\text{МН}}$ — «вместо» вы, и имеют место одновременно смена эмпатии, соответствующая взгляду «со стороны» (с точки зрения Ивана Васильевича), и сдвиг, вызванный референциальной «непрозрачностью» и вызывающий, в соответствии с принципом Г. Кастаньеды, пропозициональную «прозрачность».

Интерес представляют также случаи, когда один и тот же референт обозначается в пределах одного текста посредством разных личных местоимений (как в приведенных выше примерах кореферентности $\Phi/ты$ и *вы* из Пастернака и М. Булгакова). Важно, чтобы при этом сохранялась согласованность по типу референции и по эмпатии. Приведем еще несколько примеров (соответствующие единицы подчеркнуты): *Что скрывать, не всегда прогулка по магазинам доставляет нам большую покупательскую радость. Того и гляди, столкнешься с... таким са-*

краментальным явлением, как очередь... Особенно если стоите **вы** в этой очереди последним («Крокодил», 1987, № 1, пример из работы [Булыгина, Шмелев 1991: 59]); *Проживешь свое, пока много всяких грязных ракушек / налипает нам на бока* (Маяковский). *Я ее уважаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана* (письмо Дантеса Геккерну, приводимое в переводе с французского современным биографом Пушкина)¹⁸. Случаи подобного рода, как и случаи транспозиции, не должны менять нашего представления о системе личных местоимений.

¹⁸ Здесь имеет место некоторая «эмпатическая рассогласованность», поскольку $\emptyset_{\text{зми}}$ оказывается кореферентно с посессором, на который указывает форма *ваша*. Впрочем, можно предположить, что это просто буквальный перевод с французского, в котором, по свидетельству Э. Бенвениста [1974: 266], «вы» (vous) «функционирует во французском языке как анафорическое соответствие неопределенно-личному местоимению (on), например *on ne peut se promener sans quelqu'un vous aborde*».

Глава 7

Референция в высказываниях идентификации

7.1. Идентификация с точки зрения неоказуального подхода

а) Вступительные замечания

Высказывание, не приписывающее объекту какое-либо свойство, а сообщающее о тождестве объекта А объекту В, является само по себе парадоксальным. Это хорошо известно философам (о. Павел Флоренский, С. Л. Франк). Ср. часто цитируемые замечания Л. Витгенштейна [1958]: «Сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождественен самому себе, — значит ничего не сказать». Более того, с точки зрения модальной логики парадоксальными являются не только высказывания вида *А есть В*, но и высказывания вида *А был бы В* или *А был бы не А*, поскольку, как показал С. Крипке, любое истинное суждение тождества является необходимым, а любое ложное — невозможным (см. напр., [1982]).

В то же время в текстах на естественном языке (в частности, на русском) встречаются все указанные виды «парадоксальных» высказываний: «тавтология» *А есть А*; «противоречие» *А есть В* (где А и В — имена разных объектов); «собственно идентификация» *А есть В* (где А и В — разные имена одного объекта); «контрфактические» высказывания тождества *А был бы не А*; *А был бы В* и т.п. Здесь будет рассмотрен каждый из названных типов.

б) Два типа идентификации

Напомним, что с точки зрения «неоказуального» подхода к референции, для адресата речи установить референцию ИГ —

значит локализовать впервые вводимый в его поле зрения объект в релевантном денотативном пространстве или идентифицировать объект с ранее известным ему объектом, сведения о котором хранятся в «мысленном досье» в соответствующем участке памяти.

Тем самым неспособность адресата речи установить референцию ИГ бывает, как уже говорилось, двух типов.

Во-первых, ранее не известный ему объект может быть обозначен посредством ИГ, не несущей информации, которая позволяла бы локализовать референт в релевантном денотативном пространстве, напр., при помощи имени собственного. Во-вторых, адресат речи может расценить референцию к известному объекту как интродуктивную и заново локализовать объект в релевантном денотативном пространстве, вместо того чтобы извлечь из соответствующего участка памяти «мысленное досье» данного объекта.

В первом случае неспособность установить референцию не может не сознаваться адресатом речи и он тем или иным способом разрешает возникающие затруднения — напр., при помощи вопросов: *Кто это такой (такая)?; Кто такой (такая) X?; Что это такое?; Что такое X?* Во втором случае адресат речи может не сознавать своей неспособности установить референцию и, заново локализуя объект в релевантном денотативном пространстве, завести на него второе «мысленное досье». В последнем случае неспособность установить референцию оказывается как бы «продленной»; один и тот же объект характеризуется в памяти адресата разными «мысленными досьями», соответствующими разным ипостасям объекта, однако без знания некоторого тождества такая локализация оказывается недостаточно точной. В рассматриваемых высказываниях сообщается соответствующее тождество.

Во всех случаях, для того чтобы устранить или предупредить неспособность адресата речи установить референцию, используются высказывания идентификации. Первый компонент высказывания идентификации — ИГ, референт которой используется как средство локализации в релевантном денотативном пространстве референта первого компонента¹.

¹ Обозначение компонентов высказывания идентификации как первого и второго обычно соответствует порядку их следования в предложении. Однако в специальных случаях (в просодически маркированных предложениях, при наличии частицы и т.п.) второй компонент может предшествовать первому [Падучева, Успенский 1979].

В соответствии со сказанным выше, высказывания идентификации, как уже говорилось, подразделяются на два типа.

Первый тип мы условно назвали «поясняющей» идентификацией. Она имеет место в тех случаях, когда первый компонент не информативен для адресата речи (напр., представляет собою ранее не известное ему имя собственное): *Степкин — не кто иной, как бывший сторож на кроличьем острове; «Кто такой Жак?» — «Жак, это — моя собака»* (М. Булгаков). «Поясняющая» идентификация может использоваться для представления персонажа читателям: ср. *Чарский был один из коренных жителей Петербурга* (начальная фраза повести Пушкина «Египетские ночи»). В результате «поясняющей» идентификации у адресата речи формируется соответствующее «мысленное досье», содержание которого извлекается из второго компонента высказывания. К «поясняющей» идентификации примыкают также определения терминов (*Корень уравнения — это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное равенство*). Правда, здесь идентификация носит в значительной степени метаязыковой характер, поскольку у адресата речи формируется «мысленное досье» не конкретного объекта, а понятия, обозначаемого термином, однако именно понятие является референтом определяемого термина (т. е. имеет место «простая» суппозиция по Оккаму).

При идентификации второго типа первый компонент сам по себе несет достаточную информацию, позволяющую адресату речи локализовать его референт в релевантном денотативном пространстве, однако без знания некоторого тождества такая локализация оказывается недостаточно точной. В рассматриваемых высказываниях идентификации (ее мы назвали «уточняющей» идентификацией) и сообщается соответствующее тождество. Первый компонент высказываний «уточняющей» идентификации обозначает актуализованную ипостась, которая обычно бывает дана в непосредственном наблюдении или знании, а второму соответствует актуализуемая ипостась, обычно известная адресату речи из прошлого опыта [Арутюнова 1976: 317; Вайс 1985: 455]: *То была Наина; Старый сей монах Не что иное был, как Дух переодетый* (Пушкин); *Гость был не другой кто, как наш почтенный Павел Иванович Чичиков* (Гоголь). Однако обязательным условием является лишь актуализованность первого и неактуальность второго компонента. Приведем пример уточняющей идентификации, когда второму компоненту соответствует ипостась, данная в непосредственном наблюдении (присутствующая в ситуации речевого акта),

а первому — ипостась известная из прошлого опыта: *«И вижу дверь открыта, а в дверях какая-то женщина. Я смотрю на нее в упор. Она стоит... Я видел хорошо ее лицо. Это была вот кто (показывает на Елизавету Бам)»* (Хармс). Известность ипостаси, соответствующей второму компоненту, также не является, вопреки Д. Вайсу [1985], обязательной; ср. примеры, в которых необходимость дать описание носителю имени свидетельствует как раз о его неизвестности адресату речи: *Узнай, Руслан: твой оскорбитель — Волшебник страшный Черномор, Красавиц давний похититель, Полночных обладатель гор; ...Неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор «Театра Клары Газюль», «Хроники времен Карла IX», «Двойной ошибки» и других произведений (Пушкин); «Что это за гусь такой?» — «Это наш знаменитый химик Ефросимов»* (М. Булгаков). К «уточняющей» идентификации относится и таксономическая идентификация, когда второй компонент высказывания заведомо характеризуется неопределенной референцией (в отличие от первого, определенного). Парадокс (известное определяется через неизвестное) здесь имеет место только на первый взгляд; ведь «даже если предмет, о котором идет речь, присутствует в ситуации общения, но его принадлежность к классу не устанавливается адресатом или ему совсем неизвестна, смысл сообщения не может быть им усвоен в полном объеме» [Арутюнова 1980б: 49]. Для такого объекта «установить принадлежность к тому или иному классу и значит его идентифицировать» [Там же: 182]: *Стала Мура рисовать... «Это елочка мохнатая. Это козочка рогатая...»* (К. Чуковский); *Это, изволите ли видеть, телефон* (М. Булгаков). Спор героев М. Булгакова: *«Гуллер, это не фотографический аппарат!» — «Ну, что ты мне рассказываешь!.. Это заграничный фотографический аппарат»,* — свидетельствует не о расхождении в том, какой признак приписать известному объекту, а именно о затруднениях в идентификации.

Высказывание «уточняющей» идентификации может быть сделано как в ответ на естественную коммуникативную потребность адресата речи (в ситуации, когда все недоумевают, кто же тот лондонский убийца, которого условно называют *Джек Потрошитель*, уместно сообщение: *Джек Потрошитель — это лорд Карфакс*; сюда же относятся все случаи, когда первый компонент выражает значение атрибутивной определенности, как во фразе чеховского персонажа: *Самое важное в жизни человеческой — это каланча*), так и в том случае, когда адресат речи и не подозревает, что ему неизвестно важное тождество: *Я Дубровский* (Пушкин); *Прометей — это Сатана* (А. Ф. Лосев).

в) Предикация или идентификация?

Высказывания идентификации могут быть омонимичны высказываниям с предикатной именной группой в роли именной части составного сказуемого. Высказывание *Иван — мой друг* может быть понято и как характеристика Ивана, и как ответ на вопрос *Кто такой Иван?* (т.е. «поясняющая» идентификация). В первом случае *мой друг* имеет предикатный статус, во втором — представляет собою референтную именную группу. Специальные языковые показатели позволяют разрешить омонимию: *Иван мне друг* однозначно понимается как предикация, а *Иван — это мой друг* — как идентификация. К числу показателей идентификации относятся местоимение *это*, используемое в качестве первого компонента или наряду с ним [Падучева 1981], а также, разумеется, референциальные показатели (*этот, один* и т.п.) в составе второго компонента; о том, что высказывание выражает характеризацию, может свидетельствовать личное местоимение в функции первого компонента (подлежащего), а также специальные средства, подчеркивающие предикативный характер второго компонента (именной части сказуемого). Эти показатели должны быть согласованы друг с другом: ср. *Это один мой друг; Он мой друг* и аномальное **Это мне друг*² [Падучева 1981: 85]; **Это по профессии инженер; *Он один мой друг*.

Здесь, впрочем, необходимо сделать ряд оговорок.

Прежде всего отметим, что неупотребительность личных местоимений в качестве первого компонента высказываний идентификации является мотивированной. Так, местоимение 3-го лица используется в ситуации, когда участники коммуникативного акта способны идентифицировать референт этого местоимения. Использование этого местоимения в качестве первого компонента высказывания идентификации (предполагающего неспособность правильно идентифицировать объект, обозначаемый первым компонентом) приводит к противоречию в «модальной рамке» и тем самым — к аномалии [Апресян 1978].

Аналогичным образом объясняется и неупотребительность в указанной функции местоимения 2-го лица. Ведь сообщение **Ты — это...* предполагало бы, что адресат речи не в состоянии идентифицировать сам себя. По сходной причине малоупотре-

² Высказывание персонажа Зощенко *Жена это мне* (с одновременным употреблением *это* и «дательного посессивного») выходит за рамки литературной нормы.

бительны и логически корректные вопросы типа *Ты Петя?* Ведь прежде чем употребить по отношению к адресату речи местоимение 2-го лица, надо знать, к кому обращаешься. Вместо этого в ситуации, когда говорящий не уверен, что правильно узнал собеседника (напр., по телефону), он может использовать прагматически более уместные вопросы *Это Петя?* или даже логически уязвимые *Петя, это ты?* («нелогичность» распространенного вопроса *Это ты?* Обыгрывается в диалоге из «ЛГ», 3 апреля 1985 г.: «*Это ты?*» — спросил старик. «*Вроде я. Кому же еще быть мною?*»).

С местоимением первого лица дело обстоит несколько сложнее. Говорящий вполне может исходить из того, что адресат речи не в состоянии его идентифицировать. Обычно при отсутствии зрительного контакта между участниками коммуникации говорящий, представляясь, использует в качестве первого компонента местоимение *это*: *Это Петя* или даже — в расчете на узнавание по голосу [Арутюнова 1976: 297] — *Это я*³. Если же говорящий находится в пределах видимости, уместно только местоимение *я*: *Я Дубровский*; «*Откуда же мне тебя знать? — спросил растерянно профессор. «Но ведь я же твой Максик», — рыдал мальчик* (Э. Кестнер, пер. К. Богатырева). Использование местоимения *я* возможно и при отсутствии зрительного контакта (ср. диалог: *Кто там? — Я монтер из Мосэнерго*), хотя в подобных случаях все же предпочтительнее использование местоимения *это* (*Это монтер*).

Таким образом, местоимение 1-го лица (в отличие от местоимений 2-го и 3-го лица) может в специальных условиях использоваться как первый компонент высказывания идентификации. И, если вне контекста высказывание *Я один коллежский асессор* звучит странно (ср. *Я коллежский асессор*, выражающее характеристику), то при наличии более широкого контекста, указывающего на необходимость идентификации говорящего, оно становится уместным: *Если вы... вздумаете спросить меня: кто же я таков именно? — то я вам отвечу: я один коллежский асессор* (Достоевский).

Еще одна оговорка касается употребления местоимения *это* в сочетании со словами оценочного или квалифицирующего значения. Такое употребление означает, что объект (чаще всего — лицо) рассматривается как «персонификация» указанного качества [Падучева 1981: 83]; ср. у Чехова: *Это необычно*

³ На нелогичность такого высказывания Винни-Пуха и обратил внимание Кролик: *Что значит «Я»? «Я» бывают разные.*

венный ребенок; Это странный, наивный человек; Это талант; Это молодчина. По существу здесь характеристика маскируется под идентификацию. На то, что эти высказывания подаются именно как высказывания идентификации, указывает не только такой формальный признак, как употребление *это*, но и восприятие этих высказываний говорящими; ср. восприятие таких высказываний как «ярлыков», претендующих на то, чтобы выразить самую сущность определяемого объекта: *Нюют, ненавидничают, болезненно клеветуют, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают: «О, это психопат!» или «Это фразер!» А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: «Это странный человек, странный!»* (Чехов). Делая такое высказывание, говорящий как бы делает вид, что, как и в случае таксономической идентификации, незнание соответствующих свойств объекта не позволяет локализовать его в денотативном пространстве. Действительно, говоря: *Этих двух нужно убить как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители* (М. Булгаков), — доктор Бакалейников имел в виду не бранить Куренного и полковника, а разоблачить (идентифицировать) их в глазах матросов⁴. Поэтому, говоря *Пирог — прелесть*, говорящий хвалит конкретный пирог (тем самым слово *пирог* имеет референцию к конкретному объекту). Но если кто-то глубокомысленно скажет *Пирог — это прелесть*, такое высказывание будет понято как выражающее отношение к пирогу вообще (к его, так сказать, сущности); оно может быть использовано, напр., в ответ на предложение испечь или купить пирог.

Поскольку местоимение *это* используется (если речь идет о конкретных объектах) только в высказываниях идентификации, оно в обычных условиях не может быть употреблено в предложениях, выражающих мнение говорящего о себе самом (так как себя-то говорящий способен идентифицировать и без того), в частности, как отметила Е. В. Падучева [1981: 82], — когда предложение самомнения подчинено предикату пропозициональной установки. Исключение, впрочем, составляют ситуации, когда говорящий затрудняется идентифицировать самого

⁴ В подобных случаях субъективная оценка выдается за объективное определение, как в одной статье в «Русском вестнике» (1894), где говорится: «Вступить с ним в брань? К чему? ...Достаточно понять, определить, самое большее — выговорить вслух определенное», — и автор дает своему оппоненту такие «определения» (а вовсе не «бранит» его): *танцор из кордебалета; тапер на разбитых клавишах; слепец, ушедший в букву страницы; блудница; палка, бросаемая из рук в руки*.

себя, напр., при разглядывании старых фотографий или своего отражения в зеркале: *Неужели вон тот — это я* (Ходасевич); *Максик подбежал поближе к зеркалу и вытянул вперед руки, словно пытаюсь обнять собственное отражение. «Это я», — кричал Максик* (Э. Кестнер, пер. К. Богатырева). Возможны и случаи, когда происходит потеря способности к самоидентификации: ср. *Может быть я — это тоже не я?* (Л. Квитко, пер. Ел. Благиной); *Мы в адском круге, А может, это и не мы* (Ахматова). В подобных случаях это возможно в предложении самомнения и в контексте глагола пропозициональной установки (напр., *Лирическая героиня Ахматовой чувствовала, что они в адском круге, и допускала даже, что это и не они*).

Наконец, следует отметить, что сообщения об имени объекта могут использовать те же средства, что и высказывания идентификации: *Знакомьтесь, это Коля; Вот это стол — за ним сидят* (Маршак). Часто такие сообщения делаются одновременно с идентификацией: *Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса* (Чехов).

В целом высказывания идентификации достаточно разнообразны с точки зрения референциальной характеристики компонентов [Падучева 1987]. В то же время все они преследуют в общем одну и ту же цель — дать возможность адресату речи точно локализовать референт первого компонента. Это обеспечивает единство всего класса высказываний идентификации и объясняет то, что в них используются одни и те же языковые средства.

7.2. Переосмысление высказываний тождества

а) Псевдоидентификация

Высказывания вида *А есть В*, когда А и В — имена двух разных объектов, полностью аномальны с точки зрения логики и здравого смысла. Поэтому они всегда переосмысляются. Обычно переосмысление состоит в том, что В понимается метафорически (в широком смысле) и обозначает уже не объект В, отличный от объекта А, а свойство объекта А быть в определенном отношении похожим на В. Тем самым В приобретает предикатный статус, и никакой загадки не остается.

Так, героиня Чехова, заявляющая: *Мой муж — Отелло*, — конечно, совсем не хотела утверждать, что она замужем за персонажем пьесы Шекспира; она лишь сообщала о свойстве

своего мужа, которое сближало его, на ее взгляд, с указанным персонажем.

Интерес может представлять лишь описание условий употребления подобных конструкций. Так, переносное употребление собственных имен в функции предиката, как правило, требует специальных показателей (см. главу 1): напр., определений, несовместимых с «прямым» пониманием имени, неопределенных местоимений и т. п.

Употребление нарицательных предметных существительных в рассматриваемой функции также связано с некоторыми ограничениями. Затруднено употребление в форме предложений тождества без специальных показателей, сравнений, производимых в пределах одного класса; это согласуется с наблюдениями Н. Д. Арутюновой [1983а: 9]. Не вполне естественно выглядит предложение *Вино — вода*, ср. при наличии специальных показателей: *Это не вино, а вода* (ср. у Артема Веселого: *Это же не вода, а какая-то моча дамская*); *В сравнении с джином вино — вода* (Мандельштам); *Вино — сущая (совершенная) вода* и т. п. Достаточным оказывается и параллелизм конструкций: ср. *Вином упиться? Позвать врача? Но врач — убийца! Вино — моча* (Галич).

б) «Тавтологии»

В своем буквальном значении высказывания вида *X есть X*; *X — это X*; *X всегда X* и т. п. абсолютно неинформативны и поэтому «бесполезны и неупотребительны» (Кант); они могут быть лишь объектом насмешек, подобных описанию речи председателя суда в «Воскресении»: *Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с приятной домашней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места*. Обычно, интерпретируя «тавтологичное» высказывание, адресат речи как бы переосмысляет его, и высказывание, не информативное на уровне того, что буквально сказано, становится информативным «на уровне того, что имплицитно» [Грайс 1985: 229]. Необходимость такого переосмысления в последнее время принято связывать с общекоммуникативными постулатами Г. П. Грайса [Кифер 1985: 335—336; Падучева 1982б: 84; 1985: 42; Апресян 1988: 40]. Действительно, необходимость искать небуквальную интерпретацию высказывания естественно объяснить коммуникативной недостаточностью буквального

осмысления. В то же время создается впечатление, что во многих работах указанного направления предполагается, что и способы переосмысления «тавтологических» высказываний также выводимы на основе универсальных постулатов речевого общения. В таком случае не было бы нужды строить для «тавтологических» высказываний особое семантическое представление, соответствующее небуквальному пониманию, оно получалось бы по общим (в частности, не связанным с особенностями конкретного языка) правилам из буквального. Это дало бы возможность «разгрузить» семантическое описание [Падучева 1982б: 85; 1985: 43].

Однако если необходимость переосмысления «тавтологий» сама по себе не зависит от конкретного языка, то способы их осмысления, равно как и форма наиболее часто встречающихся «тавтологических» высказываний, нередко оказываются лингвоспецифичными. Лингвоспецифичность «тавтологических» высказываний фактически вытекала уже из гипотезы Е. В. Падучевой, предположившей [1985] (см. также [Апресян 1988]), что интерпретация такого высказывания определяется коннотациями используемого в нем имени. Ведь коннотации являются фактом словаря и заведомо лингвоспецифичны. В то же время заметим, что одного знания коннотации соответствующего имени (по крайней мере, в традиционном понимании термина «коннотация») недостаточно для точной интерпретации смысла высказывания. Отметим, в частности, что в «тавтологических» высказываниях могут использоваться собственные имена, в том числе не общеизвестные и потому не имеющие словарных коннотаций в общепринятом понимании термина: напр., *Сергея есть Сергей* (об общем знакомом). Скорее, можно говорить об ассоциациях, которые связываются с референтом у участников коммуникации, или о «мысленном досье» референта, которым они располагают.

Впрочем, связью со словарными коннотациями не исчерпывается специфика «тавтологических» конструкций в конкретном языке. Интерпретация такого высказывания может зависеть от целого ряда языковых особенностей «тавтологического» высказывания. Относительно английских «тавтологических» конструкций типа *Boys will be boys; War is war* и т. п. это было показано в статье А. Вежбицкой [Wierzbicka 1987b]. Демонстрируя отличия английских «тавтологий» от аналогичных конструкций других языков, А. Вежбицка время от времени привлекает для сопоставления французские, русские и польские примеры. Примечательно, что, упоминая русский материал, А. Веж-

бица допускает ряд неточностей⁵; но именно эти неточности только подтверждают общий вывод А. Вежбицкой — специфику «тавтологических» конструкций в каждом отдельном языке, вследствие чего для каждого языка их необходимо подвергать специальному анализу.

Лингвоспецифичность «тавтологических» высказываний связана и с разнообразием факторов, которые определяют их интерпретацию в каждом языке. Так, в английском языке способы интерпретации таких высказываний весьма разнообразны и зависят от наличия/отсутствия артикля, времени глагола, семантического типа существительных и др. [Wierzbicka 1987b]. Соответствующие правила переосмысления конвенционализированы и должны быть включены в полное описание английского языка. Они не носят универсального характера; это ясно хотя бы из того, что они не могут быть применены, напр., к безартиклевым языкам.

Способы осмысления русских биноминативных «тавтологий» не менее разнообразны и также зависят от целого ряда параметров. Специфичным для русского языка является противопоставление двух рядов «тавтологических» конструкций X (u) *есть* X ; X *всегда/везде* X , и т. п., с одной стороны, и X — *это* — X , с другой.

Значение конструкций первого ряда: все манифестации X -а, т. е. члены класса X или «инстанты» индивида X (см. главу 2), в общем одинаковы, и нет оснований ожидать от манифестации, с которой мы имеем дело, чего-то другого. Предложения данного типа чаще всего представляют собой «формулу примирения с действительностью» [Николина 1984: 45].

Варианты такого примирения могут быть различны.

С одной стороны, это может быть понимание неизбежности негативных аспектов явления, т. е. того, что недостатки данной манифестации X -а (члена класса или «инстанции» индивида), — это не его особенность, они присущи X -у вообще, поэтому с ними надо смириться: *Дети есть дети; Реклама есть реклама; Для Троцкого, как и для Сталина, коллективизация и*

⁵ Так, А. Вежбица считает, что «по-русски не говорят *Война есть война*» [Wierzbicka 1987b: 97]. На самом деле *Война есть война* — одно из самых часто встречающихся в русских текстах «тавтологических» предложений. В статье Н. А. Николиной [1984] приводятся примеры предложений типа X *есть* X из реальных текстов: из 43 примеров шесть — это именно употребление предложения *Война есть война* (на втором месте предложение *Жизнь есть жизнь* — три примера; предложение *Ложь есть ложь* встретилось дважды).

террор голодом были войной — войной коммунистического режима с крестьянством. За жестокость он Сталина не утрекал: война есть война (М. Хейфец); *Таня есть Таня, обижаться на нее невозможно* (В. Астафьев) и т.п. — словом, *Обижаться тут не приходится, жизнь есть жизнь* (Н. Катерли)⁶.

Чаще всего первый вариант «примирения с действительностью» состоит в выявлении того, что все манифестации Х-а имеют как позитивные, так и негативные стороны, так что и данная манифестация не исключение: *Люди есть люди. У каждого есть плюсы и минусы. Достоинства и недостатки* (пример из работы Н. А. Николиной [1984: 43]); *Человек есть человек, Бог и Черт в нем всегда рядом* (Р. Вебер).

С другой стороны, «примирение с действительностью» («ничего не поделаешь») может состоять в осознании необходимости выполнять свой долг по отношению к Х-у, каким бы этот Х ни был: *Закон есть закон; Приказ есть приказ; Отец есть отец; Обещание есть обещание* и т.п.

При обоих вариантах «примирения с действительностью» подразумевается значение уступки, однако эта уступка носит почти противоположный характер. В первом варианте предполагается, что, несмотря на возможные достоинства данной манифестации Х-а или связываемые с ней надежды, она по существу не лучше прочих манифестаций — ср. *Женщина всегда женщина, даже если она и наделена от Бога ясным и насмешливым умом* (Вас. Гроссман). Во втором варианте речь идет о том, что, несмотря на все недостатки данной манифестации Х-а, они не отменяют исполнения долга по отношению к ней как к Х-у: *Отец есть отец. Какой бы он ни был, но — отец* (пример из работы Н. А. Николиной [1984: 42]). Высказывание *Закон есть закон* указывает на необходимость исполнения закона, несмотря на его суровость; *Приказ есть приказ* означает, что приказ надо выполнять, хотя бы он был жестоким, трудновыполнимым или сопряженным с риском для исполнителя: *Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское. Но приказ есть приказ* (Войнович); *Приказ есть приказ. Но все собравшиеся офицеры понимали, что по раскинутой Выборгской стороне, набитой десятками мятежных рабочих, выполнять его почти нечем* (Солженицын); *А коммунисты, стиснув зубы, выполняли приказ о «смертном бое». Приказ есть приказ, партийная дисциплина — дисциплина* (Эрнст Генри).

⁶ Ср. пример, приводимый в [Николина 1984: 45]: *Жизнь есть жизнь, и ничего с ней не поделаешь* (К. Симонов).

«Примирение с действительностью» — характерный, но не единственный способ интерпретации рассматриваемых конструкций. Выбор интерпретации зависит от типа существительного или же проясняется в контексте. Так, предложение *Жена есть жена* могло бы указывать на готовность примириться с недостатками жены (свойственными, по мнению говорящего, всем женам), на необходимость заботиться о жене, на то, что говорящий считает состояние женатого человека вообще лучшим, чем состояние холостяка (какова бы ни была жена) и т. п. Лишь контекст позволяет уточнить понимание этого предложения в словах Андрея из «Трех сестер» Чехова: *Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижющее ее до мелкого, слепого, такого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек.* В некоторых случаях интерпретация так и остается неясной, ср. пример, приводимый в работе [Николина 1984: 44]: *«Мечта есть мечта»*, — сказала Ада Ефимовна неизвестно в каком смысле (И. Грекова).

Общее значение конструкций второго ряда (*X — это X*) совсем иное: индивид (или класс) *X* отличается от не *X*-ов, т. е. прочих индивидов (или классов). Именно эти конструкции могут выражать значение тождества предмета самому себе; соответствующее сообщение, строго говоря, не слишком информативно, но может в определенных ситуациях оказываться уместным: *Если я — это я, меня не укусит собака моя* (Маршак); *Ложка — это ложка, ложкой суп едят. Кошка — это кошка, у кошки семь котят. Тряпка — это тряпка, тряпкой вытру пол. Шапка — это шапка, оделся — и пошел* (И. Токмакова); *Мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы — это мы* (Войнович). Обычно же высказывания вида *X — это X* переосмысляются как указывающие на «особость» индивида или класса *X*, на то, что он самым своим существом не походит на другие индивиды или классы («не чета другим»). Отсюда ясно, что, если высказывания вида *X есть X* чаще связаны с отрицательной оценкой *X*-а (пониманием, что лучшего от *X*-а ждать не приходится), то высказывания вида *X — это X*, напротив, часто бывают связаны с чрезвычайно высокой оценкой *X*-а: *«Спартак» — это «Спартак»!* *Мы восстановимся и будем претендовать только на первое место* (слова тренера женской гандбольной команды «Спартак» И. Турчина — «Советский спорт», 21 января 1990 г.). Характерен эпизод из воспоминаний М. Шульмана «Петроградская гастроль кантора Шульмана»: Шаляпин захотел познакомиться с кантором Борухом Шульманом и велел своему администра-

тору Исаю Дворищину привезти Шульмана в тот же вечер. Дворищин стал уговаривать Шульмана в таких выражениях: «Ты же знаешь Федю! Типичныйгой! Еще какой! Если ему что захотелось, вынь да положь». Растерявшись, Шульман сказал, что, если Шаляпин желает с ним познакомиться, может хоть сейчас прийти к нему в гостиницу. На это Дворищин, ставший вдруг грустным и тихим, отвечал: «Ты, Береле, замечательный кантор. Может быть, один из трех или четырех лучших в мире. По мне, так самый лучший. Но Шаляпин — это Шаляпин. Он приглашает тебя в гости, а ты подумай, что ты говоришь, это бог знает что!»

Именно в силу сказанного, как мы отмечали в работе [Булыгина, Шмелев 1990а: 166], высказывание *Фишер есть Фишер* естественно было произнести в ситуации, когда приходило известие об очередном требовании американского гроссмейстера, доставляющем много забот организаторам соревнований; а высказывание *Фишер — это Фишер* звучало естественно, напр., в ситуации, когда, получив известие о новой победе американского гроссмейстера, говорящий подчеркивал, что этого и следовало ожидать (ср. пример из журнала «Шахматы в СССР», 1988, № 1: *Бобби Фишер заявил однажды, что может дать коня вперед тогдашней чемпионке мира Ноне Гапфандашвили, на что Михаил Таль сказал: «Фишер — это Фишер, но конь — это конь»*).

Впрочем, указанные оценочные компоненты вовсе не являются обязательными. Они появляются лишь как следствие общего значения каждого из рядов биноминативных «тавтологий». Для *X есть X*; *X всегда X* это констатация общего свойства всех манифестаций индивида или класса X; отличия и сходства X-а и других индивидов или классов находятся вне поля зрения. Для *X — это X* общее значение состоит в выделении X-а среди прочих индивидов или классов, констатация его особого места; особенности отдельных манифестаций могут не приниматься во внимание. Иными словами, *X есть X* значит, прежде всего, 'Все X-ы одинаковы', а *X — это X* означает нечто вроде 'X — это не Y'. Данное различие между двумя рядами русских «тавтологических» высказываний может стираться, но никогда не исчезает полностью, и оно, несомненно, лингоспецифично.

в) Контрфактическое тождество

Поскольку, с точки зрения современной модальной логики, любое возможное суждение тождества является необходимым, а любое тождество, не имеющее места в реальном мире, —

невозможным, невозможны контрфактические суждения тождества. Действительно, соответствующее суждение оказалось бы либо тавтологичным (*А был бы А*), либо противоречивым (*А был бы не А; А был бы В*). Поэтому ирреальные биноминативные предложения возможны лишь в том случае, когда один из компонентов (обычно второй) имеет предикатный статус: *Если б я был султан...*; *Кабы я была царица...* (ср. английский перевод: *Were our tsar to marry me*).

Если оба компонента ирреального биноминативного предложения представляют собою жесткие десигнаторы (т.е., как мы помним, слова, соотносящиеся с одним и тем же объектом, о каком бы из возможных миров ни шла речь, т.е. имена собственные или названия естественных классов), ирреальное биноминативное предложение возможно, лишь если один из компонентов понимается нежестко, в переносном значении: *Если бы Хазанов был Сальери...* (Э. Рязанов) = 'Если бы Хазанов был завистлив'.

Основной способ нежесткого понимания в русском языке — метафорическая интерпретация (*Если бы А был В...* = 'Если бы А был похож на В'). Слова Пьера: *Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире...* — также могут пониматься метафорически: 'Если бы я не был таков, как я есть...'. Реже встречается функциональная интерпретация (*Если бы А был В...* = 'Если бы А был на месте В'), иллюстрируемая примером *Когда б во власть твою мой брат был облечен, А ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он...* (= '...а ты был на месте Клавдио'). Этот тип переносной интерпретации жесткого десигнатора характерен для многих европейских языков (*If I were you* = 'На твоём месте...'), по-русски соответствующий смысл более идиоматично выражается при помощи оборота *на месте X-а*; ср., впрочем, у Достоевского одновременное использование обоих средств выражения данного смысла: *Если бы я был Горшков, та я уж не знаю, что бы я на его месте сделал!*

Возможно каламбурное столкновение указанных интерпретаций, как в уже приводившемся выше диалоге: *Когда Александр отверг условия Дария, то Парменион сказал: «Если бы я был Александр, я бы принял условия мира». Александр ему ответил: «И я бы принял их, если бы я был Парменион».* В высказывании Пармениона предполагается функциональная интерпретация ('на месте Александра...'), а в высказывании Александра Македонского — метафорическая ('если бы я был такой (робкий), как Парменион...').

В ряде случаев граница между указанными пониманиями оказывается не вполне ясной, как в распространенном (особенно в переводах с западноевропейских языков) обороте *Если бы был я Бог...: Если бы я был Бог, я дарил бы вечное блаженство тому, кто не кается до последнего* (Й.-П. Якобсон, пер. Е. Суриц); *Будь я Богом, я бы вовсе не хотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью* (Дж. Сэлинджер, пер. С. Таска). Во многих подобных случаях уместным представляется ответ И. А. Крылова на аналогичный оборот из стихотворения В. Гюго в переводе М. Д. Деларю («И если б Богом был — селеньями святыми / Клянусь — я отдал бы прохладу райских струй / И сонмы ангелов с их песнями живыми / Гармонию миров и власть мою над ними / За твой единый поцелуй!»): *Мой друг! когда бы был ты Бог, То глупости такой сказать бы ты не мог.*

По-видимому, оба значения (метафорическое и функциональное) синкретически выражены в остроумном ответе Б. Пастернака на критическую статью некоего Джека Линдси, направленную против «Доктора Живаго» и опубликованную в просоветском журнале *Anglo-Soviet Journal*. По свидетельству Пастернака, статья Линдси написана «важным, поучительным тоном» и начинается таким признанием: «Я был расположен к „Доктору Живаго“ до того, как начал его читать, и приготовился восхищаться романом, о котором столько говорят». Пастернак замечает: *В этом месте, если бы был господином Линдси, я бы продолжил так: «Но после того, как я понял характер журнала, для которого я пишу, доброе предрасположение к книге, которой я собирался насладиться, внезапно переменилось. Теперь „Доктор Живаго“ разочаровал меня». Условие Если бы я был господином Линдси означает одновременно 'на месте г. Линдси' и 'если бы я был таков, как г. Линдси (т.е. составлял мнение о книге до ее прочтения и был готов писать статьи для продажных изданий)'.*

Таксономические предикаты в придаточных условных могут и не переосмысляться. В этом случае все предложение чаще всего интерпретируется как сообщение о причинной связи: *Если бы Дрейфус не был еврей, его бы не осудили; Была бы Шурка парнем, ей эти слова даром бы не прошли* (Залыгин) (осудили, потому что еврей; спустил эти слова Шурке, потому что она не парень). Ср. также *Если б я был евреем, веками не назвался бы словом другим* (А. Петров-Агатов); *Если бы я был молоденькой девушкой, — чего, по счастью для молоденьких девушек, не случилось, — я бы тоже, наверное, смущался* (Э. Кестнер, пер. К. Богатырева), с несколько иной интерпретацией.

Обратим внимание на то, что свойства, приобретенные объектом А в рассматриваемой контрфактической ситуации, не изменяют языкового поведения единиц, обозначающих А: *Была бы Шурка парнем, ей (а не *ему) эти слова даром бы не прошли; Если бы я был девушкой, я бы тоже смущался (а не *смущалась)*. Некоторую трудность составляют случаи, когда в рассматриваемом контрфактическом мире А сталкивается со своим аналогом (counterpart). Предположим, молоденькие девушки смущаются, увидев Кестнера. Мысль, что Кестнер на их месте тоже смущался бы, трудно выразить при помощи той же конструкции: *Если бы Кестнер был молоденькой девушкой, он бы тоже смущался, увидев... (*себя?; *Кестнера?)*. Известный пример Дж. Лакоффа *I dreamed that I was Brigitte Bardot and that I kissed me* трудно перевести на русский язык: *Мне снилось, что я — Бриджит Бардо и что я поцеловал... (*себя; *меня; *Лакоффа)*.

По-видимому, если А — говорящий, то единственная возможность для него — обозначать свой аналог «отчужденно», в третьем лице (напр., при помощи имени собственного), как в известном отрывке Пушкина: *«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина (...) Александр Пушкин поклонился бы с некоторым скромным замешательством (...) Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь»*. Именно такое «отчужденное» обозначение аналога говорящего подчеркивает тот факт, что *царь* здесь понимается как жесткий десигнатор в функциональном переосмыслении, — в отличие от чисто предикатных *султан, царица* в примерах *Если б я был султан, я б имел трех жен; Кабы я была царица...*

Примеры типа *Если бы вы были птицей, то летали бы в поднебесье* представляют собою усложненную метафору: *Из птиц вы больше всего похожи на тех, что летают в поднебесье*.

Высказывания вида *Если бы..., то А не был бы А* обычно означают, что, по мнению говорящего, ирреальное условие, содержащееся в придаточном, противоречит самой сущности А: ср. *Леонов не был бы Леоновым, если бы, сознавая и видя, и беду своих героев..., по-человечески не сочувствовал им* (Изв. ОЛЯ, т. 39); *Не думайте que je tombe en religion* — *я была бы не я* (из письма Марины Цветаевой Ариадне Берг); *Мог бы я быть добродетельным, почтенным, заслуженным и даже на всю жизнь? Мог. Но тогда я не был бы самим собою* (слова А. А. Реформатского, приводимые Н. Ильиной); *Если б я стал писателем в русле официальной советской литературы, я бы конечно не был бы*

собой (Солженицын); *А если б мог решить проблемы эти — Я б был не Бог, Я б был не Я* (В. Долина).

Распространены обороты типа *Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он офицер гусарский* (Пушкин); здесь утверждается сходство Чаадаева с Брутом и Периклом, а отличия связываются с отличиями условий, в которых действовали эти лица.

Поскольку при метафорическом понимании жесткий десигнатор утрачивает связь с объектом, может наблюдаться референциальная несогласованность подлежащего и сказуемого; ср. следующий пример, где подлежащее имеет родовой статус, а сказуемое выражено именем собственным: *Чтобы многомиллионный читатель увидел то, о чем говорил Георгий Дмитриевич, ему нужно быть Георгием Дмитриевичем, т.е. разработать себе... аппарат извлечения знаков и символов, воплощенных в каждом человеческом слове* (В. Кожин).

Как мы видим, ирреальные высказывания тождества почти всегда сводимы к стандартной семантике. Однако некоторая парадоксальность их все же продолжает ощущаться. Недаром они могут служить удобным материалом языковой игры. На английском материале такая игра часто используется в творчестве А. Милна: ср. стихотворения *Furry Bear (If I were a bear, / And a big bear too, / I shouldn't much care / If it froze or snew...)* и *A Thought (If I were John and John were Me / Then he'd be six and I'd be three. If John were Me and I were John, / I shouldn't have these trousers on)*, а также известное стихотворение из «Винни-Пуха»: *It's a very funny thought that, if Bears vere Bees, / They'd build their nests at the bottom of trees / And that being so (if the Bees were Bears), / We shouldn't have to climb up all these stairs* (ср. перевод Б. Заходера: *Если б мишки были пчелами, то они бы ничо чем, никогда и не подумали так высоко строить дом; и тогда (конечно, если бы пчелы — это были мишки!) нам бы, мишкам, было незачем лазить на такие вышки!*).

С более изощренным языковым экспериментом мы сталкиваемся в творчестве Д. Пригова. Приведем примеры экспериментирования на тему «Он в Риме был бы Брут...»: (1) *Скажем, я вот — Геродот / Ну, понятно, скажут, / Геродот, мол, да не тот / И неверно скажут // Потому что Геродот / В наше время был бы / Геродот, да уж не тот / А он Пригов был бы / То есть — я;* (2) *В Японии я б был Катулл / А в Риме — чистым Хоккусаем / А вот в России я тот самый / Что вот в Японии — Катулл / А в Риме — чистым Хоккусаем / Был бы.* В примере (1) обыгрывается необратимость сравнений; аномальное высказывание

Геродот был бы в наше время Пригов получается обращением сравнения героя с Геродотом (скажем, *Я б в Древней Греции был Геродот*). Пример (2) построен так, чтобы невозможной стала стандартная интерпретация: различия между сравниваемыми лицами обусловлены разными условиями, в которых они действуют. В самом деле, особые свойства Катутла никак не могут быть объяснены специфическими японскими условиями (а Хоккусая — римскими). Наконец, выясняется, что в российских условиях герой вообще не обладает индивидуальными свойствами и может быть идентифицирован только через сравнение с Катутлом и Хоккусаем (своего рода «перекрестная» идентификация).

Таким образом, мы видим, что логические парадоксы, связанные с идентификацией, находят разрешение в естественном языке. Но естественный язык дает материал для конструирования новых парадоксов, экспериментирования, языковой игры.

Глава 8

Референциальный потенциал как словарная характеристика

8.1. Семантика существительного и его референциальный потенциал

а) Общие замечания

Сама постановка вопроса о референциальном потенциале существительного как словарной характеристике не должна показаться парадоксальной. Вообще говоря, языковые единицы приобретают тот или иной референциальный статус, лишь будучи употребленными в конкретном речевом акте. Лексема, взятая в отвлечении от конкретного употребления, референциальным статусом не обладает. В то же время анализ различных употреблений лексической единицы позволяет выявить ее референциальный потенциал, т.е. способность приобретать или маркировать тот или иной тип референции. Обнаруживается, что референциальный потенциал различных лексических единиц неодинаков.

Мы уже сталкивались с тем, что для некоторых лексических единиц связь с тем или иным референциальным статусом является словарной характеристикой. Таковы русские местоимения, в функции которых как раз и входит указание на тип референции соответствующей именной группы (именно предназначенность для указаний на референциальный статус считают конституирующим признаком местоимений Е. В. Падучева и С. А. Крылов [1990]). Среди предикатных слов выделяются, как мы помним, предикаты *episodica tantum* и *qualitativa tantum*, задающие то или иное значение референциального признака «темпоральная локализация» для сочетающихся с ним ИГ.

Но и референциальные свойства существительных нередко оказываются объектом словарных ограничений. Прежде всего, они в значительной степени зависят от семантического класса,

к которому относится данная лексическая единица. В связи с этим встает вопрос о том, каким образом последовательно учитывать в толкованиях семантические характеристики, которые могут быть «ответственными» за референциальные особенности. При этом следует иметь в виду, что в различных употреблениях лексема может характеризоваться различными семантическими свойствами, обуславливающими различные референциальные возможности. Поэтому в целом ряде случаев семантические разновидности лексемы, не разграничиваемые в толковых словарях, обладают весьма различным референциальным потенциалом. В этом случае можно говорить о том, что референциальный потенциал словарной единицы объединяет референциальные свойства нескольких семантических классов.

Так, агентивные существительные могут характеризоваться одним из четырех значений, определяемым временной локализацией действия, положенного в основу наименования, т.е. функционировать как актуальное, результативное (в частности, как название каузатора), качественное и функциональное имя¹. При этом для некоторых агентивных существительных семантический тип жестко задан (напр., *роженица* — только актуальное имя), тогда как другие могут выступать то в одном, то в другом из указанных значений в различных высказываниях (именно на столкновении этих значений — актуального («человек, в данный момент ведущий машину») и функционального («профессиональный шофер») — у слова *водитель* была построена шутка «Литературной газеты»: *Вот уже три недели жена не разговаривает с шофером 3-его класса В. Чупраковым, мотивируя это тем, что с водителем разговаривать не разрешается*). Однако при толковании агентивного имени через мотивирующее действие в толковых словарях указание на возможные у имен типы

¹ Указанное подразделение агентивных существительных было первоначально разработано, с учетом наблюдений А. Вежбицкой [Wierzbicka 1969], Т. Добжиньской [Dobrzyńska 1975a—d], О. П. Ермаковой [1977: 386—389] и др., на материале отглагольных имен деятеля (см. [Шмелев, Шмелева 1981]; там же отмечается возможность распространить данную классификацию на все агентивные существительные независимо от формальной производности). Дальнейшая детализация данной классификации применительно к агентивным существительным содержится в работе Е. Я. Шмелевой [1983: 41—63]; в этом смысле там говорится о четырех вариантах словообразовательного значения. Анализ референциальных особенностей агентивных существительных различных типов см., в частности, в работе [Шмелев 1983].

значений, как правило не дается; тем самым его референциальный потенциал оказывается невыявленным.

Связь референциального потенциала существительного с его семантическим типом мы продемонстрируем на примере некоторых семантических классов русских существительных. Особое внимание мы уделим именам, используемым для обозначения лиц в русском языке, используя при этом результаты работы [Шмелев 1984б], в которой был подробно рассмотрен вопрос о референциальных свойствах различных семантических классов русских личных существительных. Специальное внимание, которое уделяется именам лица, не случайно. Это связано с разнообразными возможностями обозначения лиц, по сравнению с которыми, скажем, возможности номинации предметов значительно более ограничены. Именно человек «получает в языке множество различных обозначений. Он может быть назван по своим общественным функциям, взглядам, моральному облику, нравственным склонностям и вкусам, по своим поступкам и поведению, семейному статусу, родственным связям, внешнему виду, участию в тех или иных событиях и происшествиях, отношению к нему говорящего и многому другому... Среди имен лица наблюдается достаточно определенная соотношенность между коммуникативной функцией и способом номинации, среди названий предметов в общем случае такая связь ослаблена» [Арутюнова 1976: 347]. Ср. аналогичное замечание В. Г. Гака [1977: 286]: «Особое значение имеет номинация лица: у предмета меньше особенностей, он менее разнообразен и в своих разновидностях и проявлениях, и его достаточно обозначить видовым названием. Разнообразие лиц более существенно...». В то же время для сопоставления будут привлекаться и иные типы существительных, в частности предметные и абстрактные.

б) Результативные имена

Результативные имена обозначают лицо по какому-либо действию, совершенному этим лицом в прошлом. Среди результативных имен особое место занимают названия каузативов, обозначающие лицо по действию, создавшему либо коренным образом изменившему существование своего объекта (*автор, создатель, убийца*)². Не являются названиями каузативов

² Названные имена могут иметь и другие, не результативные значения. Так, слово *автор* (особенно в речи работников издательств)

ров результативные имена, обозначающие лицо по действию, которое лишь изменило статус данного лица (*беглец, пришелец, дезертир, эмигрант, приезжий*). В словарных толкованиях названий каузаторов, как правило, используется переходный глагол совершенного вида в прошедшем времени.

Референциальные особенности названий каузаторов заключаются в том, что они в стандартном употреблении характеризуются логической определенностью (ср. [Вежбицкая 1982]). Именно сочетания с названиями каузаторов обычно приводятся в качестве примеров определенных дескрипций в учебниках по логике: *автор «Взверлея», убийца Смита* и др. Это связано с тем, что названия каузаторов имеют сильную семантическую валентность, заполняемую объектом соответствующего действия, который тем самым индивидуализирует своего каузатора.

В случае, когда такой способ индивидуализации непосредственно обусловлен коммуникативным заданием, мы имеем дело с атрибутивным употреблением определенной дескрипции. Нередко в подобных случаях референт неизвестен адресату речи, наблюдателю или даже говорящему и может нуждаться в идентификации — ср.: *Прежде чем судить «Марфу Посадницу», поблагодарим неизвестного автора* (Пушкин); *Узнай, Руслан: твой оскорбитель — Волшебник страшный Черномор* (Пушкин); *Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей* (Пушкин); *Миша умер славной смертью от руки неприятеля. Вон его победитель* (Пушкин); *...зарегистрирован угон недавно приобретенного владельцем мотоцикла «Ява». Приметы угонщика...* («ЛГ», 12.01.83). Впрочем, в последнем примере использование выделенной ИГ сближается с референтными. Ведь, давая приметы пусть даже неизвестного человека, мы характеризуем его не только с точки зрения признака, лежащего в основе номинации. Юристы бы сказали, что аккуратнее говорить о приметах человека, подозреваемого в угоне, используя заведомо референтную ИГ³.

В качестве референтных определенных дескрипций используются названия каузаторов в следующих примерах: *Два трупа*

может обозначать лицо, которое еще не написало, а только собирается написать произведение. Ср. приводимое К. Чуковским шуточное двустишие: *Приходите, автора, подписать договора!* В таком употреблении слово *автор*, разумеется, не является названием каузатора.

³ Ср. обсуждение проблем, связанных с разграничением референтных и атрибутивных дескрипций в контекстах подобного рода в статье [Récanati 1981].

перед ним лежали; Убийца [= Алеко] страшен был лицом (Пушкин); Письмо сие... доставлено было родственникам и наследникам Фон-Визина князю Вяземскому, занимавшемуся биографией автора «Недоросля» [= Фон-Визина] (Пушкин). В указанных примерах дескрипция не играет самодовлеющей роли и может быть заменена на иную номинацию данного лица, напр., на имя собственное, хотя, конечно, выбор именно такого, а не иного способа выражения не является случайным.

При генерализованном или нефиксированном объекте соответствующего действия название каузатора сохраняет значение определенности, а именно, оказывается дистрибутивно определенным: ср. ...*дешевизна книги не доказывает бескорыстия автора* (Пушкин); *Он иногда читает Оле Нравоучительный роман. В котором автор знает боле Природу, чем Шатобриан* (Пушкин). Общеродовая референция у названий каузаторов может возникать лишь при абсолютивном употреблении (ср. *И убийц часто называют победителями* [Жуковский]), а также если объект понимается обобщенно и нераспределенно: ср. *Редко основатели республик славятся нежной чувствительностью* (Пушкин).

Предикатное употребление для названий каузаторов возможно (ср. *Август Лафонтен — автор множества семейственных романов* [Пушкин]; *Эйнштейн — создатель теории относительности*), но есть тенденция понимать название каузатора в позиции предиката в значении свойства или функции — ср. замечание Герцена: «*Это убийца*», — говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-то убить⁴.

Наиболее существенное ограничение референциальных возможностей названий каузаторов состоит в том, что они не способны иметь неопределенную референцию. Даже в случае если книга написана коллективом авторов, обо всех авторах вместе говорят как об *авторах книги* (множественная определенность), а о каждом из авторов в отдельности — как об *одном из (со)авторов книги* (неопределенная элективная ИГ, в состав которой входит выделенная ИГ, характеризующаяся определенностью)⁵. В связи с этим следует признать аномальным

⁴ Это замечание цитировалось в книге [Виноградов 1947: 49], где, впрочем, получило несколько иную интерпретацию.

⁵ Ср. замечание А. Вежбицкой [1982: 243], что «ни один из одиннадцати убийц Юлия Цезаря не может быть назван *убийцей Цезаря* (Брут был одним из убийц Юлия Цезаря, но он не был убийцей Це-

выделенное нами употребление слова *автор* в следующей заметке, опубликованной в журнале «64» (1983, № 7):

В 1980 году на Олимпиаде в Гамбурге участники решили преподнести подарок известному проблемисту А. Уайту, посвятив ему коллективно составленную задачу... Обнаружив, что у задачи есть и еще одно, не учтенное составителями решение, Уайт дописал к перечню авторов собственную фамилию и опубликовал дополненное им произведение с посвящением *автора* самому себе.

Конечно, Уайт не может быть корректно охарактеризован как *автор задачи*, и потому следует говорить о посвящении не *автора*, а только *одного из авторов* самому себе. Заголовок данной заметки («*Автор — автору*») неправилен вдвойне. Помимо неправильного употребления слова *автор* по отношению к одному из соавторов, он нарушает также правило некорреферентности двух тождественных дескрипций в составе одной конструкции (ср. [Biggs 1975]), так что создается впечатление, будто речь идет о двух разных людях.

Следует заметить, что такие слова, как *автор*, *убийца*, *творец*, помимо значения каузатора, могут употребляться и в иных «видо-временных значениях» (свойства или функции), утрачивая при этом семантическую валентность объекта. В последнем случае они, разумеется, могут иметь самые разнообразные типы референции — в зависимости от возможностей соответствующего семантического класса. Так, слово *автор* может использоваться в значении 'писатель', и в этом значении оно может характеризоваться неопределенностью (*Один известный автор заметил...*); ср. также пример генерализованного употребления: *Я не думаю, чтобы комический автор был историком: это не его назначение* (Пушкин).

«Предрасположенность» названий каузаторов к определенной референции отчасти связана с тем, что нормально они употребляются в тех случаях, когда в «общем поле зрения» участников коммуникации уже есть какое-то представление о ситуации, положенной в основу соответствующего наименования и предполагающей определенных участников. Сошлемся на замечание О. П. Ермаковой [1977: 387] о том, что для того чтобы назвать человека *похитителем*, требуется предварительное сообщение о похищении (действие при этом может быть

заря); никто из авторов, например, „Principia Mathematica“ не может быть назван автором „Principia Mathematica“ (Рассел — *один из соавторов* или *один из авторов*, но никак не автор этой работы).

выражено и глаголом *украсть* и т.д.). Пожалуй, в таком виде это утверждение чересчур категорично. Следует среди прочего учесть, что *похититель*, как и многие другие названия каузаторов, может употребляться и в других «видо-временных» значениях, так что, скажем, Черномор из «Руслана и Людмилы» мог быть назван *красавиц давний похититель* независимо от сообщения о конкретном похищении. Но в целом данное замечание соответствует правилам употребления названий каузаторов.

В этом отношении с названиями каузаторов схожи некоторые другие результативные имена, а именно субстантивированные причастия (такие, как *вошедший*, *пострадавший*, *потерпевший* и т.п.) и такие существительные, как *нарушитель*. При референции к конкретному индивиду эти имена всегда характеризуются определенностью, поскольку обозначают лицо, индивидуализируемое участием в ситуации, о которой только что шла речь: ср. *В дверь постучали. Я открыл стучавшему*.

в) Актуальные имена

Особые референциальные свойства отмечаются (ср. [Wierzbicka 1969]) у актуальных существительных — названий носителей актуального признака (*всадник*, *роженица* и т.п.). Ядро этого класса составляют агентивные существительные, обозначающие лицо по действию, совершаемому в момент, совпадающий с точкой отсчета. В силу такого хронологического совпадения можно сказать, что эти существительные выражают значение одновременности⁶. Если точка отсчета определяется описываемым событием, имеет место хронологическое совпадение действия, выраженного глаголом-сказуемым, и действия, мотивирующего актуальное имя: *Всадник низко наклонился над лошадиной гривой; Пассажиры смотрели в окно; Слушатели боялись пошевелиться; Мы увидели лыжника*. Можно сказать, что в таких случаях в значение актуального имени инкорпорировано значение так называемого «относительного настоящего времени». Если точка отсчета определяется моментом речи, актуальное имя как бы инкорпорировано «абсолютное настоящее время» и часто употребляется дейктически: *Этого лыжника мы уже где-то встречали; Водитель, вероятно, накануне выпил* (реплика одного из пассажиров автобуса, который слишком резко затормозил).

⁶ Наличие одновременности в семантике актуальных имен деятеля отмечается в цитированной статье [Wierzbicka 1969], где проанализировано актуальное значение польских агентивных существительных с привлечением английских, русских и испанских примеров.

Особо следует отметить «анафорически» употребления актуальных агентивных имен, отсылающие к упомянутому в предшествующем тексте действию, которое происходило одновременно с каким-либо другим действием: *Всадник спрыгнул с лошади и подошел к дому* (пример из работы З. М. Шалапиной [1976] — очевидно, что в предшествующем тексте описывалось, как референт выделенной ИГ ехал на лошади); *В лесу мы увидели человека, который шел на лыжах. На следующий день мы встретили этого лыжника в столовой.* Для таких употреблений точка отсчета, оправдывающая актуальную номинацию, задается в предшествующем тексте, и в этом смысле эти употребления оказываются контекстно-связанными.

От обычных актуальных имен отличаются «двупредикатные» актуальные имена, в значение которых инкорпорировано указание сразу на два одновременно происходящих действия: одно из них служит базой для номинации, другое заполняет сильную семантическую валентность такого имени: *участник* (чего?); *партнер* (в чем?); *свидетель* (чего?) и т. д. *Свидетель катастрофы* — это человек, который видел катастрофу в тот момент, когда она произошла. Для «двупредикатных» имен значение одновременности определяется заполнением сильной семантической валентности. Совпадение времени действия, инкорпорированного в имени, с временем, обозначенным глаголом-сказуемым или с моментом речи, не требуется. Такие «двупредикатные» имена могут обозначать лицо по действию, совершенному в прошлом (*участники Второй мировой войны*), но при этом не содержат значения результативности.

К двупредикатным актуальным именам относятся и такие имена, как *собеседник X-а* (т. е. 'человек, ведущий беседу с X-ом'), *сосед X-а* (в значении 'человек, сидящий рядом')⁷ и т. п. Но для них заполнение семантической валентности не задает однозначно временной точки отсчета. В соответствии со сказанным объясняются ограничения на употребления дескрипций, проиллюстрированные О. Н. Селиверстовой на примере ИГ (*моя*) *собеседница*. О. Н. Селиверстова [1988: 33—34] отмечает, что, поскольку такие выражения дают аспектвизированное представление референта, они могут использоваться только в одном из трех случаев: если содержание высказывания свя-

⁷ Многие из таких имен могут иметь и другие значения, кроме актуальных, напр. *собеседник* может употребляться абсолютивно, в значении свойства (*Он приятный собеседник*), *сосед* имеет значение 'человек, живущий рядом' и т. д.

зано с выбранной дескрипцией, если говорится о малознакомом человеке, так что данная дескрипция представляет собою единственный способ идентификации референта, и если слово употребляется как «кодовое» (т. е. «цитатное») обозначение: *Моя собеседница замолчала (кивнула головой в знак согласия и т. д.); На следующий день я опять встретил мою милую собеседницу; Вчера звонила «собеседница».* Помимо «аспективизированности» здесь играет роль и актуальность имени. Можно сказать, что в первом случае одновременность обеспечивается наличием точки отсчета, заданной сказуемым, а в двух других имеет место «анафора».

Помимо актуальных имен деятеля к актуальным именам относятся также названия лиц по бросающемуся в глаза внешнему признаку⁸. Положенный в основу номинации признак должен быть присущ лицу в момент, о котором идет речь: *бородач* — это человек, у которого именно в данный момент есть борода, *обладатель губчатой шишки* в повести Чехова — человек, у которого именно в описываемый момент было красное лицо... с губчатой шишкой под правым глазом. Использование в тексте таких слов обычно бывает показателем «точки зрения», указывает на наблюдателя, воспринимающего в данный момент соответствующий внешний признак обозначаемого лица. Однако соответствующий внешний признак может быть присущ обозначаемому лицу значительно более постоянно, нежели активный признак, и потому названия лиц по внешнему признаку (особенно такие, как *горбун, карлик* и т. п.) часто используются как постоянные обозначения «прозвища», и тогда они, конечно, не связаны с конкретной точкой отсчета. Конвенционализуясь, они превращаются в собственные имена лица. Так, если *девочка в красной шапочке* — актуальное обозначение лица, то метонимическое обозначение девочки, постоянно одетой таким образом, — *Красная Шапочка* — представляет собою собственное имя (ср. происхождение целого ряда собственных имен *Барбаросса, Клавдия* и т. п.).

Специально отметим, что в качестве актуальных имен могут использоваться лишь «объективные» обозначения лица по внешнему признаку. Такие слова, как *красавец, урод*, предполагающие субъективную оценку внешности, относятся к разряду качественных имен (см. ниже).

⁸ На близость таких слов актуальным именам деятеля обратил внимание И. Б. Шатуновский [1982: 42—43]; ср. также замечания, сделанные мимоходом А. Вежбицкой [Wierzbicka 1969: 475] о сочетаниях типа *девушка в белом*.

Основной принцип, связанный с референциальными особенностями актуальных имен, — это их полная неспособность к предикатному употреблению и к использованию в интродуктивных экзистенциальных предложениях. Оба указанных ограничения семантически мотивированы и связаны с тем, что в указанных функциях имя не может выражать значения одновременности, поскольку в соответствующих конструкциях отсутствует указание на локализованное во времени явление.

Из несовместимости актуального значения и предикатного статуса вытекает, в частности, что «только актуальные» имена (*роженица, преследователь, всадник* и т. п.) в позиции предиката не употребляются (аномально **Маша сейчас роженица, *Иван — всадник*), а существительные, способные иметь и другие «видовременные» значения, помимо актуальных, в позиции предиката интерпретируются именно в этих других значениях. Так, высказывание *Мой брат — лыжник* может пониматься как указание на увлечение или спортивную специализацию брата, но не на то, что он идет на лыжах в данный момент. Разумеется, не является предикатным использование актуального имени в роли одного из главных членов высказывания идентификации: ср. (*Этим всадником оказался Андрей*).

Не являются контрпримерами такие высказывания, как *Я только зритель в этом магазине (Лермонтов); Я не проводник, я, как и вы, пассажир*. В них слова *зритель, пассажир* указывают на роль лица в некоторой заданной ситуации и потому обозначают лицо не по актуальному действию, а по функции.

Правило о несовместимости актуального значения с предикатным статусом не касается «двупредикатных» имен, поскольку для них указание на локализованное во времени действие выражается путем эксплицитного или контекстного заполнения соответствующей валентности: напр., *Он был моим соседом за столом (моим оппонентом в дискуссии)*; ср. также многочисленные случаи предикатного употребления «двупредикатного» *свидетель*, напр., у Пушкина: *Он был свидетель умиленный Ее младенческих забав; Весь город был свидетель злодеянья; Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; Описывая не мудрствуя лукаво Все то, чему свидетель в жизни будешь; Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом; Он был свидетелем несчастному походу в Молдавию* и др.

Из невозможности использования актуальных имен в интродуктивных экзистенциальных предложениях (типа **Жил один всадник*) вытекает и невозможность их употребления в составе

ИГ, возникшей в результате компрессии. Нельзя сказать: **Один всадник был очень рассеянным*. Действительно, компрессия представляет собою как бы объединение двух предложений, первое из которых является интродуктивным экзистенциальным, и потому оно аномально с актуальными именами: **Был один всадник. Он был очень рассеянным*.

И в целом использование актуальных имен со значением неопределенности является весьма ограниченным. Оно возможно лишь в предложениях, описывающих «появление на сцене» (термин П. Адамца [1966: 51—52]) или местонахождение в определенный момент времени, т.е. в предложениях, задающих временную точку отсчета: *Далеко в море мы увидели пловца; Мы подняли голову: на горе виднелся какой-то лыжник*.

Названия по актуальному внешнему признаку обладают сходными свойствами. Подобно актуальным агентивным существительным, они не могут использоваться в позиции предиката: **Она была женщина в белом платье; *Он был мужчина в военной форме; ?Иван был бородач*. Отметим, что вполне приемлемы, с одной стороны, высказывания типа *Она была в белом платье; Он был в военной форме*, где предикатные выражения в белом платье, в военной форме представляют собою локализованные во времени предикаты, близкие предикатам состояния⁹, а с другой стороны, высказывания типа *Она была красавицей; Он был мужчиной высоким*, где именная часть сказуемого указывает на постоянный признак лица и потому не является актуальным именем.

Не противоречит сказанному употребление слова *бородач* в конструкции *это не бородач* в следующем диалоге: *Антония в доме, сударь, и уже принимает эту принцессу, не знаю как ее зовут, и этого бородача. — Тсс... это не бородач, как вы выражаетесь, а высокопоставленный, хотя и глубоко несчастный дядюшка этой принцессы* (М. Булгаков). Здесь слово *бородач* не является предикатом (при предикации следовало бы употребить местоимение *он*, а не *это*); высказывание не отрицает наличие бороды у лица, о котором идет речь, а лишь указывает на неуместность номинации.

Однако, поскольку, как отмечалось выше, иногда актуальные внешние признаки воспринимаются как постоянные характеристики, некоторые обозначения, вообще говоря, называющие лицо именно по актуальному признаку, употребляются

⁹ Недаром Л. В. Щерба [1928: 18] включил в состав «категории состояния» предикатное выражение *в сюртуке*.

так же, как обозначения по постоянному признаку типа *высокий мужчина*. Ср., напр., предикатное употребление слова *бородач* (да еще с качественным определением *высокий*) в следующем примере, заимствованном из [МАС1]: *Ефим — мужик, кучер барский, высокий бородач, смуглый, румяный* (Добролюбов). Здесь *бородач* уже не является актуальным именем и значит не 'мужчина, у которого в момент наблюдения есть борода', а, скорее, просто 'бородатый мужчина'.

г) Референциальный потенциал качественных существительных

К а ч е с т в е н н ы е имена характеризуют объект (лицо) по признаку, который, по мнению говорящего, свойствен данному объекту (лицу). Признак, положенный в основу такого наименования, не обладает временной локализованностью, хотя его конкретные проявления могут быть локализованы во времени: *болтун* — это 'человек, который много болтает', *крикун* — 'человек, который много кричит', *гуляка* — 'человек, который любит погулять'. Разумеется, временная нелокализованность не предполагает, что склонность к соответствующим действиям является незыблемой и неизменной. Человек может быть в молодости *волокитею*, а затем остепениться, быть *дураком*, а затем помнеть и т.п.: ср. *Уж я не тот любовник страстный* (Пушкин); поэтому иногда специально подчеркивают, что названное лицо сохранило рассматриваемое свойство (ср. *По-прежнему остряк небогомольный, По-прежнему философ и шалун* [Пушкин]). Но это не меняет того факта, что свойство, определяющее употребление существительного с качественным значением, представлено как не ограниченное определенным периодом времени, или, что то же, как имеющее диффузные временные границы. В частности, поэтому они не сочетаются с темпоральными локализаторами, предполагающими конкретную временную соотношенность: можно сказать *Он весь день болтает без умолку*, но нельзя; **Он весь день болтун*. Ср. замечание Т. В. Булыгиной [1982: 23], что в словах Федьки Каторжного у Достоевского: *А я может по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его* — «несмотря на полемический характер реплики, т.е. на контекстуальную заданность, оправдывающую соответствующий способ выражения, последний все же воспринимается как несколько необычный». Обратим внимание на то, что представление о нелокализованности во времени признака 'глупость' связано именно с использованием качественного имени *дурак*;

ср. вполне правильное *Я по вторникам и по средам веду себя глупо, а в четверг веду себя умнее.*

Поскольку при употреблении качественного имени степень склонности обозначаемого объекта к проявлению соответствующего признака оценивает не кто иной, как говорящий, качественные имена всегда включают элемент субъективной оценки. Субъективная оценка в меньшей степени заметна у «имен свойства» (*мечтатель, болтун*) и выходит на первый план в семантике так называемых «оценочных» существительных (*дурак, подлец, негодяй*). В то же время соответствующая оценка должна быть на чем-то основана. Нельзя назвать *болтуном* человека, который все время молчит, *остряком* — человека, который никогда не острит, *дураком* — человека, глупость которого никак не проявляется, *трусом* — смелого человека (как заметила М. Цветаева, «на храбреца трусости не наврешь»). Парадоксальным является замысел героя повести Д. Хармса «Старуха», задумавшего написать рассказ о чудотворце, который не творит чудес: *Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает (...) и в конце концов умирает, не сделав за всю жизнь ни одного чуда* (пример из работы [Шмелева 1983]). Употребление имени *чудотворец* в качественном значении является здесь нарочито «неправильным», «условным»¹⁰.

Итак, качественное имя обобщает наблюдения над реальными признаками объекта. Иными словами, обобщающий характер качественных имен связан с открытым множеством событий, участием в которых обозначаемый объект проявляет соответствующий признак. Можно сказать, что качественные имена представляют собою «сгущенные индукции» (в смысле А. Вежбицкой [1982]). В этом смысле они сходны с ИГ, включающими оценочное определение. Высказывание *Иван хороший человек* означает, что, по мнению говорящего, Иван всегда или обычно поступает хорошо, и в этом смысле ИГ *хороший человек* и может рассматриваться как «сгущенная индукция». Особенность качественных имен, таким образом, состоит в том, что их функционирование в качестве «сгущенных индукций» определяется их лексическим значением и не зависит от наличия оценочных определений.

¹⁰ Такая «условность» вообще характерна для творчества Д. Хармса — ср. пример из одного из его рассказов: *Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.*

Иногда мотивом для оценочного суждения и тем самым использования качественного имени может оказаться и единичный поступок: можно назвать человека *подлецом* на основании совершения им одного подлого поступка, *дураком* — если он сделал всего одну глупость, *лжецом* — если он единожды солгал. Некоторые качественные имена вообще преимущественно или исключительно оценивают людей на основании единичных поступков (ср., напр., *молодец*). Но и тогда качественные имена отличаются от таких результативных имен, как *убийца* (\approx 'тот, кто совершил убийство'). Называя лицо на основании единичного поступка качественным именем, мы исходим из существования реальной связи между свойством лица и его актуализацией в поступке, тогда как для результативных имен связь тривиальная, на уровне наименования. В силу этого возможны высказывания *Он сделал это, потому что подлец; На основании этого подлого поступка я считаю его подлецом*, но странно звучали бы высказывания *Он убил, потому что убийца; На основании этого убийства я считаю его убийцей*. Специфика качественных имен проявляется и в использовании особых конструкций, подчеркивающих единичность проявления данного качества: *Дурак, что согласился; Молодец, что пришел; Он поступил как подлец*, — но невозможно: **Он поступил как убийца; *Убийца, что зарезал человека*.

В связи с указанными свойствами качественных имен возможности их референтного, идентификационного употребления сильно ограничены. По «природе» они относятся к предикатным словам [Арутюнова 1976] и чаще всего используются как предикаты: *Такой же как я, как ты, ужасный либерал* (Грибоедов); *Он опаснейший чудак* (Пушкин); *Я — изрок* (Лермонтов); *Он хитрец, хвастун и болтун* (Шварц).

Предикатный характер качественных имен проявляется и в тех случаях, когда они используются не в позиции сказуемого. Так, при общеродовом употреблении качественных имен высказывание чаще всего выражает причинную или иную связь между предикатами: *Болтун — находка для шпиона; Не подам руки грязнулям* (Ю. Тувим, перевод С. Михалкова); *Не выйдет из жадины друга хорошего* (Я. Аким) и т. п.

В случае употребления с референцией к конкретному лицу качественное имя обыкновенно выражает дополнительную предикацию: *Она вышла замуж за негодя* (\approx 'Человек, за которого она вышла, — негодяй'); ср. *Поглядите, что делается у нас! Могенник, наглый делега без сердца и разума захватил всю власть в*

королевстве [Шварц] (≈ '...некто захватил власть в королевстве; он мошенник и наглый деяга...').

Идентификация при употреблении качественных имен достигается без обращения к семантическому содержанию имени обычно посредством индексальных средств (напр., личного указательного или неопределенного местоимения): *Этот дурачок раззадорил меня* (Шварц). При этом, если роль дополнительной предикации, выражаемой качественным именем, сводится к дополнительному, сделанному мимоходом замечанию (как бы в скобках), качественное имя находится в постпозиции по отношению к референциальному показателю: *Мне стало жалко ее, бедняжку* (Л. Толстой); *Какие-то злодеи украли у меня в поезде чемодан...* (М. Булгаков) ≈ *Какие-то люди (злодеи!)...*; *Этот дурачок раззадорил меня* ≈ *Он (вот дурачок!)...* и т.д. Ср. также без эксплицитного референциального показателя (или, быть может, с нулевым индексальным показателем¹¹): *В его показании одна психология... а вы-то в самую точку попали, потому что пьет мерзавец горькую* (Достоевский) ≈ *...потому что он пьет (мерзавец!) горькую*; *Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски* (Чехов) ≈ *Живет, она, дурища, в России десять лет...* и т.д. Если же дополнительная предикация более существенна для смысла высказывания и, взаимодействуя с основной предикацией выражает причинное или иное отношение, то качественное имя оказывается ударным и находится в препозиции к референциальному показателю (выраженному личным местоимением или нулевому): *Вечный бродяга, он нигде не останавливался надолго* (пример из «Русской грамматики» [1980]); ср. также примеры, рассмотренные в главе 1: *Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами* ≈ *Глупец, он хотел уверить нас...*; *Вольнодумец — начал ходить в церковь и заказывать молебны...* ≈ *Вольнодумец, он начал ходить в церковь...* (акцентное выделение качественного имени является формальным знаком препозиции, в случае когда индексальный показатель нулевой).

Исключением из общего правила о предикатном характере качественных имен и невозможности их использования для идентификации является лишь «цитатное» употребление (ср. [Вежбицкая 1982]). Ср. «Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!» Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал (Тургенев) (здесь философ указывает не на род занятий, а на склонность к философствованию, т. е. является качественным именем).

¹¹ См. главу 1.

Таким образом, эксплицитный референциальный показатель при конкретно-референтном использовании качественного имени может отсутствовать в одном из трех случаев: при «цитатном» употреблении, при нулевом индексальном показателе и в случаях, когда качественное имя характеризуется неопределенностью и входит в рему. Но, хотя тем самым высказываемое иногда представление, согласно которому качественные существительные могут использоваться для конкретной референции лишь при наличии эксплицитных референциальных показателей (см., напр., [Арутюнова 1976: 349]), нуждается в уточнении, отнесение качественных имен к предикатной лексике является совершенно оправданным: даже при конкретно-референтном употреблении использование качественных имен (за исключением «цитации») служит для предикации, а не идентификации.

Еще в большей степени ограничен референциальный потенциал у слов типа *молодец*, используемых для выражения субъективной оценки на основании единичного поступка. Слово *молодец* не способно к выражению дополнительной предикации при общеродовом употреблении или при референции (определенной или неопределенной) к конкретному лицу. За этим именем при отсутствии «цитации» полностью закреплен предикатный статус.

д) Референциальные особенности функциональных имен

Функциональные имена, как и качественные, являются обобщенным обозначением лица по не локализованным во времени признакам (для функциональных имен в роли таких признаков выступают действия, которые обозначаемое лицо обязано производить). Основные особенности функциональных имен, отличающие их от качественных: 1) они не зависят от субъективной оценки говорящего; 2) они обобщают разнородную деятельность, не зависящую от свойств обозначаемого лица; 3) реальное выполнение функции обозначаемым лицом не является необходимым условием использования функционального имени.

Разные говорящие могут не сойтись во мнениях относительно применимости к тому или иному лицу таких слов, как *болтун*, *остряк*, *глупец*, но в отношении обозначений лица по функции (напр., *сварщик*, *токарь*, *директор*) таких расхождений быть не может. В этом и состоит независимость функциональных имен от субъективной оценки.

Другое отличие от качественных имен заключается в том, что обозначение лица по функции не обязательно предполагает реальное проявление признака, легшего в основу наименования, т.е. реальное выполнение этим лицом действий, входящих в его функции. Царь Дадон у Пушкина не перестал быть *царем*, когда стал царствовать «лежа на боку», футбольный защитник, посылающий мяч в свои ворота, остается *защитником*, хотя явно не справился с задачей защиты ворот. Напротив того, само по себе совершение соответствующих действий не является достаточным основанием применения к лицу функционального имени. Истинность высказывания *Ввиду болезни секретаря всю деловую переписку вел Иванов* не влечет истинности высказывания *Иванов был секретарем*, поскольку *секретарь* — это не просто 'работник, ведущий деловую переписку', а, скорее, 'работник, в чьи функции входит ведение деловой переписки'.

С разнородностью деятельности, лежащей в основе наименования лица посредством функциональных имен, связано и то, что схема их толкования оказывается совсем иной, нежели схема толкования качественных имен. Качественные имена обобщают некоторое множество однородных или одинаково оцениваемых событий. Поэтому для них адекватными оказываются толкования, которые строятся по относительно простой схеме. Это легко продемонстрировать на примере отлагательных и отадективных имен, толкования которых включают производящие глаголы и прилагательные: *болтун* ≈ 'человек, который много болтает'; *глупец* ≈ 'глупый человек' и т.п. В то же время, поскольку выполнение той или иной функции может потребовать весьма разнородных действий, схема толкования функциональных имен оказывается значительно более сложной. Так, для отлагательных функциональных имен ссылка на производящий глагол часто оказывается недостаточной [Шмелева 1983]. Напр., в «Учебнике колхозника-животновода» специально подчеркивалось, что обязанность *пастуха* не только пасти скот, но и вести уход за лугом: подстригать несъедобную траву в загонах, разбивать кучки навоза, уничтожать мелкую древесную растительность и т.д. Футбольные обозреватели постоянно настаивают на том, что задачи *защитников* не ограничиваются обороной своих ворот, а важно также умело подыгрывать нападающим своей команды. В разного рода «памятках» *читателям* публичных библиотек среди обязанностей читателя¹² вообще не указывается такая обязанность, как *читать*, — зато указаны многочисленные обязанности, сводящиеся

¹² Слово *читатель* имеет в таком употреблении значение функции именно потому, что обозначает любого пользователя библиотек.

к выполнению разнообразных правил пользования библиотекой. Разумеется, все приведенные примеры лишь косвенным образом связаны с проблемой словарного толкования соответствующих слов. Но разнородность функций, обобщаемых функциональным именем, находит отражение и в реальных словарных толкованиях. Так в [БАС] *доярка* толкуется как «работница, в обязанности которой входит доение коров, кормление и уход за ними». В некоторых случаях ссыла на производящий глагол могла бы быть достаточна, но только потому, что этот глагол сам по себе обобщает разнородные действия. Так, хотя можно было бы сказать, что функция *редактора* — редактировать, а функция *руководителя* — руководить, но сами глаголы *редактировать* и *руководить* предполагают разнородную и с трудом поддающуюся определению деятельность, в связи с чем представления о функциях редактора или руководителя могут быть весьма различны в разных учреждениях и у разных лиц (при этом сами обозначения *редактор* и *руководитель* представляют собою совершенно объективные характеристики).

В особенности все сказанное характерно для названий лиц по должности. Трудности, связанные с разнородностью функций, ассоциируемых с некоторыми из должностей, приводят к тому, что толкования соответствующих функциональных имен могут оказаться «круговыми» (напр., *проректор* — ‘лицо, занимающее должность проректора’) или, во всяком случае, не давать исчерпывающего представления о наборе функций, соответствующих данной должности (напр., *ассистент* — ‘лицо, занимающее низшую преподавательскую должность в высшем учебном заведении’; *доцент* — 1) ‘преподавательская должность в высшем учебном заведении (ниже профессора и выше доцента)’; 2) ‘лицо занимающее эту должность’).

В этом отношении названия лиц по должности оказываются близки названиям титулов, рангов, чинов, званий. Отличие, однако, состоит в том, что лицо, занимающее некоторую должность, бывает обязано выполнять (хотя не обязательно выполняет) соответствующие функции, тогда как наличие титула или звания, вообще говоря, не требует выполнения каких-

независимо от того, читает он книги или только работает в библиотеке; оно тем самым указывает на определенную роль в некоторой заданной ситуации. Ср. обращение, используемое работниками библиотек: *товарищ читатель*.

либо обязанностей¹³. Указанное различие особенно заметно, когда одно и то же существительное может обозначать лицо и по званию, и по должности (как, напр., *профессор* и *доцент*).

Референциальные свойства функциональных имен также значительно отличаются от свойств качественных имен. Функциональные имена хорошо приспособлены для конкретной референции, часто выступают в роли «прямых имен» (см. 1.1г), одновременно указывая на функцию лица в рассматриваемой ситуации. Так, если мы описываем посещение человеком магазина, естественно употреблять слова *покупатель* и *продавец* (*продащица*), при описании урока — *учитель*, *ученик*, при описании футбольного матча — *судья*, *вратарь*, *защитник*, *нападающий*, при описании судебного процесса — *судья*, *прокурор*, *защитник*, при описании конторы, в которую пришел Раскольников по повестке, — *писец*, *письмоводитель*, *квартирный надзиратель* и т. п. Функциональные существительные могут использоваться в качестве «прямых имен», даже если говорящему известны собственные имена обозначаемых лиц. Эта особенность функциональных имен позволяет использовать их при презумптивной референции: напр., *Преподаватель впрямую посмотрел на Иванова. Студент заволновался.*

Именно частое использование функциональных имен при презумптивной референции приводит к выводу, что эти имена используются в составе анафорических групп, как правило, без указательного местоимения [Головачева 1979: 188]. Отметим, что необходимым условием такого употребления является способность имени однозначно идентифицировать референт. Как уже отмечалось, это условие не выполняется при нарушении пространственно-временного единства повествования (смене релевантного денотативного пространства), и тогда указательное местоимение является обязательным: *Преподаватель посмотрел на Иванова. Он очень любил этого студента; Иванов раздражает меня постоянными прогулами. Я не могу допустить этого студента к зачету.*

Различие референциальных свойств функциональных и качественных имен легко видеть, сопоставив два предложения из одного и того же отрывка из «Преступления и наказания» (рассказ Свидригайлова): 1) *Она мастерица гадать была;*

¹³ В связи с этим для названий титулов и званий обычно приходится использовать толкования по приведенной выше схеме: *барон* (*виконт*, *граф*, *князь*) — '1) дворянский титул; 2) лицо, носящее этот титул'; *генерал* (*полковник*, *майор*, *капитан*) — '1) воинское звание; 2) лицо, носящее это звание' (см. [Белоусова 1981: 72]).

2) *Аниська* — это мастерица у нас в деревне, из прежних крепостных. В обоих предложениях слово *мастерица* используется в роли именной части сказуемого; однако в первом предложении качественное значение ('искусная, ловкая в каком-л. деле женщина') обуславливает нереферентный (предикатный) характер имени, тогда как во втором слово *мастерица* имеет функциональное значение, указывает на род занятий ('квалифицированная работница, занимающаяся каким-л. делом') и употреблено референтно (для представления лица, незнакомого адресату речи, т.е. для идентификации с точностью до социального статуса). Различие в значении существительного подчеркнуто использованием слов *она* и *это*, являющихся признаками высказываний с предикацией и идентификацией соответственно [Падучева 1981]¹⁴.

В целом референциальные возможности функциональных имен широки. Среди их референциальных особенностей можно отметить склонность к абстрактной референции. В таких высказываниях, как *Тебе надо сходить к стоматологу; ...Затем деталь поступает на обработку к токарю; Юрист посоветовал мне...*, качественная разнородность множеств, обозначенных выделенными именами, отступает на задний план и индивидуализация соответствующего лица воспринимается как неуместная. Поэтому использование референциальных показателей является нежелательным или приводит к семантическому сдвигу. Существенно, что в приведенных примерах речь идет именно о выполнении лицами прямых профессиональных обязанностей — в противном случае имела бы место конкретная референция (ср. *Один знакомый социолог рассказал мне, как он ездил отдыхать на море*).

Среди функциональных имен особыми свойствами характеризуются названия «уникальных функций», точнее — обозначения лица по функции, уникальной в некоторой ситуации (в некотором денотативном пространстве). Если соответствующая функция уникальна в той или иной ситуации (вратарь в составе вышедшей в поле футбольной команды, преподаватель во время занятий), то при описании данной ситуации функциональное имя имеет определенную референцию. Такие функциональные имена часто входят в состав атрибутивных определенных дескрипций (ср. *Позовите заведующего*).

¹⁴ Разумеется, названия лиц по функции, находясь в позиции именной части сказуемого, могут иметь и предикатный статус: напр., *Его отец — инженер*.

«Уникальность» функции обычно не абсолютна. Так, слово *учитель* обозначает функцию, уникальную в ситуации урока, но не уникальную при описании разговора в учительской. Встает вопрос о том, в каких случаях информация об уникальной функции в том или ином денотативном пространстве должна включаться в словарную статью функционального имени. Для ответа на этот вопрос можно использовать понятие фрейма, утвердившееся в работах по машинным методам обработки информации. Фрейм можно рассматривать как стереотипное денотативное пространство. С каждым фреймом связан определенный набор лексических единиц (напр., с фреймом «покупка в магазине» связаны такие слова, как *покупать*, *платить*, *деньги*, *покупка*, *покупатель*, *продавец*, *кассир* и т.п.). Поскольку «содержание той или иной лексической единицы фрейма нельзя понять, не зная структуры фрейма в целом» [Филлмор 1983], в словарную статью целесообразно включить сведения о фреймах, с которыми данное слово связано. Отсюда вытекает, что, если функция уникальна в некотором фрейме, с которым связано соответствующее функциональное существительное, то в этом случае уникальность функции помечается в словарной статье. В частности, определенной референцией в большинстве употреблений характеризуются названия функции, уникальные во фрейме, который заполняет сильную семантическую валентность данного слова: ср. *директор* (фрейм — «предприятие или учреждение, взятое в отдельном временном срезе»). В частности, определенность имеет место и при конситуативном заполнении соответствующей валентности.

Разумеется, в случае, когда денотативное пространство, заполняющее соответствующую валентность, оказывается переменным, мы имеем дело с дистрибутивной определенностью: ср. *Все аспиранты должны знать работы своего руководителя*.

При абсолютном употреблении такого имени возможны и иные типы референции, ср.: *гроза царей* (Пушкин); *Все могут короли* (общеродовая референция); *Жил-был царь* (неопределенная референция). Сходный эффект имеет место при совмещении разных временных срезов, ср.: *Вам [денотативное, пространство, взятое в нефиксированный момент времени] дан был Царь [неопределенность]? — так тот был слишком тих (...) другой был дан — так этот очень лих* (Крылов).

Иначе объясняется ингерентная определенность таких слов, как *математичка*, *физичка* и т.п. (неопределенную и общеродовую референцию эти слова могут иметь лишь в очень специальных условиях). Здесь существенна маркированность этих

слов в отношении пола, предполагающая, что речь идет об определенном, известном участникам коммуникации лице; ср. слова типа *машинистка*, немаркированные в отношении пола (хотя нормально также обозначающие лиц женского пола) и поэтому способные к неопределенной референции. Ясно, что маркированность по признаку пола должна получить отражение в словарной статье. Ингерентной прагматической определенностью обладают и такие используемые учениками обозначения, как *ботаника* (об учительнице ботаники) — ср.: *Пляшут, как на празднике, Юные проказники И кричат: «Удачный день! У ботаники мигрень!»* (А. Барто).

С обозначениями лиц по функции во многих отношениях сходны названия инструментов. Они также называют объект по действиям, для выполнения которых этот объект предназначен, независимо от того, производятся ли реально эти действия. И, наоборот, одно лишь использование предмета для выполнения действий еще не делает его инструментом, предназначенным для выполнения этих действий. Из истинности высказывания *Мы забивали гвозди гирею* не следует истинность высказывания *Гиря была молотком* (хотя в этом случае истинно *Гиря служила нам молотком*).

Часто инструмент бывает приспособлен для совершения разнородных действий. Это хорошо известно специалистам по словообразованию, отмечающим, что знание производящего глагола для отглагольного названия инструмента обычно не позволяет исчерпывающе характеризовать его функции. При помощи *выключателя* мы не только *выключаем*, но и *включаем*, при помощи *отвертки* не только *отворачиваем*, но и *приворачиваем*, *завинчиваем*. Но, конечно, разнородность действий, для выполнения которых предназначен инструмент, бывает характерна не только для отглагольных названий инструментов (как исчерпывающе описать функцию таких инструментов, как, скажем, *плоскогубцы*?).

Сходство названий инструментов с функциональными именами касается и их референциального потенциала. Как и функциональные имена, названия инструментов могут приобретать самые разные типы референции, при этом можно отметить, что они, подобно функциональным именам, имеют склонность к абстрактной референции (ср. *Инки пользовались колесом*). В то же время использование в качестве «прямых имен» для них еще более характерно, нежели для функциональных личных существительных. И это не случайно. Если для лиц наличие той или иной функции является лишь одной из многих харак-

теристик, то для инструментов, как артефактов, оно составляет *raison d'être*. Названия лиц по функции представляют собою нежесткие десигнаторы, их применимость к тому или иному лицу зависит от того, возложены ли на данное лицо соответствующие обязанности. Названия инструментов — это жесткие десигнаторы, само существование объекта обусловлено наличием у него соответствующей функции — для этой функции объект и создавался. Поэтому, если, скажем, *вратарь* может быть прямым именем лица лишь при описании футбольной команды, то *молоток* — прямое имя соответствующего объекта во всех ситуациях.

е) Реляционные имена

Реляционные имена обозначают то или иное отношение и первый член отношения. Второму члену отношения соответствует сильная семантическая валентность реляционного имени. С точки зрения способов заполнения этой валентности различаются три типа реляционных имен. Слова первой группы (*друг, брат, отец, сосед* и др.) допускают как эксплицитное заполнение валентности (*Петин брат, брат Пети*), так и конситуативное заполнение (*Приехал брат* — ‘брат лица, о котором идет речь’). Ко второму классу относятся реляционные имена, для которых возможность конситуативного заполнения валентности при «нецитатном» употреблении весьма ограничена (напр., *враг, любимец, однофамилец*): ср. *Вчера заходил брат; В толпе он заметил однокурсника; Сосед стоял на лестнице и курил*, но сомнительно ¹*Вчера заходил враг*; ²*В толпе он заметил любимца*; ²*Однофамилец стоял на лестнице и курил* (наблюдение М. В. Сандаковой [1990]). К третьему типу относятся такие имена, как *чужеземец, иностранец, незнакомец*. Эти слова являются реляционными именами и имеют сильную семантическую валентность, соответствующую второму члену отношения (‘по отношению к кому?’), но эта валентность может заполняться лишь конситуативно и никогда не получает эксплицитного заполнения (или, что то же, этой семантической валентности не соответствует никакая синтаксическая валентность). Нельзя сказать *мой иностранец, его незнакомец*, имея в виду ‘человек, принадлежащий другой стране, нежели я’, ‘человек, незнакомый ему’ (ср. *мой соотечественник, его знакомый*).

Следует отличать конситуативное заполнение валентности от абсолютного употребления имени, когда оно фактически перестает быть реляционным. Так, реляционное *вдова X-а* — это

‘женщина, которая была женою X-а, когда X был жив’, а абсолютное *вдова* — просто ‘женщина, у которой умер муж’. При абсолютном (или «несобственно-реляционном») употреблении релятива указание на второй член отношения не предполагается: ср. *стать матерью; молодая вдова* и т.п. (ср. консигуативное заполнение валентности слов *друг, иностранец*, когда контекст или ситуация должны давать ответ на вопрос: чей друг? по отношению к кому иностранец?).

Из реляционных имен особый интерес с точки зрения референциальных свойств представляют термины родства. Их референциальные возможности весьма ограничены. Подчеркнем, впрочем, что речь идет о терминах родства в собственном смысле слова, т.е. о реляционных значениях рассматриваемых слов (*мать X-а* — ‘женщина, которая родила X-а’). Когда эти же слова употребляются не в реляционном значении, т.е. абсолютно (напр., *многодетная мать, советы молодым матерям*, где *мать* — ‘женщина, имеющая детей’), подобные референциальные ограничения не имеют места.

Следует отметить, что в толковых словарях соответствующие значения выделяются непоследовательно. Если у слов *мать* и *отец* во многих словарях разграничиваются реляционное (‘женщина (мужчина) по отношению к своим детям’) и абсолютное (‘женщина (мужчина), имеющая(-ий) детей’) значения, отвечающие различным референциальным свойствам, то у слова *бабушка*, которое также может употребляться абсолютно (*Я уже бабушка*; ср. у Цветаевой: *Когда я буду бабушкой...*), соответствующее значение в словарях не отмечается. Тем самым создается ложное впечатление, что семантический и референциальный потенциал слова *бабушка* сходен с семантическим референциальным потенциалом слова *сын*, которое едва ли может иметь абсолютное значение (‘лицо мужского пола, имеющее родителей?’), если отвлечься от контрастивных употреблений в высказываниях типа *Не забудь, что ты не только муж, но и сын* (это высказывание имеет целью напоминание не столько о наличии родителей, сколько о сыновних обязанностях). Слова *вдова* и *вдовец* обычно получают в словарях однотипные толкования (соответственно, ‘женщина, у которой умер муж’ и ‘мужчина, у которого умерла жена’ — см., напр., [СО]), отражающие «абсолютное» значение. Однако, если для слова *вдовец* такое абсолютное значение является единственно возможным, то слово *вдова* имеет также реляционное значение. Однотипные толкования создают ложное впечатление

одинаковости семантического и референциального потенциала слов *вдовец* и *вдова*.

Референциальная особенность терминов родства состоит в том, что они не сочетаются эксплицитными референциальными показателями (местоимениями) и им не свойственны многие виды неопределенной референции. В частности, они не употребляются в интродуктивной функции. Высказывания типа *У него есть жена; У него есть мать; У нее есть дети; А у князя женка есть, Что не можно глаз отвесть* (Пушкин) представляют собою самоценные сообщения и не служат для интродукции¹⁵. В песне *У меня жена была, Она мне изменила...* (пример указан устно Е. В. Падучевой) интродуктивное употребление слова *жена* создает специальный эффект — *жена* перестает восприниматься как обозначение родственного отношения. В нормальных коммуникативных условиях высказывание *У него есть жена* означает скорее всего просто 'он женат', а *У него есть родители* — 'его родители живы'. Со смещением двух указанных интерпретаций экзистенциальных предложений, содержащих термины родства, связано недоразумение в повести С. Залыгина: следователь спрашивает Степана Чаузова: *Дети есть?* — и получает ответ: *Куда же им подеваться детям. Живы обои*.

Неспособность к интродуктивному употреблению характерна не только для случаев, когда родственное отношение предполагает уникальность референта — «по природе» (*отец, мать*) или в силу социальных конвенций (*муж, жена*), но и для терминов родства, допускающих более чем одноэлементный экстенционал. Нельзя осуществить неопределенную референцию с «артиклевым» *один*: **один Петин брат; *один мой сын*, — даже если у Пети несколько братьев, а у говорящего несколько сыновей. Для интродукции можно использовать элективные конструкции (*один из Петиных братьев; один из моих сыновей*), в которых ИГ *Петиных братьев, моих сыновей* относятся ко всему экстенционалу и характеризуются определенностью.

Несочетаемость с эксплицитными референтными показателями объясняет комический эффект формального следования

¹⁵ В этом, как отметила Н. Д. Арутюнова [1983б: 155—156], состоит их отличие от экзистенциальных предложений с реляционными существительными иных типов. Такие высказывания, как *Есть у меня один знакомый (приятель, друг, коллега, сотрудник, земляк, однокашник, сосед)*, сами по себе лишены коммуникативного интереса. Они служат только для интродукции и требуют продолжения. Возможность интродуктивных высказываний *Есть у меня один (дальний) родственник* показывает, что *родственник* не является термином родства.

принципам номинации объектов в связном тексте (при первом упоминании объекта используется показатель интродукции *один*, при повторной номинации — показатель определенности — указательное местоимение) в следующем шуточном стихотворении Н. Асеева:

Жил на свете паладин,
 Был у него отец один.
 И ровно в пол-одиннадцатого
 Убил паладин отца того.

Сочетания термина родства со словом *один*, впрочем, возможны — но лишь в случае, если *один* не является референциальным показателем, а используется, напр., для обозначения количества (*У Ивана один сын*) или для выражения противопоставления (*Один сын у Ивана умный, другой так себе*); ср. также: *...сидели сыны и зятья..., сидели дочки и снохи, у одной снохи на коленях находилась внучка* (Л. Лиходеев). То, что *один* в таких контекстах не имеет «артиклевого значения» подтверждают просодические особенности — ударность этого слова (ср. [Николаева 19796]).

Нарушение описанных референциальных ограничений свидетельствует, что имя выступает не как термин родства, т. е. не в реляционном значении. Чаще всего в таких случаях мы имеем дело с абсолютивным употреблением имени. Ср. неопределенную референцию в следующих примерах: *В детскую консультацию пришла молодая мать; На родительском собрании один папаша выступал целый час; Какая-то молодая симпатичная мамаша с двумя ребятишками попыталась прицениться к грибам* (последний пример из [МАС1]). Отметим также пример, где слово *отец* употреблено абсолютивно и означает просто 'мужчина, имеющий детей', а конверсное имя *сын* употреблено реляционно: *Я просто вам всем хочу рассказать... о том, как один отец в первый раз встретился со своим милым сыном* (Достоевский). Контаминацией указанных реляционного и абсолютивного значений слова *мать* можно объяснить стоящее на грани грамматической правильности: *На этот счет я знаю вот какой маленький случай: умерла одна мать у семерых детей* (Достоевский); ср. совершенно правильное *Умерла одна многодетная мать...* — с абсолютивным именем.

В следующем примере недоразумение связано со столкновением абсолютивного и реляционного значений слова *папа*:

«Меня папа прислал за почтой», — сказал Никита. (...) «Почему я должен знать, кто такой папа? — проговорил он крайне

недоброжелательно. — Тут каждый — папа, тут все папы... — почтмейстер даже плюнул на пол. — Фамилия. фамилия, спрашиваю, этому папе-то как?» (А. Н. Толстой).

Никита употребляет слово *папа* реляционно с референцией к своему отцу (подразумевается *мой папа*). Для почтмейстера такая дескрипция оказывается недостаточной для идентификации лица, о котором идет речь, и, чтобы подчеркнуть это, он употребляет слово *папа* абсолютивно, в значении 'мужчина, имеющий детей' (*Тут все папы*), что делает возможным сочетание этого слова с референциальным показателем *этот*.

Различие указанных значений частично нейтрализуется при генерализованном употреблении, когда объект родственного отношения характеризуется нераспределенной множественностью. Ср. следующие примеры: *Одни я в мире подглядел Святые искренние слезы — То слезы бедных матерей* (Некрасов); *Мужья бывают плохие и очень плохие; Их и по сегодня много ходит — всяческих охотников до наших жен* (Маяковский). Разумеется генерализованные употребления следует отличать от дистрибутивно-определенных употреблений реляционных имен: *Нужно почитать родителей*; *Что может быть на свет хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже* (Пушкин); *Нельзя мужику высказать слабость хотя бы и перед женой своей* (Залыгин).

ж) Прономинальные существительные

К прономинальным существительным можно отнести слова, обладающие настолько широким значением и настолько широкой приложимостью, что можно говорить о десемантизации слова, об отсутствии у него понятийного содержания. К ним можно отнести такие слова, как *штука*, *предмет*, *особа* и т. п. Основная функция прономинальных имен — устранение конструктивной неполноты путем заполнения синтаксической позиции.

Особенно многочисленны прономинальные имена в разговорной речи. Л. А. Капаназде [1973: 453] был отмечен постоянный захват полнозначных существительных в группу слов с «неопределенно-указательным значением», с указанием на непрерывное обновление этой группы в разговорной речи за счет индивидуальных употреблений, а также благодаря экспрессивным модификациям одного и того же слова: не только *штука*, но и *штучка*, *штукенция*, *штуковина* и т. п. В частности, в разговорной речи и особенно в просторечии полнозначные слова могут функционировать как прономинальные — ср.

прономинальные обозначения лиц при помощи таких существительных, как *субъект, товарищ, тип, друг, деятель* и т. п., напр.: *Прошлый раз по пути из Луги, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип входит* (Зоценко). Показателем прономинального употребления является необходимость эксплицитного референциального показателя. Так, Дрейзин и Пристли [Dreizin, Priestly 1982] обратили внимание на то, что русские нецензурные существительные с исходным значением частей тела иногда употребляются прономинально для обозначения лиц и при этом всегда сопровождаются местоимением. При отсутствии местоимения для них возможно только исходное значение.

Указанная закономерность связана с общим правилом использования прономинальных имен. Отсутствие у этих слов какого бы то ни было дескриптивного содержания приводит к тому, что сами по себе они недостаточны для установления референции и поэтому могут употребляться в речи лишь в сопровождении эксплицитных референциальных показателей. Так, аномальны высказывания **Мы увидели предмет; *Дай мне штуку*, но вполне приемлемы высказывания с индексальной референцией: *Мы увидели какой-то предмет; Дай мне вон ту штуку*. Другой тип употреблений прономинальных имен — в позиции предиката в сочетании с качественным прилагательным (*красивая штука*).

Исключением из правила о необходимости референциального показателя при прономинальном существительном являются лишь случаи «цитатного» употребления, напр.: *Она пришла на работу, а этот тип из провинции уже крутился в коридоре. «Здравствуйте, Нина Васильевна!» — радостно закричал тип... Тип схватил ее перчатку... Тип кинулся за нею... Тип отстал* (Л. Лиходеев).

8.2. Проблема словарного отражения референциальных характеристик

а) Инкорпорированный объект: типы референции

Особый тип референциальной информации должен быть включен в словарные статьи ряда сложных имен деятеля, в которых первая часть обозначает объект: *клятвопреступник, иконописец, рыботорговец* и т. п. Здесь может иметь место различная референция к объекту: *клятвопреступник* — это тот, кто нарушил

конкретную клятву, и (реже) тот, кто вообще склонен нарушать клятвы; *иконописец* — тот, кто вообще пишет иконы, или автор иконы, о которой идет речь. Однако для многих русских сложных имен деятеля тип референции инкорпорированного объекта является постоянной характеристикой (и, следовательно, должен быть отражен в словарном толковании). Если в словаре такие слова, как *рыботорговец* и *квартиросъемщик*, получают полностью однотипные толкования ('кто торгует рыбой' и 'кто снимает квартиру'), мы никак не отражаем того существенного семантического различия между ними, что в первом случае объекту ингерентно присущ общеродовой статус (речь идет о рыбе вообще), а во втором — речь может идти только о конкретном, единичном объекте (конкретной квартире). К именам деятеля с ингерентной общеродовой референцией первой части относятся такие слова, как *кораблестроитель* (кто вообще строит корабли, а не тот, кто построил конкретный корабль); *книголюб* (кто любит книги вообще, а не какую-то конкретную книгу); *китовой* (кто вообще охотится на китов, а не тот, кто убил конкретного кита); *женолюб* (кто любит женщин вообще, а не тот, кто любит свою жену); *сердцевед*, *лесоруб*, *человеколюбец*; к именам с конкретной референцией первой части — такие слова, как *отцеубийца* (кто убил своего отца); *грузоотправитель* (кто отправил данный груз, о котором идет речь, а не тот, кто вообще отправляет грузы), *злоумышленник* (кто замыслил и, возможно, совершил конкретное зло, обычно преступление, а не тот, кто вообще склонен замышлять злое); *телохранитель*, *чревоугодник* и т. д.¹⁶

Приведенные примеры можно интерпретировать с точки зрения референциальных свойств частей слова. Действительно, во всех рассмотренных случаях речь фактически идет о референциальном статусе морфемы, указывающей на объект действия. Но, признав возможность говорить о референциальных характеристиках отдельных морфем, мы получаем возможность описывать семантику производных слов, учитывая ограничения на референциальный статус составляющих его морфем или морфемных блоков.

Рассмотрим в этой связи уже упоминавшийся в этой главе вопрос о классификации отглагольных имен деятеля, о вариан-

¹⁶ Приведенные пояснения значений сложных имен деятеля, разумеется, далеки от того, чтобы быть точными словарными толкованиями; скорее, это комментарии, подчеркивающие референциальные свойства первых компонентов этих существительных.

тах их словообразовательного значения. Можно заметить, что в отношении имен свойства можно говорить о генерализованном типе референции производящей основы, актуальные имена характеризуются индивидуальной референцией к соответствующему действию, что касается функциональных имен, для них можно было бы говорить об абстрактной референции производящей основы. Референт производящей основы названий каузаторов можно характеризовать как «факт», как и в случае фактов, обозначаемых посредством самостоятельных слов, словосочетаний или несамостоятельных предложений, он обуславливается единичным действием, тень которого навсегда остается связанной с производителем этого действия. Поскольку референция к фактам всегда определенная, можно говорить, что в значение названий каузаторов инкорпорирована определенность при референции к соответствующему действию. Субстантивированные причастия типа *вошедший* предполагают прагматически определенную референцию к инкорпорированным действиям.

При таком подходе можно сформулировать некоторые правила референциального согласования между морфемами в составе одного слова. Эти правила во многих отношениях сходны с правилами согласования предиката с синтаксически связанными с ним ИГ по признаку «временная локализация», рассмотренными в главе 2. Общеродовая референция инкорпорированного объекта возможна лишь в случае, когда инкорпорированный предикат характеризуется временной нелокализированностью, т. е. в качественных и функциональных именах деятеля. С другой стороны, индивидуальная референция для инкорпорированного объекта в принципе возможна при инкорпорированных предикатах различных типов (ср. результативное *отцеубийца*, качественное *чревоугодник*, функциональное *телохранитель*). Указанные правила существенным образом ограничивают возможности интерпретации морфем в составе сложного имени деятеля, хотя не всегда дают исчерпывающее объяснение выбора той или иной интерпретации. Так, исходя из этих правил мы можем объяснить, почему в результативном имени *женоубийца* первая часть *жено-* обозначает жену референта этого имени, а не женщину вообще; но для объяснения того, почему в качественном имени *женолюб* материально тождественная часть имеет общеродовую референцию к женщинам вообще и не может обозначать жену референта имени деятеля, указанных правил недостаточно — они лишь объясняют возможность общеродовой интерпретации. Таким образом, информация о референциальных свойствах морфем в составе слов оказывается, как правило, словарной информацией.

Даже в тех случаях, когда тип референции инкорпорированного объекта однозначно вытекает из семантического типа имени деятеля, мы имеем дело не столько с общеграмматическими, сколько со словарными закономерностями. Как отмечалось выше, индивидуализация компонента *жено-* в слове *женоубийца* обусловлена тем, что *женоубийца* представляет собою результативное имя. Можно сформулировать и иную общую закономерность: если первая часть сложного слова на *-убийца* обозначает родственное или иное отношение (*брат, жена, ...*), то референт сложного имени, т.е. лицо, совершившее убийство, и есть второй член отношения: *братоубийца* — это 'убийца своего брата', *отцеубийца* — 'убийца своего отца' (ср. [Ермакова 1977]). Из этого, кстати, вытекает род; большинство слов на *-убийца* — слова общего рода, *женоубийца* — мужского, а *мужеубийца* — женского рода. В силу указанных закономерностей для большинства слов на *-убийца* заданной оказывается определенность первой части (поскольку неопределенная индивидуальная референция терминам родства не свойственна). Однако тот факт, что указанные сложные слова на *-убийца* имеют результативные значения, является свойством данного лексического класса, вообще говоря, не вытекающим из их словообразовательной структуры. Так, слово *убийца* может употребляться не только в результативном, но и в потенциальном (функциональном или качественном) значении: ср. *наемный убийца, сущий убийца, взгляд убийцы*. Возможно даже употребление, при котором слово *убийца* обозначает того, кто не совершил задуманное убийство: ср. *Вы знаете, как Промысел Небесный Царевича от рук убийцы спас* (Пушкин)¹⁷. Тем самым сведения о референции первой части сложных слов на *-убийца* не являются автоматическим следствием общих словообразовательных правил, а представляют собою словарную информацию.

б) Референциально ориентированный словарь?

Вопрос о словарном отражении референциальных свойств и входящих в них морфем не только не имеет общепринятого решения, но, по существу, и не поставлен в полном объеме. Ясно, что, поскольку референциальные свойства существенным образом зависят от семантических характеристик лексической

¹⁷ Ср. также игру на контрасте результативного и потенциального значений слова *убийца* в рассказе Достоевского «Вечный муж», где это слово регулярно используется в потенциальном значении, но при этом в сопровождении кавычек — этим подчеркивается, что в действительности обозначаемое лицо не совершило убийства.

единицы, вопрос этот самым тесным образом связан с проблемой представления в словаре различных типов употребления, или семантических вариантов, слова. Словарная практика не дает однозначного ответа на вопрос о том, в каких случаях семантические варианты слова должны быть представлены в словаре как отдельные значения.

В частности, это касается разграничения между различными типами агентивного значения в названиях производителей действия. Так, в различных словарях принимаются различные решения по вопросу о том, следует ли различать результативное и функциональное значение слова *автор* ('создатель какого-л. произведения' и 'писатель'), актуальное и функциональное значение слова *водитель* ('тот, кто управляет самодвижущейся машиной' и '[профессиональный] шофер'), актуальное вместе с качественным и функциональное значения слова *читатель* ('тот, кто читает какое-л. произведение' и 'посетитель общественной библиотеки'). Нет единства по вопросу о том, различать ли как особые лексические значения (или хотя бы «оттенки значений») абсолютное и реляционное значения терминов родства.

Здесь мы имеем дело с традиционно трудным вопросом о том, в каких случаях тот или иной тип употребления допустимо выделять в качестве особого лексического значения. Так, целый ряд глаголов несовершенного вида может использоваться в так называемом потенциальном значении; но лишь у некоторых из них словари выделяют его (и то непоследовательно) как лексическое значение. Так, во многих словарях у глагола *говорить* выделяется значение 'владеть устной речью, пользоваться каким-либо языком' (*Он говорит по-французски*), в некоторых словарях как лексическое значение выделяется также потенциальное значение глагола *ходить* (*Ребенок уже ходит*); однако словари не выделяют аналогичных значений у глаголов *читать* или *сидеть* (*Он читает на нескольких языках; Ребенок уже сидит прямо*)¹⁸.

По-видимому, словарная подача соответствующих значений в качестве лексических оправданна в тех случаях, когда рассматриваемые значения характеризуются особыми системными связями (парадигматическими связями, сочетаемостью, имеют различные дериваты). Упомянем в этой связи решения, принятые авторами 32-го выпуска «Семиотики и информатики»,

¹⁸ О возникающих при этом теоретических проблемах см., в частности, [Гловинская 1989: 130].

посвященного материалам к создающемуся под руководством Ю. Д. Апресяна «Интегральному словарю современного русского литературного языка». Следует отметить, что авторы сборника, как правило, были привержены «умеренной моносемии-филии» (термин предложен устно А. Богуславским) и избегали произвольного выделения особых лексических значений¹⁹. Поэтому в статьях, посвященных словам *жена* [Кронгауз 1991] и *убийца* [Шмелев 1991б], абсолютные значения не выделяются в качестве особых лексических значений. В то же время в статье [Шмелев 1991б] потенциальное значение слова *убийца* рассматривается в качестве особого значения, отличного от результативного, поскольку языковое поведение слова *убийца* в указанных значениях существенным образом различается. Впрочем, следует отметить, что соображения, побуждающие принять то или иное решение, носят преимущественно количественный характер. Если в рамках описания одного значения учет всех особенностей поведения лексической единицы в разных типах употребления оказывается чересчур громоздким, может оказаться целесообразным раздельное описание этих типов употребления.

Референциальные ограничения могут касаться и сочетаемости лексем (ср. [Апресян 1986]). Как уже говорилось, «только эпизодические» предикаты типа *пьян, не в духе* в отсутствие «дезактуализаторов» (*бывает, всегда* и т.п.) могут сочетаться только с конкретно-референтным субъектом; объект при словах типа *любитель, знаток* всегда имеет общеродовую референцию; глагол *назвать* в значении «дать имя» сочетается с существительным, имеющим автономный статус, в значении «охарактеризовать» с существительным предикатного статуса. Отметим также, что многие прилагательные ингерентно выполняют индивидуализирующую функцию и потому обеспечивают определенную референцию соответствующей именной группы (ср. [Крылов 1985]).

Для фиксирования этих и подобных фактов при «интегральном» описании языка целесообразно предусмотреть особую «референциальную» зону словарной статьи. При этом в

¹⁹ Не случайно в помещенной в сборнике словарной статье глагола *говорить* [Зализняк 1991], в отличие от большинства существующих словарей, не выделяется как особое лексическое значение потенциальное значение этого глагола.

нее должны включаться не только ограничения, не выводимые из семантики имени²⁰, но и ограничения, присущие всему семантическому классу. Для решения целого ряда задач (напр., при автоматической обработке текста) необходим свободный доступ к информации о референциальных свойствах лексем, и вряд ли целесообразно всякий раз выводить эти свойства из толкования. Здесь оправданной представляется аналогия с признаком одушевленности — неодушевленности русских существительных, информация о котором необходима, напр., при выборе формы согласующегося прилагательного в винительном падеже множественного числа. Хотя для подавляющего большинства существительных признак одушевленности — неодушевленности семантически мотивирован, не может быть никакого сомнения в том, что целесообразно давать соответствующую грамматическую помету в словарях не только в тех случаях, когда значение признака противоречит семантике имени, но и тогда, когда можно было бы легко установить одушевленность или неодушевленность существительного, обратившись к толкованию.

Независимо от того, насколько целесообразно создание специальной «референциальной» зоны в словарях, встроенных в «интегральное» описание языка, можно было бы задуматься о создании особого, «референциально ориентированного» словаря, в котором словарная статья включала бы информацию, существенную для определения типа референции имен. Пока мы не располагаем достаточно полной классификацией лексем с точки зрения референциальных свойств, которой можно было бы пользоваться при определении типа референции конкретных имен и тексте (ср. [Николаева 1979а: 142]). Однако создание «референциального» словаря является задачей, вполне осуществимой уже в настоящее время. Оно позволило бы систематизировать отдельные наблюдения, касающиеся взаимодействия референциального потенциала отдельных лексем, и оценить роль словарной информации в решении задач, связанных с референцией.

²⁰ Ср. различный референциальный потенциал, на первый взгляд, близких по значению субстантивных лексем *приезжий* и *пришедший*: первая нередко имеет общеродовую референцию, вторая, будучи субстантивированным причастием, нормально используется с определенной референцией.

Глава 9

Референция и художественный текст

9.1. Логический статус «вымышленной действительности»

а) Истинность в вымышленном мире

Вопрос о логическом и референциальном статусе утверждений, касающихся содержания художественных произведений, в последнее время принято разрешать путем постулирования особого рода «действительности» — вымышленного мира художественного произведения. Утверждение, что Шерлок Холмс — это реальный человек из плоти и крови, ложное (или лишенное смысла) в реальном мире, оказывается истинным в мире рассказов о Шерлоке Холмсе. Тем самым, чтобы оценить истинность всякого такого утверждения, мы должны интерпретировать его как содержащее своего рода «зачин»: *В действительном мире... или В мире рассказов о Шерлоке Холмсе... и т.п.* Такого рода зачины обычно опускаются, но на практике контекст, содержание и здравый смысл в большинстве случаев разрешают неоднозначность [Lewis 1983]: Высказывания *Холмс жил на Бейкер-стрит* или *Холмс был обычным человеком из плоти и крови* понимаются как относящиеся к миру рассказов о Холмсе (и потому истинные), а высказывания *Холмс реально существовал* или *Величайший сыщик Лондона 1890 года жил на Бейкер-стрит* — как относящиеся к реальному миру и тем самым ложные.

Однако указанный подход не избавляет нас от всех трудностей, связанных с референцией к вымышленному миру. Прежде всего, извлечение из художественного текста истинно соответствующего вымышленного мира не всегда является тривиальной задачей. Никакой текст не может быть полностью эксплицитен относительно всех характеристик соот-

ветствующего мира, и неясно, насколько мы вправе восполнять недостающие сведения данными, почерпнутыми из наблюдений над нашим миром. Имеем ли мы право, основываясь на правилах образования русских отчеств, заключить, что отца Олега Филимоновича Костоглотова из «Ракового корпуса» звали Филимон? А что отца Змея Горыныча звали Горын? В реальном Лондоне дом 221 по Бейкер-стрит ближе к вокзалу Паддингтон, нежели к вокзалу Ватерлоо. Можем ли мы из этого сделать вывод, что Холмс жил ближе к вокзалу Паддингтон, нежели к вокзалу Ватерлоо? А из того факта, что в реальном Лондоне в доме 221 по Бейкер-стрит был банк, следует ли, что Холмс жил в банке? Насколько оправданно говорить, как Вадим Руднев, о «лживости» «Войны и мира» — на том основании, что сюжет романа-эпопеи не отвечает исторической правде? Как следует расценить споры историков об исторической достоверности «Красного колеса»?

Отдельную проблему составляет вопрос о том, кто может судить, что является истинным в вымышленном мире художественного произведения. Можно ли утверждать, что такого рода верховным судьей является автор? Так, после первой публикации «Ракового корпуса» у многих читателей сложилось впечатление, что повесть заканчивается тем, что Костоглов умирает. Впоследствии выяснилось, что указанный вывод не соответствовал замыслу Солженицына. Однако, коль скоро текст дает основания для такого вывода, может ли апелляция к намерениям автора служить опровержением?

б) Вымысел и коммуникация

По-видимому, решение этих и подобных вопросов в значительной степени зависит от того, как художественные произведения будут описываться с коммуникативной точки зрения. Так, для подхода, предложенного Д. Льюисом [Lewis 1983], ключевую роль играет понятие «притворства». Автор художественного произведения (впрочем, не имея в виду ввести в заблуждение читателей) делает вид, или «притворяется», что рассказывает нечто о реальном мире (сходная мысль была высказана также Дж. Серлем [Searle 1979]). Рассматривается множество возможных миров, в которых соответствующий художественный вымысел рассказывается как достоверный факт, и из этого множества выделяется подмножество миров, отличающихся от реального мира в минимальной степени. Утверждения, истинные в каждом из этих возможных миров, считаются

истинными и «в мире данного художественного произведения». Именно это дает Д. Льюису возможность говорить, что в мире рассказов о Холмсе истинно, хотя и не выражено эксплицитно, что у Холмса не было трех ноздрей, что он никогда не летал к спутникам Сатурна и что он носил нижнее белье. В случае же, когда оценка истинности того или иного суждения оказывается различной в различных возможных мирах рассматриваемого подмножества, данное суждение считается не имеющим истинностного значения в мире художественного произведения. Так, не имеют истинностного значения утверждения о количестве волос на голове у Шерлока Холмса.

В то же время подход Д. Льюиса не только не разрешает всех проблем, связанных с логическим статусом утверждений о мире художественного вымысла (в [Lewis 1983] приводится целый ряд таких нерешенных проблем), но, кроме того, как и подход Дж. Серля, основан на таком представлении о коммуникативном статусе художественной речи, которые едва ли соответствуют реальному функционированию художественных текстов, — а именно на том, что автор текста приравнивается к отправителю сообщения, а читатели — к адресатам. Ж. Гарелли [Garelli 1983] замечал, что, стремясь во что бы то ни стало рассматривать поэтические тексты как обычные коммуникативные акты, мы с таким же основанием могли бы считать отправителями сообщения читателей, а адресатом — автора. Действительно, восприятие лирического текста предполагает, что читатели вынуждены становиться на точку зрения лирического героя, как бы отождествляя себя с отправителем сообщения; с другой стороны, порождаяемая текстом вымышленная реальность в первую очередь оценивается самим автором, который, таким образом, выступает в роли главного адресата.

Вымышленный мир, к которому производится референция в ходе художественной коммуникации, не имеет существования, независимого от этой коммуникации. Он порождается самим художественным текстом, который тем самым сближается с ритуальными речевыми действиями. Ритуальные речевые действия, подобно перформативам, оказываются тривиальным образом истинными в силу самого факта своего произнесения, однако в отличие от перформативов они не являются автореферентными, их пропозициональное содержание соответствует чему-то вне речевого акта. Так, высказывание *Объявляю вас мужем и женою* является перформативом, а высказывание *С этого момента вы становитесь мужем и женою* — ритуальным речевым действием.

Как при каждом акте осуществления ритуального речевого действия соответствующая действительность порождается заново, так и вымышленный мир художественного текста порождается заново при каждом новом акте чтения этого текста. Читатель действительно оказывается сходным не с адресатом речи, а с говорящим, осуществляющим ритуальное речевое действие, — хотя, как и в случае ритуальной формулы, не он является автором соответствующего текста. Миры, порождаемые в разных актах прочтения одного и того же текста, могут различаться между собою — напр., возможно, что в восприятии одного читателя «Ракового корпуса» Костоглов умирать, а в восприятии другого — нет. Вопрос о том, как обстоит дело в действительности, оказывается лишенным смысла: ведь никакой «действительности» художественного произведения, взятой в отвлечении от актов чтения этого произведения, не существует. В то же время, разумеется, осмыслен и оправдан вопрос о том, какое из прочтений отвечает замыслу автора.

В свете сказанного характерные для художественной литературы нарушения «коммуникативных прав адресата» (термин из [Арутюнова 1981]) перестают выглядеть отклонениями от правил нормального общения. Отказавшись считать читателя адресатом художественного текста, мы не увидим ничего удивительного в необычной последовательности номинации объектов в тексте [Гак 1972], напр., в том, что персонаж уже при первом упоминании обозначается при помощи местоимения или имени собственного, не сопровождающегося дескрипцией. Наоборот, полное следование правилам интродукции персонажей воспринимается как особый художественный прием, максимально приближающий текст к более «нормальному» коммуникативному акту, напр., к устному повествованию (ср. *Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит*).

То, что при анализе художественного текста фигура фиктивного (pretended) отправителя сообщения — повествователя или лирического героя — обычно более важна, нежели фигура автора, давно стало общим местом. Столь же важно не смешивать фиктивного адресата или адресатов текста (ср. понятие «внутритекстового адресата», используемое, в частности, Э. В. Чепкиной [1993] при анализе некоторых газетно-художественных жанров) с читателями; именно интересы фиктивного адресата учитываются в первую очередь при выборе используемых в тексте коммуникативно значимых языковых единиц. Иногда наличие фиктивного адресата вытекает из построения текста, как в текстах, написанных в жанре «послания», или

в повествованиях, включенных в некоторое обрамляющее повествование, как в «Сказках» В. Гауфа, «Декамероне» или «Тысяче и одной ночи». В других случаях выявление фиктивного адресата требует специального анализа. И поскольку коммуникативная сторона речевого акта прежде всего отражается в выборе референциальных категорий (не случайно, как уже говорилось, З. Вендлер назвал теорию референции *pièce de résistance* прагматики), такой анализ должен в первую очередь учитывать использование референциальных показателей.

9.2. Художественная роль референциальных показателей

а) «Непредназначенность текста неосведомленному получателю»

Так, возвращаясь к вопросу о последовательности номинации объектов в тексте, отметим, что эффект «введения читателя *in medias res*» [Гак 1972], возникающий при использовании показателей прагматической определенности (личного местоимения или имени собственного, не сопровождающегося дескрипцией) для обозначения персонажа, впервые появляющегося в тексте, прямо вытекает из того, что корректное употребление указанных средств референции возможно лишь в том случае, если адресату известен референт. Таким образом, текст строится как обращенный к адресатам, уже введенным в курс дела, и, чтобы иметь возможность понимать текст, читатель вынужден также воображать себя человеком, уже имеющим представление о соответствующем персонаже. Иначе говоря, возникает «иллюзия непредназначенности текста неосведомленному получателю» [Федосюк 1989: 29]. Использование личного местоимения предполагает, кроме того, что референт находится в центре оперативного поля зрения адресата, т. е. либо был упомянут в непосредственно предшествующем тексте, либо присутствует в ситуации общения (возможно, лишь в мыслях участников коммуникации). Поэтому использование личного местоимения без антецедента предполагает адресата, находящегося *in mediis rebus*, что и создает соответствующий художественный эффект.

Более детальное рассмотрение показывает, что случаи использования в художественных текстах показателей прагматической определенности без предшествующей интродукции не вполне однородны. Среди возможных художественных эффек-

тов этого приема отметим эффект «соприсутствия», эффект «автоадресации» и эффект предназначенности для «узкого круга посвященных».

При «соприсутствии» описываемая картина как бы непосредственно находится в общем поле зрения участников коммуникации в момент речи; соответствующим образом используется временной план (так называемое «настоящее изобразительное»), часто встречаются «эпизодические» предикаты, описывающие актуальную ситуацию, в которую помещает себя говорящий, типа *белеть(ся)*, *краснеть(ся)*, *зеленеть* (о том, что при употреблении таких предикатов возникает «эффект соприсутствия», см. [Булыгина 1982: 15]). Адресат речи располагает теми же сведениями об обозначаемых объектах, что и говорящий, так что коммуникативное противопоставление говорящего и адресата снимается. Поэтому уместным оказывается использование дейктических показателей прагматической определенности, предполагающих известность референта как говорящему, так и адресату, и показателей «собственно неопределенности» со значением «неизвестность говорящему и адресату». Соответствующая картина немедленно возникает перед мысленным взором (как в стихотворении Цветаевой, начинающемся словами: *Должно быть — за твоей рощей / Деревня, где я жила*). Нет противопоставления информированности говорящего и адресата и при «автоадресации» (и шире — при совпадении «апперцепционной базы», «фонда воспоминаний»). Поэтому в указанном случае также возможно использование указательных местоимений, но тогда они чаще предвосхищают воссоздание описываемой картины:

Как были *те* выходы в степь хороши!

Безбрежная степь, как марина.

Вдыхает ковыль, шуршат мураши,

И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь

И гаснут, вулкан на вулкане.

Примолкла и взмокла безбрежная степь,

Колелет, относит, толкает

(Пастернак).

Напротив того, референциальные показатели, противопоставляющие информированность говорящего и адресата (напр., показатели интродукции), свидетельствуют о функционировании текста как средства передачи информации и для лири-

ческих описаний не характерны (они часто встречаются в повествованиях, которые характеризуются совсем иным употреблением видо-временного плана, нежели описания). Тем самым использование референциальных показателей может служить (наряду с употреблением видо-временных форм) формальным признаком, отличающим описания от повествований. В частности, в текстах, в которых обнаруживаются оба указанных плана (описание и повествование), референциальные показатели часто служат знаком переключения из одного регистра в другой, причем такое переключение может сопровождаться и изменением временного плана. Проиллюстрируем сказанное на примере следующего стихотворения Ольги Седаковой:

Слышишь, мама, *какая-то* птица поет?
Будто бьет она в клетку, не ест и не пьет.

Мне говорил *один* рыбак,
когда я шла домой:
— Возьми себе цепь двойную,
возьми себе цепь двойную,
возьми себе перстень мой,

ведь ночь коротка и весна коротка
и многие лодки уносит река.

И низко поклонившись,
сказала я ему:
— Возьму я цепь, мой господин,
а перстень не возьму,

ведь ночь коротка и весна коротка
и многие лодки уносит река.

Ах, мама, все мне снится сон:
какой-то снег и дым,
и плачет грешная душа
пред ангелом святым:

ведь ночь коротка и весна коротка
и многие лодки уносит река.

При «автоадресации» противопоставления говорящего и адресата нет как такового, поэтому здесь, как и при «соприсутствии», уместно использование референциальных показателей, не противопоставляющих степень информированности участников коммуникации. Так, в частности, строятся многие из ранних рассказов Бунина, в которых сюжет движется не событиями, а авторским восприятием событий. В тексте, адресованном

«вспоминателем» самому себе, нет необходимости представлять действующих лиц; любой объект, известный повествователю, *ipso facto* известен и адресату.

Многие ранние рассказы Б. Зайцева представляют собою описание мыслей, чувств, переживаний главного героя на фоне происходящих событий; описание нередко ведется в плане настоящего времени («настоящее изобразительное»). Именно этот главный герой — как бы лирический субъект рассказа — обычно сразу бывает назван по имени, без специальной интродукции (описание ведется «изнутри», но в третьем лице). Кроме того, в тексте рассказов постоянно используются указательные местоимения в неанафорическом значении. Текст в таком случае воспринимается как обращенный к адресатам, которые имеют описываемую ситуацию перед глазами, так что возможно использование чисто дейктических местоимений (эффект «соприсутствия»); или же к адресатам, которые, как и главный герой, помнят описываемые события, так что употребление указательных местоимений опирается на общность «фонда воспоминаний».

В текстах, адресованных «узкому кругу посвященных», нет отождествления говорящего и адресата. Однако текст ориентируется на лиц, которым хорошо известны описываемые реалии. Поэтому степень информированности говорящего и адресатов здесь опять-таки одинакова. Так обстоит дело, в частности, в так называемой «светской повести», как бы обращенной к салонной аудитории и повествующей об «общих знакомых». Говоря о «светской повести», исследователи отмечают, что для нее характерны «тон непринужденного разговора о предметах, известных собеседнику, игра аллюзиями, намеки на общих знакомых» [Немзер 1983б: 11–12], адресат «должен не получать новые сведения, но узнавать знакомое» [Немзер 1983а: 9].

б) Два вида «недосказанности»

В целом, в текстах, ориентированных на «узкий круг посвященных», могут использоваться те же референциальные средства, что и при «соприсутствии» и «автоадресации». Однако художественная нагрузка этих средств несколько иная. Поясним сказанное на примере употребления референциальных показателей в стихотворениях Блока и Ахматовой.

Исследователи часто отмечают обилие неопределенных местоимений на *-то* в лирике Блока и их роль в создании атмосферы таинственности, недосказанности, неназванности объекта

(см., в частности, [Соколова 1980] и указанную там литературу). Можно отметить, что сходную функцию «неназывания объекта» могут выполнять и указательные местоимения, также достаточно часто встречающиеся у Блока. Прагматически определенные (личные и указательные) местоимения и местоимения на *-то* нередки также и в поэзии Ахматовой, и может показаться, что эффект использования этих показателей здесь примерно тот же: для Ахматовой чрезвычайно характерно общее ощущение неокончателности и амбивалентности, умолчаний и недомолвок [Виноградов 1976], создаваемое, в частности, тем, что Ахматова часто избегала использования прямых имен объектов: вместо собственных имен она использовала иносказательные описания, вместо прямых дескрипций — местоимения (при этом «семантическая неограниченность» местоимений способствовала тому, что именно им Ахматова отдавала предпочтение, ср. [Цивьян 1979: 354]). Блок также стремился к максимальной неопределенности при обозначении референтов («Блок избегал собственных имен» [Молок 1986: 7]). Однако между «недосказанностью», неназванностью объекта у Блока и у Ахматовой есть существенные различия, на которых мы вкратце здесь остановимся.

Лирические описания Блока основаны на эффекте «соприсутствия». «Недосказанность», таинственность чаще всего связывается с неизвестностью объекта или нечеткостью восприятия (ср. [Соколова 1980]), и этому соответствует употребление местоимений на *-то*. Приведем лишь немногие из примеров: *Я увидел на темной стене чьи-то черные очи; Чей-то обманчивый голос поет; Где-то светло и глубоко неба открылся клочок; Кто-то шепчет и смеется сквозь лазоревый туман; Чьи-то крадутся лучи, что-то в сердце зазвучало; Кто-то с Богом шепчется у святой иконы; Там в поле бродит, плачет кто-то; Недвижный кто-то, черный кто-то людей считает в тишине; Кто-то зовет серебряистой трубой; Кто-то бежит озаренной дорогой; Кто-то шел по лестнице, считая ступени; Какие-то искры, каких-то снежинок неверный полет; И какие-то печали издали... И какие-то за мысом паруса. И какие-то над морем голоса; Сердце, видишь: кто-то подал тайный знак рукой; Были верны наши кони, кто-то белый помогал и т.д.* Использование же показателей прагматической определенности, в частности указательных местоимений, предполагает, что объект находится в поле зрения. Референциальная интерпретация не предполагает никакой специальной дешифровки, опирающейся на историко-литературные или биографические данные, и даже в тех случаях, когда такая дешифровка

фактически возможна, ее необходимость или желательность никак не предусмотрена самим текстом (ср. [Молок 1986: 10—11]).

В противоположность этому в поэзии Ахматовой «неопределенная определенность» [Цивьян 1979], т.е. использование показателей определенности при фактических трудностях установления референта, может восприниматься как своего рода «зашифрованность». Предполагаемая референциальная дешифровка должна опираться на знание каких-то историко-культурных реалий, предполагаемых известными среди лиц, на восприятие которых ориентирован текст — так, напр., то, что местоимение *он* в следующих отрывках имеет референцию к Блоку, вытекает из знания его стихов: *Он прав — опять фонарь, аптека... Это он в переполненном зале / Слал ту черную розу в бокале*. Иногда дешифровка представляет собою более сложную задачу и бывает связана с выявлением неочевидных аллюзий, с намеками на какие-то биографические факты и т.п. В подобных случаях «известность» референта вытекает из принадлежности адресата к узкому кругу «посвященных» (не случайно имеются специальные литературоведческие работы, нацеленные на референциальную дешифровку поэзии Ахматовой и призванные моделировать соответствующую «кружковую семантику»). Именно ориентированность, на «узкий круг» или же «автоадресация»¹, а не «соприсутствие» обуславливает «известность» референта, поэтому местоимения со значением прагматической определенности используются Ахматовой не только в лирических описаниях, но и в лирических повествованиях. В этом смысле поэзия Ахматовой оказывается сходна со «светской повестью» и «дневниковой» прозой. В обоих случаях эффект достигается при помощи сходных языковых средств — показателей прагматической определенности. Однако, если для прозы это прежде всего собственные имена персонажей, то для поэзии Ахматовой (по выражению В. В. Виноградова, «поэзии намеков, эмоционально недоговоренного, смутных указаний» [1976: 444]), как уже говорилось, характерно уклонение от использования прямых и, в частности, собственных имен. Если же имя собственное появляется, оно часто используется, наоборот, как элемент кодирования, как не прямое обозначение объекта.

¹ «Та форма речи, которая доминирует в ее поэзии, форма непосредственного обращения к „милому“, к интимным друзьям, форма личного „дневника“ и т.д.» [Виноградов 1976: 444].

Образцом референциальной зашифрованности может служить стихотворение «Немного географии», рассматриваемое в [Цивьян 1979: 351]:

Не столицей европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкой енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный запах прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными, — и тобой.

Все географические названия используются здесь не как прямые имена, а, скорее, как способы кодирования одной и той же реалии, тогда как вместо собственных имен (*Ленинград, Пушкин, Ахматова, Мандельштам*) используются экивоки: *город этот; первый поэт; мы грешные; ты*.

Зашифрованное обозначение действующих лиц в «Поэме без героя» делает обоснованными комические сетования «редактора»:

(...)

Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой...

Действительно, референциальная «непонятность» связана с тем, что остается неясным, сколько героев в поэме (а из названия следует, что ни одного), где кончается один и начинается другой.

Такого рода референциальная неясность характерна для многих стихотворений Ахматовой, ср.: [Цивьян 1979: 356—358]. Затруднения, связанные с установлением референтов в стихах Ахматовой, подчас стоят на грани чисто семиотического эксперимента в духе Л. Кэрролла. В частности, это касается стихотворения «В Зазеркалье», само название которого отсылает к произведению Кэрролла:

Красотка очень молода,
 Но не из нашего столетья,
 Вдвоем нам не бывать — та, третья,
 Нас не оставит никогда.
 Ты подвигаешь кресло ей,
 Я щедро с ней делюсь цветами...
 Что делаем — не знаем сами,
 (...)

Стихотворение заканчивается знаменательным признанием: *...Мы в адском круге, / А может, это и не мы* — и заставляет вспомнить стихотворение из «Алисы в стране чудес», в котором Кэрролл экспериментально выявил референциальную недостаточность местоименных указаний при отсутствии конситуативной поддержки (с тех пор это стихотворение неоднократно цитировалось в лингвистических работах, посвященных употреблению местоимений в процессе речевой коммуникации):

*They told me you had been to her,
 And mentioned me to him:
 She gave me a good character,
 But said I could not swim.*

*He sent them word I had not gone
 (We know it to be true):
 If she could push the matter on,
 What would become of you?*

*I gave her one, they gave him two,
 You gave us three or more;
 They all returned from him to you,
 Though they were mine before.*

*If I or she should chance to be
 Involved in this affair,
 He trusts to you to set them free,
 Exactly as we were.*

*My notion was that you had been
 (Before she had this fit)
 An obstacle that came between
 Him, and ourselves, and in.*

*Don't let him know she liked them best,
 For this must ever be
 A secret, kept from all the rest,
 Between yourself and me.*

Но именно на фоне формального сходства референциальных экспериментов Ахматовой² и Кэрролла особенно заметен различный эффект этих экспериментов. Для Кэрролла эксперимент интересен сам по себе, это что-то вроде игры с языком. Ахматова же решает содержательные поэтические задачи, и в результате «загадочная неопределенность этого рода остается нераскрытой до конца, и на ней покоится острота эмоциональных впечатлений от не выраженного, но смутно угадываемого или лучше предчувствуемого смысла» [Виноградов 1976: 446—47], так что «излишний грамматический ригоризм заводит в тупик» [Цивьян 1979: 361]. В этом смысле, если бы Кэрролл написал свое стихотворение в наше время, его можно было бы принять за пародийное переосмысление приема, используемого Ахматовой.

Таким образом, если у Блока недосказанность предполагает неизвестность, таинственность, то у Ахматовой она равнозначна зашифрованности, которую читатель должен расшифровать. Не случайно, что и у Блока, и у Ахматовой встречается параллельное использование указательных местоимений и местоимений на *-то*, когда парадоксальным образом как бы стирается граница между определенностью и неопределенностью. Однако и здесь результатом у Блока обычно оказывается неопределенность (ср. частое у Блока *где-то там*), а у Ахматовой — «зашифрованная определенность» (ср. *тот какой-то шестнадцатый год*).

в) Краткие выводы

Итак, мы видим, что для интерпретации художественного текста ключевую роль играет выявление его коммуникативного статуса, которое в свою очередь самым тесным образом связано с функционированием в тексте референциальных показателей. Следует подчеркнуть, что значение и коммуникативная роль этих показателей в художественном тексте ничем не отличается от их функционирования в других типах текстов. Художественный текст использует самые обычные языковые средства; его специфика определяется особым истинностным статусом суждений о порождаемом им вымышленном мире. В результате использование тождественных средств приводит к различному

² Ряд примеров референциальной неоднозначности, связанной с употреблением местоимений, рассматривается в уже цитированной статье Т. Цивьян [1979: 355—361].

эффекту в художественном и нехудожественном дискурсе. Так, многие из нас встречали людей, которые говоря о своих знакомых, называют их по имени без интродукции, ничуть не заботясь о том, известен ли носитель имени собеседнику. Мы вправе сделать вывод, что либо эти люди ошибочно полагают, что их знакомые известны всем, либо они пренебрегают коммуникативными правами собеседников. Использование без интродукции собственных имен персонажей в художественном тексте лишь внешне выглядит как пренебрежение коммуникативными правами читателя. В действительности, как мы видели, это показатель того, что текст по своему формальному построению ориентирован вовсе не на читателя, а на фиктивного адресата, которому соответствующий персонаж прекрасно известен.

В этом смысле художественный текст полностью отличается от повествования в реальном мире. Исторические источники могут не сообщать нам тех или иных сведений о реальных исторических лицах, подобно тому как Конан Дойль далеко не все сообщил нам о Холмсе. Мы можем реконструировать недостающие сведения об исторических лицах исходя из косвенных соображений, подобно тому как из косвенных соображений мы делаем вывод, что Шерлок Холмс носил нижнее белье. Однако статус недостающих сведений о реальном мире и мире художественного вымысла совершенно различен. Недостающие сведения о реальном мире мы можем почерпнуть из иных источников, проверив тем самым результаты нашей реконструкции; или же они могут, к нашему сожалению, остаться навсегда недоступными для нас. Но во всех случаях речь идет именно о незнании истины. При наличии альтернативных точек зрения осмыслен вопрос, как же обстоит дело в действительности. Установить истину о мире художественного вымысла мы можем лишь посредством анализа художественного текста. Отвлеченной истины здесь просто не может существовать, поскольку сама действительность создается только в актах чтения художественного произведения.

Заключение

Подведем основные итоги исследования.

«Неокаузальный подход», впервые предложенный в работе [Шмелев 1984] для описания референции собственных имен, продемонстрировал свою применимость к описанию широкого круга референциальных явлений. В частности, было показано, что его можно использовать для описания сущности идентификации, при описании противопоставления определенной и неопределенной референции и т.д. В целом можно утверждать, что на языке «неокаузальной теории» многие утверждения теории референции получают простую и компактную формулировку, а ряд спорных вопросов — заслуживающее внимания решение.

Было предложено при описании типов объектов, к которым производится референция, и взаимодействия референциальных характеристик именных групп с аспектуально-темпоральными характеристиками предикатных выражений исходить из существования единой суперкатегории пространственно-временной локализации. Постулирование такой категории позволяет объяснить: выбор референциальной интерпретации потенциально неоднозначных ИГ при фиксированных свойствах предикатного выражения; интерпретацию потенциально неоднозначного выражения, когда известны референциальные характеристики связанных с ним ИГ; интерпретацию временных наречий и модальных глаголов в зависимости от пространственно-временной локализованности субъекта и предиката и т.п.

В рамках «процессуальной» картины референции может быть использован предложенный в работах М. Г. Селезнева и несколько модифицированный в настоящей работе синтаксический критерий определенности — неопределенности. Этот критерий объединяет сильные стороны логических и прагматических критериев определенности и позволяет объяснить особенности референции ИГ, не поддающихся ни логическому, ни прагматическому подходу. При этом категория определенности — неопределенности может быть распространена на

генерализованные ИГ, представляя в этом случае как противопоставление общеродовых и общеэкзистенциальных ИГ. Это дает возможность упростить формулировку ряда закономерностей, связанных с квантификацией, порядком слов и т. д.

При описании разновидностей определенности и неопределенности необходимо различать противопоставления, связанные с различными видами денотативных пространств, в которых фиксируется референт, и противопоставления, связанные с референциальными намерениями говорящего. Эти противопоставления значимы как для определенных, так и для неопределенных ИГ; однако для неопределенных ИГ их роль может быть продемонстрирована более наглядно, поскольку именно для неопределенных ИГ они имеют в русском языке специальные средства выражения.

При референции к модели мира другого лица (напр., при передаче чужой речи или чужого мнения) решающую роль может играть выбор говорящим стратегии *de dicto* или стратегии *de re*. В первом случае говорящий выступает в роли «беспристрастного репортера» и стремится передать чужую установку максимально близко «к тексту», т. е. к тому, как это сделал или мог бы сделать сам субъект установки. Во втором случае говорящий добавляет свою интерпретацию того, что субъект установки «имел в виду». Особенно важно это противопоставление при передаче оценочных речевых действий. Нередко выбор той или иной стратегии самым непосредственным образом связан с лексическими и аспектуальными свойствами «передающего» глагола. Соответствующая информация должна быть тем или иным образом отражена в грамматическом описании и в словаре.

Описание квантификации в русском языке не может вестись в рамках узко-логически ориентированного подхода. В семантику целого ряда естественных языковых кванторных выражений оказываются встроенными референциальные, прагматические и коммуникативные характеристики.

В ряде случаев референциальный потенциал лексемы оказывается ее словарной характеристикой. Это может касаться не только способностей ИГ, возглавляемых данной лексемой, иметь тот или иной референциальный статус, но и референциальными ограничениями ее сочетаемости (синтаксический уровень) и заданностью референциального типа ее составных частей (морфемный уровень).

Как строение, так и осмысление высказываний со значением идентификации во многих случаях оказывается парадоксаль-

ным и в высокой степени лингвоспецифичным. Их логическая «неинформативность» не препятствует им занимать весьма важное место среди средств, обеспечивающих функционирование механизмов референции.

При описании функционирования личных местоимений необходимо строго разграничивать явление транспозиции и неоднозначности. Критерием здесь может служить тот факт, что транспозиция не меняет языковых характеристик соответствующих личных форм. В то же время для описания таких явлений, как использование *вы* по отношению к одному лицу, форм 2-го лица в так называемых обобщенно-личных предложениях и форм множественного числа в неопределенно-личных предложениях, целесообразно постулировать особые единицы: «вежливое» *вы* и два синтаксических нуля — $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{\text{мн}}$. При этом $\emptyset/ты$ и $\emptyset_{\text{мн}}$ характеризуются полностью различными прагматическими и референциальными свойствами.

Художественный текст характеризуется специфической коммуникативной и референциальной структурой. Строго разграничивая читателя и фиктивного адресата текста, мы можем выявить художественный эффект «нестандартного» использования в нем референциальных показателей.

В заключение отметим, что целостный, «интегральный» подход к описанию языковых механизмов выражения референциальных значений позволяет утверждать, что референциальной функции служат все уровни языковой системы. Описание любого из них оказывается неполным, если при этом не учитывается референциальный аспект.

Приложения

1. Отсутствие эксплицитных референциальных показателей как материал для языковой игры и речевой демагогии

Ввиду того что в русском языке отсутствуют артикли, часто референциальный статус ИГ может быть выявлен лишь при обращении к более широкому контексту (впрочем, референциальная неоднозначность возникает и в артиклевых языках). Иногда это может повести к забавным недоразумениям, как в случае, рассказанном в газете «Неделя» в 1983 г. Некоторая женщина пришла в редакцию с просьбой: «Помогите мне найти мужа». «У нас же не брачная газета», — возразили ей. «Вы не поняли меня, у меня пропал муж», — объяснила женщина. Именно такая возможность формального неразграничения фиксированности — нефиксированности в контексте «миропорождающих» глаголов служит источником многочисленных анекдотов, из которых приведем один: «Мы ищем бухгалтера». — «Как? Вы же взяли на работу бухгалтера неделю назад». — «Да, и теперь мы его ищем».

Иной тип референциальной неоднозначности обигрывается в известном анекдоте о чукче, который приезжал в Москву на Съезд. Вся Москва была увешана лозунгами *Всё на благо человека!* — «И чукча видел этого человека», — гордо говорит чукча. Здесь источником референциальной неоднозначности является формальное неразличение генерализованных и индивидуальных ИГ (напомним, что для генерализованной референции могут быть использованы имена в единственном числе).

Сходный анекдот рассказывался и в 2001 г., но в нем референциально неоднозначным было существительное во множественном числе: *На съезде СПС было принято решение сделать все для повышения благосостояния людей. Список людей прилага-*

ется. Ср. также: Уходя в отставку, Б. Н. Ельцин решил сделать широкий жест и отдал половину своих резиденций детям. А вторую половину — внукам...

Те же самые источники референциальной неоднозначности могут служить и в качестве средства речевой демагогии. Т. М. Николаева в одной рецензии, опубликованной в журнале «Вопросы языкознания» (1995, № 1), приводит такие примеры: *Мы, конечно, за реформы* (эти? вообще?); *Президент нужен* (этот? какой-нибудь?).

Иной тип речевой демагогии основан на манипулировании риторическим приемом генерализации. Указанный прием состоит в том, что для выражения того или иного мнения по поводу конкретной ситуации говорящий использует общую сентенцию. Тем самым может использоваться генерализованная референция в тех случаях, когда фактически имеется в виду единичный объект. Ср. примеры диалогов: *Откройте!* — *Я негодяям принципиально не открываю* [\approx 'Вы негодяй, и я вам не открою из принципа'] (М. Булгаков); *Эй, ты, поручик, очисти вагон!* — *Я не отвечаю на красный жаргон*¹ (П. Васильев). Эксплуатируя постулаты речевого общения, говорящий как бы навязывает подведение конкретного явления под заданную общую категорию. В то же время у адресата речи есть возможность игнорировать указанный прием и понимать высказывание буквально, и в этом случае речевая демагогия оказывается неуспешной: *Обман и надувательство!* — *повторил он. — За твои деньги тебя же и одурачат.* — *«Не всякий позволит себя провести, — ответил я. — Умного человека не одурачат.* — *«А тебя одурачат», — отрезал он, не желая понять, кого разумел я под умным человеком* (Я. Перельман). Возможна и иная ситуация, когда общая сентенция интерпретируется именно как относящаяся к конкретному лицу. Так, резко отзываясь об одном из персонажей и предполагая возможное возражение в форме общей сентенции (мол, *всякий человек хороший*), повествователь в одной из повестей Э. Кестнера (пер. Л. Лунгиной) замечает: *Что ж, вероятно, так оно и есть, но этому хорошему человеку не все должно сходиться с фру, иначе может случиться, что он станет плохим.*

Некоторая модификация рассмотренного выше приема состоит в том, что говорящий использует общую сентенцию

¹ Такой ответ представляет собою образец «самофальсификации», рассматриваемой далее в разделе «Парадокс автореферентности (самофальсификация)».

именно с тем, чтобы уйти от обсуждения конкретной ситуации². Ср. примеры из кинофильма «С Новым годом, Москва!»: «Гитара его почему здесь?» — «У Краснова в каждом доме по гитаре»; «Они друг друга знают?» — «Краснов всех знает»; «Илья, что у них?» — «Краснов же обо всех заботится — он же добрый».

Однако наиболее наглядно парадоксы референции вскрываются при игре на автонимности и использовании собственных имен. В последующих разделах мы рассмотрим игру на референциальных особенностях собственных имен как приметю стиля журналиста, взаимодействие автонимного и «обычного» использования языковых единиц в шарадах, а также явление самофальсификации, связанное с автореферентностью высказывания или каких-либо его компонентов.

2. Собственные имена в статьях Максима Соколова

Напомним, что для собственных имен различаются «стандартное» и «нестандартное» употребления. При «стандартном» употреблении имя собственное не сопровождается никакими дескрипциями и его референт предполагается известным адресату речи. Прочие случаи являются «нестандартными»; к ним относятся метафорические употребления и употребления, при которых имя собственное сопровождается дескрипцией или местоимением.

«Нестандартное» употребление собственных имен чрезвычайно распространено в современной журналистике. По-видимому, оно является одной из самых характерных черт стиля лауреата премии для журналистов «Золотой гонг России за 1994 г.» Максима Соколова, несомненно повлиявшего на стиль современной журналистики в целом.

Одной из характерных примет стиля Максима Соколова является использование «нарицательных добавлений» при собственных именах. Такие «добавления» могут быть уместны в одном из следующих случаев. Идентифицирующая дескрипция при имени собственном используется, если имеются сомнения, что адресату речи известен носитель имени, и служит средством локализации референта в релевантном денотативном пространстве. Характеризующая дескрипция используется

² Этот прием отмечен, в частности, в моей рецензии на фильм «С Новым годом, Москва!» (см. [Шмелев 1993б]).

для выражения дополнительной предикации, обычно связанной по содержанию с основным сообщением. Рестриктивное определение позволяет выделить референт в случаях, когда в релевантном денотативном пространстве имеется более одного носителя данного имени, или же указывает на какую-то одну ипостась референта. Наконец, иногда нарицательное имя используется как «этикетная добавка» к имени собственному, образуя с ним своего рода составное собственное имя.

Все указанные типы «нарицательных добавлений» используются в статьях Максима Соколова (особенно в регулярно появляющемся на страницах газеты «Коммерсантъ-Daily» обзоре «Что было на неделе») с некоторым «сдвигом». Так, идентифицирующие дескрипции сопровождают имена, очевидным образом известные читателю (более того, иногда текст заведомо рассчитан на то, что читателю понятно, о ком идет речь, и только такой читатель и может правильно интерпретировать дескрипцию): *премьер-министр Черномырдин; мэр Москвы Юрий Лужков; титаническая борьба за московскую недвижимость, ведомая московским мэром Юрием Лужковым с ваучеризатором Чубайсом; певец Иосиф Кобзон; советник мэрии по культуре Иосиф Кобзон; артист Станислав Говорухин; благодетельствуемые мэром-меценатом артистические круги Москвы (ваятель Клыков, художник Глазунов, певец Кобзон и артист Захаров); офтальмолог Федоров; российская пассионария Валерия Новодворская*. При этом иногда такая дескрипция носит несколько «искажающий» характер, что опять-таки может быть по достоинству оценено лишь читателем, располагающим «мысленным досье» носителя имени: *мюнхенский философ Александр Зиновьев; российский мыслитель Александр Руцкой* и т. п.

В тех случаях, когда дескрипция уместна при первом появлении, она нередко сопровождает имя и при последующих употреблениях, как бы имитируя «этикетную добавку»: так, упомянув в статье *адвоката Андрея Макарова*, Максим Соколов в последующем тексте именовал его не иначе как *адвокат Макаров*.

Характеризующие дескрипции в статьях Максима Соколова обычно связаны не с содержанием предложения, в котором они используются, а с предшествующим текстом. Они не выражают никакой новой предикации, поскольку дублируют уже произведенную предикацию (напр., рассказав о склонности Черномырдина к высказыванию философских афоризмов, Максим Соколов для референции к нему стал использовать сочетание *философический премьер Черномырдин*).

Кроме того, в статьях Максима Соколова нередко встречается переносное употребление имен собственных. Как правило, оно состоит в применении имени литературного или исторического персонажа к кому-либо из современных общественных деятелей. Обычно мотивировка такого переосмысления дается в непосредственно предшествующем тексте. При этом переосмысляемое имя может соединяться с подлинным именем референта в составное наименование или же выступать изолированно:

...мечтательность присуща не одному Попову. По мнению председателя думского комитета по обороне полковника Юшенкова, и возле трона стоят «дубинноголовые кремлевские мечтатели»... Эпитеты, прилагаемые к мечтателям, навеяны общением Чичикова-Юшенкова с кремлевскими Коробочками.

Допуская... разнообразие фракций и СМИ, Грачев являет себя каким-то Аннибалом либерализма. Не менее парадоксально мыслит и помощник Аннибала генерал-лейтенант Геннадий Иванов.

Иногда именно такое употребление оказывается текстообразующим, как в рассказе о том, как Лужков,

пообщавшись с римским sindaco Франческо Рутелли, восхвалял традиционные отношения взаимного уважения и дружбы, существующие между двумя древними столицами». Учтивый sindaco не остался в долгу и сообщил публике, что «Москва — третий Рим». ...Signore Rutelli, выступивший в роли старца Филофея, ...был достаточно амбивалентен, ибо старец, изобретая формулу насчет Третьего Рима, имел в виду, что предыдущих двух больше не существует..., и собственно Римом в высшем смысле этого слова отныне и навеки является исключительно Москва... Поскольку Первый Рим давно погиб, не вполне понятно, чем sindaco Филофей управляет. Разве что вдохновленный трудами по восстановлению Храма Христа Спасителя мэр Третьего Рима предложил мэру Филофею свои услуги по восстановлению погибшего Первого Рима.

Характерен отрывок, в котором мы сталкиваемся со всеми видами «нарицательных добавлений» к собственным именам (соответствующие употребления выделены):

Окончательно установилась традиция, согласно которой каждое лето **премьер-министр Черномырдин** пускает в оборот универсальный афоризм... Появление фигуры **философического Черномырдина** глубоко закономерно. Как отмечают либеральные критики режима, Россия вступила в полосу нового

застоя, застой же закономерно порождает **очередного Чаадаева...** Слова Герцена о Чаадаеве... удивительно точно применимы к Черномырдину; создается даже впечатление, что революционный демократ писал их, имея в виду не столько **гусарского ротмистра Чаадаева**, сколько **крепкого производственника Черномырдина**.

Более обычный тип метафорического употребления собственных имен представлен примерами, в которых имя используется метафорически в позиции предиката (при этом обычно приводится основание для оценки). Иронически комментируя споры монархистов о том, у кого больше оснований претендовать на российский престол — у Ельцина или у Георгия Романова, Максим Соколов использует по отношению к Ельцину характеристику *по телосложению Шварценеггер*:

Выбор тут должен основываться не на сомнительной родословной, а на наличии у кандидатов несомненных «царских знаков», т.е. особой формы родимых пятен, замечательных особенностей осанки, чудесных предзнаменований при рождении etc. Наследник Гоги ничем чудесным не известен — разве что пристрастием к фильмам с участием Сталлоне и Шварценеггера, тогда как нынешний президент мало того, что по телосложению сам Шварценеггер, но и обладает еще одним «царским знаком», а именно пронзительным взглядом

(намек на рассказ Ельцина о том, как встречаясь с Клинтон, он не знал, «выдержит ли Билл Клинтон очень искренний, открытый разговор, прямо глаза в глаза»).

Иногда прием обнажается. Отсюда встречающиеся в статьях Максима Соколова рассуждения об особенностях собственных имен вообще и имен лиц, о которых идет речь в соответствующих статьях, в частности. Так, процитировав следующее рассуждение Иосифа Кобзона:

Кому-то надо опорочить не столько имя Кобзона, сколько исключить кобзоны из жизни общества. Кто такие кобзоны? Кобзоны — это творческая интеллигенция, это спортивная интеллигенция, просто спортивная элита, будем так говорить, то есть те люди, которые влияют на общество, влияют на массы,

— Максим Соколов отмечает:

Примеры того, как имя собственное делается именем нарицательным, многочисленны. Имя собственное Caesar породило титулы «царь», «кайзер» и т.д., в старом фильме по сказке Карло Гоцци «Король-олень» его герой Тарталья с горечью отмечает, что «нарицательным стало „тарталья“, раз тарталья,

то значит каналья», а в сцене скандала в монастыре Ф. П. Карамазов не только применял к представителю интеллигенции (помещику Максиму) созвучное слову «кобзон» имя нарицательное «фонзон» (от имени некоего якобы «убитого в блудилище» фон Зона), но даже пользовался производным глаголом «нафонзонить», так что не исключено, что русский язык вскоре обогатится выражением типа «что это ты там такое накобзонил?» Тем не менее данный случай уникален, ибо вышеописанный переход совершается либо народом-языкотворцем, либо особо одаренным представителем этого народа (вроде Ф. П. Карамазова), а случай с Кобзоном — первый, когда в качестве особо одаренного языкотворца выступает сам носитель преобразуемого имени.

И далее в тексте той же статьи говорится о немецком кобзоне председателя Немецкого народного союза Герхарде Фрае и его друге и соратнике лидере ЛДПР... российском кобзоне Жириновском.

Нередко Максим Соколов прибегает к шутовой этимологизации имени собственного, якобы призванной объяснить те или иные свойства носителя имени. Так, сообщение, что в Симферополе «была предпринята попытка проникнуть через окно в квартиру Юрия Мешкова, однако ночевавший там его помощник Владимир Перкун спугнул злоумышленников», Максим Соколов комментирует следующим образом:

Помощник Перкун (от литовского Perkunas — «бог грозы», родственного русскому «Перун») с несомненной пользой для Мешкова реализовал трансформацию индоевропейского мифа о боге грозы, поражающем своего антагониста Велеса.

А высказывание бывшего московского градоначальника Гавриила Попова о том, что «нельзя упускать перспективу щелкнуть [власть] по лбу», вызвало комментарий, что, поскольку фамилия Попов представляет собою этимологически притяжательное образование от слова *pop*, то желание Попова выступить в роли *попова* работника Балды из сказки Пушкина (как известно, нанявшегося на работу за право три раза щелкнуть хозяина по лбу) «вполне закономерно»; но, добавляет Максим Соколов, Гавриил Попов уже выступал в такой роли «в годы мэрского служения», только тогда москвичи применяли к нему слово *балда*, скорее, «в нарицательном смысле».

Не всегда такого рода «нестандартное» употребление собственных имен сводится к обычному балагурству. В ряде случаев его роль состоит в том, чтобы отразить идею, существенную для того направления в журналистике, самым ярким представителем которого является Максим Соколов. Эта идея заклю-

чается в том, что все в мире повторяется. Актеры современной политической сцены («нюсмейкеры») и ситуации, в которых они действуют, уже давно встречались в истории или описаны в художественной литературе. Поэтому достаточно упомянуть соответствующее имя собственное, чтобы напомнить читателю, что ничего нового в описываемых событиях нет. Порывшись в памяти, всегда можно найти нечто аналогичное и тем самым правильное судить о современности. Тем самым, когда Максим Соколов называет кого-либо из персонажей современной политической жизни Чичиковым или Коробочкой, — это не просто метафора, а почти утверждение субстанциального тождества. Прием, очевидно, восходит к Владимиру Соловьеву, озаглавившему одну из своих статей «Порфирий Головлев о свободе и вере» и рассматривавшему печатное выступление своего оппонента так, как если бы оно действительно принадлежало перу персонажа «Господ Головлевых».

3. Парадокс автономности как основополагающий принцип шарады

Говоря языком математики, принцип шарад состоит в том, что означающее некоторой номинативной единицы (слова) рассматривается как кортеж, представляющий собою результат конкатенации двух или более кортежей, каждый из которых также является означающим некоторой номинативной единицы³. Автор шарады дает описание референту каждой из составных частей (эти части принято условно называть «слогами», хотя с фонетическими слогами они могут не иметь ничего общего) и референту целого, а задача отгадывающих — определить, какое слово имеется в виду.

При этом в формулировке шарады принято сознательно не различать номинативные единицы и референты этих единиц. Когда персонаж Ильфа и Петрова начинал шараду: *Мой первый слог сидит в чалме, он на востоке быть обязан* (имея в виду слово *индус*), он, конечно не хотел сказать, что на востоке сидит **первый слог**. Речь шла о **референте** «первого слога».

Однако возможно и описание самого «слога». Это имеет место, напр., когда говорят, что тот или иной слог представляет собою предлог или союз. Тогда можно говорить, что описывается референт «слога», употребленного в автономном режи-

³ См. об этом, напр., в [Крейдлин, Шмелев 1994: 18].

ме, — тем более, что предлоги и союзы только в автонимном употреблении представляют собою номинативные единицы.

Игра на автонимности активно используется в шарадах и может поставить в тупик неопытного отгадывающего. Шарادا, опубликованная в одном из сборников для детей, начиналась: *В начале октября слог первый мой, в начале ноября найдешь второй*, — и нужна была некоторая опытность в отгадывании шарад, чтобы догадаться, что слова *октябрь* и *ноябрь* используются автонимно (отгадка *ок-но*). Здесь имел место тот же прием, что и в других загадках, обыгрывающих автонимность: *Чем кончатся день и ночь? — Мягким знаком; Что у Бога есть, а у царя нет, у бабы две, у девки ни одной, у Бориса спереди, а у Глеба сзади, в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе не найдешь, а найдешь в сентябре, октябре, ноябре и декабре? — Буква «б».*

Именно игра на автонимности, на неразличении номинативных единиц и их референтов и составляет одну из главных трудностей при отгадывании шарады, а изысканность современной русской шарады во многом определяется тем, насколько искусно проведена такая игра. Нередко игра на автонимности сочетается с косвенной референцией (отсылкой, аллюзией) к какому-либо событию или тексту, предположительно известному отгадывающим.

Приведем ряд примеров шарад, основанных на вышеуказанной референциальной игре⁴:

Мой первый слог — большой сторонник мира
И недоволен кознями Шамира.
Второй рожден у бойкого народа
И не дает ответа почему-то.
А целое вошло недавно в моду,
Его мы слышим каждую минуту.

Ответ — *перес-тройка*. Перес — израильский политический лидер, имеющий репутацию «голубя», в отличие от своего соперника «ястреба» Шамира. Второй «слог» предполагает косвенную референцию к лирическому отступлению в поэме Гоголя «Мертвые души», в котором говорится, что Русь куда-то несется, как «рожденная у бойкого народа» тройка лошадей, куда? — не дает ответа. «Целое» описано в автонимном режиме — «каждую минуту» в период, когда сочинялась шарада (1987 г.), мы слышали слово *перестройка*.

⁴ Все шарады составлены автором настоящей работы.

Мой первый слог — удар, настигший вдруг,
 Второй напонимает формой круг.
 Слог третий с незапамятных времен
 Хотят разрушить тайных целей ради
 Еврей, американец и масон.
 А целое — объект желаний Нади.

Ответ — *шок-о-лад*. Второй слог описан в автонимном режиме (на круг похожа формой **буква «о»**). Описание третьего слога содержит косвенную референцию к полемике, развернувшейся в критике по поводу романа Василия Белова (автора «Лада») «Все впереди», когда критики именно так формулировали основную идею романа. Описание целого отсылает к песенке «Девочка Надя, что тебе надо? — Ничего не надо, кроме шоколада».

Слог первый — это мироздание,
 Второй всего лишь восклицание,
 А третий слог — гора в Германии,
 Четвертый близок слог сосне,
 Слог пятый видим мы во сне,
 А целое приснилось мне.

Ответ — *Мира Бергельсон (мир-а-берг-ель-сон)*. Описание второго слога — междометия *а* — проведено в автонимном режиме. Референциальная неоднозначность обыгрывается и в описании четвертого слога, когда отгадкой служит не **название** одной из **находящихся** в Германии гор, а перевод слова *гора* на немецкий язык (язык, используемый в Германии). Описание целого содержит отсылку к событию, о котором автор должен был поставить в известность отгадывающих: однажды ему приснилась его коллега, специалист по общему, русскому и африканскому языкознанию Мира Борисовна Бергельсон (при этом обыгрывается неоднозначность русского слова *сон*). Это же событие является объектом отсылки и в следующей шараде:

Слог первый — музыкальный звук.
 Второй — покорнейший из слуг.
 Слог третий твердый, словно камень,
 Но отменен большевиками.
 Четвертым писан был Христос,
 А пятым выражен вопрос.
 А то, что в целом получилось,
 Мне как-то раз в шестом приснилось.

Ответ также *Мира Бергельсон*, но с другим членением (*ми-раб-ер-ге-ль-сон*). Описание третьего слога, отсылая к орфогра-

фической реформе 1918 г., обыгрывает альтернативное название буквы «ер» — «твердый знак». Описание четвертого слога содержит референцию к картине Ге, изображающей Христа; описание пятого (вопросительной частицы *ль*) произведено в автономном режиме.

Слог первый тает от лица огня.
 Второй звучит во множестве мелодий.
 Слог третий ты найдешь в избе при входе.
 Четвертый слог привык бежать из дня.
 А целое отметим всенародно
 Еженедельно мы и ежегодно.

Ответ — *воск-ре-сени-е*. Описание первого слога отсылает к тексту, входящему в пасхальное богослужение, когда, собственно, и празднуется «целое» («...яко тает воск от лица огня»). Описание четвертого обыгрывает автономность: имеется в виду «е» как «беглый гласный», «исчезающий» в определенных формах слова *день*.

Слог первый призывает к тишине,
 Второе — вроде пьяного собрания,
 Слог третий — это просто восклицанье,
 Все вместе прохлаждалось в стороне.

Ответ — *Ша-пир-о*. Описание первого и третьего слога предполагает автономный режим (описываются соответствующие междометия, т. е. слова). Описание целого содержит аллюзию к строкам из песни Галича «Ты же хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне».

Когда кипят эмоции в груди,
 Мы первый слог произнести готовы.
 Второй у Ковалева впереди
 И позади у Юрия Лужкова.
 Фонемой третий слог нельзя назвать,
 А в целое мы можем заковать.

Ответ — *о-ков-ы*. Описание всех трех слогов предполагает автономный режим. При этом в описании второго слога имена собственные Ковалев и Лужков также употреблены автономно. Описание третьего предполагает знакомство со взглядами Московской фонологической школы на статус звука [ы].

Слог первый, что кончает алфавит,
 Германец в знак согласия говорит.
 Второй найти несложно в сей шараде —
 Он у Лужкова с Примаковым сзади.

Мой третий слог уже совсем простой —
 Одновременно Троицкий и Толстой.
 А тот, кто должен в целом получиться,
 Возглавил криминальную столицу.

Ответ — *Я-ков-лев*. Описание всех трех слогов предполагает автонимный режим. Как и в предыдущей шараде, при описании второго слога имена собственные Лужков и Примаков употреблены автонимно. Описание целого предполагает знание реалий российской жизни конца XX в. — того, что Петербург имел репутацию «криминальной столицы» России и что его губернатором был Владимир Яковлев.

Мой самый первый слог — одна из нот.
 Второе — через реку переход.
 Слог третий — то, что скрыть хотел Мидас,
 И ектенья четвертым началась.
 А этих всех слогов соединенье —
 Незлобивость и мягкость в обращенье.

Ответ — *до-брод-уши-е*. Описание третьего слога предполагает знание того, что Аполлон наделил царя Мидаса ослиными ушами, которые тот пытался скрыть. При описании четвертого слога используется автонимный режим: отгадывающие пытаются вспомнить, с чего начинается великая, малая или сугубая ектенья (со слов *миром* или *паки и паки*), тогда как имеется в виду начало слова *ектенья*.

Примеры, разумеется, можно было бы множить и множить. Но представляется, что и приведенных примеров достаточно для иллюстрации тезиса, согласно которому большинство современных шарад основано на обыгрывании референциальных феноменов: косвенной референции и автонимности.

4. Парадокс автореферентности (самофальсификация)

Высказывания типа (1) *Данное утверждение ложно* и (2) *Все утверждения ложны* известны под именем «парадокс лжеца». Их парадоксальность справедливо связывается с автореферентностью, т. е. с тем, что в них осуществляется отсылка к ним самим. Известно решение, восходящее к Расселу и состоящее в том, чтобы признать автореферентность недопустимой. При таком решении высказывания типа (1) признаются не имеющими смысла, а высказывания типа (2) интерпретируются, как

говорили средневековые логики, «рестриктивно» ('Все утверждения, кроме данного, ...').

Однако принцип, в соответствии с которым автореферентность недопустима, противоречит повседневной речевой практике. В частности, текст многих документов (справок и т.д.) автореферентен по определению: ср. типичные канцелярские обороты *Сим удостоверяется...; Дано в том, что...; предъявитель сего* и т.п.

Представляется, что более реалистичное (точнее — более соответствующее речевой практике) описание «парадокса лжеца» может быть получено при рассмотрении его в более широком контексте «самофальсификации».

Приведем примеры самофальсифицируемых высказываний — аналогов «парадокса лжеца» для других типов речевых актов (просьбы, обещания, предсказания, совета, подсказки): *Обещаю не выполнить данного обещания; Предсказываю, что данное предсказание не сбудется; Не слушай ничьих советов; Сделай это без всякой подсказки с моей стороны.* Иногда решающую роль играет не иллокутивная сила высказывания, а сам факт его произнесения (как в примере *Я молчу и не произношу ни слова*), или используемый языковой код (как в примере *Я не могу сказать ни слова по-русски*), или, например, интонация (фраза *Простите меня*, произнесенная без тени раскаяния и даже агрессивно, «фальсифицирует» речевой акт «попросить прощения»).

Правдоподобным представляется решение, в известном смысле противоположное подходу Б. Рассела. Можно считать, что **всякое** высказывание является автореферентным — в том смысле, что содержит имплицитное или эксплицитное указание на свою иллокутивную силу, на условия успешности речевого акта (напр., нечто вроде 'говорящий сожалеет' для речевого акта «попросить прощения»), на самый факт произнесения (нечто вроде компонента 'произнося это...'). Парадоксальность высказываний типа *Я не могу сказать ни слова по-русски* показывает, что, по-видимому, всякое высказывание включает референцию к используемому в нем языковому коду. Аномалия, или парадокс, возникает, когда разные компоненты в составе высказывания противоречат друг другу. В этом смысле самофальсифицируемые высказывания примыкают к просто противоречивым высказываниям типа *Ты должен сделать это не по обязанности, а по доброй воле; Принято решение обязать родителей добровольно отдавать детей в языковые школы; Мы согласны на мирные переговоры при условии, что они будут проводиться*

без всяких предварительных условий (высказывание израильского премьер-министра) и т. д.

Не касаясь вопроса о том, представляет ли собою подобного рода противоречие языковую аномалию или логическое противоречие, отметим, что осмысление высказываний подобного рода подчиняется общим закономерностям осмысления аномальных высказываний — противоречие приводит к комическому эффекту или к необходимости переосмысления высказывания [Булыгина, Шмелев 1990а; 6]. Один из распространенных, но не единственный способ переосмысления самофальсифицируемого высказывания состоит в упомянутой выше «рестрикции»: *Все высказывания ложны* = 'Все высказывания ложны, кроме этого'; *Не слушай ничьих советов* = 'Не слушай ничьих советов, кроме этого моего совета'.

Часто полагают, что исследование парадокса лжеца и его аналогов имеет скорее теоретический интерес: оно может помочь нам проникнуть в секреты семантики естественного языка, но такого рода самофальсификация едва ли может встретиться в естественной языковой коммуникации. А если такого рода высказывания и встретятся, то интерпретироваться они всегда должны «рестриктивно». Однако на самом деле говорящий — сознательно или бессознательно — включает в свою речь самофальсифицируемые высказывания значительно чаще, чем это может показаться на первый взгляд. При этом интерпретируются эти высказывания различным образом — в зависимости от того, как мы поняли речевые интенции говорящего.

Так, высказывания, содержащие парадокс лжеца в почти чистом виде, можно встретить не только у последователей школы скептицизма, но и в знаменитой строке Тютчева *Мысль изреченная есть ложь*. Существенно, что «ложность» здесь понимается не просто как несоответствие действительности: для скептиков *ложно*, по-видимому, должно интерпретироваться как 'недостовечно'; для Тютчева «ложность» высказывания, скорее, означала неспособность адекватно выразить соответствующую мысль.

Когда человек, поторопившись, дал неправильный ответ на вопрос, он может исправиться, сказав: «Ой, что это я, вру, вру!» Интерпретация такого высказывания связана с особым пониманием настоящего времени, относящегося к **только что** сделанному утверждению, а не к тому, которое делается в **данный момент**. Иная интерпретация предполагается высказыванием Разумихина из «Преступления и наказания»: *Все мы*

врем, потому что и я тоже вру, но довермся же, наконец, и до правды...

По существу, с «парадоксом лжеца» мы сталкиваемся и в заключительной фразе известного анекдота, опубликованного в журнале «National Enquirer» (1993, 23 февраля): «Game warden: *Catch any fish?* — Fisherman: *Did I! I took out 40 this morning.* — Game warden: *That's illegal. Know who I am? I'm the game warden.* — Fisherman: *Know who I am? I'm the biggest liar in the world*». Разумеется, принять к сведению высказывание *Я величайший лжец на свете* можно, лишь поверив данному утверждению, так что здесь также должна иметь место некоторая разновидность рестриктивной интерпретации. Однако это высказывание едва ли означает 'Все мои утверждения ложны, кроме данного'; скорее, его смысл примерно следующий: 'Я так часто лгу, что вы не никогда не должны доверять тому, что я говорю'.

Скрытую самофальсификацию можно увидеть и в заголовке автобиографии одного актера — «Profession menteur». По-видимому, замысел автора предполагал рестриктивную интерпретацию, относясь к актерской («лицедейской») профессии, но не к содержанию книги. Однако рецензент (François Périer, «Elle», 1991, 15.01) интерпретировал заголовок как пример «парадокса лжеца»: *Ne craignant pas de faire mentir le titre, «Profession menteur», il y parle avec une sincérité telle qu'elle en est parfois choquante*. Мы видим, что рецензент «перевернул» рестриктивную интерпретацию: по его мнению, во всей книге «лжет» только заголовок.

Особый тип осмысления представлен высказыванием из популярной песни 50-х годов, в которой на нерешительную просьбу *Я бы вас поцеловал, если только это можно* разрешение было дано в следующих выражениях: *Да уж ладно, говорю, поцелуй без разрешения*. Говорящая дает разрешение, но не хочет это выразить достаточно определенно.

Некоторые типы самофальсифицируемых высказываний встречаются так часто, что уже превратились в своего рода речевые клише. Так, очень широко распространены фразы типа *Я не буду даже упоминать о...; Я ни слова не скажу о...* Даже научные доклады нередко включают в себя пространные изложения того, о чем докладчик не будет говорить (*В своем докладе я не буду говорить о том, что...*). Стали фразеологизмами такие обороты, как *не говоря уже...* или *Я (уж) не говорю...*; используя их, говорящие даже не замечают того, что они представляют собою яркие примеры самофальсификации. В то же время слушающие иногда обращают внимание на формальную незакон-

ность этого речевого приема. Так, М. Цветаева рассказывает о пятилетнем Максимилиане Волошине:

Мать при пятилетнем Максе читает длинное стихотворение, кажется, Майкова от лица девушки, перечисляющей все, что не скажет любимому: «я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда светили звезды, освещая мои слезы. Я не скажу тебе, как обмирало мое сердце при звуке шагов — каждый раз не твоих. Я не скажу тебе, как потом взошла заря» и т.д. и т.д. Наконец — конец. И пятилетний, с глубоким вздохом: «Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла да рассказала».

Особенно заметна самофальсификация, когда говорящий специально объясняет, почему он «ни словом не упоминает» то или иное явление. Например, Игорь Золотусский, будто бы «не упоминая» две публикации «Размышлений о Божественной литургии» Гоголя, умудряется в то же время привести их библиографические данные и попутно их как текстологически недостоверные (см. «Новый мир», 1991, № 9): *Я сознательно не упоминаю две другие публикации «Размышлений о божественной литургии» — в издательстве «Современник» (1990) и в журнале «Наше наследие» (1990, 5), — где обнародован текст работы Гоголя, искаженный правкой духовной цензуры. А Наум Коржавин в журнале «Искусство кино» (1990, № 11) заявил: Кстати, многие из этих стихов сейчас просто стыдно публиковать, они написаны несвободным человеком. Например, у меня есть поэма в полторы тысячи строк, где о тридцать седьмом годе сказано: «И суть была не в том, что били, а в том, что били по своим». Да я умру раньше, чем такое опубликую, хотя там есть вещи, которые мне очень дороги* (т.е. опубликовал две строки из поэмы, сопроводив их утверждением: *Да я умру раньше, чем такое опубликую*). Характерна также фраза, сказанная (в присутствии детей) одной знакомой лингвисткой (не буду сообщать, что это была Маша Полинская): *Я не буду говорить при детях, что эти скульптуры напоминают фаллические символы.*

Иногда самофальсификация заметна уже в силу того, что говорящий специально подчеркивает умышленность «умолчания» — ср. *Я умышленно умалчиваю, что Юрий Михайлович Лужков является главным, благодаря которому конфликт нашего театра и нефинансирование нашего театра является действительностью* (Николай Губенко, цитируется по журналу «Итоги», 1997, 16 сентября, № 36).

Если же говорящий специально не останавливается на причинах «умолчания» (точнее, псевдоумолчания), то самофальси-

фикация становится менее заметной, как, например, при использовании уже упоминавшихся речевых клише. Но все равно фразу Н. А. Струве *Мы не будем здесь говорить о попытках Рима — извечных, начиная с крестоносцев XIII в. и кончая орденом иезуитов в XX-м, — распространять свое влияние, а если можно и власть на Россию* Ж. и Ж. Жоанне характеризуют как слова о происках Рима и кознях иезуитов («Вестник РХД», № 161). Действительно, утверждая, что эти слова не будут сказаны, Н. А. Струве как раз сказал их.

К самофальсифицируемым могут быть отнесены и высказывания, обыгрывающие знаменитый парадокс Мура (*Идет дождь, но я так не считаю*), напр.: *Мария Поклен была состоятельной женщиной... Молясь, Мария перебирала перламутровые четки. Она читала Библию и даже, чему я мало верю, греческого автора Плутарха в сокращенном переводе* (М. Булгаков). В приведенном отрывке вводное замечание «от автора» *чему я мало верю* подчеркивает тот факт, что все остальные сообщения опираются на различные, возможно, не вполне достоверные источники; оно в каком-то смысле аналогично словам, *якобы, будто бы*. В подобных случаях осмысление возможно, если можно интерпретировать сообщение как не связанное с субъективным мнением говорящего. Скажем, высказывание **Вероятно, он придет, но я думаю, что он не придет* аномально и едва ли допускает осмысленную интерпретацию, поскольку необходимое условие гипотетического высказывания *Вероятно, он придет* — чтобы говорящий склонялся к истинности высказанной гипотезы. В противоположность этому вполне правильны (и даже не парадоксальны) высказывания *Возможно, он придет, но я думаю, что он не придет* (в первой части говорящий указывает на его приход как на одну из возможностей, но ничего не говорит о том, сколь вероятной он считает эту возможность) и *Есть вероятность, что он придет, но я думаю, что он не придет* (первая часть указывает на наличие объективной вероятности, вторая — на субъективное мнение говорящего).

Таким образом, высказывания подобного типа могут быть осмыслены, если в них удастся выделить два уровня: скажем, собственное мнение говорящего и сведения, почерпнутые из каких-либо источников, или мнение, опирающееся на авторитет, и личное мнение. Такова фраза из газетного интервью *Я считаю, что мое мнение ложно* — чистый пример самофальсификации, допускающий осмысление, но воспринимаемый как случайное или осознанное отклонение от нормы. Два уровня можно выделить и в монологах героя Чехова, который, рас-

сказывая нечто своему сыну, то и дело перебивал свой рассказ репликами: *Ты мне не верь, Боренька... Ни одному моему слову не верь.*

Отдельного упоминания заслуживают парадоксы, связанные со знанием. Самофальсифицируемыми и потому аномальными являются фразы вида *Я не знаю, что р⁵*. Сообщение может естественным образом предвращаться квазиперформативом *Знай, что...*, но аномально **Не знай, что...* Самофальсифицируемы при буквальном понимании (и, по-видимому, должны интерпретироваться рестриктивно) высказывания типа *Так никто и не знает, что...* (ср. фразу из лингвистического доклада *Об этом до сих пор не знает ни один лингвист*).

Встречаются и случаи, когда самофальсификация обусловлена противоречием между содержанием высказывания и его внешними особенностями: интонацией, акцентом, орфографией. Именно в таком противоречии упрекают доктора Гавела — персонажа Милана Кундеры:

Vous vous êtes dépeint sous les traits d'un personnage de comédie, de la grisaille, et de l'ennui, comme un zéro! Malheureusement, la façon dont vous vous êtes exprimé était un peu trop noble. C'est vôtre maudit raffinement: vous vous traitez de mendiant, mais vous choisissez pur cela des mots princiers pour être quand même plus prince que mendiant. Vous êtes un vieux imposteur, Havel. Vaniteux jusque dans les moments où vous vous roulez dans la boue.

Наличие написания *disparaît* делает самофальсифицируемым подзаголовок из газеты «Le Figaro» (об орфографической реформе): *L'accent circonflexe disparaît sur les «i» et les «u» et de nombreux mots composés seront soudés*. Наконец, ходовой ответ на требование *Молчи!* — *Да я и так молчу* — оказывается самофальсифицируемым в силу самого факта «говорения» (ср. у Е. Попова: «Вася, молчи! Ты слышал, что тебе сказал товарищ?» — говорит Коля Васе. «Ништяк, Колян! — отвечает Вася Коле. — Я уже молчу, Колян! Да только я могу и еще кой-кому хавальник завесить»; сходный эффект имеет место в эпизоде из пьесы Шварца, в котором нищий просит подаяния словами *Подайте бедному немому!*). Равным образом надпись на доске объяв-

⁵ Впрочем, они возможны в ситуациях, когда говорящий и его собеседник договариваются солгать третьему лицу. Здесь высказывание как бы находится в сфере действия оператора «Давай договоримся делать вид, будто...». Обратим внимание на то, что высказывания вида *Договоримся, будто я не знаю, что р* вполне правильны.

ний в «Диснейленде», гласящая, что «на этой доске ничего не написано», оказывается самофальсифицируемой *ipso facto*.

Приведем также (без комментариев): строчки из французского стихотворения ...*Daignez m'accorder... ce que je n'ose demander*; изоощренную игру в похвалбу во 2-м Послании к Коринфянам (12: 5—6) апостола Павла⁶ (...*Собою же не похваляюсь... Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь...*); ответ упомянутого выше персонажа рассказа Милана Кундеры на вопрос *Pourquoi...? — Justement parce qu'il n'y a pas de raison*.

Даже приведенных примеров, как представляется, достаточно для того, чтобы продемонстрировать, что самофальсифицируемые высказывания не так уж редки в повседневной речевой практике. Признав автореферентность необходимым свойством любого высказывания, мы получаем возможность анализировать эти высказывания как один из видов семантических аномалий, в определенных случаях допускающий переосмысление.

Особый тип самофальсификации представлен высказываниями, нарушающими предписания, которые говорящий делает другим: *Нельзя ничего запрещать; Никогда не говори «никогда»*; ср. также многократно цитировавшуюся фразу *Не смей командовать!* (Ленин). В строгом смысле слова самофальсификации здесь нет; но некоторый аналог самофальсификации имеет место, если говорящий претендует на универсальность своего требования, напр. используя генерализованное 2-е лицо; при этом часто возникает комический эффект. В одном из стихотворений Маршака рассказывается, как в отсутствие учителя школьники громко кричали, призывая друг друга к тишине; но тут явился Угомон, «оглядел он всех сурово И сказал ученикам: *Не учи молчать другого, А молчи побольше сам*». Ясно, что сам Угомон никак не следовал своим нравоучительным словам. Дружный смех в зале вызвали две фразы из одного выступления на Съезде народных депутатов СССР (25 мая 1989 г.) ...*Не надо подхваливать Михаила Сергеевича. Мне кажется, это унижает этого человека, этого крупнейшего политического и государ-*

⁶ Это подводит нас к парадоксам, связанным с похвалбой и скромностью. Утверждения типа *Я чрезвычайно скромный человек* неизбежно оказываются самофальсифицируемыми (на это обращал внимание Ю. Айхенвальд: *если я... стану доказывать свою скромность, я тем самым ее потеряю*).

Кстати, апостол Павел и прямо проявлял интерес к «парадоксу лжеца», цитируя высказывание Эпименида «Критяне всегда лжецы» в Тит 1: 12.

ственного лидера... Высказывания такого рода обыгрываются в разного рода шутках (как в анекдоте о бельгийском пособии по культуре речи, в котором говорится: *Ne disez pas «disez», disez «dites»!*), они часто служат мишенью для сатириков, ср.: *1.08 сего года в 8 часов 15 минут приказываю административные методы руководства заменить экономическими. Об исполнении доложить!* («ЛГ» 1989, 24 мая). Упомянем также карикатуру в «Огоньке», на которой был изображён город, увешанный транспарантами с надписями «Не надо лозунгов!», «Обойдемся без лозунгов!» и т.п., и фразу из «Новейшего русского лексикона» Дениса Драгунского («Итоги», 5 мая 1998): *Но Михаил Сергеевич осадил: «Плюрализм нужен, и здесь двух мнений быть не может».* Особенно распространены шутки, обыгрывающие рассматриваемый тип самофальсификации в англоязычной культуре. Приведем две версии стилистических рекомендаций пишущему, целиком построенных на самофальсификации:

(1) 20 Rules of Writing:

1. Verbs HAS to agree with their subjects.
2. Prepositions are not words to end sentences with.
3. And don't start a sentence with a conjunction.
4. It is wrong to ever split an infinitive.
5. Avoid cliches like the plague. (They're old hat)
6. Also, always avoid annoying alliteration.
7. Be more or less specific.
8. Parenthetical remarks (however relevant) are (usually) unnecessary.
9. Also too, never, ever use repetitive redundancies.
10. No sentence fragments.
11. Contractions aren't necessary and shouldn't be used.
12. Foreign words and phrases are not apropos.
13. Do not be redundant; do not use more words than necessary; it's highly superfluous.
14. One should NEVER generalize.
15. Comparisons are as bad as cliches.
16. Don't use no double negatives.
17. Eschew ampersands & abbreviations, etc.
18. One-word sentences? Eliminate.
19. Analogies in writing are like feathers on a snake.
20. The passive voice is to be ignored.

(2) How to Write...:

1. Avoid alliteration. Always.
2. Prepositions are not words to end sentences with.
3. Avoid clichés like the plague. (They're old hat.)
4. Employ the vernacular.
5. Eschew ampersands & abbreviations, etc.
6. Parenthetical remarks (however relevant) are unnecessary.
7. It is wrong to ever split an infinitive.
8. Contractions aren't necessary.
9. Foreign words and phrases are not apropos.
10. One should never generalize.
11. Eliminate quotations. As Ralph Waldo Emerson said, «I hate quotations. Tell me what you know».
12. Comparisons are as bad as clichés.
13. Don't be redundant; don't use more words than necessary; it's highly superfluous.
14. Be more or less specific.
15. Understatement is always best.
16. One-word sentences? Eliminate.
17. Analogies in

writing are like feathers on a snake. 18. The passive voice is to be avoided. 19. Go around the barn at high noon to avoid colloquialisms. 20. Even if a mixed metaphor sings, it should be derailed. 21. Who needs rhetorical questions? 22. Exaggeration is a billion times worse than understatement.

Именно эта последняя разновидность самофальсификации имеет место в тех случаях, когда говорящий, упрекая за что-то адресата речи, в своем высказывании допускает именно то, за что он упрекает другого: напр., когда, как это часто бывает, фраза *Как вы смеете кричать на меня!* произносится повышенным тоном. Текст, изобилующий примерами такого рода самофальсификации, и послужит предметом нашего внимания в следующем экскурсе. Этот экскурс был написан в 1991 г. В настоящее время обсуждаемые в нем вопросы несколько утратили остроту общественного звучания, но, возможно, сохранили интерес для отвлеченного логико-лингвистического анализа.

По законам пародии? (экскурс)

В 80-е гг. в самиздате ходила работа И. Р. Шафаревича «Русофобия», в конце 80-х гг. она была опубликована целым рядом изданий (в частности, журналами «Вече», «Кубань» и «Наш современник» и отдельной книгой в Западной Германии). В этой работе Шафаревич полемизирует с рядом авторов, придерживающихся леводемократических взглядов «западнического» толка, упрекает их (как правило, основательно) за допущенные ими фактические и логические ошибки. Действительно, фактических ошибок, передержек и логических несообразностей в критикуемых им работах немало, а тон подчас оскорбителен для русских. Но мы с удивлением обнаруживали, что в своей работе Шафаревич, словно намеренно, использует те же самые фактические данные, логические построения и полемические приемы, которые он здесь же подвергает критике, в результате чего текст производит впечатление грандиозной самофальсификации. Приведем ряд примеров.

Шафаревич упрекает своих оппонентов за то, что они часто пользуются обвинением в антисемитизме как оружием для того, чтобы дискредитировать оппонента. Основания для такого обвинения могут быть самые ничтожные — любое критическое замечание по адресу какого-нибудь человека еврейского происхождения или еврейская фамилия отрицательного персонажа в художественном произведении. И здесь же, словно повторяя обличаемый им пропагандистский прием, Шафаревич для дис-

кредитации оппонентов использует обвинение в «руссофобии», которую обнаруживает не только в разбираемых им публицистических работах, но и «в театре, кино, песенках бардов, у эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах». Он признает: «Обычная форма такова, что можно еще и поспорить: это пьяница, хулиган, тупой чинуша вообще, не только русский», — но продолжает: «Но говор-то у них чисто русский. И имена — коренные русские, сейчас даже редко встречающиеся». Ясно, что уйти от такого обвинения в «руссофобии» не легче, чем от обвинения в «антисемитизме».

Шафаревич упрекает оппонентов в недостаточной толерантности, пишет, что они «не проявляют терпимости и уважения к чужому мнению, но без обиняков объявляют своих оппонентов фашистами и чуть ли не убийцами», а «любые неприятные высказывания перекрашивают под призывы к погрому». Но здесь же он поступает точно так же и приравнивает указанных авторов к создателям и руководителям ГУЛАГа, а по поводу не понравившегося ему выражения Н. Я. Мандельштам пишет, что в нем отражена та же психология, что у Троцкого⁷.

Шафаревич высмеивает данное Андреем Синявским объяснение психологического источника «русского недружелюбия к евреям»: тот «разъясняет, что сколько бы бед русский человек ни натворил, он просто не в силах постичь, что все это получилось от его же собственных действий, и валит грех на каких-то „вредителей“, в частности на евреев». Особенно возмущает Шафаревича, что упрек здесь подается под видом извинения: «Видите, — пишет Шафаревич, — автор даже берет русских под защиту, старается, сколь возможно, извинить их антисемитизм». По закону самофальсификации Шафаревич должен объяснить источник «руссофобии» у националистически настроенных евреев точно таким же образом. Действительно, он подробно перечисляет факты, свидетельствующие о причастности большого числа евреев к большевистским преступлениям, о выдающейся роли большевиков еврейского происхождения в создании и функционировании советского государства. И далее высказывает предположение, что нежелание вспомнить и признать участие в этих преступлениях приводит к попытке

⁷ А в дополнении к «Руссофобии» («Руссофобия: десять лет спустя» — Наш современник. 1991. № 12) Шафаревич использует тот же прием и сообщает, что Вас. Гроссман повторяет Розенберга, а Зоя Крахмальникова, выступившая с критическими замечаниями по поводу «Руссофобии», похожа на пуритан, готовых повесить человека и успокоить совесть подходящим библейским текстом.

свалить все на Россию: «если и было что-то не совсем гуманное, то в этом виноваты сами русские, такая у них страна... у них жестокость в крови, такова вся их история. Именно этот лейтмотив и придает такой яркий антирусский оттенок идеологии современного нам „Малого Народа“, именно поэтому возникает необходимость снова и снова доказывать жестокость и варварство русских». И, чтобы довершить самофальсификацию, Шафаревич тоже маскирует упрек под извинение: «В такой реакции нет ничего специфически еврейского: в прошлом каждого человека и каждого народа есть эпизоды, о которых вспоминать не хочется».

Шафаревич справедливо критикует взгляд Янова, согласно которому воззрение славянофилов исторически закономерно трансформировались в шовинистическую идеологию третьеразрядного публициста начала века С. Шарапова. «Но если он считал бы, что идеи славянофилов развивал Достоевский — как писатель, Соловьев — как философ, ... то картина получилась бы совсем другая», — указывает Шафаревич. И, словно пародируя Янова, рассматривает идеологию русских революционеров еврейского происхождения как продолжение ветхозаветного взгляда на жизнь. Именно влияние Ветхого Завета, по Шафаревичу, обусловило враждебную отчужденность евреев от окружающего мира и привело в соответствующих исторических условиях к участию большого числа евреев в кровавой русской революции. Тем самым отношение Шафаревича к ветхозаветной традиции оказывается точно таким же, как отношение Янова к наследию славянофилов.

Шафаревич критикует Янова за пристрастность, за то, что совершенно аналогичные явления (создание сильного национального государства с ведущей ролью религии) оцениваются Яновым положительно, когда речь идет о евреях и государстве Израиль, и как опасное проявление национализма, когда речь идет о такой перспективе для русских. Шафаревич же дает понять, что оценки должны быть противоположными, тем самым также обнаруживая пристрастность, хотя и с обратным знаком.

Шафаревич видит проявление «руссофобии» в неуважительном отношении к православию — традиционной религии русского народа, в стремлении искоренить его, так ярко проявившемся в деятельности Емельяна Ярославского. Но и сам рассматривает вошедшие в церковную практику тексты из Священного Писания всего лишь как проявление «еврейского национализма», словно вливаясь в хор профессиональных советских борцов с религией — наследников Е. Ярославского.

Заметив непоследовательность или противоречие в работах авторов критикуемого им направления, Шафаревич рассматривает это как логическую несообразность, демонстрирующую полную несостоятельность их взглядов — даже когда противоречащие друг другу взгляды высказывались совсем разными авторами. Но в тексте самого Шафаревича мы найдем совсем немало противоречащих друг другу положений. Например, в начале работы он указывает на трудность судить о жизненных взглядах нашего народа («социологические обследования на эту тему, кажется, не проводятся, да и сомнительно, что они дали бы ответ»). Но далее в ходе полемики с уверенностью судит об этих взглядах: «жизненные взгляды миллионов учителей, врачей, инженеров, агрономов и т.д. совершенно иные». Оценки, которые Шафаревич дает в разных местах своей работы, также часто противоречат одна другой: напр., в параграфе 4 Салтыков-Щедрин рассматривается как представитель «Малого Народа», а в параграфе 5 он уже «великий русский писатель».

Число противоречий увеличится, если мы привлечем к рассмотрению другие работы Шафаревича. Напр., в «Русофобии» Шафаревич объясняет, что такие дутые репутации, как у Фрейда, создаются и поддерживаются искусственно, при помощи клакеров. А в более ранней работе «Социализм» Шафаревич в значительной степени опирается на понятийный аппарат, разработанный Фрейдом, как бы сам выступая в роли клакера. В одной из ранних работ Шафаревич называл книгу Андрея Амальрика «одним из самых ярких и умных произведений, которые дала русская мысль после революции», а в «Русофобии» он вообще отлучает и книгу и ее автора от русской культуры. Разумеется, право Шафаревича — поменять свои взгляды, но ведь когда таким правом пользуются оппоненты, он считает это проявлением логической непоследовательности!

А если рассматривать не только тексты самого Шафаревича, но и публикации других авторов того же направления, то противоречия обнаружатся в еще большем количестве. Шафаревич отмечает, что взгляды демократических социалистов, участвующих в сборнике «Демократические альтернативы», — это «как раз то, против чего так страстно борется Янов. Как же тогда понять его участие в этом сборнике?» — недоумевает Шафаревич. Если же обратиться хотя бы к тем номерам «Нашего современника», в которых напечатана «Русофобия» (№ 6 и 11 за 1989 г.), мы увидим, что они изобилуют «как раз тем, против чего так страстно борется» Шафаревич (целый ряд

примеров этого приведен в моей статье в журнале «Знамя», 1990, № 6). И рикошетом отлетает к нему вопрос: «Как же тогда понять его участие в этом журнале?»⁸

Шафаревич пишет, что критикуемые им авторы, в частности Янов, претендуют на объективный научный анализ, но «не выдерживают роли профессора, бесстрастно анализирующего интересный социальный феномен» и подменяют его эмоциями и даже бранью. Сам Шафаревич декларирует, что воздерживается от оценочных суждений, не собирается никого судить, а только пытается «понять, что же происходило?». Но, как будто нарочно «не выдерживая этой роли», он использует столь энергичные эмоциональные выражения, как: «обивали пороги ОВИРа, добываясь своей визы», «злые и недобросовестные нападки», «злость и злопамятность, которые видны на каждой странице», «пробивной, умеющий втереться в моду драматург и сценарист».

По мнению Шафаревича, «именно этими эмоциями, а не элементарной неграмотностью» объясняются ошибки в работах авторов критикуемого им направления. Янов назвал Белинского славянофилом, и, по Шафаревичу, «скорее всего это проявление брезгливого отталкивания, когда и славянофилы и западники — одинаково омерзительны». Но, словно имитируя это «брезгливое отталкивание», Шафаревич приписывает стихотворение И. Губермана «поэту Н. Коржавину — Э. Манделю», как будто желая показать, что для него что Губерман, что Мандель — одинаково омерзительно.

В целом же создается впечатление, что именно самофальсификация является основным средством создания текста «Русофобии». Возникает вопрос: сознательно или бессознательно пользовался Шафаревич данным средством и каковы были цели или причины этого?

Здесь можно предложить различные ответы.

Может быть, сказался интерес Шафаревича — видного математика — к логическим парадоксам? Такой интерес Шафаревич проявлял уже давно. В интервью, данном газете «Книжное обозрение», Шафаревич отметил парадоксальность утверждения советской пропаганды, что Ленин никогда не ошибался — даже когда сам писал: «Как грубо мы ошиблись!» Другой при-

⁸ Следует подчеркнуть, что отмеченные противоречия приводят к самофальсификации не сами по себе, а лишь постольку, поскольку точно такие же противоречия в работах оппонентов Шафаревич считает недопустимыми и подвергает жестокой критике.

мер. Шафаревич обращает внимание на то, что ряд его оппонентов открыто пишет о необходимости *введения демократии вопреки воле народа*, что они парадоксальным образом предлагают *заставить русских быть свободными*⁹. Если мы примем это объяснение и решим, что и здесь Шафаревич увлечен логическими парадоксами, «Русофобия» предстанет грандиозным экспериментом на тему «самофальсификация».

Другое объяснение, также исходящее из того, что самофальсификация в «Русофобии» допущена намеренно, предполагает сознательное пародирование полемических приемов и логических построений оппонентов. Шафаревич как бы говорит Янову и другим: вот, смотрите, пользуясь вашими приемами, можно доказать все что угодно. Слабой стороной этого объяснения, как и предыдущего, является предположение о преднамеренном характере самофальсификации в «Русофобии». Вся общественная обстановка, сопутствовавшая публикации «Русофобии», и развернувшаяся в связи с ней полемика противоречат такому предположению.

Можно было бы предположить и бессознательную пародию. Такое объяснение соответствовало бы нередко наблюдаемому явлению: в пылу полемики стороны заимствуют друг у друга логические конструкции, полемические приемы и самый тон построения. То, что, требуя *Не кричите на меня!*, многие сами переходят на крик, объясняется не сознательным пародированием тона собеседника, а, скорее, бессознательным заимствованием. На ничем не обоснованные обвинения часто отвечают столь же необоснованными обвинениями, на брань — бранью; а если это сопровождается обсуждением тона и полемических приемов оппонента, велика вероятность того, что мы столкнемся с самофальсификацией. Однако такое простое объяснение, скорее всего, недостаточно: слишком часто и слишком

⁹ Аллюзии к логическим парадоксам иногда встречаются у Шафаревича и в менее явном виде. В статье «Русофобия: десять лет спустя» он пишет по поводу того, что я выразил сомнение в достоверности его сведений о Талмуде: «Так не поступил бы и средний готтентот». Я бы обиделся, но понял, что это отсылка к изданным математическим издательством письмам Льюиса Кэрролла, в которых Кэрролл пишет девочке, вовремя не вернувшей ему взятую почитать книгу: «Таких девочек не было даже во времена Нерона и Гелиогабала. Более того, сами Нерон и Гелиогабал никогда не забывали отдавать взятые книги. В этом я совершенно уверен, потому что ни Нерон, ни Гелиогабал никогда не держали в руках ни одной книги. В этом я также совершенно уверен, потому что в те времена книг еще не печатали».

ярко проявляется самофальсификация в «Русофобии». Возможно, корни здесь в общественной позиции, занимаемой Шафаревичем.

Для описания этой позиции обратимся к понятию «Малого Народа», активно используемому в «Русофобии». Шафаревич, заимствовавший это понятие из работ О. Кошена, понимает «Малый Народ» не в этническом смысле, а как идейную группу, противопоставившую себя остальной части народа («Большому Народу»). Жизненные установки этой группы противоположны тому, что составляло мировоззрение «Большого Народа», которое «Малый Народ» считает «мертвым грузом предрассудков» и от которого он стремится освободиться. Действительно, позиция описываемой Шафаревичем группы советской и эмигрантской интеллигенции во многих аспектах может быть представлена как позиция «Малого Народа» — по отношению ко всему русскому народу («Большому народу»). Эта позиция вызывает у Шафаревича бескомпромиссное оттачивание, воспринимается им как конгломерат предрассудков, рассеивающихся при свете разума. Такое отношение Шафаревича к взглядам окружающей его либеральной интеллигенции очень напоминает отношение «Малого Народа» к жизненным принципам «Большого Народа», так что мы могли бы охарактеризовать позицию Шафаревича и его последователей как позицию «Малого Малого Народа» (по отношению к либеральной интеллигенции — «Большому Малому Народу»), или как позицию «Малого Народа» в квадрате. Но тогда не удивительно, что все особенности публицистики «Малого Народа» находят отражение в публицистике Шафаревича в еще большей степени.

Мы видим, что анализ некоторых особенностей логики построения текста позволяет выявить скрытые аспекты позиции автора этого текста. Из исследований речевой коммуникации известно, что то, что говорящий сообщает посредством своего высказывания, может значительно отличаться от того, что он буквально говорит. К этому можно добавить, что нередко текст сообщает о позиции автора значительно больше того, что непосредственно сообщается в тексте.

В этом смысле может оказаться полезным логико-лингвистический анализ публицистических текстов. Он может прояснить в современной общественной ситуации многое из того, что не осознают или сознательно скрывают сами публицисты и общественные деятели.

5. Антикритика

Мне известны два печатных отклика на первое издание «Референциальных механизмов русского языка» [Шмелев 1996a] — рецензия в *Russian Linguistics* [Кронгауз 1997] и рецензия в журнале *Scando-Slavica* [Bílý 1999]. Я сердечно признателен авторам указанных рецензий за проявленное внимание к моей работе, и мне было приятно прочесть похвалы, сделанные по моему адресу. Здесь я получил счастливую возможность ответить на сделанные замечания.

Собственно, в рецензии М. А. Кронгауза единственное замечание сводилось к тому, что в книге «нет традиционно обязательных недочетов (не считая некоторого числа опечаток)». Что тут сказать? Те опечатки, которые удалось заметить, я исправил. Кроме того, за это время я обнаружил и то, что можно было бы отнести к «недочетам» в собственном смысле слова. Некоторые формулировки хотелось бы уточнить, некоторые разделы дополнить новым материалом, который, возможно, более убедительно подтверждал бы сделанные выводы. В частности, это касается описания автонимных употреблений языковых выражений и противопоставления именительного и творительного падежа в конструкциях с глаголами называния (см. [Шмелев 1996г]), особенностей семантики «прономинальных» существительных (см. [Шмелев 2000в]), референциальных ограничений на функционирование ряда языковых выражений, напр. так называемых «притяжательных прилагательных» (см. [Копчевская-Тамм, Шмелев 1994]). Но, как уже говорилось в «Предисловии», было принято решение не вторгаться в основной текст книги, поскольку оказалось, что одна переделка влечет за собою другую, так что в конце концов пришлось бы писать совсем новую работу о «референциальных механизмах» русского языка.

Зато, как мне кажется, я в состоянии ответить на критические замечания, сделанные в рецензии [Bílý 1999] — тем более, что это дает повод прояснить некоторые важные методологические моменты. Ключевое замечание сводится к трактовке «отрицательного языкового материала». Я позволю себе привести это замечание полностью:

A couple of times the reader may get the impression that, according to the author's opinion, if reality does not agree with the chart drawn by a linguist, it is the reality that is wrong. (Cf., e. g., the treatment of the «incorrect» example taken from V. Šklovskij on p. 79.) I am well aware that it is not possible to treat clearly

unintentional speech errors as data on a par with grammatically correct data. To separate faults from correct language use may be a tricky problem already with certain assumed morphological and syntactic errors. To regard instances where excerpted data do not agree with one's semantic claims as errors seems to me not only provocative but above all rather too shaky. The linguist claims that something is semantically wrong but the native speaker who has made the assumed error has no opportunity to explain what he/she has meant with the alleged error. The unavoidable consequence of such «discrimination of troublesome facts» is that any semantic description is always correct and cannot be falsified by any amount of excerpted or heard counterexamples [Bílý 1999: 147].

Это рассуждение приводит меня в недоумение. Кажется, что языковая реальность, к которой как будто апеллирует Милан Билы, включает подразделение высказываний на правильные и аномальные, предшествующее всякой работе лингвиста. Такое подразделение высказываний (реально встретившихся или искусственно сконструированных) не зависит от каких-либо априорных правил, сформулированных лингвистом, — в роли арбитра здесь выступает языковая интуиция носителей языка¹⁰. Лингвистическое описание, собственно, и должно отделить правильные высказывания от аномальных; оно в равной мере «не согласуется с реальностью», когда запрещает правильное высказывание и когда допускает аномальное, и запрет аномальных высказываний вовсе не является «дискриминацией трудных фактов» («трудным» высказывание, неприемлемое для носителей языка, будет как раз для лингвистического описания, которое его допустит в качестве правильного). Данный подход вовсе не ведет (да еще в качестве «неизбежного следствия») к ситуации, когда любое семантическое описание автоматически оказывается правильным и не может быть фальсифицировано посредством контрпримеров. Контрпримером, фальсифицирующим описание, будет запрещаемое

¹⁰ Разумеется, бывают случаи, когда интуиции разных носителей языка расходятся (так, в статье [Копчевская-Тамм, Шмелев 1994: 209] мы обратили внимание на то, что по поводу сочетания *Колумбово открытие Америки* одни носители языка категорически говорят: «Так по-русски сказать нельзя», — а другие: «А что тут может вызвать сомнения?»). По-видимому, такие случаи могут быть свидетельством нестабильности на соответствующем участке языковой системы, и адекватное лингвистическое описание должно отразить эту нестабильность, отказавшись от однозначной квалификации соответствующих примеров по шкале «правильно — неправильно».

им правильное высказывание или разрешаемое им аномальное. Напротив того, аномальное высказывание, запрещаемое описанием, не только не является контрпримером, но, наоборот, может свидетельствовать в пользу предложенного описания. Что касается до подхода, при котором любое произнесенное или написанное носителем языка высказывание объявляется семантически правильным, то при нем можно фальсифицировать любое семантическое описание (кроме тех, в которых декларируется, что сказать можно «что угодно и как угодно»): достаточно произнести в полемических целях одно из высказываний, трактуемых данным описанием как аномальные. Напр., какой бы набор лексических значений мы ни выделили у слова, всегда можно употребить его еще в каком-то значении, не учтенном описанием, — пусть даже это значение ему как единице языка вовсе не свойственно. Это будет подход в духе Humpty-Dumpty (из сказки Льюиса Кэрролла *Through the Looking Glass*), который, как мы помним, говорил: «When I use a word, it means just what I choose it to mean — neither more nor less».

Если же некоторое высказывание не было сконструировано в полемических целях, а встретилось в реальном тексте, это может служить некоторым свидетельством в пользу того, что это высказывание, возможно, и не воспринимается как аномальное всеми носителями языка. Но надежным доказательством правильности это быть не может. М. Билы сам признает, что в реальных текстах встречаются непреднамеренные речевые ошибки. Источником аномалий в реальных текстах может быть не только *lapsus linguae*; они могут возникнуть как следствие недостаточного знания языка (напр., в речи иностранца или, скажем, ребенка, плохо овладевшего каким-то трудным словом), языковой игры или художественного эксперимента, исторического развития языка (часто предложения из текстов XIX в. воспринимаются как аномалии с точки зрения современных норм). И, скажем, если какой-то носитель языка имитирует иностранный акцент в видах языковой игры, нет никаких оснований пересматривать по этому поводу фонетическое описание данного языка.

Наряду с абсолютными аномалиями, можно говорить и об «относительных аномалиях», т.е. предложениях, аномальных относительно некоторого заданного смысла или, что то же, выражающих не тот смысл, который имеет в виду говорящий [Апресян 1978]. В более ранней работе Ю. Д. Апресян [1974: 11] приводит пример относительной аномалии — следующее предложение, встретившееся в газете: *Преступники угнали*

несколько государственных и собственных машин. Он пишет: «Это предложение либо неправильно (надо было сказать *частных*, а не *собственных*), либо правильно, но нелепо (преступники обокрали себя, угнав свои собственные машины). Ошибка объясняется тем, что автор приведенного высказывания спутал два близких, но не совпадающих по значению слова: *частный* X = 'X, принадлежащий отдельному лицу' и *собственный* X = 'принадлежащий тому лицу, которое пользуется X-м'».

Конечно, характеризуя некоторое реально встретившееся высказывание как относительную аномалию, лингвист высказывает некоторое предположение касательно того смысла, который имел в виду автор данного высказывания, а это предположение может оказаться ложным. Может быть, автор хотел сказать именно то, что сказал? Но и в этом случае соответствующее высказывание не будет контрпримером к описанию, характеризующему его как относительную аномалию. Если, разбирая приведенный выше пример Ю. Д. Апресяна, вопреки очевидности предположить, что корреспондент хотел сказать, что преступники обокрали сами себя, то это никак не опровергнет описания, гласящего, что прилагательное *собственный* неправильно употреблять в значении 'частный'.

Пример из В. Шкловского (из раздела 3.2в), о котором пишет М. Билы, представляет собою именно относительную аномалию и в качестве таковой и приводится. Если предположить, что Шкловский не имел в виду тот смысл, который ожидался бы в контексте, а с художественными, экспериментальными или иными целями нарушил связность своего текста, то это никак не опровергнет предложенного в работе описания, в соответствии с которым слова типа *редко* всегда относятся к реме.

Собственно, все приведенные соображения уже были (хотя и с меньшей степенью подробности) сформулированы во Введении (раздел 0.2), и я возвращаюсь к этому лишь потому, что подход, при котором в качестве отрицательного языкового материала рассматриваются не только искусственно сконструированные, но и реально встретившиеся примеры, некоторым читателям кажется непривычным — хотя и с давних пор принимается во многих исследованиях. Вот и М. А. Кронгауз пишет [1997: 217], хотя и не в качестве замечания: «Специально следует отметить, что в качестве отрицательного языкового материала (т.е. языковых аномалий) рассматривались не только сконструированные примеры, но и реальные высказывания, в том числе и из художественной литературы, что тоже кажется весьма неожиданным».

Другое замечание из рецензии [Bílý 1999] состоит в том, что я ссылаюсь преимущественно на работы русских авторов. Он пишет:

Out of a total of twelve pages in the bibliography the «azbuka department» takes nine pages consisting almost exclusively of references to Russian authors {...}. The remaining three «western» pages deal mostly with Slavacists.

Вообще говоря, объектом исследования в моей работе был русский язык, основное внимание в ней уделено лингвосоциальным явлениям, и нет ничего удивительного в том, чтобы ссылаться преимущественно на славистов. В конце концов ни Р. Карнап, ни У. О. Куайн, ни А. Тарский, ни П. Ф. Стросон, ни Г. П. Грайс, в отсутствие ссылок на которых меня упрекает М. Билы, работ по русистике, насколько я знаю, не писали (впрочем, некоторый педантизм побуждает меня указать, что ссылки на Грайса у меня есть, и его известная работа «Логика и речевое общение» была включена в библиографию). Между тем общие референциальные противопоставления рассматриваются в работе лишь постольку, поскольку они могут быть использованы для объяснения референциальных механизмов русского языка¹¹.

Замечу, что литература по общей теории референции огромна. В написанном мною в соавторстве обзоре «Прагматические аспекты теории референции» [Булыгина, Шмелев 1984] рассмотрены лишь основные работы, опубликованные в период с 1970 по 1982 г., и список публикаций включает 140 наименований. Но вообще мне кажется, что цель ссылок в научных работах — вопреки тому, что предполагает М. Билы [Bílý 1999: 146], — состоит не в том, чтобы показать образованность. Ссылки на работы общего характера, не связанные с русским языковым материалом, делались в «Референциальных механизмах русского языка» лишь в тех случаях, когда это было необходимо по ходу дела.

Можно отметить, что упоминание в моей работе таких имен, как Г. Фреге, Б. Рассел, С. Крипке, К. Доннелан, Я. Хин-

¹¹ М. Билы даже обвинил меня в следовании старой советской традиции приписывания всех заслуживающих упоминания открытий русским исследователям. Замечательно, что он сделал это посредством самофальсифицируемого высказывания (обвинение начиналось словами «я не хочу обвинять...»), дав тем самым дополнительный материал для рассмотрения в приложении 4: «I wouldn't like to accuse the author of the old Soviet attitude according to which practically all inventions worth mentioning were made by Russians».

тика, Дж. Р. Серль, также вызвало недовольство рецензента. Недовольство касалось как того, что в ряде случаев такие упоминания не сопровождаются ссылками на конкретные публикации указанных авторов¹², так и того, что имена указываются в русской транскрипции, так что читатель может не опознать их [Bílý 1999: 146].

Здесь я могу указать на то, что речь идет о широко известных авторах, упоминаемых даже в стандартных учебниках по семантике. Их работы публиковались в многочисленных хрестоматиях, и высказанные ими идеи стали общим достоянием. В конце концов, когда в учебниках по математическому анализу говорится о теореме Вейерштрасса, формуле Маклорена или критерии Коши, нет никакой необходимости ссылаться на какие-либо публикации этих авторов или приводить оригинальное написание их имен. Точно так же, на мой взгляд, говоря о «классической» теории собственных имен, как она представлена в работах Б. Рассела, лингвист вправе обойтись без ссылок на конкретные публикации, в которых эта теория излагается. И я уж никак не думал, что русское написание указанных имен может вызвать у кого-то затруднение. Ведь вся книга написана по-русски и адресована читателям, для которых русский язык не составляет камня преткновения.

Частное замечание в обсуждаемой рецензии сводится к тому, что в моей работе теория собственных имен Дж. Серля изложена несколько упрощенно. Действительно, ответ Серля на вопрос о том, имеют ли смысл собственные имена, не столь однозначен, как в «классической» теории. В своей известной статье [Searle 1958] он пишет, что «в каком-то смысле они имеют смысл, а в каком-то смысле — нет». В статье [Шмелев 1989a] я признаю, что «точка зрения Дж. Серля представляется значительно более гибкой по сравнению с классическим концептуальным подходом»; однако против нее могут быть высказаны те же возражения, что и против «классической» теории (подробнее см. [Kripke 1980: 91]; [Шмелев 1989a: 51]). Но вообще-то обсуждение различных теорий собственных имен выходит далеко за рамки моей данной работы и вообще русистики.

Мне лестно, что М. Билы охарактеризовал мою работу как «ambitious book». Но я вынужден признать, что моя цель не

¹² М. Билы даже пишет, что эти имена «appear merely as names in the text (...) without any references in the bibliography» [Bílý 1999: 146]. Всякий легко может убедиться, что в библиографию включены две работы С. Крипке и по одной работе К. Доннелана и Дж. Серля и, соответственно, в тексте работы на них содержатся ссылки.

состояла в том чтобы написать «a book on reference to end all book on reference» [Віў 1999: 147]. Скорее я видел свою задачу в том, чтобы привлечь внимание лингвистов к некоторым фактам русского языка, ранее ускользавшим от их внимания или получавшим неточную интерпретацию (как об этом и говорится во Введении, в разделе 0.2). Я рад, если мне удалось хотя бы частично выполнить эту задачу.

Предметно-терминологический указатель

В указатель включены некоторые неспециализированные термины относящиеся к обсуждаемым в работе явлениям.

абстрактно-референтные имена 3.1в
автономные употребления 1.1б
актуальные имена 8.1в
атрибутивность 4.4бв
генерализованная референция 2.1
генерализованные имена 3.1в
гипотетическая референция 4.1в
гномические предикаты 2.2
демагогический прием 5.1в
денотат 1.1а
денотативное пространство 1.1а
дескриптивная референция 1.1в
дискретная квантификация 3.2б
дистрибутивная неопределенность 4.1а
дистрибутивная определенность 4.1а
дистрибутивная референция 4.1а
жесткий десигнатор 4.2в
идентификация 7.1в
индексальная референция 1.1в
индивид 2.1
индивидуальная референция 2.1
инкорпорированный объект 8.2а
интерпретация 5.1аб
качественные имена 8.1г
квазиавтономные употребления 1.1б
квантификация 3.2а
класс 2.1
корреферентность 1.1а
косвенно-вопросительное придаточное 5.2абв
логическая квантификация 3.2а
миропорождение 1.1е, 4.2абвг, 4.3аб
наглядно-примерная референция 4.1б
названия каузаторов 8.1б
недискретная квантификация 3.2б

неоказуальная теория референции 1.1а, 1.2в
неопределенность 3.1абв
нулевые местоимения 6.2абв
обобщенно-личные предложения 6.2в
общеродовые имена 3.1в
общеэкзистенциальные имена 3.1в
определенность 3.1абв
переменное денотативное пространство 4.1абв
прагматическая квантификация 3.2а
«прагматический» принцип употребления собственных имен 1.2б
прономинальные существительные 8.1ж
пропозициональные установки 4.2г
псевдоидентификация 7.2а
результативные имена 8.1б
релевантное денотативное пространство 1.1г
реляционные имена 8.1е
репортаж 5.1аб
референт 1.1а
референтность 4.4бв
«тавтологическое» высказывание 7.2б
термины родства 8.1е
транспозиция личных местоимений 6.1б
универсум речи 1.1г
фактивность 5.2в
функциональные имена 8.1д
«цитатное» употребление 1.1в
экстенционал 1.1а
эпизодические предикаты 2.2
de dicto 4.2абвг, 5.1аб
de re 4.2абвг, 5.1аб

ЧАСТЬ II

РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ МИРА

МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРИЮ

Введение

Можно ли понять русскую культуру через ключевые слова русского языка?

Вообще говоря, поставленный вопрос (отсылающий к известной книге А. Вежбицкой *Understanding Cultures through Their Key Words* [Wierzbicka 1997]) может ввести в заблуждение. Может показаться, что речь идет о каком-то заранее заданном множестве «ключевых» слов языка, относительно которых и ставится вопрос: не могут ли они способствовать пониманию культуры? Тогда неизбежно возникнет вопрос, как выявляется это множество и на каком основании мы относим то или иное слово к «ключевым».

На самом деле само понятие «ключевого» слова уже содержит в себе положительный ответ на заданный в заглавии вопрос. Можно считать лексическую единицу некоторого языка «ключевой», если она может служить своего рода ключом к пониманию каких-то важных особенностей культуры народа, пользующегося данным языком. Поэтому исходный вопрос можно было бы переформулировать так: могут ли лексические единицы русского языка быть ключом к пониманию русской культуры?

Здесь существенна еще одна оговорка. Речь, разумеется, не идет о понимании русской культуры во всей ее целостности. Так, важной составной частью русской культуры является, например, русский балет, но едва ли анализ лексической семантики русского языка даст нам ключ к пониманию каких-то его существенных характеристик. Речь должна идти о каких-то представлениях о мире, свойственных носителям русского языка и русской культуры и воспринимаемых ими как нечто самоочевидное. Эти представления находят отражение в семантике языковых единиц, так что, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка одновременно привыкает к ним, а будучи свойственными (или хотя бы привычными) всем

носителям языка, они оказываются определяющими для ряда особенностей культуры, пользующейся этим языком.

Иными словами, язык и образ мышления взаимосвязаны. С одной стороны, в языке находят отражения те черты внеязыковой действительности, которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком; с другой стороны, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. В этом смысле, слова, заключающие в себе лингвоспецифичные концепты, одновременно «отражают» и «формируют» образ мышления носителей языка.

Методологические замечания

Представление о языковой концептуализации мира, специфичной для каждого отдельного языка и находящей отражение в особенностях пользующейся этим языком культуры, не является чем-то новым. Оно восходит к идеям Гумбольдта, получившим свое крайнее выражение в рамках знаменитой гипотезы Сепира—Уорфа. Но не случайно именно в настоящее время эти идеи вновь обретают популярность. Современные методы изучения лексической семантики и результаты, полученные при их применении к материалу русского языка, показывают, что значение большого числа лексических единиц (в том числе и тех, которые на первый взгляд кажутся имеющими переводные эквиваленты в других языках) включает в себя лингвоспецифичные конфигурации идей. При этом нередко обнаруживается, что эти конфигурации смыслов соответствуют каким-то представлениям, которые традиционно принято считать характерными именно для «русского» взгляда на мир. В других случаях лексико-семантический анализ позволяет уточнить выводы этнокультурологов, полученные без привлечения лингвистических данных.

При этом особенно показательны нетривиальные семантические конфигурации, достаточно частотные в бытовом дискурсе (возможно, повторяющиеся в значении ряда слов) и относящиеся к неассертивным компонентам высказывания. Важно не то, что утверждают носители языка, а то, что они считают само собою разумеющимся, не видя необходимости специально останавливать на этом внимание. Так, часто цитируемая стро-

ка Тютчева *Умом Россию не понять* свидетельствует не столько о том, что в самооценке русских Россия является страной, которую трудно постичь, пользуясь лишь средствами рационального понимания (эта точка зрения неоднократно оспаривалась другими русскими авторами), сколько о том, что для русской языковой картины мира инструментом понимания является именно *ум*, а не, скажем, *сердце*, как для древнееврейской и арамейской картины мира (эта картина мира, в соответствии с которой «органом понимания» является именно *сердце*, представлена и в текстах на русском языке — а именно, в переводах Св. Писания, например: *да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем* — Ис 6: 10; *Еще ли не понимаете и не разумеете? еще ли окаменено у вас сердце?* — Мк 8: 17). Точно так же мы не можем делать вывод, что для русской языковой картины мира характерно представление, согласно которому чувство любви неподвластно воле человека и рациональным соображениям, на основании таких пословиц, как *Любовь зла, полюбишь и козла*, или ходячего изречения *Сердцу не прикажешь*, — то, что прямо утверждается, всегда может быть оспорено (правда, эти высказывания дают основание для определенных выводов относительно некоторых других представлений, принимаемых в русской языковой картине мира как данность, например 'козел менее всего достоин любви' или 'орган любви — сердце').

Точно так же, пытаясь понять особенности концептуализации *счастья* в русском языке, мы не можем опираться на рассуждения носителей русского языка, обсуждающих, в чем заключается подлинное счастье. Мнения разных носителей языка на этот счет могут расходиться (ср. известную фразу из «Чука и Гека» Гайдара: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему»); возможны и совсем экзотические высказывания, такие как, например: «А счастье, очевидно, приходит к людям таким жалким и голодным зверем, что нужно его тотчас же хорошенько накормить теплым человеческим мясом, чтобы он выиграл и запрыгал» (Тэффи). Да и в целом такие рассуждения в весьма малой степени обнаруживают лингвоспецифичность рассматриваемого концепта; они с минимальными потерями поддаются переводу на иностранные языки — конечно, при условии, что в соответствующем языке можно обнаружить сколько-нибудь близкий аналог русскому концепту *счастье*.

Сказанное не означает, что высказывания, в которых интересующие нас смыслы попадают в ассертивный компонент, вообще лишены какого бы то ни было интереса. Более того, в ряде случаев чрезвычайно показательными оказываются сужде-

ния носителей языка, в которых непосредственно обсуждается семантика языковых единиц, тем более что эти высказывания также оказываются лингвоспецифичными постольку, поскольку в них речь идет о семантике лингвоспецифичных языковых единиц (ср., например, многочисленные рассуждения русских авторов о различии концептов *свобода* и *воля*). Однако следует помнить, что такие суждения не могут служить прочным доказательством в тех случаях, когда обнаруживается, что они не соответствуют реальной речевой практике, осуществляемой носителями языка неосознанно.

Объект рассмотрения

При этом следует отдавать себе отчет в том, что воссоздаваемая таким образом языковая картина мира не является единственной картиной мира, которая может быть реконструирована на основе данных русского языка, взятого как целое. Скажем, терминологические системы различных наук также являются важной частью русского языка; однако в основе семантики научных терминов лежит не наивно-языковая, а научная картина мира, существующая в данный период времени. Своими особыми картинами мира характеризуются также различные диалекты русского языка, язык фольклора (см. многочисленные работы С. Е. Никитиной, посвященные реконструкции языковой картины мира русского фольклора вообще и русских духовных стихов в частности), городское просторечие, различные жаргоны, обценный дискурс (ср. замечания Ю. И. Левина [1998: 819] о мире, описываемом обценной лексикой, как о мире, «в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором „все расхищено, предано, продано“, в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием»).

Иногда различия между разными языковыми картинами мира внутри одного языка оказываются больше, чем межъязыковые различия. Так, в результате того, что характерное для средневекового миропонимания христианское восприятие *гордости* как первого из смертных грехов и источника всех пороков постепенно утрачивает свою роль в секулярной системе моральных ценностей, слова со значением 'гордый' имеют в большинстве европейских языков различное значение в по-

вседневном языке и в языке церковной проповеди (при этом различия не сводятся к различиям в оценочном компоненте). Да и в целом различия между этическими представлениями, отраженными в разных языках, несомненно существуют; однако ничуть не менее глубоки различия, которые могут быть проведены между этическими системами, сосуществующими в рамках одного языка и находящими свое отражение в семантике языковых единиц, используемых в подъязыках, обслуживающих соответствующие системы. Границы между разными системами этики находят отражение в языке, но не совпадают с границами между языками. И поэтому мы можем (разумеется, с некоторой долей условности) говорить о традиционных христианских этических представлениях, современных бытовых представлениях и т.п.; но едва ли есть основания выделять особую «русскую наивно-языковую этику», «англосаксонскую наивно-языковую этику», «французскую наивно-языковую этику» без дальнейших уточнений.

Следует иметь в виду, что объектом рассмотрения в настоящей книге служит семантика языковых единиц, используемых в повседневном языке современного русского города и находящихся свое отражение в бытовой речи, в публицистике, в произведениях массовой культуры, но также и в художественной литературе — постольку, поскольку она пользуется тем же повседневным русским языком.

Сквозные мотивы русской языковой картины мира

Особый интерес представляют те конфигурации смыслов, которые повторяются в качестве фоновых в целом ряде языковых единиц. Так, проанализировав ряд русских слов, Ю. Д. Апресян сформулировал некоторые «основополагающие заповеди русской наивно-языковой этики» [1995: 351], такие как, например: «„нехорошо преследовать узкокорыстные цели“ (*домогаться, лстать, сулить*); „нехорошо вторгаться в частную жизнь других людей“ (*подсматривать, подслушивать, соглядатель, любопытство*); „нехорошо унижать достоинство других людей“ (*помыкать, глумиться*); „нехорошо забывать о своих чести и достоинстве“ (*пресмыкаться, подобострастный*); „нехорошо превеличивать свои достоинства и чужие недостатки“ (*хвастаться, рисоваться, кичиться, чернить*); „нехорошо рассказывать третьим лицам о том, что нам не нравится в поведении и поступ-

ках наших ближних“ (*ябедничать, фискалить*)...». Сами по себе эти заповеди, вероятно, не являются исключительной принадлежностью русской языковой картины мира (Ю. Д. Апресян даже пишет: «...все эти заповеди — не более чем прописные истины» [1995: 351]). Однако анализ русской лексики позволяет выявить целый ряд мотивов, устойчиво повторяющихся в значении многих русских лексических единиц и фразеологизмов, которые представляются специфичными именно для русского видения мира и русской культуры. Сюда относятся, например, следующие представления: ‘в жизни всегда может случиться нечто непредвиденное’ (*если что, в случае чего, вдруг*), но при этом ‘всего все равно не предусмотреть’ (*авось*); ‘чтобы сделать что-то, бывает необходимо предварительно мобилизовать внутренние ресурсы, а это не всегда легко’ (*неохота, собираться/собраться, выбраться*), но зато ‘человек, которому удалось мобилизовать внутренние ресурсы, может сделать очень многое’ (*заодно*); ‘человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо’ (*простор, даль, ширь, приволье, раздолье*), но ‘необжитое пространство может приводить к душевному дискомфорту’ (*неприкаянный, маяться, не находить себе места*); ‘хорошо, когда человек бескорыстен и даже нерасчетлив’ (*мелочность, широта, размах*).

Заметим, что специальное внимание к тем аспектам русской языковой картины мира, которые отличают ее от концептуализации мира, представленной в других языках, может иметь значение, выходящее за рамки лингвистики. Не случайно, размышляя об уроках истории Вавилонской башни, рассказанной в Книге Бытия, В. Н. Топоров [1989б: 9—13] отмечал, что помощь Бога заблудшим состояла в том, что, вступив на путь культурно-языковой дифференциации, люди должны были осознать факт многообразия языков и культур, отказаться от восприятия своего взгляда на мир как единственно возможного или единственно верного, такого, который «не с чем сравнить, соотнести, сопоставить и нечем проконтролировать, поправить, поддержать, продублировать» (что «питает как на дрожжах поднимающуюся гордыню»), и научиться жить в условиях культурно-языкового плюрализма, «увидеть не только „другое“, но через него и себя, по крайней мере ощутить свое различие, свою специфику, свою характерность — и в достоинствах, и в недостатках, которые в своей совокупности образуют неповторимость данного языка и данной культуры, уникальность, распространяющуюся в конце концов на весь массив языков и культур».

Строение человека в русской языковой картине мира*

Общие принципы

Русская языковая модель человека определяется двумя противопоставлениями: (1) идеального и материального и (2) интеллектуального и эмоционального. Первое противопоставление отражается в языке как противопоставление *духа* и *плоти*, второе — как противопоставление *ума* и *сердца*. При этом разные стороны внутренней жизни человека могут выступать несогласованно: бывает, что *ум с сердцем не в ладу*; ср. *Умом я это понимаю, а сердцем принять не могу*. При этом, вообще говоря, разум призван контролировать сердце (хотя это и не всегда удается): об этом свидетельствуют как возможность высказываний вроде *Его сердце послушно разуму*, так и изречения типа *Сердцу не прикажешь*, равно как и то, что не говорят ^{??}*Сердце приказало разуму*; ^{??}*Разум слушался (или не слушался) сердца*. При этом центральное положение в русской языковой модели занимает *душа*, которая соединяет в себе свойства материального и идеального, интеллектуального и эмоционального.

Заметим, что *сердце*, которое вообще «специализируется» на эмоциях, является, в соответствии с общеевропейскими представлениями, главным органом любви (в частности, к человеку противоположного пола — ср. [Урысон 1995а: 192]): ср. такие выражения, как *Его сердце принадлежит любимой*; *отдать сердце*; *предложить руку и сердце*; *дама сердца* (как известно, сердце рыцаря должно принадлежать Даме, а душа — Богу); *покоритель сердец* и т. д. *Проходите, гражданин, в сердце вы моем один, граждане, мест свободных нет*, — говорит в советской песне кондукторша трамвая, влюбившаяся в одного из пассажиров. Не

* В основу данной главы положена моя работа «*Дух, душа и тело в свете данных русского языка*» [Шмелев 1997б].

случайно в поэме Маяковского «Люблю» именно *сердце* упоминается постоянно одновременно в качестве органа и в качестве метонимического показателя любви:

Любовь любому рожденному дадена, — / но... / со дня на день / очерствеваает **сердечная** почва. / На **сердце** тело надето. / На теле рубаха.

Дивилось солнце: / «Чуть виден весь-то! / А тоже / с **сердечком**...»

В **сердца**, / в часишки / любовницы тикают. / В восторге партнеры любовного ложа. / Столиц **сердцебиение** дикое / ловил я, / Страстную площадью лежа. / Враспашку — / **сердце** почти что снаружи — / себя открываю и солнцу и луже. / (...) / Отныне я **сердцем** править не властен. / У прочих знаю **сердца** дом я. / Оно в груди — любому известно! / На мне ж / с ума сошла анатомия. / Сплошное **сердце** — / гудит повсеместно.

...комочек **сердечный** разросся громадой: / громада любовь, / громада ненависть.

...тащусь **сердечным** придатком...

Взяла, / отобрала **сердце** / и просто / пошла играть — / как девочка мячиком.

Один не смогу — / не снесу рояля / (тем более — / несоргаемый шкаф). / А если не шкаф, / не рояль, / то я ли / **сердце** снес бы, обратно взяв.

Скупой спускается пушкинский рыцарь / подвалом своим любоваться и рыться. / Так я / к тебе возвращаюсь, любимая. / Мое это **сердце**, / люблюсь моим я.

Такое представление о роли сердца во внутренней жизни человека вовсе не является универсальным. Как уже говорилось во «Введении», в древнееврейской и арамейской картине мира сердце является органом понимания, и, скажем, в русском переводе Священного Писания словосочетание *ожесточение сердец* указывает в первую очередь на непонятливость, а не на бесчувствие и жестокость, как это может казаться современному русскому читателю. Впрочем, древнееврейской языковой картине мира, по-видимому, было вообще чуждо жесткое разграничение интеллектуальной и эмоциональной стороны внутренней жизни.

Дух и душа

Для христианской антропологии человек имеет тройственное строение (*дух — душа — тело*). Для наивно-языкового сознания

указанную триаду заменяют две оппозиции: *дух* — *плоть* и *душа* — *тело*. Первые члены этих оппозиций (*дух* и *душа*) указывают на нематериальное начало в человеке, а вторые члены (*плоть* и *тело*) — на материальное начало.

В то же время не случайно как для нематериального, так и для материального начала человека в русском языке есть не по одному, а по два слова. Так, почти нет контекстов, в которых слова *дух* и *душа* были бы взаимозаменяемы — например, можно *упасть духом* (но не **душою*), но *тяжело* (*легко, весело*) может быть только *на душе* (не **на духе*). Если же в каком-то контексте можно употребить как то, так и другое слово, смысл кардинальным образом меняется — так, выражение *в душе* указывает на «тайные» мысли человека (ср. *Она говорила: «Как я рада, что вы зашли», — а в душе думала: «Как это неуместно!»*), а выражение *в духе* — на хорошее настроение человека (чаще это выражение употребляется с отрицанием — *не в духе*).

Дело, по-видимому, в том, что *душа* в наивно-языковом представлении воспринимается как своего рода невидимый орган, локализованный где-то в груди и «заведующий» внутренней жизнью человека (ср. [Урысон 1995а]). Каждый человек обладает уникальной, неповторимой душой — сколько людей, столько душ, и поэтому людей удобно считать *по душам*. Именно такой способ счета и принят в России. Поэтому употребительное во многих западноевропейских языках латинское выражение *per capita* (буквально 'на (одну) голову') переводится на русский язык как *на душу населения*.

При этом *душа* воспринимается как некотороеместилище внутренних состояний (именно тот факт, что *душа* концептуализуется какместилище, дал Пастернаку возможность сказать о своей душе, что она стала *усыпальницей замученных живьем* и теперь стоит *могильной урной, вмещающей их прах*). Скрытые от посторонних мысли и чувства находятся в глубине этогоместилища (*в душе* или *в глубине души*), а те состояния, которые имеют внешние проявления или, по крайней мере, не противоречат таковым, находятся где-то на его поверхности (*на душе*)¹. Поведать другому свои даже самые сокровенные мысли или чувства — значит *раскрыть душу*, а нежелательное вмеща-

¹ Потому, когда Е. В. Урысон [1995а: 192] пишет, что то, что происходит *в душе* человека, скрыто от посторонних глаз, это верно лишь постольку, поскольку речь идет о сочетании слова *душа* с предложением, но не применительно ко всем внутренним состояниям, связанным с *душой*; приводимая там же [Урысон 1995а: 192] русская пословица *Чужая душа — потемки* ничего не доказывает, поскольку соответствующе-

тельство в частную жизнь человека, пристаивания с целью выведать те мысли и чувства, которые он прячет от посторонних, описывается выражением *лезть в душу*. Если же неосторожным словом или поступком мы оскорбляем что-то, что человек бережно хранит *в тайниках своей души*, то мы *плюем ему в душу*.

Во многих отношениях, поскольку речь идет о роли соответствующего органа во внутренней жизни человека, нематериальная *душа* подобна такому материальному органу, как *сердце* (ср. [Урысон 1995a]), и, напротив, имеет мало общего с человеческим *духом*. *Дух* вообще не концептуализуется как орган. Скорее это некоторая нематериальная субстанция, которая не столько находится внутри человека, сколько окружает его и его душу, как своего рода ореол (как сказано у Байрона по несколько другому поводу, *a glory circling round the soul*). Эта субстанция может проникать туда, где человек отсутствует физически, и оставаться там, откуда человек уже ушел, в виде своего рода воспоминания о нем. *Чтоб духу твоего здесь не было!* — говорят тому, кого не желают видеть в данном месте, и это означает гиперболический запрет не только физического присутствия, но и малейших нематериальных следов человека, желание уничтожить само воспоминание о нем.

Поскольку *дух* является невесомой, летучей субстанцией, то человек может подниматься на большую высоту (в метафорическом смысле) именно при помощи духа (или, как говорят, *воспарять духом*). С другой стороны, человек может и *упасть духом*, и это означает, что он пришел в уныние, при котором достичь *высот человеческого духа* уже невозможно. Слово *душа* в стандартном употреблении не используется в контекстах подобного рода. Мы не можем ни *воспарять душой*, ни *падать душой*.

Правда, о сильно испугавшемся человеке говорят, что у него *душа в пятки ушла*. Здесь речь идет о том, что *душа*, охваченная страхом, переместилась не просто вниз, но, что важнее, из места своей постоянной локализации (из груди) в новое, неподходящее место. *Дух* не имеет постоянной локализации в теле человека, поэтому не имеют образной мотивации и не используются такие выражения, как **дух ушел в пятки* (или куда-либо еще). Точно так же о сильно встревоженном человеке говорят, что у него *душа не на месте*, *дух* же, не имея постоянной локализации, не может быть *не на месте*.

щее утверждение находится в ней в ассерции и легко может быть оспорено другими носителями языка.

Для души существенно не только местонахождение, но и положение: говоря о симпатиях и антипатиях человека, используют выражение *душа лежит к кому-либо* или *чему-либо*. Для духа расположение также важно, недаром говорят о *хорошем* или *дурном расположении духа*; но само выражение показывает, что речь идет не о том, что дух, находящийся внутри человека, как-либо *расположен*, а как бы о некоей субстанции, окружающей человека, который может *пребывать* в том или ином *расположении духа*.

Дух представляет собою именно субстанцию, он — в отличие от души — плохо поддается счету. Из этого вытекает целый ряд отличий в употреблении слов *дух* и *душа*. Если выражение *ни души* означает просто 'никого' (поскольку, как уже говорилось, людей обычно считают «по душам»), то *ни духу* используется лишь в таких устойчивых выражениях, как *ни слуху ни духу* (или в варианте, приводимом В. И. Далем, *ни хуху, ни духу*), и означает отсутствие малейших вестей и даже воспоминания о человеке (ср. также приводимое В. И. Далем выражение *ни слуху, ни помину*). Души в ситуации счета означает просто 'люди' (например, в выражении *столько-то душ*), и тогда душа выступает заместителем всего человека, включая тело; дух включает тело, подчеркивает нематериальность, «бесплотность», и поэтому *духи* означает 'призраки', 'привидения'. Душа человека автономна и индивидуальна, тогда как человеческий дух существует прежде всего как часть некоторой межличностной субстанции или, если использовать выражение из «Ракового корпуса», *осколочек Мирового Духа*. Приобщенность к данной межличностной субстанции позволяет человеку черпать из нее, и часто, для того чтобы предпринять какое-либо решительное действие, бывает необходимо *набраться духу* или *собраться с духом* (ср. также упоминавшиеся выражения *набраться духа, не хватает духа*). Если же человек не сумел этого сделать, то можно сказать, что ему *не хватило духу*. Роль души в человеческой деятельности иная. Не говорят **набраться души* или **не хватило души*. Существенно не наличие души у человека, а ее участие в конкретном действии: человек может *вкладывать душу* в какое-либо дело, делать его *с душой* (или *без души*). В критических ситуациях человеку бывает необходимо *присутствие духа* (но нельзя сказать **присутствие души*: ведь душа у человека есть всегда, и притом как единое целое).

З а м е ч а н и е. В этом отношении дух напоминает силы, которых тоже бывает полезно *набраться*, перед тем как что-либо предпринять, и которых также может *не хватить* (ср. [Урысон 1997]).

Однако *силы* в гораздо большей степени мыслятся как некий ресурс, который *пополняется, копится, расходуется и восстанавливается* (не говорят **пополнить дух, *копить дух* и т.д.).

Если *душа* человека формирует его личность, будучи вместилищем его сокровенных мыслей и чувств, то *дух* составляет его внутренний стержень. Поэтому в ситуации борьбы часто бывает важно *сломить дух* противника, после чего он утрачивает волю к победе или даже впадает в отчаяние. Не случайно боевая подготовка издавна — «от Саргона и Ассурбанипала до Вильгельма II», как говорил один персонаж из «Трех разговоров» Владимира Соловьева, — состояла в том, чтобы (опять пользуясь словами этого персонажа) «поддерживать и укреплять в своих войсках... *боевой дух*».

Для человека важно *горение духа*. Если *дух угасает*, это еще не свидетельствует пусть не об отчаянии, но все же о некоторой потере энтузиазма. «Горение души» (выражение *душа горит*) — это нечто совсем другое; оно свидетельствует лишь об особом рода энтузиазме — о желании выпить².

Материальный состав человека

Материальное и психическое в русской языковой картине мира

Начнем с утверждения, которое может показаться парадоксальным. Оно состоит в том, что уникальность человека, отличающую его от животного мира, русский язык видит не столько в его интеллектуальных или душевных качествах, сколько в особенностях его строения и в функциях составляющих его частей, в частности в строении тела³.

² О том, что слово *душа* (добавим: в отличие от слова *дух*) может употребляться, когда речь идет о физиологических желаниях или потребностях см. [Урысон 1995а: 194].

Вообще, *душа*, в отличие от *духа*, неразрывно связана с *телом*. Родство *души* и *тела* проявляется, в частности, в возможности синонимии таких выражений, как, скажем, *телогрейка* и *душегрейка*. О том, что *душа* воспринимается почти как часть тела, как некий внутренний орган, свидетельствует и то, что с точки зрения языка она имеет «волоконистое» строение, состоит из *фибр* (ср. устойчивое выражение *всеми фибрами души*). Поэтому *душа* может *болеть* за кого-то (невозможно **дух болит*).

³ Ср.: «Тело человека — вот что первое всего называем мы человеком» (*свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 264*).

З а м е ч а н и е. Кстати, даже само слово *тело* нормально употребляется лишь по отношению к человеку. Предложение *В овраге обнаружили мертвое тело* не может быть употреблено, если речь идет о трупе животного. Правда, сочувствуя замерзшему животному, особенно маленькому или беззащитному, мы можем сказать о нем *дрожит всем телом*; однако уже куда менее вероятно сказать о животном что-нибудь вроде *по телу пробежала дрожь*. Строки Пушкина *И ветхие кости ослицы встанут, И телом оделись, и рев издают* воспринимаются как поэтическое отклонение от стандарта.

Мы можем частично персонифицировать животное, особенно домашнее, приписывая ему те или иные «душевные» качества; но если такие эпитеты, как *умный, хитрый, добрый, ласковый, верный* и т.д., применимы не только к человеку, но и, скажем, к собаке, то мы не скажем о собаке, что у нее *чуткая душа, доброе сердце, стынет кровь* или что *гости сидят у нее в печенках*, не предложим ей *пораскинуть мозгами*. Собака может что-то *забыть*, но не может *выкинуть из головы*, мы не скажем, что у нее нечто *из головы вылетело*. Животным может приписываться ум (ср. [Урысон 1995б: 520]), они даже бывают способны думать (в повести Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» герой говорит «ученой» собаке Лобзику: *Подумай хорошенько*, — и продолжает, обращаясь к зрителям: *Подождите, ребята, сейчас он подумает и решит правильно*); но странно было бы о собаке сказать *Сейчас она пошевелит мозгами*.

Сказанное не означает, что, пользуясь языком, мы отказываем животным в наличии органов, аналогичных соответствующим человеческим. Мы знаем, что у многих животных есть *голова, сердце, кровь, печень, мозги*; но мы не готовы связать с этими органами «душевную» жизнь животного. Собака может быть доброй, а кроме того, мы знаем, что у нее есть сердце; однако эти два факта существуют в сознании носителей языка независимо друг от друга. Мы не назовем животное *бессердечным*; оно может быть *глупым*, но не *безмозглым*; правда, существует выражение *безмозглая курица*, но оно используется только по отношению к человеку, его нельзя употребить по отношению к курице или какому бы то ни было другому животному.

Конечно, все сказанное касается лишь языкового стандарта, который может нарушаться со специальными целями. В бытовом языке такое нарушение может выступать как форма языковой игры; в художественном тексте оно возможно как свидетельство «образной» персонификации, когда животному не просто приписываются душевные качества, свойственные

человеку, но о нем намеренно говорится в тех выражениях, в каких принято говорить о человеке.

Тело и плоть

Как уже говорилось, в основе наивно-языковых представлений о *душе* и *духе* лежат оппозиции *дух — плоть* и *душа — тело*. Имеет место определенный параллелизм указанных оппозиций: *плоть* относится к *телу* примерно так же, как *дух* к *душе*. *Тело*, как и *душа*, составляет принадлежность отдельно взятого человека⁴; *плоть*, как и *дух*, представляет собою несчитаемую субстанцию. При этом названное различие выражено в словах *тело* и *плоть* еще ярче, нежели в словах *душа* и *дух*. Если мы еще можем говорить, хотя бы в поэтической или философской речи, о «мировой душе», то странно было бы использовать сочетание ²*мировое тело*. Если для слова *дух* возможно употребление во множественном числе, хотя и с несколько сдвинутым значением ('призрак'), то *плоть* представляет собою вещественное существительное, всегда соотносящееся с субстанцией и потому неупотребительное во множественном числе. В каком-то смысле *тело* как форма состоит из *плоти* как субстанции⁵.

Но оппозиции *дух — плоть* и *душа — тело* все же не полностью параллельны. Для *души* и *тела* важно то, что они образуют неразрывное единство, вместе составляя целостного человека; для *духа* и *плоти* значительно важнее то, что они противопоставляются друг другу, и часто это противопоставление понимается как модель более общего противопоставления идеального и материального. *Тело* может восприниматься как вместилище *души*, тогда как *плоть* имеет коннотации чего-то лишнего одухотворенности. Именно в силу своей противопоставленности *духу* *плоть* может получать отрицательную этическую оценку. Характерно следующее рассуждение В. А. Жуковского: «...зависимость души как от тела, так и от внешнего телесного мира... есть то, что мы называем *плотью*... Мы должны произвольно охранять духовность души своей и отдавать от нее все плотское». Ср. выражение *плоть одолела*,

⁴ «Тело — ...нечто индивидуальное, нечто особенное. ...Индивидуальность пронизывает собою каждый орган тела... везде тут за безличным веществом глядит на нас единая личность» (свят. Павел Флоренский. Указ. соч. С. 265).

⁵ «...Что же такое *тело*? Не вещество человеческого организма... а форму его... это-то и зовем мы *телом*» (Там же. С. 264).

которое В. И. Даль толкует: «скотские побуждения». В целом «дух тянет горе, плоть долу».

Впрочем, отрицательная оценка у *плоти* появляется далеко не во всех контекстах. Ср. оценочно нейтральное (и часто даже скорее положительно окрашенное) выражение *плоть от плоти*, употребляемое как в «прямом» смысле (о родном ребенке), так и метафорически (как в примере из словаря [Молотков 1986]: *Мы — плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники*).

Кровь

Наряду с *плотью* материальная составляющая человека включает также *кровь*, которая также противостоит *духу* в некоторых контекстах (иногда, говоря о материальном начале в человеке, используют выражение *плоть и кровь*; это же выражение используется метафорически, как относящееся к материальному воплощению вообще, — ср. *облечь(ся) в плоть и кровь*). Но если *плоть* относится к низшему в человеке и, как правило, имеет отрицательное воздействие на его внутреннюю жизнь, то роль *крови* более разнообразна.

Прежде всего, *кровь* служит носителем генетической информации. Говорят о *кровных родственниках*, *кровном родстве*; по отношению к родственникам используется метонимическое обозначение *родная кровь*, ср. *Где ж вы, братья, братцы, моя родная кровь?* (Твардовский); *брат по крови* может противопоставляться *брату по духу*; ср. также *его связывает с детьми не столько кровь, сколько дух* (Белинский). Говоря об этническом происхождении, используют такие характерные конструкции, как *В его жилах течет цыганская кровь*, а о проснувшихся родственных или национальных чувствах иногда говорят: *Кровь заговорила* (ср. выражение *голос крови*). Метафорическое выражение *это у него в крови* указывает на то, что нечто так свойственно ему, как если бы было заложено в него генетически. Ср. также выражение *кровь от крови*, используемое по отношению к родным детям и метафорически — когда говорят о неразрывной связи, идейном родстве, как в примере из словаря [Молотков 1986]: *Мы, писатели, — плоть от плоти, кровь от крови нашей великой страны* (А. Н. Толстой).

С другой стороны, *кровь* является носителем самых сильных эмоций: страсти, гнева, ярости — ср. такие выражения, как *кровь бросилась в голову*, *кровь кипит*. Раздражая человека, мы *портим* ему *кровь*. Свойственное молодости безотчетное томление, склоняющее человека к удалым поступкам или лю-

бовным приключениям, описывается при помощи выражения *кровь израет*. Человек с *холодной кровью* не подвержен действию страстей, при всех обстоятельствах он сохраняет *хладнокровие*, но он не способен и к любви: ср. *Кровь моя холодна*. {...} *Я не люблю людей* (Бродский). Впрочем, у всякого человека *кровь стынет* от ужаса и некоторых других сильных чувств (*И нынче — Боже! — стынет кровь, Как только вспомню взгляд холодный*, — говорила пушкинская Татьяна), и иногда застывшая кровь не противоречит чувству любви: ср. *Ёмкими словами выразить не в силах* *Всю любовь и нежность — кровь застыла в жилах... Умомо-мрачительно я тебя люблю* (из одного акростиха). *Кровь* также является носителем того, что человек *принимает близко к сердцу*, чувств, которые сильнее всего (*кровно*) его затрагивают. Именно в этом смысле говорят о *кровных интересах* (ср. *Он кровно в этом заинтересован*).

З а м е ч а н и е. Поскольку в русской языковой модели человека именно *кровь* — носитель сильных эмоций, то, что *сердце* человека является одновременно органом чувств и органом кровообращения, не является парадоксальным совмещением двух разнородных функций. Поэтому не обязательно видеть в выражениях типа *сердце кровью обливается* контаминацию двух разных аспектов *сердца*. Показательно, что в словарной статье Л. Н. Иорданской [Мельчук, Жолковский 1984], в которой строго разграничиваются *сердце* как орган кровообращения (*сердце 1а*) и *сердце* как орган чувств и орган восприятия неявных фактов (*сердце 3*), не всегда ясны критерии отнесения иллюстративного материала к тому или другому значению: почему, собственно, примеры *Пришла домой, а детей нет! У меня сердце так и оборвалось!*; *Смотреть на него не могу — сердце кровью обливается!* или *Но поздно; время ехать. Сжалось В нем сердце, полное тоской; Прощаясь с девицей молодой, Оно как будто разрывалось* (Пушкин) приводятся как иллюстрации употребления лексемы *сердце 1а*, а пример *И вот это горячее сердце остановилось* — как пример на *сердце 3* (впрочем, по поводу последнего примера Л. Н. Иорданская сама справедливо отмечает, что *сердце* как «фиктивный орган чувств... отождествляется с реальным органом кровообращения» [Мельчук, Жолковский 1984: 744])? В наивно-языковой модели человека противоречия между понятиями 'орган кровообращения' и 'орган чувств' нет: *кровь* и является носителем сильных чувств.

Кровь участвует и в оппозиции *голова — сердце*, посредством которой в языковой модели человека выражается противопоставление рационального и эмоционального. Когда *разум* не только не контролирует чувства (как должно было бы быть в норме), но, напротив того, чувства берут верх над разумом, так

что человек действует как бы в состоянии аффекта, то говорят: *кровь бросилась в голову*. Таким образом, *кровь* выступает в роли средства, позволяющего *сердцу* одержать победу над *разумом*⁶.

Кровь — это также то, что человек *проливает* в ситуации насильственной смерти (слово *кровапролитие* обычно обозначает массовое убийство людей). Отсюда само слово *кровь* метонимически используется для обозначения кровапролития, насильственного лишения жизни (ср. *Только не надо крови; Он так рвется к власти, что не остановится и перед кровью* и т. п.). Впрочем, не всегда «пролитие крови» свидетельствует о насильственной смерти; человек может говорить *Я за вас кровь проливал*, при этом ни разу не будучи даже ранен. Занятый тяжелым трудом человек *проливает пот и кровь* (ср. *добыто потом и кровью*), так что, по данным словарей, *кровный* в сочетаниях типа *кровный заработок* означает 'добытый тяжелым трудом' (ср. также пример, сообщенный И. Б. Левонтиной, — название книги Метченко «*Кровное, завоеванное*»). Преодоление препятствий может сопровождаться и кровотечением из носу — отсюда выражение *кровь из носу* 'несмотря ни на какие трудности'. *Проливая кровь*, человек хотя бы частично растает с самым ценным, без чего невозможна жизнь. Поэтому о безжалостных эксплуататорах, заставляющих людей *проливать пот и кровь*, говорят, что они *пьют* (или *сосут*) *чужую кровь* (ср. *Довольно нашей кровушки попили!*), называют их *кровопийцами* или *кровососами*⁷.

Указанные представления о функциях *крови* определенным образом коррелируют друг с другом. Так, в выражениях *кровная связь*, *кровно связаны* отражена как идея чего-то подобного

⁶ Впрочем, человек может позволить *сердцу* одержать верх над *головой* не только в состоянии аффекта. Иногда к такому результату приводит сознательный нравственный выбор, как в сцене из романа «В круге первом», когда Нержин решал, принять ли ему предложение Яконова заняться криптографией: *Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца — отойди от меня, сатана! Мы помним, что Нержин последовал «доводам сердца».*

⁷ Толковые словари приравнивают значения этих слов, указывая, например: «**КРОВОСОС** (...) Прост. То же, что **кровопийца**». Но представляется, что значение слова *кровопийца* несколько шире, оно может применяться по отношению к человеку, склонному к *кровапролитию* и даже находящему в нем удовольствие, ср., например: *Старик и сегодня настаивал на том, что... надобно тебя пытать и повесить, но я не согласился... Ты видишь, что я не такой еще кровопийца* (Пушкин), а *кровосос* используется преимущественно по отношению к жестоким эксплуататорам.

близости кровных родственников, так и идея эмоциональной близости (а сквозь эти значения может просвечивать и идея проливаемой крови, ср. следующее рассуждение В. Н. Топорова: *Жизненная судьба отца Александра Меня и его конец снова возвращают нас к тому узлу, который так кровно (кровью сердца) и так кроваво (пролитая кровь) связывает русских с евреями*). Различные аспекты наивно-языкового представления о крови проявляются в понятии *кровных денежек*, которые жалко тратить (чаще всего используется субстантивированная форма *чьи-либо кровные*, особенно при противопоставлении — ср. *Одно дело, когда университет оплачивает командировку, а другое — ехать на свои кровные*). *Кровные* здесь — это и полученные *потом* и *кровью*, и те, в которых человек *кровно* заинтересован, и те, с которыми человеку так же жалко расставаться, как *проливать кровь*.

В юности у человека бывает *горячая кровь*, она *кипит, играет, горит*, вследствие чего человек ощущает в себе избыток энергии, жизненных сил, жажду активной деятельности, любовных приключений: ср. *Девка она молодая, кровь играет, жить хочется* (Чехов); *О милый сын, тыходишь в те лета, Когда нам кровь волнует женский лик* (Пушкин). Говорят и просто: *молодая кровь*. С возрастом кровь остывает (она чуть *теплится*), ее становится меньше (*скудеет в жилах кровь*)⁸ и она течет медленнее, в связи с чем энергия, жажда любви и деятельности покидают человека: ср. *Здравствуй, мое старение! Крови медленное струение* (Бродский). Поэтому, *когда разница в тридцать лет и в одном кровь молодая играет, а в другом едва теплится — какое тут может быть согласие?* (В. Распутин). Правда, бывает, что, хотя *скудеет в жилах кровь*, *Но в сердце не скудеет нежность* (Тютчев). Но даже к старости, когда *кровь* уже не столь горяча, она остается самым теплым в человеке (ср. в стихотворении Бродского о старении: *Если что-то во мне и теплится, это не разум, а кровь всего лишь*) и призвана его согревать, хотя бывает, что выполняет эту функцию уже не столь успешно: ср. *Уже стар, кровь не греет*. Именно *кровь* всегда остается носителем жизненных сил, страстей и т.п., и мы не говорим о *старой крови*. Сочетание *старая кровь* если и возможно, то будет понято скорее всего как относящееся к донорской крови, срок хранения которой истек, так что *старая кровь* оказывается противопоставлена не *молодой*, а *новой*; ср. диалог из «Ракового корпуса»: *Хо-го! Двадцать восьмое февраля! Старая кровь. Нельзя переливать. — Что*

⁸ Ср. *...и года не те. И уже седина стыдно молвить где. Больше длинных жил, чем для них кровей* (Бродский).

за рассуждения? Старая, новая, что вы понимаете в консервации? Кровь может сохраняться больше месяца!

Кости

В отличие от крови, про кости как раз говорят *старые*, но не *молодые кости*. Роль крови и костей в материальном составе человека вообще полностью различна. Если *кровь* — это символ молодости, это самое горячее, что есть в человеке, источник тепла, согревающий все тело и, в частности, *кости*, то *кости* — это то, что более всего нуждается в тепле (недаром говорят, что *пар костей не ломит*). Сильнее всего человек мерзнет, когда он *промерзает до костей*. Когда *кровь уже не греет, кости* нуждаются в согревании из внешнего источника. Поэтому и говорят: *старые кости тепло любят*. Вообще, *кости* — символ старости, при описании старых людей часто упоминаются именно мерзнувшие *кости*; ср. при олицетворении: *Когда уж Лев стал хил и стар, То жесткая ему постелья надоела: В ней больно и костям; она ж его не грела* (Крылов).

Впрочем, роль *костей* в материальном строении человека не вполне ясна. Было бы натяжкой говорить, что *кости* определяют сословную принадлежность человека (ср. *белая кость* и *черная кость*) или его увлечения (ср. *В нем есть охотничья косточка*; существует и другой вариант — *охотничья жилка*); что они более всего нуждаются в гимнастических упражнениях: ср. *размять, расправить кости*. Во всяком случае, ясно, что *кости* образуют основу материального состава человека (*костяк*), тогда как *мясо*, покрывающее *кости*, — дело наживное (ср. такие изречения: *Без костей мясо не живет; Живая кость мясом обрастет; Кость тело наживает* и т. д.). *Кости* — та часть материального состава человека, которая остается после смерти, в связи с чем форма *кости* может употребляться в значении 'останки, тело умершего', например: *И завещал он умирая, Чтобы на юг перенесли Его тоскующие кости* (Пушкин); *Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле* (Тургенев); ср. поговорку: *Упокой, Господи, душеньку, прими, земля, косточки!*

Интеллектуальная жизнь человека: голова и мозг

В качестве средоточия эмоциональной жизни человека *сердце* и *кровь* противопоставляются *голове* и *мозгу* (*мозгам*), в которых локализуется интеллектуальная жизнь человека и его *память*. Медицинское представление, согласно которому для функцио-

нирования мозга необходимо его нормальное кровоснабжение, чуждо русской языковой модели человека. В русском наивно-языковом представлении *голова* и *мозг* функционируют независимо от *сердца* и *крови*. Ситуации, когда *кровь бросается в голову*, имеют место, если человек полностью утрачивает контроль над своими чувствами, попадает во власть эмоций; это совсем не то же, что *кровоизлияние в мозг* в медицине (которое как раз и бывает чаще всего причиной нарушения нормального кровообращения мозга).

Голова позволяет человеку здраво рассуждать; про человека, наделенного такой способностью, говорят *ясная (светлая) голова*, а о том, кто лишен такой способности, — что он *без царя в голове*, что у него *ветер в голове*, *каша в голове* или что он *вовсе без головы на плечах*. Правда, и у человека с *головой* может *голова пойти кругом* (например, если ему кто-то *вскружит голову*); он может даже совсем *потерять голову*; особенно часто это происходит с влюбленными, у которых главным управляющим органом становится *сердце*, а не *голова*.

Наряду со способностью к здоровым рассуждениям, интеллектуальные способности человека включают также способности решать встающие перед ним задачи. Здесь опять-таки решающая роль принадлежит *голове* как месту локализации мыслей (ср. *пришло в голову*), а также *мозгу* (*мозгам*). При этом *мозг* (в единственном числе) рассматривается как своего рода механизм, который работает тем лучше, чем более сложно его устройство (ср. *У него в мозгу всего одна извилина*), а для *мозгов* (во множественном числе) существенно количество, общая масса (ср. *У него на это мозгов не хватит*). Второе представление является более примитивным, и не случайно использование формы *мозги* для обозначения органа мышления принадлежит просторечию.

Если некоторая проблема является для человека жизненно важной и при этом трудно разрешимой, это описывается при помощи выражения *голова болит* о чем-то. Примечательно, что *голова* не может *болеть* о ком-то или за кого-то — для описания переживаний человека, волнующегося о ком-то из близких, используются выражения *сердце болит* (*щемит, ноет, сжалось*) или *душа болит* за кого-то.

Наконец, *голова* является и органом памяти (ср. такие выражения, как *держат в голове*, *вылетело из головы*, *выкинуть из головы* и т.п.). В этом отношении русская языковая модель человека не представляет собою чего-то уникального (ср. немецкое *aus dem Kopf* 'наизусть'); но можно обратить внимание

на то, что она отличается от архаичной западноевропейской модели, в которой органом памяти было скорее сердце (следы этого сохранились в таких выражениях, как английское *learn by heart* или французское *savoir par coeur*). Правда, и в русском возможна *память сердца*, но это говорят только об эмоциональной, но не интеллектуальной памяти и во всяком случае не о знании наизусть. Если *выкинуть* (*выбросить*) из головы значит 'забыть' или 'перестать думать' о ком-либо или о чем-либо, то *вырвать из сердца* (кого-либо) не значит 'забыть', а значит 'разлюбить' (или 'сделать попытку разлюбить').

Прочие материальные составляющие человека

Среди других материальных составляющих человека можно упомянуть печень (*печенку, печенки*) и выделяемую ею *желчь*, которые выступают в роли носителей раздражения, недовольства другими людьми (ср. *сидеть в печенках; желчный характер: в нем много желчи; желчь поднялась в нем*). *Всеми печенками* ('очень сильно', согласно словарным толкованиям) можно *ненавидеть, презирать* и т.п., но не *любить* — *любить* можно *всем сердцем* или *всей душой*⁹.

В качестве метонимического заместителя *сердца* при выражении эмоций может упоминаться также *грудь* (поскольку *сердце*, как и *душа*, находится именно в *груди*), однако возможности такого употребления ограничены. Можно сказать, например: *по груди пробежал холодок; В его груди шевельнулось странное чувство; Предчувствия теснили грудь* (Пушкин); *Рассказать тебе не могу, что делается в моей груди* (Островский), но не говорят: *Его грудь принадлежит любимой* (вместо правильного *Его сердце принадлежит любимой*) и т.п.

Отметим, что *грудь*, как и *кровь*, может противопоставляться *душе*, например: *И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови* (Лермонтов); *Пушкай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые — Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть* (Гютчев). Соответствующие примеры подтверждают тот факт, что роль *души* не сводится к функционированию в качестве вместилища чувств.

Остальные материальные органы (такие как *почки, селезенка, кишки* и т.д.), сколь бы они ни были важны для физического состояния организма, с точки зрения русского языка практически не участвуют в психической жизни человека.

⁹ Впрочем, *всеми фибрами души* также можно *ненавидеть, презирать*, но едва ли *любить*.

Время в русской языковой картине мира

Время — загадочный феномен, близко касающийся человека, интуитивно как будто бы ясный, но противоречивый и с трудом поддающийся экспликации. Изложение различных философских и мифопоэтических концепций времени могло бы занять много томов. Здесь будут приведены лишь отдельные (фрагментарные) замечания о наивно-языковой концептуализации некоторых связанных с временем явлений.

При этом за пределами рассмотрения остается целый ряд весьма интересных и лингвоспецифичных явлений, из которых специального упоминания заслуживают проанализированные в блестящих работах Е. С. Яковлевой особенности употребления русских «показателей длительности» — таких как *момент*, *минута*, *мгновение*, *миг* и *секунда* [Яковлева 1994: 102—141], *час* [Яковлева 1995; 1997] и др.

Загадки времени*

Парадоксы темпоральной ориентации

Известно, что темпоральная ориентация может описываться при помощи показателей пространственной ориентации, так что событийная упорядоченность представлена в языке по аналогии с пространственными отношениями. Однако мы сталкиваемся с тем, что русский язык дает нам два противоположных способа установления аналогии между временем и пространством.

Более привычно для нас представление, в соответствии с которым прошлое, более раннее, находится сзади, а будущее, более позднее, — впереди: ср. такие выражения, как *самое*

* В основу данного раздела положена статья «Языковая концептуализация времени (парадоксы темпоральной ориентации)», написанная совместно с Т. В. Булыгиной по материалам наших докладов на чтениях памяти А. А. Реформатского в 1990 и 1991 гг. [Булыгина, Шмелев 1997а: 374—381].

страшное уже позади (т. е. 'в прошлом') или *вперед* ('в будущем') нас ждут приключения. Но прозрачная этимология предлогов *перед* (*перед этим* значит 'ранее') и *за* или слова *прежде* как будто свидетельствует о противоположной ориентации.

Интересно, что используемое в разговорном языке во временном значении наречие *вперед* оказывается энантиосемичным: с одной стороны, оно означает, по данным Малого академического словаря [Евгеньева 1981], 'на будущее время, в будущем; впредь' (*вперед не серди меня; это мне вперед наука*), а с другой — 'прежде, раньше, сперва; заранее' (*вперед спроси, потом сделай; вперед подумай, потом отвечай*). Подобная энантиосемичность отмечается и другими толковыми словарями (по В. И. Даю [1978], *вперед* может означать как 'прежде', так и 'после'); правда, в словаре С. И. Ожегова [1981] нормативным признается только употребление в значении будущего (*вперед будьте осторожнее*), но и там указывается, что «иногда *вперед* употр. неправильно вм. *раньше*».

Иногда даже более широкий контекст не позволяет разрешить неоднозначность. Так, телевизионное сообщение, что выборы в Белоруссии было решено *перенести на две недели вперед*, различные телезрители поняли различным и притом противоположным образом: одни сделали вывод, что решено было провести выборы на две недели раньше, а другие — что на две недели позже.

Часть «парадоксов», связанных с временем, объясняется, если принять во внимание возможность двоякого перехода к событийной упорядоченности. Такую двойственность наивных представлений о времени отмечал Д. С. Лихачев [1979: 254]: «Сейчас мы представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то рядом с собой, как бы окружающим нас. Летописцы говорили о „передних“ князьях — о князьях далекого прошлого. Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд которых несоотносим с воспринимающим его субъектом. „Задние“ события были событиями настоящего или будущего». И в другом месте [Лихачев 1989: 397—398]: «Для древней Руси так оно и было: „переднее“ (начало) и „заднее“ (самое последнее во временном ряду). Мы *позади* в „обозе“ совершавшихся и совершающихся событий»¹.

¹ Возможности двоякого подхода к пространственной метафоре временной упорядоченности посвящен также особый раздел книги [Степанов 1997: 126—129], так и озаглавленный «Два представления о позиции человека во времени — „прошлое позади нас“, „прошлое перед нами“».

Несколько упрощая картину, можно сказать, что при «архаичном» подходе мир представляется стабильным, неподвижным, а время — движущимся («идущим», «текущим») мимо него. При таком представлении то, что было раньше, воспринимается как идущее впереди, *предшествующее*, а то, что должно произойти позже, — как идущее следом, *следующее*. Это представление отражено в таких выражениях, как *время идет, течет; пришло время, предыдущий день; следующее воскресенье; прошедший год*; именно оно лежит в основе темпорального употребления многих первоначально пространственно-двигательных наречий и предлогов: *прежде, перед тем, вслед за тем, затем, после, напоследок* и т.п. И отмеченное Д. С. Лихачевым именование князей далекого прошлого «передними» князьями вполне соответствует этимологии употребительного и в современном языке слова *предки*.

Однако более современное представление о времени предполагает совсем иную картину: время постоянно и неподвижно, а человек, «наблюдатель», движется через него в направлении от прошлого к будущему. Такой подход в большей степени укладывается в научную картину мира; приведем в этой связи стихок, опубликованный когда-то в одном научно-популярном журнале:

Вы говорите «время идет»...
 Ах, к сожалению, нет!
 Время стоит, мы же идем
 Через пространство лет.

С указанным «современным» представлением связаны темпоральные употребления наречий *впереди* и *позади*, представление о будущем как о предстоящем, выражения типа *по достижении намеченного срока*. Это представление отражено в многочисленных пословицах, приводимых, например, В. И. Далем [1978]: *Ешь пироги, а хлеб вперед береги* (= 'на будущее'); *Всякий человек вперед смотрит* («думает о будущем», — поясняет В. И. Даль); *Дней у Бога впереди много; Валяй, не гляди, что будет впереди* и т.п.

Указанному различию двух представлений о времени: «движущееся время» и неподвижное время, через которое движется человек, — отвечает различное (собственно, противоположное) понимание приставки *пред-* в словах *предыдущий, предшествующий*, с одной стороны, и *предстоящий* — с другой. Если движется время, то «впереди» идут более ранние моменты, поэтому *пред-* в словах *предыдущий, предшествующий* указывает на то, что было

раньше; если же человек движется через неподвижное, «стоящее» время, то впереди, перед ним оказывается то, что еще только будет, — и соответственно *пред-* в слове *предстоящий* указывает не на прошлое, а на будущее [Булыгина, Шмелев 1992].

З а м е ч а н и е. Наличие двух альтернативных, едва ли не противоположных представлений о «пространственной» ориентации временной оси приводит к тому, что многие выражения, этимологически основанные на представлении о «текущем» времени, переосмысливаются в соответствии с «современным» представлением (ср. [Григорян 1988]). Например, *задним числом* в современных толковых словарях толкуется как «более ранним, чем было на самом деле, прошедшим числом» [Евгеньева 1981], «более ранним, чем следует — о дате на письме, документе» [Ожегов 1981], «более ранним числом, чем следует» [Ожегов, Шведова 1992]; такое понимание соответствует выражению *пометить документ задним числом*. Но в некоторых словарях дается и второе, «противоположное» значение (в действительности исходное) — «позднее, спустя некоторое время» [Евгеньева 1981], «слишком поздно» [Ожегов, Шведова 1992]; ср. *утвердить документ задним числом; спохватиться задним числом*.

Противопоставление двух типов «двигательной» метафоры времени: движения времени (движется время) и движения во времени (движемся мы) — следует отличать от противопоставления «активного» и «созерцательного» подхода к времени. Активный подход нередко соответствует «современному» пониманию времени: раз мы движемся во времени, то, чтобы попасть в будущее, надо прилагать усилия, надо торопиться; но он возможен и при «традиционном» представлении о времени: время идет мимо нас, убегает, его надо *не упустить* (или даже догнать, ср. *в погоне за убегающим временем*). С другой стороны, созерцательный подход, вообще говоря, хорошо согласуется с позицией наблюдателя за движущимся временем, т. е. с «традиционным» пониманием. Однако совместим он и с «современным» пониманием времени, предполагая в этом случае, что мы движемся из прошлого в будущее без усилий, как бы на поезде. При таком подходе отчасти снимается противоположность между «современными» и «традиционными» представлениями. Действительно, он предполагает, что мы движемся во времени как бы на поезде, мы называем станцию, которую мы проехали раньше, *предыдущей станцией*, как если бы она «шла впереди» данной, двигаясь мимо нас, — хотя на самом деле станции неподвижны, а движемся мы².

² Ни возможность двоякого подхода к пространственной метафоре временной упорядоченности, ни сосуществование метафор движущее-

Заметим также, что иногда (особенно в поэзии) используется еще одна «двигательная» метафора времени, не соответствующая ни «традиционному», ни «современному» подходу. Это представление, согласно которому время движется из прошлого в будущее и мы движемся вместе с ним, иллюстрируется, например, стихотворением Пушкина «Телега жизни»:

...Ямщик лихой, седое время, / Везет, не слезет с облучка.
// С утра садимся мы в телегу; / Мы рады голову сломать
/ И, презирая лень и негу, / Кричим: пошел!..... // Но в
полдень нет уж той отваги; / Порастрясло нас; нам страшней /
И косогоры и овраги; / Кричим: полегче, дуралей! // Катит по-
прежнему телега. / Под вечер мы привыкли к ней / И дремля
едем до ночлега, / А время гонит лошадей.

Сходная идея выражена и в стихотворении С. Я. Маршака:

Сколько раз пытался я ускорить / Время, что несло меня
вперед, / Подхлестнуть, вспугнуть его, прищпорить, / Чтобы
слышать, как оно идет. / (...) / А теперь неторопливо еду, / (...)

Это же представление отражено в таких устойчивых выражениях, как *идти в ногу с временем*; *опередил свое время*. Впрочем, надо отметить, что в русском языке оно представлено значительно меньше, чем рассмотренные выше «традиционный» и «современный» подход, и его метафоричность ощущается в большей степени.

Близкое и следующее; молодое и старое

С использованием показателей пространственной ориентации при обозначении времени связан и ряд других «парадоксов».

Так, для указания на различную удаленность во времени от точки отсчета используются слова *близкий*, *недалекий*, *далекий*.

гося времени и движения через время не являются исключительной принадлежностью русского языка. Помимо уже упомянутого раздела книги Ю. С. Степанова [1997: 126–129], сошлемся на анализ Дж. Лаккоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980: 41–44], в соответствии с которым в английском языке сосуществуют как метафоры ‘the future is in front and the past is behind’ и, с другой стороны, ‘the future is behind and the past is in front’, так и более общие метафоры ‘TIME IS A MOVING OBJECT’ и, с другой стороны, ‘TIME IS STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT’. Впрочем, как можно полагать, основываясь на рассуждениях в упомянутой книге [Lakoff, Johnson 1980], в английском языке связь между двумя указанными парами метафор не проводится столь же четко, как в русском.

В словарях темпоральные значения этих слов обычно толкуются однотипно — ср., например, в словаре С. И. Ожегова [1981]: *близкий* — ‘отделенный небольшим промежутком времени’, *далекый* — ‘отделенный большим промежутком времени’. При этом упускается из виду тот факт, что *близкий*, в отличие от *далекий*, нормально употребляется только по отношению к будущему, но не к прошлому: мы можем говорить о *близком (ближайшем) будущем*, но не о **близком прошлом* (хотя можно говорить о *недалеком или далеком прошлом*). Если говорят о *близких выборах*, то ясно, что выборы еще предстоят, а не только что прошли (ср. у Пушкина: *Иду в гостиную; там слышу разговор О близких выборах*). Используя в среду выражение *ближайший вторник*, говорящий имеет в виду не только что прошедший («ближайший» в соответствии с буквальным смыслом приведенного толкования) вторник, а вторник следующей недели (напротив того, слова *далекий* и *недалекий* чаще относятся к прошлому, чем к будущему: мы сразу понимаем, что в строке Пастернака *Мне далекое время мерещится* речь идет о прошлом, хотя мерещиться, вообще говоря, может и будущее).

З а м е ч а н и е. Отметим, что *следующий* в такого рода сочетаниях также может пониматься не «буквально». Если в среду мы говорим о *следующем четверге*, то имеется в виду не «непосредственно следующий» (т. е. *ближайший*) четверг, а четверг следующей недели. При этом выражение *следующий вторник* в этой ситуации было бы эквивалентно выражению *ближайший вторник*.

В отношении употребления слов *близкий*, *ближайший* также можно провести аналогию с движением на поезде. Когда мы говорим, что такая-то станция *близко*, речь может идти только о станции, до которой еще предстоит доехать (а не о той, которую уже проехали). *Ближайшая* станция — это всегда следующая, а не предыдущая станция, даже если от предыдущей станции нас отделяет меньшее расстояние. Это полностью соответствует тому, что слова *близкий*, *ближайший* используются лишь по отношению к будущему, но не прошлому.

Еще один «парадокс» связан с употреблением слов *старый* и *молодой*. Слово *старый* может указывать как на прошлое, так и на будущее: если *старое время*, *старые года* — это то, что было в прошлом, то человек, молодой в настоящем, становится *старым* в будущем. Татьяна, попросившая: «Расскажи мне, няня, Про ваши *старые года*», — могла бы с тем же успехом просить няню рассказать про ее *молодые года* — ясно, что в обоих случаях речь идет о прошлом. Мир «на заре» своего существования, когда мы его описываем с нашей точки зре-

ния, — это *древний*, или *старый*, мир; но, говоря о только что сотворенном мире, мы можем использовать также выражение *молодой* мир, который постепенно становится *старым*.

Действительно, *старый* — это как бы прошедший большой путь; если считать, что движется время, больший путь соответствует более раннему периоду; если движемся мы — более позднему. Можно сказать, что с течением времени *старое* сменяется *новым*, а *молодое* становится *старым* — тем самым понятие 'старое' может относиться как к более *раннему*, так и к более *позднему*. В результате оказываются возможными две противоположные схемы временного соотношения *старого* и *молодого*: (1) старое → молодое (*старое* сменяется *молодым*) и (2) молодое → старое (*молодое* становится *старым*).

Мясопуст и сыропуст*

Названные в заглавии данного раздела выражения, казалось бы, не представляют особого интереса в избранном аспекте рассмотрения. От них как от элементов языка церковного устава естественно было бы ждать четкой и недвусмысленной референции, не зависящей от особенностей русской языковой картины мира. Однако оказывается, что эти выражения таят в себе ряд загадок, разрешение которых проливает определенный свет на концептуализацию календаря в языковой картине мира — по крайней мере той ее части, с которой связано употребление церковно-бытового подъязыка.

Здесь важно, что адекватное толкование таких слов не может быть ориентировано исключительно на денотат или только на смысл: оно должно отражать связь интенционала (внутренней формы) и экстенционала. К примеру, толкуя выражение *Прощеное воскресенье*, недостаточно дать «экстенциональное» толкование, в соответствии с которым *Прощеное воскресенье* — это просто воскресенье в конце масленой недели; с другой стороны, не является адекватным и чисто «интенциональное» толкование (воскресенье, в которое принято просить друг у друга прощенья), если не указывается его место в церковном календаре.

* В основу данного раздела положена написанная совместно с Т. В. Булыгиной статья «Референция и смысл выражений *мясопуст* (*мясопустная неделя*) и *сыропуст* (*сыропустная неделя*)» [Булыгина, Шмелев 19976].

Что такое *мясопуст* и *сыропуст*?

Трудность интерпретации наших терминов *мясопуст* и *сыропуст*, относящихся к календарным ритуальным правилам и обычаям, усугубляется еще и тем, что в соответствующей сфере употребления может происходить смешение разных культурных традиций — православия и западного христианства, а также христианства и язычества, так что для них неясным оказывается не только «способ представления», но и денотативная отнесенность. Так, В. И. Даль [1979: 374] толкует *мясопуст* следующим образом: «день, в который по церковному уставу мясная пища запрещена...; воскресенье за 56 дней до Пасхи, мясное заговенье, канун масляны». Здесь следует иметь в виду, что воскресенье за 56 дней до Пасхи — это как раз последний день перед Великим постом, в который по уставу разрешается (а не «запрещена») мясная пища³. Обратившись к другим словарям, мы увидим, что ситуация нисколько не проясняется, а скорее становится еще более запутанной. Характерны толкования слова *мясопуст*, приводимые в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» [СЛРЯ XI—XVII вв.]: «1. Допущение в пищу молочных и мясных продуктов по церковному уставу»; «2. Воскресенье перед масленицей, мясное заговение, с которого по уставу православной церкви не разрешалось употреблять мясную пищу»; «3. Великий пост перед пасхою, продолжающийся сорок дней (четырдесятница), а также пост вообще». Поскольку пост предполагает как раз запрет на вкушение (а вовсе не «допущение в пищу») молочного и мясного, мы видим, что слово *мясопуст* может обозначать: 1) период перед масленицей (*мясоед*), когда мясная пища разрешена; 2) воскресенье, непосредственно предшествующее масленице (за 56 дней до Пасхи), последний день, когда разрешается вкушение мяса; 3) период, когда мясная пища по уставу запрещена, а именно — масленицу и Великий пост. Таким образом, мы остаемся в недоумении: что же такое *мясопуст*: разрешение вкушать мясо или, напротив, запрет на вкушение мяса?

Заметим, что в толкованиях некоторых других словарей устраняется эта парадоксальная энантиосемичность⁴. Однако

³ Несовместимость дескриптивной и референциальной частей толкования одного и того же значения еще более наглядно выступает в формулировке М. Фасмера, толкующего *мясопуст* как «день, в который мясная пища запрещена (воскресенье накануне масленицы)» [Фасмер 1987: 31].

⁴ Ср., например, толкование словаря [Ушаков 1938]: «**Мясопуст** 1. День, в к-рый запрещено употребление мясной пищи 2. Неделя 22*

при этом упускается в каком-то смысле самое основное, т.е. в наибольшей степени соответствующее церковному узусу и, по всей видимости, первичное значение слов *мясопуст*, *мясопустный*.

Указанные выше три возможных денотативных отнесенности термина *мясопуст* соответствуют трем возможным интерпретациям элемента *-пуст*, который понимается в словарях (как можно иногда судить по эксплицитным определениям, а чаще по анализу их употребления в «референтных» определениях) по крайней мере в трех более или менее различных смыслах: 1) смысл, связанный с идеей разрешенности тех или иных трапез в определенное время; 2) «промежуточный» смысл, связанный с идеей прощания, т.е. предстоящего разлучения, освобождения, прекращения употребления соответствующей пищи; 3) смысл, связанный с идеей запрещенности употреблять соответствующую пищу (ассоциация с «пустотой»)⁵.

Таким образом, можно было бы сказать, что понятийная и денотативная неоднозначность и даже энантиосемичность термина *мясопуст* является «вторичной» и отражает неоднозначность и энантиосемичность содержащегося в этом слове элемента *-пуст*. При этом семантическая структура элемента *-пуст*, объединяющая почти противоположные значения, не представляет собою ничего из ряда вон выходящего. В качестве курьеза можно привести сходную неоднозначность семантически близкого глагола *разрешить*, приводящую к тому, что высказывание *Путнику посты разрешены* (приводимое, в частности, В. И. Далем [1980а: 345]), если отвлечься от знания внеязыковых реалий, могло бы, вообще говоря, пониматься двояким образом, причем одно из возможных осмыслений оказывается прямо противоположным другому⁶.

перед т. наз. великим постом, масленица. **Мясопустный** прил. *Мясопустная неделя* (то же, что *мясопуст* во втором значении). Поскольку на масленице уставом дозволяется вкушение молока и яиц, но не мяса, можно считать, что второе значение просто является детализацией первого. По существу такое же толкование предлагается в словаре [Евгеньева 1981].

⁵ Интересно, что эти возможные понимания зафиксированы в [САРЯ XI—XVII вв.] — в статье с заглавными словами *пустити*, *пуститися* и *пущатися*: «ПУСТИТИ {...} 17. Позволить, допустить... // Разрешить к употреблению»; «ПУСТИТИСЯ {...} 7. Чего. Окончить употребление чего-л., заветься»; «ПУЩАТИСЯ {...} 4. Чего. Отказываться от чего-л., прекращать употребление чего-л.»

⁶ Особенно эффектен в этом смысле следующий отрывок из замечаний «О постах и праздниках» в «Православном церковном календаре»

Кажется, что никакой загадки не осталось и мы даже могли бы, исходя из неоднозначности элемента *-пуст(ный)*, предсказать наличие аналогичной неоднозначности у слова *сыропуст* и сочетаний *мясопустная неделя* и *сыропустная неделя*. Например, мы могли бы ожидать, что слово *сыропуст* служит обозначением: 1) периода, когда молочная пища разрешена; 2) последнего дня перед постом, когда разрешается вкушение молочных продуктов; 3) периода, когда молочная пища по уставу запрещена.

Однако полной симметрии между словами *мясопуст* и *сыропуст* наблюдаться не может, поскольку запрет и, соответственно, разрешение мясной и молочной пищи имеют в церковном уставе различный статус. Именно: запрет на молочное имплицитно также запрещает мясное; а обратное неверно: в течение масленицы по уставу разрешена лишь молочная пища (и яйца), но не мясная. Поэтому параллелизм в толкованиях первого из выделяемых значений каждого из интересующих нас слов, данных в «Большом академическом словаре» («МЯСОПУСТ 1. Время, день, в которые уставом православной церкви запрещается употреблять мясную пищу» [ССРЛЯ 1957]; «СЫРОПУСТ 1. Время, день, в которые запрещается употреблять молочную пищу» [ССРЛЯ 1963]), сколь бы он ни выглядел эстетично, может лишь ввести в заблуждение, поскольку в церковном календаре никакого специально выделенного времени, в которое бы запрещалось «вкушение молочной пищи» при разрешенности вкушения мясной пищи, не существует. Кроме того, если для слова *мясопуст* второе из выделенных в этом словаре значений («неделя перед великим постом, масленица») может рассматриваться как детализация первого (на масленице мясная пища запрещена), то для слова *сыропуст* толкование второго значения («последний день масленицы, воскресенье перед великим постом») противоречит толкованию первого (последний день масленицы — это не день запрета на молочную пищу, а, напротив того, последний день, когда она разрешена).

Возможно, именно в связи с этим иные доступные нам словари в совокупности дают для слова *сыропуст* картину, несколько отличающуюся от картины для слова *мясопуст*. Слово *сыропуст* обычно получает следующие определения: «1. Время,

за 1995 г.: «С 6 (19) июня по 28 июня (11 июля) — время Петрова поста. Он менее строг, чем Великий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается растительное масло и рыба. В самый же праздник апостолов Петра и Павла — разрешение поста. Но если он приходится на среду или пятницу, то пост сохраняется, разрешается только рыба и растительное масло» (с. 5). Смысл слов *разрешается* и *разрешение* оказывается противоположным.

день, в которые запрещается употреблять молочную пищу (в частном случае — первая неделя Великого поста); 2. Последний день масленицы, воскресенье перед Великим постом». Среди этих значений нет еще одного теоретически возможного для слова с элементом *-пуст*: 'период, когда разрешено вкушение молочной пищи (без дальнейшей детализации)'⁷.

При этом, если судить по данным словарей, наиболее распространенным является значение, соотносящее наименование *сыропуст* с *Прощеным воскресеньем*, или *сыропустной неделей*, т.е. воскресеньем перед Великим постом, последним днем, когда разрешается вкушение молочного. Это побуждает обратиться к анализу сочетания *сыропустная неделя*, а заодно рассмотреть и построенное по той же модели составное наименование *мясопустная неделя*.

Именно эти сочетания используются «терминологически», в том числе в церковных календарях, в которых слова *мясопустный* и *сыропустный* употребляются в трех сочетаниях: *сыропустная неделя* — по отношению к последнему воскресенью масленицы («Прощеное воскресенье»), т.е. ко дню, который непосредственно предшествует понедельнику, начинающему Великий пост; *мясопустная неделя* — по отношению к последнему воскресенью перед масленицей (иначе называемому *Неделя о Страшном Суде*); *мясопустная суббота* (называемая также «вселенской родительской субботой») — по отношению к субботе перед этим воскресеньем (последней субботе, предшествующей масленице, т.е. субботе, отделенной от первого дня масленицы упомянутым воскресеньем — «мясопустным»).

«Разночтения» и парадоксы

Может показаться, что наличие строгого «терминологического» смысла у выражений *сыропустная неделя* и *мясопустная неделя* не оставляет никакого места возможным «разночтениям». Однако оказывается, что рассматриваемые выражения далеко не столь просты (как для денотативно ориентированного, так и для сигнификативно ориентированного анализа). Дело в том, что неоднозначными, а иногда и энантиосемичными

⁷ Интересно, что это «недостающее» значение [СЛРЯ XI—XVII вв.] дает (в качестве единственного) для слова *маслопуст* ('допущение молочных продуктов в пищу по церковному уставу'), которое по своей внутренней форме, казалось бы, должно полностью совпадать со словом *сыропуст* (ведь *масло* и *сыр* представляют собою разновидности молочных продуктов).

оказываются чуть ли не все без исключения элементы соответствующих слов и словосочетаний. Соответственно размытой оказывается и область их денотации. (Это, впрочем, можно сформулировать и в инвертированном виде: примеры различного денотативного отнесения терминов заставляют полагать, что носители языка осмысливают их семантическую структуру различным образом.)

В некоторых случаях неоднозначность вполне очевидна и едва ли может повести к недоразумению. В частности, это касается компонента *сыро-*, встречающегося в наших композитах (*сыропуст*, *сыропустная*) и в сложных словах «светского» языка (ср., например, «диетологическое» значение слова *сыроедение* 'употребление в пищу только сырых овощей, плодов', включаемого в некоторые словари современного русского языка, и совсем иной смысл — как референциальный, так и телеологический — словосочетания *ядение сыра* в текстах, отсылающих к православному церковному уставу). Иначе обстоит дело с первым элементом композита *мясопуст*, который хотя и не является амбивалентным сам по себе, в то же время представляет собой лишь один из возможных «переводов» первого компонента своего романского аналога (*carnevale*), допускающего двойное осмысление (к этому любопытному двойному осмыслению — скорее всего возникшему как результат «народной этимологии» — мы вернемся ниже).

Но едва ли не основной источник возможных недоразумений, наряду с элементом *-пуст(ный)*, — это слово *неделя*, в церковнославянском языке обозначающее, как известно, воскресенье, а в современном русском — период из семи дней, называемый на церковном языке *седмица*⁸. В современном церковно-бытовом языке каждое из выражений *сыропустная неделя* и *мясопустная неделя* часто осмысливается в соответствии с общепринятым современным употреблением — как имеющее референцию к семидневному периоду. При этом, ввиду неоднозначности элемента *-пуст*, выражение *мясопустная неделя* может пониматься и как неделя, предшествующая собственно

⁸ Более того, в современном употреблении слово *неделя* преимущественно означает 'рабочую неделю' — ср. *Приходите на неделе* (скорее всего не в субботу или воскресенье) или даже *Мало вам недели, так вы еще и в выходные звоните*. Тем самым семантическое развитие этого слова — от обозначения выходного в пределах семидневки к обозначению рабочих дней, т.е. всех дней семидневки за вычетом этого самого выходного, — оказалось чревато энантиосемией, которая, как мы видим, является обычным делом, когда речь идет о времени.

мясопустной неделе, т.е. как последняя неделя, в которую еще можно есть мясо, и как неделя, непосредственно следующая за *мясопустной неделей*, масленица, т.е. как первая неделя, в которую уже нельзя есть мясо. Аналогичным образом и выражение *сыропустная неделя* может пониматься двояко: и как неделя, предшествующая Прощеному воскресенью (собственно *сыропустной неделе*), т.е. как последняя неделя, в которую еще можно есть молочное, и как неделя, непосредственно следующая за Прощеным воскресеньем, т.е. как первая неделя Великого поста, в которую уже нельзя есть молочное. Все эти осмысления реально представлены в существующих словарях и, по-видимому, отражают интуицию рядовых носителей русского церковно-бытового языка.

Таковы синхронные объяснения «мясопустно-сыропустного парадокса». Но он имеет и историко-лингвистические причины. В соответствии с одной из наиболее вероятных этимологий слово *мясопуст* представляет собою кальку из ср.-лат. *carnevale* (см. [Фасмер 1987: 31]). Точнее, слово *carnevale* было, по-видимому, скалькировано западнославянскими языками (ср. польское *mięsofast* и чешское *masopust*), а затем заимствовано русским языком. Как известно, у западных христиан слова, восходящие к латинскому *carnevale*, обозначают период, аналогичный русской *масленице*, отчего и в словарях они чаще всего переводятся как «карнавал, масленица». При этом у западных христиан (в частности, у католиков) употребление мяса во время этого периода допускается, вследствие чего, скажем, польское *mięsofast* концептуализуется в польском языке как «дозволение мяса» и в качестве одного из своих значений (правда, устаревшего) имеет значение 'мясоед' (т.е. весь период, когда вкушение мяса разрешено, включая масленицу).

Можно предположить, что, заимствуя данное слово со значением 'масленица', русские православные столкнулись с несоответствием внутренней формы и денотативной отнесенности: внутренняя форма указывала на дозволенность мяса, тогда как денотативная отнесенность предполагала период, в течение которого употребление мяса не дозволялось. Неизбежно было переосмысление этого слова, причем переосмыслению могла подвергнуться денотативная отнесенность или внутренняя форма (и с нею понятийное содержание слова). В первом случае слово, сохраняя представление о дозволенности мясной пищи, начинает обозначать не масленицу, когда мясная пища у православных запрещена уставом, а период, предшествующий масленице (мясоед); во втором — сохраняется денотатив-

ная отнесенность (масленица), но переосмысливается внутренняя форма (так что *-пуст* начинает связываться с *пустой*). Кроме того, *мясопуст* чрезвычайно естественно связывается с обозначением границы между указанными двумя периодами — днем, когда происходит прощание с мясом, и в этом случае *-пуст* концептуализуется именно как прощание (как в глаголе *отпустить*). В дальнейшем, по аналогии со словом *мясопуст* (в этой последней интерпретации, т.е. понимаемым как граница, прощание), образуется слово *сыропуст*, обозначающее день, когда происходит прощание с молочными продуктами. И, наконец, слово *сыропуст* начинает употребляться расширительно, а именно — по отношению ко всей (сырной) неделе, в течение которой происходит прощание с молочными продуктами и которая по-другому называется *мясопуст*. Тем самым слова *сыропуст* и *мясопуст* (в одном из пониманий) оказываются денотативно эквивалентными.

Однако дело осложняется тем, что и «исходное» *carnevale* также воспринималось неоднозначно. Этимологи колеблются, действительно ли здесь вычленяется морфема *carne-* или это лишь народная этимология, а в действительности *carnevale* восходит к выражению *carrus navalis* (название некоей культовой повозки — корабля на колесах).

В любом случае то, что *carnevale* могло быть скалькировано как *мясопуст*, показывает, что этимология, связывающая *carnevale* с мясом, обладает несомненной лингвистической значимостью. Но как же интерпретировать это наименование? В словарях и справочниках мы находим различные и подчас прямо противоположные толкования, связанные с тем, что как элемент *carne-*, так и элемент *-vale* допускает двоякое понимание: *carne-* можно понять как 'мясо' (пищу) или как 'плоть' (которую люди склонны ублажать), а *vale* может интерпретироваться как приветствие или прощание (соответственно *carnevale* может получить одно из четырех толкований: «прощай, мясо!», «прощай, плоть!», «да здравствует мясо!», «да здравствует плоть!»).

При этом оба возможных прочтения элемента *carne-* связаны друг с другом: «поедание мяса» и рассматривается как один из способов «ублажения плоти» во время карнавала, так что варианты толкования через «плоть» являются лишь чуть более широкими в смысловом отношении при денотативном тождестве.

В то же время еще более заслуживающим внимания представляется тот факт, что второй элемент слова *carnevale* содер-

жал ту же двойственность, которую мы отмечали у второго элемента термина *мясопуст*. Здесь, правда, понятийная двойственность не влечет денотативной неоднозначности. При любом понимании *carnevale* понимается как праздник плоти, когда в последний раз перед Великим постом «ублажают плоть» (и, в частности, едят мясо). Этот праздник в зависимости от места и эпохи мог продолжаться день-два, непосредственно предшествующие посту (т. е. понедельник и вторник: в Западной церкви, как известно Великий пост начинается в среду, носящую название «пепельная среда»), а мог длиться непосредственно от Богоявления (которому в Западной церкви соответствует так называемый «день трех королей», т. е. волхвов) и до начала Великого поста, т. е. весь период мясоеда (почему *mięsopust* и могло получить более широкое значение «мясоед»).

Двойственность праздника коррелирует здесь с двойственностью интерпретации наименования. И не случайно одна из наиболее достоверных этимологий связывает наименование *carnevale* с выражением *carne levare* ('поднимать мясо или плоть') и последующей метатезой. Действительно, характерное для еще дохристианского времени усиленное ублажение плоти во время карнавала (а карнавальные празднества у западных народов, как и масленица у славян, восходят еще к языческим временам) было осмыслено в христианстве как прощальное, предшествующее великопостному воздержанию. В этом проявляется двойственность самой идеи *заговенья*, когда перед постом люди в последний раз едят ту или иную пищу, как бы прощаясь с ней. Поэтому *заговенье* неразрывно связано с последующим постом (и глаголом *заговеть* 'начать говеть, т. е. поститься'), но в то же время и с отсутствием поста, с заключительной скоромной трапезой перед постом. Отсюда двойственная модель управления у самого слова *заговенье*: с одной стороны, выражение *заговенье на мясо* означает, что мы в последний раз едим мясо, а с другой — можно сказать: *Заговляюсь на хрен, на редьку да на белую капусту* [Даль 1978: 569], и это означает, что «хрен, редьку и белую капусту» мы будем есть в дальнейшем⁹.

В каком-то смысле ничего парадоксального в такой двойственности нет. Переход от веселья к посту по самой сути

⁹ Приводимое В. И. Далем [1978: 569] выражение *Заговляюсь на сыр да на масло* оказывается, таким образом, потенциально неоднозначным: то ли 'в последний раз ем молочное (в сыропустную неделю)', то ли 'теперь из скоромного буду есть только молочное (а пока в последний раз ем мясное)'.

своей сопряжен с некоторой «двойственностью». Разрешением поесть скоромной пищи напоследок никогда не пренебрегали: если Церковь видит в заговенье прежде всего «приготовительный» смысл, т. е. постепенный отказ от плотских удовольствий, то народ понимал заговление (загавливание) скорее как возможность в полной мере воспользоваться разрешенным чревугодием, чтобы как-то компенсировать грядущие тяготы поста.

Итак, рассмотренные слова представляют собою интересный пример того, как осмысление слова (и составляющих его морфем) зависит от установок языковой общности. Само наименование (*carnevale*) остается неизменным или «поморфемно» переводится (*мясопуст*). Денотация тоже в целом относительно постоянна (период разгула перед Великим постом), хотя здесь уже наблюдаются колебания. А вот интерпретация входящих в это слово морфем зависит от того, что именно интерпретатор считает наиболее значимой особенностью данного периода времени (увеселения плоти, поедание мяса, прощание с мясом, прощание с плотскими удовольствиями, запрет на мясную пищу и т. д.).

Утро и вечер*

Когда начинаются новые сутки?

В разных языках, а также в разных подсистемах внутри одного языка границы между сутками проводятся по-разному; момент, который считается началом новых суток, также может быть различным.

Так, началом новых суток может считаться:

- 1) заход солнца (библейское представление);
- 2) наступление полуночи (официально-юридическое);
- 3) момент пробуждения человека после ночного сна (бытовое).

Официальная граница суток используется, например, при указании времени отправления поезда; но при переводе на бытовой язык эта граница естественным образом сдвигается. Так, если на билете указано время отправления поезда, например, 10 августа, ноль часов тридцать минут, то мы говорим:

* В основу данного раздела положена написанная совместно с Анной А. Зализняк статья «Время суток и виды деятельности» [Зализняк, Шмелев 1997].

«Я уезжаю в ночь с девятого на десятое». Официальная граница суток используется в быту только отдельными педантами, которые настаивают, что после полуночи вместо «завтра вечером» следует говорить «сегодня вечером».

Библейское представление о границе суток (сутки начинаются с захода солнца) регулирует порядок богослужений, но при этом в бытовой речи оно практически не используется. С расхождением между бытовым и библейским представлением о границе суток связано недоразумение, случившееся с моим сыном, когда его как-то позвали в гости *в субботу вечером*, что, как выяснилось впоследствии, для хозяев, ортодоксальных евреев, означало временной интервал, который бытовым языком обозначается как *вечером в пятницу*. Но в норме даже священник, объявляя расписание богослужений, говорит: «В субботу вечером мы будем служить воскресную всенощную».

В быту сутки начинаются с наступлением утра. Связь *утра* с идеей начала суток отражается в целом ряде языковых фактов, которые будут рассмотрены ниже.

Принципы членения суток на периоды

На первый взгляд, для каждого из русских слов, служащих для обозначения времени суток (*утро, день, вечер, ночь*), можно найти более или менее точный эквивалент в основных западных языках (например, для слова *утро* — англ. *morning*, фр. *matin*, нем. *Morgen* и т. д.). Однако, как мы попытались показать в [Зализняк, Шмелев 1997], эквивалентность для названий частей суток оказывается в значительной степени мнимой, поскольку в основу членения суток на периоды для русского языка кладутся несколько иные принципы, нежели для западных языков. При этом указанные различия могут быть связаны с расхожим представлением, согласно которому русские обращаются с временем в целом более вольно, нежели жители Западной Европы.

В западном представлении членение суток на периоды зависит от «объективного» времени, показаний часов, и сутки структурируются в первую очередь полуночью и полуднем; при этом полдень имеет большее значение, поскольку структурирует самую важную часть суток — время, предназначенное для работы (рабочий день). Не случайно в западных языках есть специальное слово для обозначения второй половины рабочего дня, наступающей после полудня, и связанного с по-

луднем обеденного перерыва (ср. англ. *afternoon*, фр. *après-midi*, нем. *Nachmittag*, итал. *pomeriggio*).

В русском представлении концептуализация времени суток в большей степени зависит от того, что человек делает в период времени, о котором идет речь (в западном представлении дело обстоит скорее противоположным образом: взглянув на часы и определив время суток, человек знает, что ему надлежит делать). Так, если в западных языках *утро* концептуализуется как 'часть суток, предшествующая полудню', то для русских *утро* — это скорее время, когда человек уже проснулся и занимается приготовлением к основной дневной деятельности (умывается, одевается, завтракает), но еще не приступил к ней. Такое представление находит отражение даже в произведениях массовой культуры. Ср.: У Павла Добрынина было выработанное годами твердое правило: никогда не оставаться у женщины до утра. Понятие «утро» в его представлении не связывалось с каким-то определенным положением стрелки на часах. Главным критерием была утренняя атрибутика: умывание, разговоры, совместный завтрак, одним словом — все, что так или иначе напоминало семейный уклад. Даже если он просыпался в чужой постели в десять утра, он немедленно одевался и уходил. Так ему было проще (А. Маринина, «Игра на чужом поле»).

Итак, если обозначение времени суток в русской языковой картине мира зависит в первую очередь от того, какой деятельностью оно заполнено, то в западноевропейской модели скорее наоборот: характер деятельности, которой надлежит заниматься, детерминируется временем суток. *Jetzt wird gefrühstückt: jedes Ding hat seine Zeit*, — говорит героиня оперы «Кавалер Роз» в ответ на порыв страсти, охвативший утром ее юного любовника.

Указанное различие в концептуализации членения суток проявляется в целом ряде языковых фактов. Так, бросаются в глаза различия при обозначении точного времени. В западной традиции в основе такого обозначения лежит полдень; соответственно, различают, например, пять часов до полудня (*a. m.*, т. е. *ante meridiem*) и пять часов пополудни (*p. m.*, т. е. *post meridiem*). При этом, поскольку время до полудня концептуализуется как 'утро', пять часов до полудня иначе могут быть названы «пять часов утра». Такое обозначение не является чем-то удивительным и для носителя русского языка; однако его может удивить то, что в западных языках можно говорить и о двух часах и даже о часе утра (ср. англ. *one, two in the morning*, фр. *une heure, deux heures du matin*). Ведь для носителя

русского языка *утро* — это когда человек просыпается, а если человек в час ночи или в два ночи не спит, это скорее означает то, что он еще не лег, а не то, что он уже проснулся и собирается приступать к дневной деятельности. Конечно, в четыре часа утра тоже встают относительно немногие, однако необходимость вставать столь рано возникает у представителей целого ряда социальных и профессиональных групп и не воспринимается в культуре как отклонение от нормы, что и дает основание использовать здесь слово *утро*. А для носителей западных языков 'утро' — это время до полудня, и потому два часа до полудня (*ante meridiem*) — это то же самое, что «два часа утра».

Сказанное не означает, что носители западных языков воспринимают час или два пополуночи как 'утро'. Лишь при обозначении точного времени достаточным оказывается бинарное членение суток: время до и после полудня. Когда же речь идет о времени суток как таковом, еще более существенно отграничение рабочего дня и периода, предназначенного для отдыха и сна ('вечера' и 'ночи'). Рабочий день, как уже говорилось, структурируется полуднем. Первая часть рабочего дня (до полудня) концептуализуется как 'утро', в полдень предполагается обеденный перерыв, после чего наступает вторая часть рабочего дня — «послеполуденное время». По окончании рабочего дня наступает вечерне-ночной период, причем 'вечер' не вполне четко отделяется от 'ночи' (многие западные словари определяют 'вечер' как первую часть 'ночи'), и соотношение 'вечера' и 'ночи' в разных западных языках понимается несколько по-разному (в целом можно сказать, что первая часть 'ночи' — 'вечер' — предназначена для развлечений, а вторая часть — собственно 'ночь' — для сна).

В русской языковой картине мира представление о членении суток схоже с западным лишь отчасти. Оно может быть кратко охарактеризовано следующим образом. Сутки можно подразделить на *день*, когда осуществляется дневная деятельность, и *ночь*, представляющую собою «провал», перерыв в деятельности, когда люди спят (поэтому, например, выражение *провести ночь с кем-то* имеет несколько скабресный оттенок: о человеке, засидевшемся в гостях до утра, не говорят, что он *провел ночь с хозяевами*). *День* не имеет четких границ. Когда человек пробуждается от ночного сна, наступает *утро*, представляющее собою подготовку к дневной деятельности. Когда дневная деятельность (работа) заканчивается, наступает *вечер*, который длится до тех пор, пока люди не ложатся спать (тогда

наступает *ночь*). Иными словами, *день* заполнен деятельностью: *утро* начинает дневную деятельность, а *вечер* кончает. Обычно переход от сна к дневной деятельности занимает меньше времени, чем период после окончания работы до отхода ко сну, так что *утро* имеет меньшую продолжительность, нежели *вечер*. Поэтому бывает так, что люди задумываются, как бы *скоротать вечер*, но гораздо более сомнительна ситуация, когда надо *скоротать утро*.

Разумеется, описанная картина весьма схематична. Отдельно взятый человек может *писать статью всю ночь*, и от этого *ночь* не становится *днем*. Но это значит, что он пишет свою статью в то время, когда другие люди спят. Если кто-то засиделся в гостях *до утра*, то *утро* наступает своим чередом, хотя для данного человека (как и для хозяев) оно не предполагает пробуждения после ночного сна; но это означает, что человек просидел в гостях до того времени, когда мог наблюдать или предполагать, что уже просыпаются другие люди и вокруг возобновляется жизнь.

Как видно из сказанного, ярче всего различия между «западными» и «русскими» представлениями о членении суток проявляются в концептуализации «утра». Для носителя западных представлений «утро» противопоставляется «послеполудню» как первая половина рабочего дня (до обеденного перерыва) второй половине (после обеденного перерыва). Для носителя русских представлений *утро* противопоставляется *вечеру* как период перед началом рабочего дня периоду после окончания рабочего дня. Указанное соотношение сохраняется и при метонимически сдвинутых употреблении слов *утро* и *вечер*. Если мы хотим обозначить первую половину рабочего дня как «утро», вторая автоматически получает обозначение «вечер» (а не «послеполуденный период»). Так, о враче в поликлинике, принимающем пациентов по четным числам с 10-ти утра до 2-х дня, а по нечетным — с 2-х дня до 6-ти вечера, говорят, что он ведет прием *по четным утром, а по нечетным — вечером*. Характерно также использование выражений *утреннее заседание* и *вечернее заседание* в программе научных конференций: *утреннее заседание* — это просто заседание до обеденного перерыва, а *вечернее заседание* — заседание после обеденного перерыва. В западных языках в таких случаях говорят об «утреннем» и «послеполуденном» заседании (ср. французское *séance du matin* и *séance de l'après-midi*). Поэтому, когда в программе Всероссийской конференции «Русский язык на рубеже тысячелетий», проходившей 26—27 октября 2000 г. в Петербурге, указыва-

лось: *1 день, 26 октября — утреннее заседание (12.00—14.00)... вечернее заседание (15.00—18.00)*, — то с «западной точки зрения» казалось странным как то, что «утреннее» заседание начиналось только в полдень (а реально оно началось только в час дня), так и то, что сразу после обеда, в три часа пополудни, начиналось «вечернее» заседание.

Русское *утром* и его синонимы

В свете всего сказанного не случайным оказывается обилие в русском языке наречий и наречных выражений с общим значением 'утром' (*утром, утречком, под утро, с утра, с утречка, с утреча, поутру, наутро* и т. д.). Выбор наиболее подходящего из них осуществляется говорящим в зависимости от того, чем субъект описываемой ситуации занимался до и собирается заниматься после наступления периода времени, который говорящий концептуализует как 'утро'.

Утром является наиболее общим по смыслу выражением и может использоваться при описании самых разных ситуаций. Ср.:

Я знаю: век уж мой измерен; // Но чтоб продлилась жизнь моя, // Я **утром** должен быть уверен, // Что с вами днем увижусь я (Пушкин).

Я объяснюсь с ним завтра **утром**, скажу, что люблю другого, и навсегда вернусь к тебе (М. Булгаков).

Шел бой. Каждый день он начинался **утром** при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии» (М. Булгаков).

Наречие *утречком* — близкий синоним к *утром*, отличающийся от последнего стилистической окраской: употребление слова *утречком* вносит в высказывание оттенки бодрости и имеет целью передать хорошее настроение говорящего¹⁰. Ср.:

Я *утречком* хотел бы сбегать на речку искупаться, —

и сомнительное:

??Завтра *утречком* я хотел бы подольше поспать.

Остальные выражения разбиваются на две группы. Наречия *наутро, поутру* (в большинстве употреблений), *с утра* и с

¹⁰ Употребление уменьшительно-ласкательного суффикса по отношению к *утру* означает готовность и желание приступить к дневной деятельности, началом которой и является *утро*; отсюда — оттенок бодрости.

утречка используются при локализации во времени ситуаций, только что возникших или возобновившихся после перерыва на ночь. Наоборот, выражения *под утро* и *к утру* допустимы лишь когда речь идет о продолжении ситуации, которая занимала непосредственно предшествующий период времени, т.е. ночь. Например, можно сказать: *Жара спала лишь под утро* (но не **с утра*). Ср. также: *Вечером пили вино, а с утра — коньяк* (был перерыв; скорее всего, ложились спать) и *Вечером пили вино, а под утро — коньяк* (пили без перерыва или, во всяком случае, не ложились спать); *Вещи они собрали под утро* (собирали всю ночь) и *Вещи они собрали с утра* (начали и кончили собирать утром).

С утра отличается от других выражений тем, что здесь наиболее отчетливо проступает семантический компонент 'начиная день'¹¹. Ср.:

С утра, свой тусклый образ брея, глазами в зеркало уставясь, я вижу скрытного еврея и откровенную усталость (Губерман).

Ты поедешь на дачу *с утра*? — Нет, мне надо еще сначала приготовить обед.

Я, *с утра* угадав минуту, // Когда ты ко мне войдешь, // Ощущала в руках согнутых // Слабо колющую дрожь (А. Ахматова).

Она приходила ко мне каждый день, а ждать я ее начинал *с утра* (М. Булгаков).

Что за дом у нас такой! И этот *с утра* пьяный (М. Булгаков).

Соответственно, предложение *Он пришел с утра* не может быть понято как 'пришел домой': ведь если человек приходит домой утром, то этим он не начинает новый день, а заканчивает предыдущий. С другой стороны, предложение *Он пришел на работу (в гости) с утра* означает, что он начал день с того, что пришел на работу (в гости). По той же причине нельзя сказать: **Он вернулся с утра*. Наоборот, высказывание *Он ушел с утра* может пониматься как 'ушел из дома', но не как 'ушел из гостей'.

¹¹ Следует отличать наречное выражение *с утра* от сочетания существительного с временным предлогом *с* (ср. *с пяти часов, с понедельника*). В частности, предложение *Он с утра ничего не ел* имеет два понимания: 'ничего не ел утром' (понимание с наречным выражением) и 'утром поел, а с тех пор ничего не ел' (существительное с предлогом, ср. *не видел его с октября прошлого года*). Заметим, что выражение *с утра до вечера* содержит именно сочетание существительного с предлогом.

З а м е ч а н и е. Можно упомянуть также выражение *с вечера* (параллельное выражению *с утра*), в котором семантика конца, содержащаяся в идее *вечера*, нетривиальным образом взаимодействует с семантикой начала. *С вечера* означает 'начиная накануне вечером деятельность, основная часть которой запланирована на следующий день' — ср.: *собрать вещи с вечера, приготовить обед с вечера*. Если деятельность, произведенная вечером, не имела релевантного продолжения на следующий день, выражение *с вечера* употребить нельзя, ср. **поел с вечера, *лег спать с вечера*. Ср., однако: *Он как залег с вечера, так и проспал весь следующий день*: выражение *с вечера* здесь возможно, потому что означает 'вечером накануне (того дня, когда происходила основная часть процесса сна)'

В указанном отношении выражение *с утра* противопоставлено выражению *под утро*, в котором заключена идея 'заканчивая предшествующий день'. Поэтому высказывание *Иван пришел под утро* нормально понимается как сообщение о возвращении Ивана домой, причем одновременно указывается, что отсутствие Ивана дома затянулось на всю ночь. Надобно сказать, что выражение *пришел под утро* уже содержит некоторую негативную оценку, поскольку, как уже отмечалось, в нормативную картину мира входит представление о том, что ночью человек находится дома (и при этом спит). Поэтому о человеке, приехавшем из командировки — даже если это было в полшестого утра, — странно было бы сказать *Он вернулся под утро*.

Как уже говорилось, в отличие от остальных выражений, *под утро* и *к утру* употребляются при описании ситуации, продолжающейся то, что длилось в течение ночи. При этом наречное выражение *к утру* в целом наследует значение свободного сочетания существительного с предлогом *к* (как в выражениях *к пяти часам, к 1-му сентября* и т.п.).

К утру буря утихла.

Под утро, когда устанут влюбленность, и грусть, и зависть,
/ и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом (Галич).

З а м е ч а н и е. Между выражениями *под утро* и *к утру* имеется, кроме того, различие в фокусе внимания: употребляя выражение *под утро*, говорящий рассматривает ситуацию в ее связи с предшествующим процессом, как завершающую этот процесс; у выражения *к утру*, наоборот, в фокусе внимания находится результирующее состояние, влияющее на ход дальнейших событий. Ср. *Буря утихла только под утро* (важно, что продолжалась всю ночь), но *К утру туман рассеялся и вдали показались горы*. Именно поэтому *к утру* может локализовать состояния и те события,

результатом которых является некоторое состояние (ср.: *К утру он был совершенно трезв* или *К утру он уже знал все подробности этого происшествия*, но не **К утру произошло нападение*), но не процессы: соответственно, предложение типа *Гости расходились к утру* имеет только узувальное прочтение. Наоборот, *под утро* может локализовать события и процессы (ср. *Гости разошлись, расхотелись под утро*), но не состояния (поскольку, как уже было сказано, *под утро* фиксирует внимание на предшествующем процессе): нельзя сказать **Под утро он был мрачен* (надо — *стал* или *сделался*).

Наречие *наутро* отличается от других выражений тем, что содержит отсылку к некоторой ситуации, имевшей место ранее: *наутро* означает 'утром следующего дня (после ночного перерыва)'. Употребление слова *наутро* бывает уместно, только если в поле зрения участников коммуникации находятся события предшествующего дня (например, упоминаются в тексте). Ср.:

Как я пишу легко и мудро! Как сочен звук у строк тихих!
Какая жалость, что **наутро** я перечитываю их! (Губерман).

Наутро больному стало лучше [т.е. либо после сна, либо после перерыва в наблюдении].

А **наутро** она уж улыбалась / Перед окошком своим, как всегда.

Слово *поутру* имеет два класса употреблений. Чаще всего оно выступает как синоним *наутро*, т.е. значит 'утром следующего дня'. Например:

Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу, **поутру** явилась возможность ехать, и я оставил Тамань (Лермонтов).

А **поутру** они проснулись: / Вокруг примятая трава.

А **поутру** пред эскадром / Я снова буду трезв и прям, / Отсалютую эскадром, / Как будто вовсе не был пьян.

А **поутру**, когда всходило солнце, / В приморском кабаке в углу матрос рыдал [имеется в виду: на следующее утро после только что описанных событий].

Однако для слова *поутру* возможно, особенно в поэтическом тексте, и более широкое значение 'утром' (без дополнительных ограничений); в этом значении *поутру* имеет архаическую или разговорную окраску. Ср.:

И сам не знает **поутру**, / Куда поедет ввечеру (Пушкин).

А однажды **поутру** / Прискакала кенгуру (К. Чуковский).
А гадость пьют из экономии, / Хоть **поутру**, да на свои
(Высоцкий).

Этикетные формулы

Различия в концептуализации времени суток в западных языках и в русском языке проявляются и в употреблении этикетных формул. В [Зализняк, Шмелев 1997] мы уже отмечали некоторую неуместность (с точки зрения русского речевого стандарта) приветствия *Доброе утро!*, с которым западные слависты, даже хорошо знающие русский язык, обращаются к своим русским коллегам, встречая их на работе в первую половину дня (до обеденного перерыва). В русском узусе приветствие *Доброе утро!*, вообще говоря, уместно только непосредственно после пробуждения, пока участники коммуникации еще не приступили к своей дневной деятельности. Правда, многие русские, в течение какого-то времени прожившие за границей, достаточно быстро принимают данную этикетную норму, и она перестает им казаться чем-то необычным или странным; кроме того, в последнее время (скорее всего, под влиянием западного речевого этикета), приветствие *Доброе утро!* стало использоваться как стандартное приветствие в первой половине дня в некоторых учреждениях и фирмах и в России.

Можно упомянуть также пожелание *Хорошего вам дня*, которое некоторые продавцы магазинов стали в последнее время использовать в качестве формулы прощания с покупателем. Чувствуется, что эта формула звучит по-русски не вполне естественно. Выступая на уже упоминавшейся конференции «Русский язык на рубеже тысячелетий», С. Г. Тер-Минасова справедливо связала распространение этой формулы с влиянием западных языков. Действительно, она звучит как калька, например, французского *Bonne journée!*, произносимого в том случае, когда прощание с клиентом происходит в течение первой половины дня (во второй половине дня скорее будет сказано *Bonne soirée!* ‘Хорошего вечера’). Но возникает вопрос: а как же следует сказать по-русски, какая формула была бы приемлема? Совсем нелепо звучало бы *Имейте хороший день* или *Имейте приятный день* — буквальная калька английских формул *Have a good day* и *Have a nice day*. Но даже, казалось бы, вполне идиоматичный перевод *Желаю вам приятно провести день* с точки зрения русских речевых навыков представляется именно

переводом иноязычной формулы, отклоняющимся от русского речевого стандарта. По-русски гораздо более естественно звучала бы формула прощания, в которой добрые пожелания высказываются без конкретизации времени суток, например *Всего хорошего* или *Всего доброго*. И, как кажется, дело здесь также в различиях в концептуализации времени суток. Для того чтобы выбрать подходящую формулу, носитель западного языка должен просто прикинуть, который час. Если дело происходит в течение первой половины дня, уместно пожелать *хорошего дня*; если в течение второй половины — *хорошего вечера* (пожелание дается на будущее).

Для носителя русского языка дело обстоит несколько иначе. Включение в формулу указания на время суток может восприниматься как неуместное вторжение в частную жизнь адресата, поскольку подразумевает гипотезу о том, чем адресат собирается заниматься в ближайшее время: формула *Хорошего дня* воспринимается как пожелание успехов в дневной деятельности, а *Желаю вам приятно провести вечер* неявно включает предположение, что адресат речи предполагает идти развлекаться (и уж совсем неуместной в устах продавца была бы обращенная к клиенту формула *Желаю вам приятно провести ночь*, являющаяся всего-навсего буквальным переводом английской формулы *Have a good night*, используемой при прощании с клиентом в конце рабочего дня).

Такого рода наблюдения могут рассматриваться как свидетельство того, что особенности концептуализации времени суток в разных языках влияют на употребление соответствующих слов, в результате чего их эквивалентность оказывается неполной. Но можно подойти к делу и с другой стороны, рассматривая наблюдения над употреблением слов со значением времени суток как данные, свидетельствующие о различиях в восприятии разными народами членения суток на периоды. В последнем случае и оказывается возможным говорить о том, что языковые данные могут служить ключом к пониманию каких-то культурно значимых аспектов восприятия мира.

Пространственная составляющая «русской души»*

Роль «русских пространств» в формировании «русского видения мира» отмечали многие авторы. Тема пространственной беспредельности является общим местом всех расхожих представлений о России и русском национальном характере, о «географии русской души» (выражение Н. А. Бердяева). Известно высказывание Чаадаева: «Мы лишь геологический продукт обширных пространств». У Н. А. Бердяева есть эссе, которое так и озаглавлено — «О власти пространств над русской душой».

В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков,

— пишет Бердяев и продолжает:

Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные российские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности. Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку Россию.

О «власти пространств над русской душой» говорили и многие другие авторы, например: «В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство, — это Россия» (Гайто Газданов). «Широкое пространство

* В данной главе использованы моя статья «Широта русской души» [Шмелев 2000а] и написанная совместно с И. Б. Левонтиной статья «Родные просторы» [Левонтина, Шмелев 2000а].

всегда владело сердцем русским» (Д. С. Лихачев). «Первый факт русской истории — это русская равнина и ее безудержный разлив. (...) Русские просторы зовут странствовать, бродить, раствориться в них, а не искать новых стран и новых дел у неведомых народов; отсюда непереваемость самого слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир», — писал Владимир Вейдле, известный русский литературный критик и искусствовед¹.

Свобода и воля

Воля издавна ассоциировалась с бескрайними степными просторами, «где гуляем лишь ветер... да я». На связь понятия *воли* с «русскими просторами» указывает, например, Д. С. Лихачев («Заметки о русском»): «Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединенная с простором, ничем не огражденным пространством».

Специфическое русское понятие *воли* берет свое начало в архаическом противопоставлении *мира* как «своего», обжитого, устроенного пространства и воли как пространства «чужого», неустроенного (ср. сопоставление мира и воли в историческом аспекте в [Топоров 1989а]). Иными словами, можно сказать, что в архаичной модели мира *мир* соответствовал привычной норме, а *воля* — непредсказуемым отклонениям от нормы.

В современном русском языке звуковому комплексу *мир* соответствует целый ряд значений ('отсутствие войны', 'вселенная', 'сельская община' и т. д.). Однако все указанное многообразие значений исторически можно рассматривать как модификацию некоего исходного значения, которое мы могли бы истолковать как 'гармония; обустройство; порядок'². Вселенная

¹ Целый ряд высказываний такого рода собран в хрестоматии [Замятин, Замятин 1994].

² Ср. также наблюдение Ю. С. Степанова: «...соединение двух рядов представлений — „Вселенная, внешний мир“ и „Согласие между людьми, мирная жизнь“ — в одном исходном концепте постоянно встречается в культуре... „Мир“ в древнейших культурах индоевропейцев — это то место, где живут люди „моего племени“, „моего рода“, „мы“, место, хорошо обжитое, хорошо устроенное, где господствует

может рассматриваться как «миропорядок», противопоставленный хаосу, *космос*. Отсутствие войны также связано с гармонией во взаимоотношениях между народами. Образцом гармонии и порядка, как они представлены в русском языке, могла считаться сельская община, которая так и называлась — *мир*. Общинная жизнь строго регламентирована, и любое отклонение от принятого распорядка воспринимается болезненно, как «непорядок». Покинуть этот регламентированный распорядок и значит «вырваться на волю»³.

В отличие от *воли*, *свобода* предполагает как раз порядок, хотя порядок, не столь жестко регламентированный. Не случайно слово *свобода* этимологически связано со словом *свой*, т. е. в противопоставлении *своего*, освоенного и чужого, неосвоенного связывается именно со *своим* — т. е., в архаичных терминах, с *миром*, а не с *волей* (ср. объединение значений 'мирная жизнь' и 'вселенная' в ряде германских языков и наличие элемента **fri-* со значением личной принадлежности в германских обозначениях как свободы, так и мира [Топорова 1994: 105]). При этом, если *мир* концептуализовался как жесткая упорядоченность сельской общинной жизни, то *свобода* ассоциируется скорее с жизнью в городе (недаром название городского поселения *слобода* этимологически тождественно слову *свобода*, отличаясь от него лишь вследствие диссимилиации губных). Но если сопоставление *свободы* и архаического *мира* предполагает акцент на том, что *свобода* означает отсутствие жесткой регламентации, то при сопоставлении *свободы* и *воли* мы делаем акцент на том, что *свобода* связана с нормой, законностью, правопорядком («Что есть свобода гражданская? Совершенная подчиненность одному закону, или совершенная возможность делать все, чего не запрещает закон», — писал В. А. Жуковский). *Свобода* означает мое право делать то, что мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей; а *воля* вообще никак не связана с понятием права.

Характерны в этой связи замечания Д. Орешкина, который писал в статье «География духа и пространство России», опубликованной когда-то в журнале «Континент»:

„порядок“, „согласие между людьми“, „закон“; оно отделяется от того, что вне его, от других мест, вообще — от другого пространства... где наши законы не признаются и где, может быть, законов нет вообще, где нам страшно» [1997: 95].

³ В современном языке связь *мира* именно со *своим* пространством утрачена — скорее мы можем говорить о своем, знакомом и чужом, незнакомом *мире*, в обоих случаях используя слово *мир*.

В свое время спичрайтеры подвели президента Рейгана, который, развенчивая «империю зла», между делом обмолвился, что в скудном русском языке нет даже слова «свобода». На самом деле есть, и даже два: свобода и воля. Но между ними лежит все та же призрачная грань, которую способно уловить только русское ухо. Свобода (слобода) — от самоуправляемых ремесленных поселений в пригородах, где не было крепостной зависимости. Свобода означает свод цеховых правил и признание того, что твой сосед имеет не меньше прав, чем ты. «Моя свобода размахивать руками кончается в пяти сантиметрах от вашего носа», — сформулировал один из западных парламентариев. Очень европейский взгляд. Русская «слобода» допускает несколько более вольное обращение с чужим носом. Но все равно главное в том, что десять или сто персональных свобод вполне уживались в ограниченном пространстве ремесленной улочки. «Свобода» — слово городское.

Иное дело воля. Она знать не желает границ. Грудь в крестах или голова в кустах; две вольные воли, сойдясь в степи, бьются, пока одна не одолеет. Тоже очень по-русски. Не говорите воле о чужих правах — она не поймет. Божья воля, царская воля, казацкая воля... Подставьте «казацкая свобода» — получится чепуха. Слово степное, западному менталитету глубоко чуждое. Может, это и имели в виду составители речей американского президента⁴.

По сравнению с *волей свобода* в собственном смысле слова оказывается чем-то ограниченным, она не может быть в той же степени желанна для «русской души», сформировавшейся под влиянием широких пространств. Характерно рассуждение П. Вайля и А. Гениса о героине драмы Островского «Гроза»:

Катерине нужен не сад, не деньги, а нечто неуловимое, необъяснимое — может быть, воля. Не свобода от мужа и свекрови, а воля вообще — мировое пространство.

⁴ В связи с высказыванием президента Рейгана, на которое ссылается Д. Орешкин, можно процитировать также мнение зарубежных исследователей: «Журнал „Тайм“ никак не объяснил, каков возможный источник ошибки Рейгана, но вполне вероятно, что он воспроизводил какой-то элемент из советологического обзора, отсылающего к комментариям Амарьика по поводу концепта 'свобода'. Замечание Рейгана можно было бы парировать лучше, заметив, что в английском языке нет слова, соответствующего по значению слову *свобода*, чем просто утверждая, что в русском есть слово со значением 'freedom'» [Вежбицкая 1999: 483]; «Actually, the Russians have two excellent words for 'freedom': *svoboda*, a general and political term, and *volya*, existential, inner freedom, liberty, licence, the exercise of one's will. (The Russian language has no word for 'efficiency', but that's another story.)» [Milner-Gulland 1997: 228].

Упомянем еще одно рассуждение П. Вайля и А. Гениса на ту же тему:

Радищев требовал для народа свободы и равенства. Но сам народ мечтал о другом. В пугачевских манифестах самозванец жалуется своих подданных «землями, водами, лесом, жильством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали. И пребывайте, как степные звери».

Радищев пишет о свободе — Пугачев о воле. Один хочет облагодетельствовать народ конституцией — другой землями и водами. Первый предлагает стать гражданами, второй — степными зверями. Не удивительно, что у Пугачева сторонников оказалось значительно больше.

Можно сослаться также на рассказ Тэффи «Воля», в котором различие между *свободой* и *волей* эксплицируется сходным образом:

Воля — это совсем не то, что свобода.

Свобода — *liberté*, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной.

«Свобода» переводится на все языки и всеми народами понимается.

«Воля» непереводаема.

При словах «свободный человек», что вам представляется? Представляется следующее. Идет по улице господин, сдвинув шляпу слегка на затылок, в руках папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой — время еще есть — и пошел куда-нибудь в парк, на городской вал. Побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз в ресторанчик.

При словах «человек на воле» что представляется?

Безграничный горизонт. Идет некто без пути, без дороги, под ноги не смотрит. Без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеется.

Свобода законна.

Воля ни с чем не считается.

Свобода есть гражданское состояние человека.

Воля — чувство.

То, что *воля* противопоставляется некоторому принятому распорядку, воспринимаемому как норма, создало базу для семантического развития этого слова в советское время. В речи советских заключенных слово *воля* обозначало весь мир за

пределами системы лагерей, и в таком употреблении отразилось в представлении о *воле* как о внешнем, постороннем мире. Характерно, что слово *воля* (и его производные *вольный*, *вольняшка*) в таком значении могло употребляться только самими заключенными, а также говорящими, как бы становящимися на их «точку зрения» (так, в «Раковом корпусе» Лев Леонидович, сообщивший Костоглову, что побывал там, где *вечно пляшут и поют*, на вопрос последнего: «И по какой же статье?» — отвечает: *Я — не по статье. Я — вольный был*).

С другой стороны, в советское время новую жизнь обрело противопоставление *воли* и *свободы*. С точки зрения заключенных, подлинной, духовной *свободы* на *воле* нет и быть не может. Ср. характерное высказывание одного из персонажей романа «В круге первом»:

...только в тюрьме, а не на семейной *воле*, мужчина так *свободен* в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам!

Невозможность свободно вести себя и в тюрьме остро переживается заключенными:

Неужели и в тюрьме нет человеку *свободы*? Где ж она тогда есть?

Но хотя бы в каторжном лагере надеются они обрести *свободу*, отсутствующую на *воле*:

В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там *свобода* слова, стукачей нет.

Простор

Пространство vs. простор

Простор — это совсем не то, что просто *пространство*. Можно сказать, что в *просторе* ширина присутствует в большей степени, чем высота или глубина. Если *пространство* трехмерно, то для *простора* главным является горизонтальное измерение (поэтому мы говорим *в пространстве*, но *на просторе*); а употребляя форму множественного числа *просторы*, мы представляем себе как бы широту во все стороны (ср. термин «простираание», используемый в этой связи Валерием Подорогой).

Пространство не предполагает никакого наблюдателя (известно высказывание Ньютона: «Во Вселенной стынет пустое

пространство»); *простор* — это всегда зрительно воспринимаемое открытое пространство, чаще всего связанное с равнинным степным пейзажем или с *чистым полем*: «после долгого созерцания деревни поражал снежно-белый простор, по-зимнему синееющие дали казались неоглядными, красивыми» (Бунин). Слово *простор* исполнено любования.

Но эмоциональная составляющая занимает в семантике *простора* еще более важное место. *Простор* — это когда легко дышится, ничто не давит, не стесняет, когда можно пойти куда угодно, когда *есть разгуляться где на воле*. Даже само выражение *на просторе* иногда употребляется в значении 'на воле' или 'без помех'. Поэтому человек все время стремится, рвется *на простор* — ср. *Нам надо было куда-то поехать, вырваться в этот морозный простор* (Вас. Аксенов)

Пространство может быть *замкнутым*, для *простора* (и *просторов*) самое важное — отсутствие границ. Не говорят **замкнутый простор*, **замкнутые просторы*, зато чрезвычайно естественны сочетания типа *бескрайние, безбрежные просторы*.

Различие между *пространством* как само собою разумеющейся системой координат и *простором* как источником радости отражается и в переносных значениях. Мы говорим *пространство для маневра*, но *простор для фантазии*; ср. также *простор чувствам, воображению* (Гончаров). В первом случае выражается идея достаточности для некоторой цели, во втором — идея отсутствия ограничений (фантазия, чувства и воображение свободны и непредсказуемы).

Идея отсутствия стеснений выходит на первый план в производном *просторный*. Можно сказать, что *просторный* — это такой, где не *тесно*, где можно свободно двигаться и легко дышать. Обычно это прилагательное используется, когда говорят о помещениях или об одежде — так, говорят *просторная комната*, но не **просторное поле*, потому что никакое поле и не может стеснять движения.

Даль, ширь, приволье, раздолье

Надо сказать, что в русском языке есть еще целый ряд слов, в которых выражается идея любования или наслаждения большими расстояниями. Так, слова *даль* и *ширь*, несомненно, содержат идею зрительного восприятия, а слова *приволье* и *раздолье* предполагают, что человек чувствует себя свободно и хорошо (*раздолье* — это вообще в первую очередь не место, а положение дел).

При этом внутри каждой из указанных пар имеются существенные семантические различия. *Даль* скорее одномерна (а для указания на разные направления используется множественное число *дали*), тогда как *ширь*, подобно *простору*, простирается во все стороны (поэтому множественное число этого слова неупотребительно). *Даль* — слово скорее лирическое, созерцательно-мечтательное — ср. *Были дали голубы, / Было вымысла в избытке* (Окуджава); *ширь* исполнена энергии и воспринимается эпически — ср. *Какой во всем простор гигантский! / Какая ширь! Какой размах!* (Пастернак).

Приволье и *раздолье* тоже различаются. *Приволье* в большей степени ориентировано на пассивное восприятие роскоши мира и поэтому всегда подразумевает наблюдателя, но не активного субъекта — ср.: *Привольем пахнет дикий мед* (Анна Ахматова). *Раздолье* ориентировано на активное осуществление любых своих желаний. Поэтому слово *раздолье* имеет валентность субъекта, который при этом обычно не является наблюдателем (можно сказать *Ему там раздолье*; и хуже *Мне там раздолье*). Оно включает восхищенный или завистливый взгляд со стороны на человека, которого ничто не ограничивает. Поскольку своеволие не одобряется наивной этикой, слово *раздолье* может произноситься с оттенком осуждения: *Ну уж пустили козла в огород! Ему там раздолье*. Можно заметить также, что *приволье* ассоциируется с теплой погодой, когда человек нежится на солнышке, тогда как для *раздолья* время года не существенно.

Но самое главное в этих словах, как и в слове *простор*, — это идея отсутствия ограничения, которая в них настолько важна, что они могут употребляться и тогда, когда речь не идет о больших расстояниях — ср.: *Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье* (Гончаров).

Простор или уют?

В русской картине мира *простор* это одна из главных ценностей. Общая идея не только слова *простор*, но и многих других слов — клаустрофобия, боязнь тесноты и ограничений и представление, в соответствии с которым человеку нужно много места, чтобы его ничто не стесняло. Только на *просторе* человек может достичь *покоя* и быть самим собой. Именно поэтому человек стремится, рвется на *простор*.

Но, с другой стороны, *простор* может быть связан с холодом, ветром и неожиданностями, и в этом смысле он про-

тивоположен не *тесноте*, а *уюту*, противопоставлен уютному маленькому домашнему миру, где человек в безопасности и покое. Наряду с тягой к большому открытому пространству, к *простору*, в русской культуре представлена также, хотя и менее ярко выражена, любовь к небольшим закрытым пространствам, к *уюту*⁵. Отгораживаясь от «холодного ветра простора», человек надеется обрести душевный мир и покой. Выходя на *простор*, человек попадает в огромный мир, где его могут подстергать различные опасности. Поэтому естественно стремление спрятаться, укрыться от них, найти *уютный уголок*, где человеку было бы спокойно и ничего не грозило. Ср.:

Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплывают такие серо-чёрные толстые низкие тучи, прежде времени мрачнеет, темнеет, весь мир становится неуютным и хочется только спрятаться под крышу, поближе к огню и к родным (Солженицын, «Раковый корпус»).

Приведенный отрывок из «Ракового корпуса» иллюстрирует некоторые из важных характеристик *уюта*: отгороженность от опасного внешнего мира (*спрятаться под крышу*), тепло и домашний очаг (*поближе к огню*). Кроме того, в нем отражено еще одно важное свойство *уюта* — его связь с представлением о чем-то *родном*. В статье «Родные просторы» [Левонтина, Шмелев 2000а] мы обращали внимание на то, что концепт *простора* в русской языковой картине мира естественным образом монтируется с лингвоспецифичным концептом *родного*, что находит отражение в сочетаемости соответствующих слов. Но оказывается, что с понятием *родного* связаны не только *просторы*, но и *уют*. Так, часто *уютным* кажется *родной уголок*, где человека окружают *родные* (отсюда стремление *быть поближе к огню и к родным*).

Связь *уюта* с идеей укрытия проявляется в том, что упоминание об *уюте* нередко соседствует с указанием на то, что за окнами дождь, холод, война, революция. Так, герои «Белой гвардии» М. Булгакова отгораживаются от крушения мира *кремовыми шторами*. Иными словами, для *уюта* требуется отдельное *обжитое* пространство, хотя и маленькое, но свое, отгороженное, а отгороженность создает ощущение *уюта*; ср.: *Ему нянечка шторку повесила, / Создают персональный уют!* (Галич).

⁵ Не случайно герой Л. Лосева говорит в ответ на указание, что в русском языке нет слова *sophistication*: «Есть слово *мужество*, есть слово *воля*, / Есть из трех букв — *уют*». Мы видим, что он явно включает *уют* в число ключевых ценностей русской языковой картины мира.

Хотя большая или прохладная комната вполне может быть удобной и комфортабельной, но странно было бы сказать *большая уютная комната, прохладная уютная комната*. Как уже говорилось, в понятие *уют* входят тепло (хорошо, чтобы в комнате топилась печь или горел камин, — ср. приведенное выше выражение *у домашнего очага*, сразу создающее ощущение *уют*), защита от ветра, который гуляет на просторе (недаром у Блока *красивые уюты* противопоставляются *стуже лют*ой, а у Олейникова отсутствие *уют*а непосредственно связывается с во-ем ветра: *Страшно жить на этом свете, В нем отсутствует уют. / Ветер воет, на рассвете / Волки зайчика грызут*) и маленькие размеры. Не случайно прилагательное *уютный* особенно охотно сочетается с уменьшительными существительными: *уютный мифок, уютный уголок*, и, наоборот, использование уменьшительных существительных само может создать ощущение *уют*а, как в следующем примере:

Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчики», икру — «икоркой понимаю», и так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла (М. Булгаков).

И, как заметила (устно) С. Шувалова, *уютная* поза (когда кто-то уютно устроился на диване или уютно сидит) также предполагает небольшое пространство (и то, что субъекту мягко, тепло и ничто не нарушает его покой): можно уютно свернуться, но не говорят *уютно раскинулся. Полевые исследования, проведенные мною совместно с И. Б. Левонтиной в г. Иркутске в конце марта 2000 г., позволили выявить еще некоторые требования к уютному помещению. Там должно быть неяркое освещение (ни ярко освещенная, ни находящаяся в полной тьме комната не могут быть названы уютными), хорошо, если играет негромкая музыка (чрезмерно громкая музыка абсолютно несовместима с уютом).

З а м е ч а н и е. Любопытно сопоставление слова *уют* с его аналогами в некоторых европейских языках. На французский язык слова *уют* и *уютный* едва ли переводимы, а в английском языке есть близкое по смыслу к русскому *уютный*, но не очень употребительное прилагательное *cozy*. Зато в немецком языке слова *Gemütlichkeit* 'уют' и *gemütlich* 'уютный' выражают одно из ключевых понятий немецкой культуры, несколько отличаясь, впрочем, от своих русских аналогов: если русское слово *уют* наводит на мысль о небольшом по размеру убежище, укрытии, то в основе немецкого *Gemütlichkeit* лежит идея настроения: *gemütlich* — это такой, который приводит в приятное, спокойное расположение

духа. Голландские слова *gezelligheid* и *gezellig*, как и русские *уют* и *уютный*, выражают ощущение внутреннего покоя, но не предполагают отгороженности. Это ощущение естественным образом возникает у голландцев, когда они сидят у больших вымытых окон без занавесок, смотрят на улицу и понимают, что им нечего скрывать.

Итак, мы видим, что в русской языковой картине мира могут противопоставляться *простор* и маленький *уютный мирок*. Именно последний ассоциируется с *покоем* и чувством защищенности, тогда как *простор* скорее может оказаться источником душевного беспокойства⁶.

Но в русской культуре издавна укоренена и ассоциация *покоя* не с *утомом*, а с *простором* и *волей*. Часто бывает так, что человек убегает из беспокойного, суматошного и неуютного мира *на волю* или *на простор* и там обретает желанный *покой*. Собственно об этом и говорят знаменитые пушкинские строки:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля —
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Простор тогда никак не мешает *покою*; наоборот, он служит своего рода гарантией, что *покой* не будет нарушен неожиданным вмешательством со стороны. Как известно, особенности характера Обломова были во многом обусловлены тем, что «он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего ни наставлено, а в деревне, на *покое*, *просторе* и *вольном воздухе*».

Поэтому по-русски вполне естественно звучит некрасовская формула *покой и простор*⁷, в настоящее время активно используемая при рекламировании дальних курортов, на которых

⁶ Это различие ассоциативных полей *простора* и *юта* хорошо отражено в эпизоде из повести В. Белоусовой «Гайная недоброежелательность», в котором описывается семинар по Пушкину в американском университете: «Девочка сравнивала стихотворения „Бесы“ и „Зимний вечер“». Сперва речь шла о сходстве — там зима и тут зима, там буря и тут буря. Потом пошли различия: там замкнутое пространство, здесь открытое; там защищенность и даже уют, здесь — беззащитность и опасность; там — реальность, здесь — мистика и так далее и тому подобное».

⁷ Ср. также использование аналогичной формулы при выражении сходного мотива в сонете К. Бальмонта «Предвещание»: *Туда, туда! За грани вечных гор! / Вершины спят. Лазурь, покой, простор.*

человек может отвлечься от повседневных трудов и отдохнуть на *просторе*. Такой *простор* вовсе не противоречит *уюту*: вдали от городской суеты можно наслаждаться *простором* и жить в *уютных* помещениях. Ср., например, следующее характерное рекламное объявление:

«Эдем» зимой — тишина, покой и необъятные просторы для катания на лыжах. И всегда чистая природа, вкусная рыба, уютные помещения для проживания...

Пространство как источник мучений

Неприкаянность

Многие, на первый взгляд противоречивые, черты русской языковой картины мира коренятся в том, что в ней отношение к *простору* двойственно: холодный ветер простора и манит, и пугает, так что с *простором* связываются две возможных эмоциональных тональности: либо мажорная, когда простор видится как *приволье*, либо минорная, когда от избытка места человек *тоскует* и *мается*, не находя себе места. Получается, что избыток места оборачивается отсутствием *своего* места — *неприкаянностью*.

«Неприкаянность, „перекати поле“, странничество, — вот выражения еще одних свойств „русской души“, которые так часто повторяются во многих хрестоматийных свидетельствах. (...) Вокруг простор, слишком много места, но нет *моего* и *твоего* места, обжитого места», — пишет Валерий Подорога в послесловии к хрестоматии [Замятин, Замятин 1994]. *Неприкаянность* — это такое состояние человека, когда он испытывает растерянность и внутренний дискомфорт (например, потому что он несчастен или ему нечем заняться); это состояние концептуализуется как безуспешные поиски такого места, где бы человеку было спокойно и хорошо. Отсюда характерное выражение *бродит как неприкаянный*⁸.

Причины *неприкаянности* могут быть и более глубокими. Часто о *неприкаянности* говорят не просто как о временном

⁸ Сам по себе глагол *бродить* идеи «неприкаянности» не выражает, он, как и его производное *бродяга*, окрашен в русской культуре несколько романтически — ср. *Все пророки были бродягами, / Все бродяги немного пророки* (Л. Максимов); а герои мультфильма «Бременские музыканты» даже поют: *Ничего на свете лучше нету, / Чем бродить друзьям по белу свету*.

состоянии человека, но и как о его свойстве — неспособности жить в мире с самим собой. Это может быть связано с душевной раной, которая не дает человеку покоя всю жизнь. Так, Лидия Чуковская приводит строки из дневника отца (Корнея Чуковского): «Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность — у меня даже имени не было... Я как незаконнорожденный... был самым нецельным, непростым человеком на земле».

Маяться и томиться

Близкая идея лежит в основе выражений *не находить себе места* или просто *маяться* — от тревоги или от душевного волнения. Отличие глагола *маяться* от *мучиться* заключается, в частности, в том, что мучение, обозначаемое этим глаголом, концептуализуется как безостановочное и бессмысленное движение, подобное движению маятника. Часто человек *мается* от безделья (ср. устойчивые выражения *маяться бездельем, ленью*) или от болезней (ср. типичное *маяться животом*). В повести А. Аверченко «Подходцев и двое других» есть характерное описание душевного дискомфорта, которое как раз и соответствует глаголу *маяться*: «Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже „прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу“, что по терминологии плохих беллетристов является наивысшим признаком скверного душевного состояния».

Полезно сопоставить глагол *маяться* с таким словом, как *томиться*. В *томиться* тоже есть пространственная составляющая, однако ее роль здесь совсем иная. *Томиться* включает представление о закрытом пространстве, из которого человек не может выбраться на простор, на волю (отсюда кулинарное значение слова *томиться*). Поэтому можно *томиться в неволе*, а *маяться*, наоборот, — от излишней свободы (нельзя сказать **маяться в заключении*).

«Широта русской души»

Гуляния*

Г. Д. Гачев писал в работе «Национальные образы мира»:

Широкая душа, русский размах — это все идеи из стихии воздуха-ветра... Человек стремится «Туда, где гуляют лишь ветер да я», — не случайно это братское спаривание. Недаром и для ветра, и для русского человека одно действие присуще и любимо: «гулять на воле» — разгуляться, загулять, загул, отгул, разгул. И недаром Гоголь, о душе русского человека говоря: «Его ли душе, стремящейся закружиться, разгуляться», — упоминает действия, которые в равной мере делаются и ветром.

Вообще, слово *гулять* (в разных значениях), как и его многочисленные производные: *разгуляться*, *загулять* и *гульнуть*, *гулена* и *гуляка*, *прогулять* и *отгул*, *гуляние* и *прогулка*, — чрезвычайно важно для русского языка; ср. выразительное заклинание: «Лишь разочек еще / Погуляла б душа, / Погуляла душа напоследок» (Л. Лосев). Все эти слова имеют характерный гедонистический привкус, хотя каждое из них окрашено по-своему.

Интересно в этой связи сравнить слова *прогулка* и *гуляние*. Первое предполагает умеренное приятное времяпрепровождение, второе подразумевает безудержную дикую радость жизни, с песнями, плясками, а зачастую пьянкой и мордобоем. Праздники сопровождаются *народными гуляниями*, а никак не **народными прогулками*. С другой стороны, влюбленные осуществляют романтические *прогулки* при луне, которые нельзя назвать *гуляниями*.

Разные значения глагола *гулять* объединяются идеей свободы выбора, отсутствия стеснений и необходимости выполнять скучную, рутинную работу. Эта возможность свободно следовать своим желаниям переживается как праздник, желания при этом могут быть разными и отнюдь не всегда ограничиваются пешим перемещением. Ср. следующий пример, в котором комический эффект создается как раз благодаря разному смыслу, вкладываемому в слово *гулять* собеседниками (Черты из жизни Екатерины II // Древняя и новая Россия. Т. 1. 1879):

* В данном разделе использована также написанная совместно с И. Б. Левонтиной работа «На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке» [Левонтина, Шмелев 1999].

Императрица Мария Федоровна спросила у знаменитого графа Платова, который сказал ей, что он с короткими своими приятелями ездил в Царское Село:

— Что вы там делали — гуляли?

— Нет, государыня, — отвечал он, разумея по-своему слово гулять, — большой-то гульбы не было, а так бутылочки по три на брата осушили...

Такое понимание глагола *гулять*, как у графа Платова, зачастую связывается со стереотипным представлением о русском национальном характере. Характерно рассуждение из статьи в газете *The Moscow Times* (Tuesday, October 5, 1999), в которой описывается, как некая женщина, делая покупки в магазине *duty-free*, выбрала джин и виски:

Пусть народ гуляет, or let the people have fun, she said, in reference to a welcome home party she would receive. In this case she used the verb *гулять*, an all-purpose word that can mean anything from to stroll about town to have an extra-marital affair, but in this case, we can be pretty sure she meant to party. And what is a народное гуляние (a party of the people) without a little *джин*?

На первый взгляд кажется, что весь широкий спектр значений слов с корнем *гул-* развивается на основе значения пешего передвижения. Это, однако, совсем не так. Этимология слова *гулять* не вполне ясна; однако во всех версиях первичным считается не значение перемещения, а одно из значений, которые в современном языке воспринимаются как производные: идея игры (в некоторых версиях в мяч, в других версиях — любовной), употребления алкоголя или лежания в постели. Не удивительно, что ассоциативное поле русского глагола *гулять* так сильно отличается, например, от английского *walk*.

Иногда даже не вполне ясно, в чем в точности состоит действие, описываемое как *гулять*. Строки известной песни *Ой да загулял, загулял парнишка, парень молодой* не позволяют точно указать, в чем, собственно, это заключалось. Напился ли он, закрутил ли головокружительный роман — все это очень возможно, но не обязательно. В глаголе *загулять* содержится самозабвение, отсутствие границ, отчаянность, буйство, безудержное веселье, переходящее в бездонную тоску.

Однако носители языка не всегда связывают глагол *гулять* с буйством. Чтобы человек описал свое времяпрепровождение посредством глагола *гулять*, оказывается достаточным общее ощущение праздности. Не случайно во многих случаях прямо

противопоставляются гулять и работать. На этом противопоставлении базируется внутренняя форма многих слов, таких как прогул и отгул (ср. также просторечное гулять отпуск).

Что такое «широта души»?

Когда человек гуляет, его ничто не сдерживает и он проявляет широту души, часто считающуюся специфически «русским» свойством. Словосочетание широта русской души стало почти клишированным, но смысл в него может вкладываться самый разный.

Прежде всего, широта — это само по себе название некоторого душевного качества, приписываемого русскому национальному характеру и родственного таким качествам, как хлебосольство и щедрость. Широкий человек — это человек, любящий широкие жесты, действующий с размахом и, может быть, даже живущий на широкую ногу⁹.

Иногда также употребляют выражение человек широкой души. Это щедрый и великодушный человек, не склонный мелочиться, готовый простить другим людям их мелкие проступки и прегрешения, не стремящийся «заработать», оказывая услугу. Его щедрость и хлебосольство иногда могут даже переходить в нерасчетливость и расточительность. Но существенно, что в системе этических оценок, свойственных русской языковой картине мира, широта в таком понимании — в целом положительное качество. Напротив того, мелочность безусловно осуждается, и сочетание мелочный человек звучит как приговор.

С другой стороны, широта может пониматься как терпимость, признание возможности различных точек зрения на одно и то же явление, умение понять другого человека, а поняв, полюбить его таким, каков он есть, пусть не соглашаясь с ним. Широта в этом понимании также иногда приписывается «русскому характеру»¹⁰. Чаще всего о человеке, который обладает такой широтой, говорят как о человеке широких взглядов. Итак, человек широких взглядов — это человек прогрессивных воззрений, терпимый, готовый переносить инакомыслие, склонный к

⁹ Широта характера, размах решений, — пишет А. Солженицын, перечисляя качества, отмечаемые наблюдателями в русском характере («Россия в обвале»).

¹⁰ Отзывчивость, способность «всё понять», — перечисляет А. Солженицын в том же ряду «свойств русского характера» («Россия в обвале»); ср. также характеристику русского народа, данную когда-то Достоевским: широкий, всеоткрытый ум.

плюрализму, иногда, возможно, даже граничащему с беспринципностью¹¹.

Выражение *широта души* может интерпретироваться и в несколько ином ключе, обозначая тягу к крайностям, к экстремальным проявлениям какого бы то ни было качества. Эта тяга к крайностям (все или ничего), максимализм, отсутствие ограничителей или сдерживающих тенденций часто признается одной из самых характерных черт, традиционно приписываемых русским¹². Так, в статье В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной [1995], посвященной отражению в языке разного рода стереотипов, отмечается, что именно «центробежность», отталкивание от середины, связь с идеей чрезмерности или безудержности и есть то единственное, что объединяет *щедрость* и *расхлябанность*, *хлебосолье* и *удаль*, *свинство* и *задушевность* — обозначения качеств, которые (в отличие, например, от слова *аккуратность*) в языке легко сочетаются с эпитетом *русский*. «Широк человек, я бы сузил», — говорил Митя Карамазов как раз по поводу соединения в «русском характере», казалось бы, несоединимых качеств. При этом каждое из качеств доходит до своего логического предела, как в стихотворении Алексея Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж плеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!¹³

Наконец, о «широте русской души» иногда говорят и в связи с вопросом о возможном влиянии «широких русских пространств» на русский «национальный характер». Как уже

¹¹ Ср. наблюдения Н. Д. Арутюновой [2000а: 379] над тем, как у персонажей Достоевского «широкость, то есть умение понять правду Другого, оборачивается отрицательной стороной, обнаруживая нравственную неустойчивость, или шатость» (*широкий человек... выслушивает другого и тогда, когда тот морально нечистоплотен*).

¹² Ср., впрочем, мнение А. Солженицына, высказанное в книге «Россия в обвале»: «Не согласен я с множественным утверждением, что русскому характеру отличительно свойственен максимализм и экстремизм. Как раз напротив: большинство хочет только малого, скромного».

говорилось, роль «русских пространств» в формировании «русского видения мира» отмечали многие авторы. Н. А. Бердяев в эссе, которое так и озаглавлено — «О власти пространств над русской душой», пишет: «Широк русский человек, широк, как русская земля, как русские поля». В этом отрывке заметен отзвук высказываний персонажей Достоевского: Свидригайлова из «Преступления и наказания» (*Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному*) и прокурора из «Братьев Карамазовых» (*Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия*).

О «власти пространств над русской душой» говорили и многие другие. «Первый факт русской истории — это русская равнина и ее безудержный разлив... отсюда неперевоодимость самого слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу...», — писал Владимир Вейдле. Валерий Подорога раскрывает механизм влияния «широких русских пространств» на *широту* «национального характера» следующим образом: «Так, широта плоских равнин, низин и возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквивалент, аффект *широты*, и в нем как уже моральной форме располагаются определения русского характера: открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям и т. п.».

Все названные выше факторы сплелись воедино и определяют причудливую «географию русской души». Не удивительно, что эта «широта русской души» интересным образом отражается в русском языке и в первую очередь в особенностях его лексического состава. Русские слова и выражения, так или иначе связанные с *широтой* русского «национального характера», оказываются особенно трудными для перевода на иностранные языки. Ниже рассматривается ряд русских лексических единиц, непосредственно связанных с «широтой».

Тоска

Многие из слов, ярко отражающих специфику «русской ментальности» и соответствующих уникальным русским понятиям, — такие как *тоска* или *удаль*, — как бы несут на себе печать «русских пространств»¹⁴. Недаром переход от «сердечной то-

¹⁴ По замечанию С. А. Старостина (в передаче корреспондента «Комсомольской правды»), наряду с *тоскою* и *удалью* к труднопереводимым русским словам, для которых отсутствуют эквиваленты в

ски» к «разгулью удалому» — постоянная тема русского фольклора и русской литературы, и не случайно во всем этом «что-то слышится родное». Часто, желая *сплеснуть тоску с души*, человек как бы думает: «Пропади все пропадом», — и это воспринимается как специфически «русское» поведение, ср.:

Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зароками, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да почувствовать теплоту («Раковый корпус»).

Именно «в метаниях от буйности к тоске» находит «безумствующее на русском языке» «сознание свихнувшейся эпохи» и поэт Игорь Губерман.

Склонность русских к *тоске* и *удали* неоднократно отмечалась иностранными наблюдателями и стала общим местом, хотя сами эти слова едва ли можно адекватно перевести на какой-либо иностранный язык. Характерно замечание, сделанное в газетной статье («Иностранец», 1996, № 17) «Что русскому здорово, то немцу — смерть»:

По отношению к русским все европейцы сконструировали достаточно двойственную мифологию, состоящую, с одной стороны, из историй о русских князьях, борзых, икре-водке, русской рулетке, неизмеримо широкой русской душе, меланхолии и безудержной отваге; с другой же — из ГУЛАГа, жуткого мороза, лени, полной безответственности, рабства и воровства.

Выражение *меланхолия* и *безудержная отвага*, конечно же, заменяет знакомые нам *тоску* и *удаль*; автор сознательно «остраивает» эти понятия, передавая тем самым их чуждость иностранцам и непереводаемость на иностранные языки.

других языках, относятся слова *хохотать* и *хохот*. Слова «смеяться», «смех» есть в большинстве языков, а «хохота» нет. Едва ли в этом можно видеть влияние «широких пространств», но вот пристрастие к крайностям, к крайним проявлениям имеет место — «коли смех, так не просто смех, а *хохот*». При этом важно, что *хохот* и *хохотать* являются общеупотребительными русскими словами, обозначающими «здоровый смех», который не вызывает у говорящего неодобрения. Этим *хохотать* отличается от *гоготать*, а также от таких слов, как, например, английское *guffaw* 'гоготать, ржать', которое иногда приводится в русско-английских словарях в качестве эквивалента слова *хохот*, но которое, в отличие от русских слов *хохот* и *хохотать*, включает оценочный компонент, указывающий на неодобрение такой «крайности», как несдержанный громкий смех [ср. Вежицкая 1999: 527—530].

На неперебиваемость русского слова *тоска* и национальную специфичность обозначаемого им душевного состояния обращали внимание многие иностранцы, изучавшие русский язык (ср., например, замечания Р. М. Рильке об отличии *тоски* от состояния, обозначаемого немецким *Sehnsucht*¹⁵). Трудно даже объяснить человеку, незнакомому с тоскою, что это такое. Словарные определения («тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога», «гнетущая, томительная скука», «скука, уныние», «душевная тревога, соединенная с грустью; уныние») описывают душевные состояния, родственные *тоске*, но не тождественные ей. Пожалуй, лучше всего для описания тоски подходят развернутые описания в духе А. Вежбицкой (ср. [Wierzbicka 1992: 169—174]): *тоска* — это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это обычно что-то утраченное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях: ср. *тоска по родине, тоска по ушедшим годам молодости*. В каком-то смысле всякая тоска могла бы быть метафорически представлена как тоска по небесному отечеству, по утраченному раю. Но, по-видимому, чувству тоски способствуют бескрайние русские пространства; именно при мысли об этих пространствах часто возникает *тоска*, и это нашло отражение в русской поэзии, ср.: *Наш путь — степной, наш путь в тоске безбрежной, / В твоей тоске, о, Русь!* (Блок); *тоска бесконечных равнин* (Есенин); *Что мне делать, насквозь горожанину, с этой тоской пространства?* (Л. Максимов).

Связь тоски с «русскими просторами» отмечалась многими авторами. *Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до*

¹⁵ В письме от 28 июля 1901 г., адресованном А. Н. Бенуа и написанном по-немецки, Рильке, ощутив необходимость выразить смысл, содержащийся в русском слове *тоска*, перешел на русский язык, хотя владел им не в совершенстве (отсюда некоторые грамматические ошибки), и писал: «Я это не могу сказать по-немецки... (...) как трудно для меня, что я должен писать на том языке, в котором нет имени того чувства, который самое главное чувство моей жизни: тоска. Что это *Sehnsucht*? Нам надо глядеть в словарь, как переводить: „тоска“. Там разные слова можем найти, как например: „боязнь“, „сердечная боль“, все вплоть до „скуки“. Но Вы будете соглашаться, если скажу, что, по-моему, ни одно из десяти слов не дает смысл именно „тоски“. И ведь, это потому, что немец вовсе не тоскует, и его *Sehnsucht* вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души, из которого никогда не выйдет ничего хорошего. Но из тоски народились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли».

моря, песня? — спрашивал Гоголь, обращаясь к Руси из своего «прекрасного далека»; именно эта «тоскливая» и одновременно «несущаяся по всей длине и ширине» песня была для него как бы символом России. Нередко чувство тоски обостряется во время длительного путешествия по необозримым просторам России (ср. понятие *дорожной тоски*); как сказано в уже цитированном стихотворении Максимова, *каждый поезд дальнего следования будит тоску просторов*.

Удаль

Другое характерное русское слово — *удаль* — называет качество, чем-то родственное таким качествам, как *смелость*, *храбрость*, *мужество*, *доблесть*, *отвага*, но все же совсем иное. Это хорошо почувствовал Фазиль Искандер, который писал:

Удаль. В этом слове ясно слышится — даль. Удаль это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали.

В слове «мужество» — суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее, даже противодействий. Мужество от ума, от мужинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость.

Но, взглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга.

Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь — копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: а правильно ли я рубил?

А все-таки красивое слово: удаль! Утоляет тоску по бессмыслию.

Действительно, человека, который не проявил достаточной удали, мы не назовем *трусом* — скорее скажем, что это *расчетливый* человек. Человек, который *смело* смотрит в лицо опасности или *мужественно* переносит страдания, не проявляет этим ни-

какой удали. Говоря о солдатах, которые *доблестно* или *отважно* встретили смерть, вступив в бой с превосходящими силами противника, употребить слово *удаль* тоже будет неуместно. Да и вообще, это слово не употребляется, когда речь идет об *исполнении долга*. Оно оказывается уместным, когда речь идет о ком-то, кто действует вопреки всякому расчету, «очертя голову» и тем самым совершает поступки, которые были бы не по плечу другому. *Удаль* всегда предполагает *удачу* — здесь проявляется связь с глаголом *удаться*, к которому восходят оба этих существительных.

Пытаясь объяснить или понять, что такое *удаль*, мы неизбежно сталкиваемся с некоторым парадоксом. Все попытки рационального объяснения *удали* заставляют признать, что в ней нет ничего особенно хорошего; во всяком случае, она не является таким превосходным качеством, как *мужество*, *смелость*, *храбрость*, *отвага*, *доблесть* (именно это демонстрирует и приведенное выше рассуждение Ф. Искандера). В то же время слово *удаль* в русском языке обладает яркой положительной окраской. Типичное сочетание с этим словом — *удаль молодецкая*. И хотя, конечно, П. Вайль и А. Генис иронизируют, когда пишут об «идеальной гоголевской Руси» как о *грядущем царстве правды, добра и удали*, но сама возможность появления *удали* в этом ряду показательна.

По-видимому, существенный смысловой компонент слова *удаль* соответствует идее любования (впрочем, иногда речь скорее может идти о самолюбовании того, чьи поступки отличаются *удалью*). Говоря об *удали*, мы любимся тем, какие удалые действия может совершить человек, и уже это сообщает слову положительную окраску. Кроме того, для *удали* важна идея бескорыстия, *удаль* противостоит узкому корыстному расчету. Попробуйте объяснить, *зачем* надо проявлять *удаль*. Так, ни для чего, просто ради самой *удали*. Как курьер из детского рассказа С. Алексеева «Сторонись!», который любил лихую езду, как-то, мчась на санях, сшиб в снег самого Суворова, а через три дня, вручая Суворову бумаги из Петербурга, получил от него в награду перстень:

— За что, ваше сиятельство?! — поразился курьер.

— За *удаль*!

Стоит офицер, ничего понять не может, а Суворов опять:

— Бери, бери. Получай! За *удаль*. За русскую душу. За молодечество.

Пожалуй, быстрая езда, которую, как известно, любит всякий русский, — это и есть самое типичное проявление *удали*.

Образ мчащейся и «необгонимой» «птицы-тройки», косясь на которую, «постораниваются и дают ей дорогу» другие народы и государства, дает хорошее представление о том, что такое *удаль* и каково ее ассоциативное поле в русском языке. Повидимому, само слово (и понятие) *удаль* могло родиться только у бойкого народа — и при этом у народа, привыкшего к широким пространствам. Кстати, на то, что *удаль* возникла под влиянием широких пространств, со всей определенностью указывает Николай Федоров, говоря о географическом положении России: «...простор... не мог развить упорства во внутренней борьбе, но развивал *удаль*, могущую иметь и иное приложение, а не одну борьбу с кочевниками».

Связь понятия *удали* с представлением о широких пространствах хорошо иллюстрирует и цитированный выше отрывок из Ф. Искандера, которому «в этом слове ясно слышится — даль». И этот же отрывок дает понять, каким образом *удалые* действия, совершаемые «от тоски», могут эту *тоску* хотя бы частично утолить.

Размах и хлебосольство

С понятием *удали* связаны и другие типично русские понятия и соответствующие им трудно переводимые слова, отражающие «широту русской души»: *размах*, *разгул*, а может быть, даже *загул* и *кураж*¹⁶.

Размах предполагает отсутствие мелочности и внутренних ограничений, связанных со страхом, скупостью или недостатком фантазии. Это может оборачиваться либо бесшабашностью, либо масштабностью, либо сочетанием этих идей (ср. *праздник на широкую ногу, с размахом*). И во всех случаях *размах* вызывает восхищение; ср., с одной стороны: «Я / планов наших / люблю громадь, / размаха / шаги саженьи» (Маяковский), и с другой — «Проиграл я одежду и сменку, / Сахарок на два года вперед, / {...} / Но зато господа из влиятельных урок / За размах уважали меня» (Юз Алешковский).

¹⁶ Последнее слово интересно тем, что, будучи прямым заимствованием из французского языка, оно коренным образом изменило свое значение. Если во французском языке *courage* значит просто смелость, то в русском оно как бы втянулось в поле русского «загула» и стало характеризовать некоторое развязное состояние, когда у человека нет никаких «внутренних тормозов» (самое характерное сочетание с этим словом — *пьяный кураж*).

С другой стороны, сама потребность «широкой русской души» в *размахе* требует *простора*. Широкой душе необходимо много места, и она эмоционально осваивает огромные пространства. Вероятно, с этим можно связать характерное для русского языка расширенное представление о личной сфере, проявляющееся, например, в значении и употреблении специфически русского слова *родной* (см. о нем [Левонтина 1997; Wierzbicka 1997: 79—84]).

Идея *размаха* входит в смысл многих других характерных русских слов, таких как, например, *хлебосольство*. О русском гостеприимстве слышаны все иностранцы. Это понятие столь важно для русской культуры, что русский язык не обходится одним его обозначением, а располагает сразу тремя словами: *гостеприимство*, *радушие*, *хлебосольство*. При этом с точки зрения представлений о мире, отраженных в семантике указанных слов, именно *хлебосольство* воспринимается как специфически русская черта. *Гостеприимство* и *радушие* могут быть присущи самым разным народам, но странно было бы говорить о *грузинском* или *итальянском хлебосольстве*. В соответствии со стереотипными представлениями, *хлебосольство* бывает *русским* или *украинским*, ср.:

Последние слова «будьте гостем» Зауля произнес дрогнувшим голосом, так как вспомнил, что угощать нечем. А он был человек хлебосольный и гостеприимный, как все украинцы (А. Свирский, «Рыжик»).

Но чаще всего о *хлебосольстве* говорят как о специфически московской черте (ср. характерное выражение *московское хлебосольство*), которая играет определенную роль в противопоставлении Москвы и Петербурга (заметим, что даже само сочетание *петербургское хлебосольство* звучит несколько странно). Космополитичная первопрестольная столица всегда была открыта «для званых и незваных, особенно из иностранных», и именно это и делало ее по-настоящему русским городом.

Родные просторы

Можно заметить, что подобные «ключевые слова» обладают замечательным свойством притягиваться друг к другу. Очень часто они появляются в текстах рядом: *воля* оказывается сопряжена с *удалью*, *разгул* заставляет вспомнить о *тоске*, а к *просторам* так и просится эпитет *родные*. Не случайно при описании психологического состояния персонажей художественных про-

изведений *воля*, *простор*, *тоска* часто появляются вместе, как в повести А. И. Свирского «Рыжик»:

Санька своими рассказами о том, как он с Полфунтом «гулял на просторе», как они ночевали в лесах и как делали все, что им хотелось, разбудил в душе Спирьки чувство любви к свободе, к безневольному житью, и он мучительно затосковал¹⁷.

Все такие слова в конденсированном виде содержат одно и то же мироощущение. Создается впечатление, что они сами по себе обладают текстопорождающей способностью. Некоторые тексты как будто написаны человеком, просто отдавшимся на волю стихии языка и плывущим по течению. Так, песня на стихи Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная» не просто проникнута характерным русским мироощущением, но просто является описанием фрагмента русской языковой картины мира, облеченным в стихотворную форму. Тут и *широта*, и *необъятность*, и *приволье*, и *родное*, и *ветер*, и *вольное дыханье*.

¹⁷ Примечательно, что в этом отрывке используется слово *свобода*. Здесь следует иметь в виду, что, будучи из двух синонимов значительно более употребительным, оно (в тех случаях, когда используется вне противопоставления *свобода* vs. *воля*) часто сближается с *волей*, так что рассматриваемое противопоставление оказывается размытым. Так, скажем, В. Вейде, когда писал о «русском, столь отличном от западного понимании свободы, не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя», скорее всего имел в виду в первую очередь *волю*.

Общие жизненные установки

Смирение

Установка на примирение с действительностью

Уже приходилось отмечать, что для русской языковой картины мира чрезвычайно характерна установка на «примирение с действительностью»¹. С точки зрения установки на «примирение с действительностью» достижение внутреннего *мира* возможно лишь при условии отказа от вражды с другими людьми и принятия всего, что вокруг происходит. При этом носитель такой установки сам для себя находит аргументы, почему «примирение с действительностью» возможно, разумно и необходимо.

Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридцати историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна *примирялась* с ними за то, что эти три месяца у неё были свои больные — не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали её голоса и взгляда (Солженицын, «Раковый корпус»).

Можно привести также ряд высказываний Солженицына о Пушкине (из эссе «Колеблет твой треножник»), показывающих, что «примирение с действительностью» в самом деле может рассматриваться в русской языковой картине мира как идеал:

Вера его высится в необходимом, и объясняющем, единстве с общим *примирённым* мирочувствием; отнеслся к смерти *примирённо*, спокойно, с возвышением мысли;

¹ Иногда эта установка даже характеризуется как «беспомощность и покорность судьбе, превосходящая все границы, — вызывающая изумление и презрение всего мира» (Солженицын).

гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведенные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма — всплытие в слой покоя, **примирённости** и света;

Горе и горечь освещаются высшим пониманием, печаль смягчена **примирением**.

«Наплевательство»*

Установка на примирение с действительностью иногда переходит в «презрительное безразличие», выражаемое по-русски при помощи таких высказываний, как *Плевать...!*; *Наплевать...!*; *А я плевал...!*; *Плевать я хотел...!*; *А я плюю...!* и т. д. При этом русские выражения типа *Плевать...!* указывают на то, что говорящий не просто не хочет думать о том, на что он «плюет», но, главное, не хочет в связи с этим ничего предпринимать. Иными словами, сквозь русское *Плевать...!* наряду с безразличием просвечивает идея ничегонеделания, «плевания в потолок». *Да плюнь ты...!* — один из самых часто встречающихся советов, который дают человеку, если он кажется чрезмерно озабоченным какими-то трудностями. Это совет избавиться от излишних и ни к чему не приводящих (или приводящих только к расстройству) усилий.

В совершенном виде глагол *плюнуть* может указывать на то, что субъект в каком-то конкретном случае поступил в соответствии с рассматриваемой установкой (*Попытался сделать это, ничего не вышло, я и плюнул*); глагол несовершенного вида *плевать* указывает на то, что такое отношение к жизни стало для субъекта общей жизненной установкой. «Философское» отношение к жизни в русском языке концептуализуется как 'плевание' и могло бы быть выражено максимой: «Не стоит тратить усилия: все равно от тебя ничего не зависит».

Иногда кажется, что такое «наплевательское» отношение даже является для некоторых носителей русского языка предметом особой гордости. Так, гордости полны известные строки Маяковского: *Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь* и т. д. Своего рода «униженная гордость» свойственна и героям Галича, заявляющим: *Под столом нарежем салца, и плевать на всех — на тутошних!* или *А что мадам его крутит мордою, так мне плевать на то, я не гордая*.

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Символические действия и их отражение в языке» [Шмелев 1997а].

Нередко люди не только гордятся собственным «наплевательством», но и рекомендуют его другим как достойное философское отношение к жизни. Как уже говорилось, *Да плюнь ты...!* — один из самых часто встречающихся советов, которые дают человеку, если он кажется чрезмерно озабоченным какими-то трудностями, и в таком совете иногда видится проявление житейской мудрости. Недаром нечто похожее советовал нравственно мнительным людям старец Варсонофий из «Трех разговоров» Владимира Соловьева: «А вот тебе мой совет: как начнет он тебя этим самым раскаянием смущать, ты *плюнь да разотри* — вот, мол, и все грехи мои тяжкие — так они для меня необнаковенно важны!»

Апофеозом такой установки на «наплевательство» может служить отрывок из послесловия к словарю [Елистратов 1997], в котором автор словаря описывает свою бабушку именно как пример высокофилософского отношения к жизни («Это было что-то среднее между Сократом и Буддой», — пишет он):

Если у нее случалось какое-нибудь несчастье, она всегда, махнув рукой, говорила только одно слово «плевать»... (...) ... советская власть, с присущей ей бесцеремонностью, выселила бабушку, дедушку и всю семью из большого четырехкомнатного дома с огромным садом в селе Всехсвятском (ныне Сокол) сначала в коммуналку на Ленинском проспекте (где я и родился), а затем в однокомнатную квартиру на Госпитальном валу. Факт грабежа здесь очевиден. Можно было бы после этого до смерти скрежетать зубами на «Совдепию». Но бабушка только сказала: «плевать», — и прослезилась от счастья.

Посредством «плевка» легче всего выразить незаинтересованность в «житейской суете». Василий Розанов почти с восхищением передавал историю о том, как Победоносцев продемонстрировал свое презрение к «суждениям света»:

Как мне нравится Победоносцев, который на слова: «Это вызовет дурные толки в обществе» — остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше.

Такие «плевки» вызывают одобрение не только у философов. За наплевательским отношением к «суетному» и «низменному» многие охотно видят любовь к «возвышенному». Непрерывно *плюя*, можно прослыть человеком высших интересов.

В других языках тоже есть выражения, указывающие на безразличие, там тоже даются советы не расстраиваться по

пустякам или отказаться от бесплодных усилий изменить ход дела. Но именно в русском языке все эти идеи сконцентрированы в одном глаголе *плевать*. Мы используем этот глагол и для выражения собственной установки, и описывая чье-либо безразличное отношение, и давая совет. Мы можем говорить даже о «плевках», произведенных неодушевленным субъектом, как в одном из газетных интервью («Аргументы и факты», 1996, № 42):

Биологии ведь на мораль плевать. — Естественно, природе на эстетику, мораль, этику плевать, когда идет процесс отбора.

И лишь на поверхностный взгляд человек, после ряда тщетных попыток решивший наконец *плонуть*, потерпел фиаско. С точки зрения жизненной позиции, выраженной в русском *Плевать...!*, он, наоборот, сумел, отринув «житейскую суету», подняться до подлинно философского отношения к действительности.

Переосмысление смирения

Наличие в системе представлений о мире установки на «примирение с действительностью» привело к интересному переосмыслению слов *смириться* и *смирение* в русле «народной этимологии». Эти слова, соотносимые с одной из важнейших христианских добродетелей, предполагающей отсутствие гордости и *умерение* каких бы то ни было претензий, этимологически восходят к корню *мер-*. Однако под влиянием созвучия со словами *примириться* и *примирение* и общей установки на «примирение с действительностью» они стали ассоциироваться с принятием окружающего мира таким, каков он есть.

В результате такого переосмысления наряду с исходным абсолютным употреблением, не предполагающим сильно управляемого актанта, глагол *смириться* приобрел иную модель управления (*смириться с* (чем-либо)), аналогичную модели управления глагола *примириться*. Ср.:

И с умилением Олег почувствовал, что он вполне доволен своей долей, что он вполне **смирён со ссылкой**, и только здоровья одного он просит у неба, и не просит больших чудес (Солженицын, «Раковый корпус»).

Ср. также конструкцию *смириться, что...*:

Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к

тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти (Солженицын, «Раковый корпус»).

Существительное *смирение*, вообще говоря, нормально соотносится лишь с абсолютивным *смириться* и подобно ему относительно редко используется в повседневном языке. Использование слова *смирение* в соответствии с обиходным *смириться* (с чем-либо) возможно лишь окказионально (например, у Солженицына в книге «Россия в обвале» в ряду характеристик «русского характера» встретилось сочетание *доверчивое смирение с судьбой*). Однако идея «примирения с действительностью» определенным образом окрашивает слово *смирение*, создает у него некий дополнительный семантический ореол. При употреблении слова *смирение* может акцентироваться как идея отказа от гордости, так и идея покорного принятия всего, что ниспосылается человеку. Характерно рассуждение митрополита Антония (Блума):

Мы привыкли думать о смирении как о состоянии человека, который перестал видеть в себе что бы то ни было, что могло бы вызвать в нем тщеславие, гордость, самодовольство. Но смирение — еще нечто большее: это примиренность до конца, это мир со всем. Это состояние отданности до конца, за пределом страха, за пределом самозащиты; это предельная уязвимость и незащитность. И вместе с тем, это такая открытость Богу, которая дает Ему возможность воздействовать на нас, что бы Он ни захотел с нами сделать, чем бы Он ни хотел, чтобы мы стали. Это готовность, именно по этой примиренности, принять любое унижение или любую славу с одинаковой открытостью, без содрогания и без наслаждения.

Итак, мы видим, что новые обертоны в понимании *смирения* были усвоены даже русской церковной мыслью (еще ряд примеров такого усвоения приводятся в статье [Шмелев 2000б])².

² При этом все же в «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова [1985] (хотя вообще он ориентирован не на этимологическую истину, а на восприятие словообразовательных связей современными носителями языка) глагол *смирить(ся)* и его производные, в отличие от глагола *примирить(ся)*, не включены в гнездо с вершиною *мир*.

Совместимо ли смирение с «активной жизненной позицией»?

Установка на такое *смирение*, предполагающее, в числе прочего, *примирение* со своим положением, может вести к бездеятельности и нежеланию что-либо предпринимать. Не случайно она вызывает отталкивание у людей активных и деятельных. Таков Вадим Зацырко из «Ракового корпуса»:

Вадим... раздражался от этих разжигающих басенок о **смирении**. Такая водянистая блеклая правденка противоречила всему молодому напору, всему сжигающему нетерпению, которое был Вадим, всей его потребности разжаться, как выстрел, разжаться и отдать.

Но не только Вадим, на формирование взглядов которого решающую роль оказало советское воспитание, но и герои, вызывающие явную симпатию автора, считают, что *смирение* противоречит *делу*³. Так, мальчик Дёма не видит в *смирении* ничего «дельного»:

Дёма ходил, прихрамывая, и всюду искал именно тётю Стёфу, которая и посоветовать-то ему ничего **дельно** не могла, кроме как **смириться**.

Олег Костоготов также очевидным образом противопоставляет *смирение* и *дельность*. Так, он размышляет по поводу разъяснений, которые ему дал Лев Леонидович, «хирург с волосатыми руками»:

Или просто, верный своему врачебному сословию, этот **дельный** человек тоже лишь склоняет большого к **смирению**?

Итак, в отношении повседневного языка в целом справедливым представляется мнение А. Вежбицкой [Wierzbicka 1992: 194], полагающей, что, в отличие от западного христианского идеала *humility*, вполне допускающего активную борьбу за лучшее устройство жизни, «русский идеал *смирения*» предполагает

³ Надобно заметить, что в «Раковом корпусе» *смирение* и вообще «примирение с действительностью» в целом оценивается невысоко, оно примыкает к конформизму и противопоставляется борьбе за правду. Так, перед Елизаветой Анатольевной, у которой растёт сын, встает вопрос, *скрывать правду, п р и м и р я т ь е г о с ж и з н ь ю* или *нагружать правдой*. Характерно также, что отрицательный Русанов именно апелляцию к *смирению* демагогически использует как аргумент против хрущевской оттепели и начинающегося освобождения миллионов заключенных: *Какое это безумие! — возвращать их! Зачем? Они там привыкли, они там с м и р и л и с ь — зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь?..*

покорность обстоятельствам⁴. В то же время при употреблении слова *смирение* в религиозном контексте речь, как правило, идет именно об отсутствии гордости, а идея «примирения с действительностью» может уходить на задний план или вообще оказываться нерелевантной. Характерно, что некоторые носители русского языка считают спецификой именно русских представлений о *смирении*, непонятных западным людям, возможность совмещения *смирения* и активной творческой деятельности:

Тем более непонятны и загадочны для современного западного человека такие понятия, как «умиление» и «дерзновение». (...) Как объясняется дерзновение? Как смелость, основанная на смирении. Но для Запада смелость — антитеза смирению (Г. Горичева).

Эпидигматические связи с *миром* привели также к развитию представлений о *смирении* как об особом типе поведения — *мирного*, не буйного. Ср. такие выражения, как *присмиреть*, *усмирить*, *смирительная рубашка*, народное *смиранный* (в литературном языке *смирный*). Ср.:

Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосому с бинтовым охватом по шее и защемленной головой — его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод. // Но Ефрем никак не *усмирался*, не ложился и из палаты никуда не уходил, а беспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты (Солженицын, «Раковый корпус»).

Какое «смирение» нам подобает?

Возможность различных представлений о *смирении* может означаться носителями языка. Показателен пример из письма Ал. Толстого к Б. М. Маркевичу от 2 января 1870 г., приводимого в переводе с французского, выполненном издателями собрания сочинений Ал. Толстого (текст, написанный в оригинале по-русски, дается в разрядку):

⁴ Поэтому он может вызывать отторжение у людей с активной жизненной позицией; ср. характерный призыв Солженицына: «...не будем смиряться с упокойными песнями, что-де, значит, миновал период нашей „пассионарности“ и от нас уже нечего ждать. Не будем и уповать, что прикатит какое-то Чудо и „само собой“ нас спасёт. Все мы — и есть Россия. Мы её — такую сделали, нам её — и вытягивать» («Россия в обвале»).

(...) я не презираю славян, я, к несчастью, не имею на то права, но считаю, что им подобало бы больше смирения, только не того смирения, которое мы явили в преизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: «Божья Воля! Поделом нам, г... ам, за грехи наши! Несть батогов аще не от Бога!» и т.д., а иного смирения, полезного, которое заключается в признании своего несовершенства, дабы покончить с ним. Это — противоположность тому самоуспокоению, которое говорит: «Я горжусь простором русской земли и широтою русской натуры, которая не может и не хочет ничем стесняться! Всякое ограниченное противно русской природе (ограниченые противно!), нам не нужно ни заборов, ни классов! Гуляй душа! Раззудись плечо! (...)».

Мы видим, что в тексте этого письма слово *смирение* соответствует и тому, что А. Вежицка обозначила как «русский идеал *смирения*» (к нему Ал. Толстой относится критически, говоря, что он состоит в том, чтобы вздыхать, возводя глаза к небу: «Божья воля! Поделом нам за грехи наши!»), и тому, что она характеризует как «(западно)христианский идеал *humility*» (по Ал. Толстому, этот «полезный» тип смирения «заключается в признании своего несовершенства, дабы покончить с ним»). Конечно, речь идет о переводе оригинального французского текста, но очевидно, что использование в нем слова *смирение* не воспринимается как парадоксальное, противоречащее его общезыковой семантике.

Но существенно, что все разнообразные представления о *смирении* (как о христианском отсутствии гордости, как о *примирении* с окружающей действительностью, как о *смирном* поведении) могут сливаться в единый нерасчлененный идеал. Так, Солженицын, в числе черт «русского характера» выделив *доверчивое смирение с судьбой*, дал по этому поводу следующий комментарий:

любимые русские святые — **смиренно-кроткие** молитвенники (не спутаем **смирение** по убеждению — и **безволие**); русские всегда одобряли **смирных, смиренных, юродивых** («Россия в обвале»).

«Примирение с действительностью» в советскую эпоху

Следует заметить, что идеал «примирения с действительностью» был абсолютно чужд советской идеологии; как следствие

советский идеологический язык имел определенные особенности в отношении использования соответствующих слов. Слово *смирение* вообще в нем отсутствовало; А. Вежбицка как-то заметила, что сочетание *смиранный коммунист* воспринимается как аномальное [Wierzbicka 1992: 194]. Если слово *смирение* и могло появиться в советском идеологическом дискурсе, то только в качестве цитации (например, *поповские сказочки о смирении*).

Но любопытно, что и *примирение* не приветствовалось; его аналогом в советском идеологическом языке было слово *примиренчество*, носящее яркую отрицательную окраску. Напротив того, положительно окрашенным было слово *непримиримость*⁵. С точки зрения советской идеологии человек должен быть *бескомпромиссным* и не должен *мириться* ни с врагами, ни с недостатками.

Заметим, что такое отрицательное отношение к *примирению* было пересмотрено в постсоветскую эпоху, когда в реестр государственных праздников был даже внесен «день национального согласия и примирения». Ср., впрочем, в этой связи саркастический комментарий Солженицына:

И вершина Примирения достиглась в день 80-летия большевицкого переворота. В юбилейном обращении Президента даже не были вспомнены тюрьмы ЧК-ГПУ и лагеря ГУЛага, — но нашлось место «понять и простить тех, кто совершил роковую историческую ошибку» («Россия в обвале»).

Гордость*

Можно коснуться вкратце и противоположного *смирению* концепта *гордости*, отраженного, в частности, в ряде слов, входящих в одно и то же словообразовательное гнездо: в русском

⁵ Правда, слово *непримиримость* может использоваться с положительной окраской и вне советского идеологического языка, ср.: «С чеченами я был в казахстанской ссылке в 50-х годах. Там хорошо узнал и их непреклонный, горячий характер, их *непримиримость* к гнёту и высокую боевую искусность и самодеятельность» (Солженицын, «Россия в обвале»). Но тогда положительная окраска у него контекстно обусловлена, и с тем же успехом может появляться и отрицательная, как, например, у Солженицына, когда он говорит о стандартной до-революционной «освободенческой» *непримиримости* («Колеблет твой треножник»).

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Плюрализм этических систем в свете языковых данных» [Шмелев 2000б: 386—388].

глаголе *гордиться*, прилагательном *гордый*, наречии *гордо* и существительных *гордость* и *гордыня*.

Здесь целесообразно, прежде чем пытаться дать этическую оценку *гордости*, провести определенные концептуальные разграничения. Так, мы можем говорить о гордости как об актуальном чувстве (когда человек *гордится* чем-то определенным) или же как о свойстве его характера или жизненных установок.

Гордость как актуальное чувство возникает в каком-то смысле независимо от воли субъекта и потому практически не подлежит этической оценке как таковое, если не ведет к высокомерному поведению в отношении других людей. Гордость как общая установка безусловно осуждается традиционной христианской этикой, согласно которой она представляет собою первый из смертных грехов, «демонскую твердыню», и скорее одобряется современной секулярной этикой, сближаясь с такими концептами, как *чувство собственного достоинства* («не буду перед ними унижаться!»), — опять-таки при условии, что не питается сознанием своего превосходства и не приводит к высокомерному поведению⁶.

Кратко рассмотрим языковые средства выражения соответствующих этических представлений. Русский глагол *гордиться* имеет два режима употребления. В абсолютном употреблении он указывает на общую установку или черту характера субъекта, проявляющуюся в его поведении (приблизительные синонимы — *задаваться*, *задира́ть нос*). Высокомерное поведение не одобряется, поэтому абсолютное *гордиться* имеет отрицательную окраску⁷. При употреблении для обозначения актуально-

⁶ То, что в современной секулярной этике высокое мнение о себе самом может никак не осуждаться, если не приводит к третированию других, проявляется в некотором различии оценочного компонента слов *высокомерный* и *надменный* в современном языке. Слово *высокомерный*, указывая на этически неприемлемое поведение субъекта по отношению к другим людям, по-видимому, всегда содержит отрицательный оценочный компонент. В то же время слово *надменный*, которое первоначально выражало еще более уничтожающую оценку (собственно, «надутый»), в современном языке может использоваться практически без отрицательной окраски (например, у Анны Ахматовой: *Но в мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас*; ср. также строки из юбилейного стихотворного поздравления: *Кто эта дама, что порой / Так величава, так надменна?*) — и это, несомненно, связано с тем, что оно делает акцент на внутреннем самоощущении человека, не обязательно предполагая третирование им других людей.

⁷ Отрицательная окраска имеет место и в тех случаях, когда в абсолютном *гордиться* на первом плане не высокомерное поведение,

го чувства глагол *гордиться* имеет семантическую валентность, соответствующую причине возникновения гордости и заполняемую творительным падежом или придаточным изъяснительным (с союзом *что*). В этом случае указанное чувство может оцениваться положительно, если говорящий считает причину гордости достаточным основанием для возникновения этого чувства (ср. сочетания *по праву гордиться*, *с полным основанием гордиться*, фразу *Вы можете гордиться...*, форму *гордись* и т. п. [Апресян 1997а]). Здесь бытовой и церковно-проповеднический язык не различаются, и, когда святейший патриарх Алексий II, обращаясь к родственникам погибших подводников, говорил: «Вы можете ими гордиться», — он, конечно, не призывал слушателей впадать в смертный грех гордости.

Прилагательное *гордый* (и наречие *гордо*) также может описывать актуальную эмоцию (и в этом случае имеет семантическую валентность, соответствующую причине эмоции). Как и в случае употребления глагола *гордиться*, указанное чувство оценивается положительно, если говорящий считает причину гордости достаточным основанием для возникновения эмоции. Если же речь идет о постоянном свойстве субъекта, то оно в некоторых этических системах может оцениваться положительно (такое употребление было характерно для языка советской публицистики; ср. такие журналистские штампы, как *прекрасные, гордые люди*⁸), но традиционной христианской этикой решительно осуждается (известно, что *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать*). Как писал свящ. Александр Ельчанинов, «гордый терпит поражение на всех фронтах». Впрочем, следует подчеркнуть, что и в секулярной этике эпитет *гордый*, указывающий на постоянное свойство субъекта, не всегда воспринимается как похвала. Когда одна писательница назвала Чехова *гордым мастером*, он возразил: «Почему вы назвали меня гордым мастером? Горды только индюки»⁹.

а самопревозношение, которое может до поры до времени никак не проявляться. Характерна пословица, приводимая В. И. Далем [1957: 729]: *Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утонул; а мы гордимся — куда годимся?*

⁸ Эти штампы неоднократно были объектами пародий, как, например, в песне Галича «Леночка»: *Апрельской ночью Леночка / Стояла на посту, / (...) / Прекрасная и гордая, / Заметна за версту.*

⁹ Любопытно, что Корней Чуковский упомянул этот эпизод в своей статье о Чехове; но, поскольку в идиоме Чуковского слово *гордый* было, по-видимому, окрашено положительно, то далее он вполне сочувственно цитировал высказывание театрального критика

Употребление существительного *гордость* в целом подчиняется тем же закономерностям. Когда речь идет об актуальном чувстве, вызванном той или иной причиной, это может быть *законная гордость*¹⁰. Во всех случаях такого рода слово *гордость* окрашено скорее положительно. Если же речь идет о постоянной установке, то в системе секулярной этики *гордость* также нередко одобряется, считается необходимой принадлежностью человека, обладающего чувством собственного достоинства, не лишённого самоуважения (ср. *Я могла бы побежать за поворот, / Я могла бы... только гордость не дает*)¹¹. Напротив того, в традиционной христианской этике *гордость* всегда осуждается независимо от степени обоснованности, и для того, чтобы подчеркнуть это, иногда используется книжное слово *гордыня*, для которого отрицательная оценка является ингерентным свойством слова (так что само использование этого слова является показателем того, что говорящий следует традиционной христианской этике). Можно упомянуть в этой связи название статьи православной публицистки О. Газизовой «О национальной гордыне великороссов», опубликованной в 1990 г. и явно пародировавшей название известной статьи Ленина «О национальной гордости великороссов». Важно, однако, заметить, что отрицательная оценка гордости в системе христианской этики не является следствием использования слова *гордыня*, она столь же ярко может проявляться и при использовании слова *гордость* (ср. формулировки свящ. Александра Ельчанинова: *главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели или Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божией помощи*).

Кугеля: «Чехов был человек гордый», — и дополнил его следующим комментарием: «Такой же гордости требовал Чехов от всех».

¹⁰ Характерно также употребление, при котором слово *гордость* метонимически указывает на причину чувства, т. е. на то, чем можно *гордиться* (ср. *Петя — гордость нашей школы*).

¹¹ В уже цитированной статье о Чехове Корней Чуковский пишет о «высокой человеческой гордости» Чехова и о том, что Чехов «от всей души презирал писателей, которые не умели воспитать в себе такую же гордость».

Попрек и русская культура поведения*

Попрекать нехорошо

Одно из характерных и трудно переводимых выражений русского языка — это слова *попрекнуть* (*попрекать*) и *попрек*. Представление о том, что *попрекать* нехорошо, отражено во многих пословицах русского народа: *Своим хлебом-солью попрекать грешно; Попречный кус поперек горла становится; Сделав добро, не попрекай* и т.д. Что же такое *попрек*?

Семантика *попрека* вызывает представление об иерархическом статусе коммуникантов. *Попрек* несет на себе печать близких, часто семейных отношений, причем попрекаемый обычно уже и так находится в униженном или зависимом положении, *попреки* делаются как бы «сверху вниз». Родители иногда *попрекают* детей тем, что отдали им лучшие годы жизни, *попреки* же со стороны детей представить себе гораздо труднее. При этом осуществление *попрека* плохо вяжется с расположением к «попрекаемому». Сочетание [?]*отеческий попрек*, содержащееся в примере из Федина, приводимом в Малом академическом словаре [Евгеньева 1984а], звучит с точки зрения норм современного языка несколько странно.

Чаще всего *попрек* близок к упреку в неблагодарности. Это слово обычно употребляется при описании ситуации, когда некто, сделав в прошлом что-то хорошее кому-либо или проявив снисходительность, считает, что теперь он имеет право ожидать от этого человека ответных благодарений, послушания или просто постоянных изъявлений благодарности (*Я тебя в люди вывел, а ты...*). Поэтому он напоминает облагодетельствованному о своих подарках, жертвах и т.п. Поэтому *попреки* тешат тщеславие попрекающего и больно бьют по самолюбию попрекаемого:

Убедили дядю и в том, (...) что он горд, тщеславится своим богатством и способен **попрекнуть** Фому Фомича куском хлеба (Достоевский).

При этом «попрекаемый» лишен возможности в дальнейшем «исправиться», поскольку ситуация, которой его *попрека-*

* В основу данного раздела положены фрагмент написанной совместно с Т. В. Булыгиной статьи «Оценка при вторичной коммуникации» (см. [Булыгина, Шмелев 1997а: 421—423]) и написанная совместно с И. Б. Левонтиной статья «Попречный кус» [Левонтина, Шмелев 1996б].

ют, никак им не контролируется; она относится к тем аспектам прошлого, которое навсегда остается в его досье — ср.: *Новая родня ей колет глаз попреком, что она мещанкой родилась* (Крылов); *Вернись, а ты опять попрекать начнешь: «мы тебя приюттили, мы тебя накормили, мы тебя напоили»* (С. Михалков). Обычно, оказывая моральное давление, «благодетель» даже не преследует никакой материальной цели, а просто хочет «поставить своего подопечного на место», напомнить о его зависимом положении, вызвать у него обиду или досаду, причем не для того, чтобы он исправился в будущем, а чтобы «чувствовал».

Попрекать кого-либо, по общепринятому мнению, дурно, и поэтому «попрекающий» не может быть объектом эмпатии — не случайно нельзя сказать **Его не попрекнешь*. Данный глагол, как правило, не употребляется в 1-м лице не только в настоящем времени, но и при описании уже имевших место речевых актов — ср. аномальное: [?]*Сын начал курить, и я сочла необходимым попрекнуть его тем, что он еще не зарабатывает денег*. Лишь в случае, если говорящий раскаивается и оценивает себя как бы «со стороны», употребление глагола *попрекать* возможно: *Бывало, вернись ночью домой из клуба пьяный, злой и давай твою покойную мать попрекать за расходы* (Чехов). Идея *попрека* вообще не вяжется с представлением о должном. Нельзя сказать: [?]*Чтобы пробудить в молодом поколении чувство благодарности, мы должны постоянно попрекать его жертвами, которые принесло наше поколение*. Напротив того, при наличии отрицания конструкция становится вполне правильной — ср.: *С этим поколением надо говорить, не попрекая его жертвами и незажившими ранами нашего поколения* (Симонов).

Попреки при выяснении отношений

Особенно интересно и показательно использование этих слов в диалоге, при «выяснении отношений». Обвинение в *попреке* — безотказное оборонительное средство, позволяющее человеку из обвиняемого превратиться в обвинителя.

При этом обвинение в *попреке* можно подкрепить одним из следующих двух способов. Во-первых, можно указать на то, что оказанное благодеяние не столь уж велико. Так, у Салтыкова-Щедрина в «Господах Головлевых» Евпраксеюшка, усмотрев *попрек* в словах Иудушки, говорит ему: «Какой такой интерес я у вас нашла? Окромя квасу да огурцов...», и тот поддается на провокацию, так что далее дискуссия развивается в этом направлении:

«Ну не один квас да огурцы... — не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирович. — Что ж, сказывайте, что еще? — А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает? — Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли? — Круп, масла постного... словом, всего... — Ну, круп, масла постного... уж для родителей-то жалко стало! Ах, вы! — Я не говорю, что жалко, а вот ты... — Я же виновата сделалась! Мне куска без **попреков** съесть не дадут, да я же виновата состою!»

Во-вторых, можно дать понять, что благодеяние не столь бескорыстно, например:

Не **попрекайте** меня вашим хлебом, Валентина Михайловна! Вам бы дороже стоило нанять француженку Коле... Ведь я ему даю уроки французского языка! (Тургенев).

Однако при обвинении в *попреке* можно обойтись и вообще без аргументов. Любое напоминание или просто упоминание о сделанном в прошлом добре может при недоброжелательной интерпретации быть названо *попреком*. В этом слове столь сильна отрицательная оценка, что человек, когда ему говорят: *Попрекаешь?! —* немедленно начинает оправдываться, как, например, в следующем диалоге, продолжающем приведенную выше дискуссию Иудушки и Евпраксеюшки:

Куска, видно, стало жалко! Куском **попрекать** стали? — Я не **попрекаю**, а так говорю.

Иногда, услышав такое обвинение, человек сразу капитулирует и просит прощения, как в диалоге из повести И. Грековой:

«Молод ты еще курить. Сам заработай, тогда и кури». — «А ты меня своим хлебом **попрекаешь**? Ладно же! Хватит! Не буду у тебя есть!» — «**Прости** меня, Вадик. **Виновата**. И **кури**, **пожалуйста**, только не вредничай».

Но уличенному в *попреке* не так легко получить прощение. Скорее всего собеседник будет еще некоторое время использовать преимущество своего положения, как это делала, например, героиня Салтыкова-Щедрина:

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. (...) «И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском **попрекать** начали! Уйду я отсюда! вот те Христос, уйду!»

Наличие в русском языке глагола *попрекнуть* (*попрекать*) и соответствующего существительного *попрек* не должно быть истолковано как свидетельство особенной склонности русских к

унижению ближнего. Как раз наоборот, оно свидетельствует о том, что с точки зрения отраженных в русском языке этических представлений человек должен великодушно избегать высказываний, которые могут выглядеть как *попреки*, и, сделав кому-то добро, не напоминать ему об этом. Именно поэтому русский язык располагает специальными средствами для обозначения этически неприемлемой ситуации *попреки*, и носитель русской языковой картины мира чрезвычайно болезненно реагирует, когда ему кажется, что его *попрекают*.

В русском языке не много слов, в которых отрицательная оценка была бы столь же убийственной, как в слове *попрек*. Не может быть ничего хуже, чем подарить что-то, а потом требовать за это платы. Этим человек непоправимо отравляет прошлое. Та же идея отражена и во многих пословицах, таких как *Лучше не давай, но не попрекай*; *Лучше не давай, да после не кори*; *Чем корить, так лучше не кормить*; *Не дай, да не лай* и т.д. В полном соответствии с этим представлением Анна Каренина говорит:

Человек, который **попрекает** меня, что он всем пожертвовал для меня... это хуже, чем нечестный человек, — это человек без сердца.

Стыд в кругу родственных концептов*

По-видимому, всем народам знакомо неприятное чувство, которое испытывает человек, вопреки своей воле попавший или могущий попасть в ситуацию, в каком-то отношении отклоняющуюся от нормы, из-за чего другие люди думают или могут думать о нем хуже. Специфика русского языка состоит в том, что соответствующее семантическое поле в нем разработано особенно подробно (ср. замечания Анны А. Зализняк о «семантике щепетильности», тщательно разработанной в русской языковой картине мира, в связи с чем она упоминает такие слова, как *совестно*, *неудобно*, *неловко*, *неприлично*, *неуместно* и др. [Зализняк 2000: 101]). В частности, показательно то, что концепту, воспринимаемому как единый во многих языках (ср. английское *shame*, французское *honte* и т.д.), в русском

* В основу данного раздела положена написанная совместно с Т. В. Булыгиной статья «Грамматика позора» [Булыгина, Шмелев 2000].

языке соответствуют две разных концептуальных конфигурации, представленные фрагментами словообразовательных гнезд с вершинами *стыд* и *позор*.

Остановимся на этих конфигурациях несколько подробнее.

Когда и кому бывает стыдно

Форма *стыдно* в функции предикатива может указывать на эмоциональное состояние субъекта (*Мне стыдно*) или давать его действиям этическую оценку (*Стыдно так поступать!*). Это противопоставление задает кардинальное различие между «эмоциональным» и «деонтическим» *стыдно*.

Кроме того, существенны следующие параметры описываемой ситуации: субъект (кому *стыдно*), причина (за что *стыдно*), «зритель» (перед кем *стыдно*). Соответственно, разнообразные типы употребления слова *стыдно* различаются по следующим признакам: (1) субъектом может быть конкретное лицо (*Ему бывает стыдно, когда он так поступает*) или обобщенное лицо (*Тем, кто так делает, потом бывает стыдно*); (2) причиной может быть факт (*Ему стыдно, что он не сдержал слова*) или воображаемая ситуация (*Тебе будет стыдно, если ты не сдержишь слова*)¹²; (3) «зритель» может наличествовать (*Стыдно перед ней*) или отсутствовать (*Как вспомню об этом, становится стыдно*). Указанные признаки формально-логически независимы друг от друга, хотя определенные комбинации значений этих признаков более вероятны, нежели другие.

Эмоциональное стыдно

Итак, слово *стыдно* может указывать на чувство стыда, которое испытывает человек по тому или иному поводу. В этом случае *X-у стыдно (перед Z-ом, что Y)* означает примерно то же, что *X стыдится (перед Z-ом Y-а)*. Ср. примеры из [Мельчук, Жолковский 1984: 837]: *Мне стало стыдно моих подозрений; Ему*

¹² Ср. возможность двоякого понимания высказывания *Мне было стыдно звонить ему так поздно* — то ли говорящий описывает свои чувства в связи с тем, что он поздно позвонил, то ли объясняет, почему он не позвонил. Выбор интерпретации бывает связан с различными факторами; в частности, существенным может оказаться вид подчиненного инфинитива (ср. клишированные формулы *стыдно признаться* или *стыдно сказать*, предваряющие признание, и конструкцию с несовершенным видом *Мне было стыдно признаваться в этом*, посредством которой говорящий, скорее всего, объясняет, почему признание было невозможно).

было стыдно (перед товарищами) за неловкость брата; Мне стыдно просить денег; Лене было стыдно (перед ним), что она не сдержала слова; Мне стало стыдно ее чистого взора (Тургенев).

О наличии того или иного чувства, вообще говоря, может судить в первую очередь субъект чувства, и потому, когда речь идет об актуальном чувстве, для слова *стыдно* характерно совпадение субъекта чувства с первым лицом (*Мне стыдно*), а появление в роли субъекта других лиц (*Пете стыдно*) возможно, например, если говорящий судит об их состоянии на основании косвенных признаков (например, у человека покраснело лицо) или со слов самого субъекта либо же высказывает гипотезу (*Я думаю, тебе сейчас стыдно*). Кроме того, встречаются высказывания обобщенного характера (*Тем, кто так делает, потом бывает стыдно*), производя которые, говорящий чаще всего также основывается на собственном опыте.

Напротив того, в режиме повествования вполне вероятно появление в роли субъекта чувства третьего лица (*Лене стало стыдно*) — как показатель того, что повествование ведется как бы «изнутри», с «точки зрения» субъекта¹³. И разумеется, прогнозы относительно будущего эмоционального состояния (т.е. фактически обращенные в будущее гипотезы) могут высказываться о любом лице, как в эпизоде из книги Андрея Старостина «Большой футбол»:

Однажды наша команда проигрывала. Судья Яков Медовар, судивший матч, едва удерживался от решения прогнать меня.

Я говорил ему дерзости по ходу матча, обвиняя его в недобросовестном судействе. Он не обращал на это внимания.

Старательно, в поте лица бегая по полю, несколько прихрамывая, он продолжал судить строго и требовательно, фиксируя все нарушения правил, как бы совершенно игнорируя мои реплики.

Выбрав момент, он тихо мне сказал:

— Я вас с поля не удалю. Но вам будет очень стыдно после матча!¹⁴

¹³ Но, разумеется, и в повествовательном режиме более характерно использование слова *стыдно* при рассказе о собственных чувствах (*Мне стало стыдно*); ср.: *Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!* (из «Повести о Сонечке» М. Цветаевой); *Наутро я плохо себя чувствовал. Разламывалась от боли голова. Во рту пересохло. Было ужасно стыдно. В особенности после того, как мать напомнила о моем возвращении домой* (А. Старостин).

¹⁴ Прогноз Медовара оправдался. Старостин вспоминает дальше, как он подошел к Медовару после матча поблагодарить за судейство:

Особый тип составляют употребления выражения *не стыдно*, указывающего на отсутствие (ожидаемого) эмоционального состояния, например: *И стыда ни на каплю, / Мне не стыдно ничуть!* (Галич). Они используются по отношению к любому лицу и чаще всего выражают возмущение или даже негодование говорящего по поводу отсутствия этически необходимой эмоции (*Как Пете не стыдно так поступать!*; *Как тебе не стыдно!*). В качестве показателей того, что субъекту «не стыдно» могут рассматриваться сами его действия, которых, по мнению говорящего, он должен стыдиться (предполагается, что если бы субъекту было стыдно, то он так не поступал бы — или, как говорят, *постыдился бы так поступать*), — и тогда объектом возмущения оказывается не столько отсутствие чувства стыда, сколько само действие, которого, как считает говорящий, должен стыдиться субъект — ср.: *К сожалению, бывает, / Что милицией пугают / Непослушных малышей. / Как родителям не стыдно? / Это глупо и обидно!* (С. Михалков). Особенно характерны такого рода выражения возмущения по поводу действий адресата речи (*Как тебе не стыдно!*). Посредством таких высказываний говорящий *стыдит* адресата речи, пытаясь оказать на него моральное воздействие (*пристыдить* его), рассчитывая на то, что ему станет *стыдно* и он перестанет совершать *постыдные* действия. Ср. записанные М. Цветаевой слова пришедших к М. Волошину «антропософских девушек», обращенные к татарину, который жил у Волошина и в какой-то момент задумал бросить жену и жениться на молоденькой:

Как тебе не стыдно! Она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил и теперь хочешь жениться на молодой.

Впрочем, далеко не всегда речь идет о подлинном моральном негодовании по поводу *постыдных* действий. Иногда посредством такого *Как не стыдно!* выражаются менее сильные эмоции, например досада по частному поводу, вне зависимости от общепринятых правил нравственности, как в словах Державина, записанных П. А. Вяземским:

К Державину навязался какой-то сочинитель прочесть ему свое произведение. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и на этот раз. Жена Державина, сидевшая возле него, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и

...Краска залила мне лицо. «Извините меня. Мне действительно очень стыдно», — сказал я, протягивая руку.

автора, сказал он ей с досадою, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться!»

Деонтическое стыдно

Во всех рассмотренных выше случаях слово *стыдно* обозначало особую эмоцию — чувство стыда. Однако существуют употребления слова *стыдно*, в которых очевидным образом не имеется в виду какое бы то ни было чувство субъекта. Так, когда Андрей Петрович Гринев (из «Капитанской дочки») писал Савельичу: «Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах», — он, конечно, не имел в виду сообщить Савельичу о том, какие чувства тот испытывает (претендуя на то, что знает это лучше, чем сам Савельич). Цель состояла в том, чтобы сделать Савельичу выговор, указав на этическую неприемлемость его поведения — неисправность в исполнении господской воли (вспомним, что далее Андрей Петрович писал: «Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку»). Такое употребление слова *стыдно*, задающее этическую оценку, представляет собою «деонтическое *стыдно*».

Можно привести еще один характерный пример высказывания с деонтическим *стыдно*. В басне Крылова «Булат» рассказывается, как острый клинок булатной сабли был отнесен вместе с хламом на рынок и там продан некоему мужику, который стал использовать клинок для того, чтобы драть лыки, щепать лучины, обрубать сучья, так что не прошло и году, как клинок заржавел, покрылся зубцами и был брошен под лавку. В ответ на упреки ежа клинок заметил:

Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен.

Ясно, что клинок не утверждал, будто мужик испытывает чувство стыда, а давал этическую оценку его действиям.

Чаще всего деонтическое понимание возникает у слова *стыдно* в тех случаях, когда оно используется по отношению к адресату речи. Действительно, «эмоциональное *стыдно*» в такой ситуации прагматически неуместно, поскольку неестественно информировать кого-либо о чувствах, которые тот испытывает; но вполне естественно дать действиям собеседника этическую оценку. Само заполнение валентности (*тебе* или *вам*

стыдно) при этом не обязательно; оно может свидетельствовать о том, что говорящий в своей оценке учитывает особо высокие требования, предъявляемые именно к адресату речи, как в следующей сцене из «Белой гвардии» М. Булгакова:

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несколько преувеличено, — спьяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

— Витя, тебе *стыдно*. Ты офицер.

Прагматика такого употребления слова *стыдно* близка к прагматике использования рассмотренной выше клишированной конструкции *Как не стыдно!* — говорящий *стыдит* адресата речи, апеллируя к его совести. Высказывания *Стыдно обижать маленьких!* и *Как не стыдно обижать маленького!* прагматически почти тождественны.

Возможно и «смазанное» использование деонтического *стыдно*, когда говорящий не столько выражает отрицательную этическую оценку действия адресата речи, сколько призывает его прекратить поведение, которое он по той или иной причине считает «неподобающим». Именно такова прагматика слов графа Б*** из пушкинского «Выстрела», обращенных к его жене, бросившейся к ногам Сильвио (*Встань, Маша, стыдно!*).

В настоящее время деонтическое *стыдно* чаще всего используется в разговоре с детьми с воспитательными целями (ср. [Арутюнова 1997: 69]). Использование его в разговоре со взрослым может восприниматься как способ «дразнить» человека. Ср. характерный эпизод из пьесы Е. Шварца «Снежная королева», в котором Король именно так расценивает использование Гердой деонтического *стыдно*:

Герда. *Стыдно, стыдно, король!*

Король. Не говори глупостей! Король имеет право быть коварным.

Герда. *Стыдно, стыдно!*

Король. Не смей дразнить меня.

Сопоставление эмоционального и деонтического стыдно

Прототипически эмоциональное *стыдно* описывает чувство стыда, возникшее у конкретного лица в конкретной ситуации (*Мне стыдно, что...*), тогда как деонтическое *стыдно*

основывается на отвлеченных и универсальных этических нормах (*Стыдно — вообще — так поступать*).

Правда, вообще говоря, как эмоциональное, так и деонтическое *стыдно* может и относиться к конкретному лицу, и употребляться по отношению к обобщенному субъекту, и речь может идти как о конкретном факте, так и об отвлеченной гипотезе, соответствующей ирреальной ситуации. Однако в тех случаях когда эмоциональное *стыдно* связывается с возникновением некоей гипотетической ситуации (*Стыдно ему звонить так поздно; Мне будет стыдно, если...*)¹⁵ или даже предполагает обобщенного субъекта (*Людям бывает стыдно, когда...*), соответствующее высказывание строится как о б о б щ е н и е множества к о н к р е т н ы х эмоциональных состояний. Напротив того, хотя *стыдить* человека можно по поводу конкретного поступка (и именно так используется выражение *Как не стыдно!*, в котором, как мы помним, мы имеем дело с эмоциональным *стыдно*), использование деонтического *стыдно* в современном языке почти всегда предполагает в качестве исходной точки некую общую норму. Можно сказать: *стыдно лгать*, но сомнительно ²*Стыдно, что ты солгал* (приведенная выше фраза из письма Андрея Петровича Гринева Савельичу *Стыдно тебе, старфый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче...* звучит не вполне современно). Поэтому для деонтического *стыдно* более всего характерны обобщающие, генерализованные конструкции *стыдно так поступать; стыдно, когда...* и т.п. При этом генерализованные суждения могут использоваться для того, чтобы выразить отношение к конкретному поступку: вместо ²*Стыдно, что ты обидел маленького* говорится: *Стыдно, что ты обижаеть маленьких* — или даже в еще более общем виде: *Стыдно обижать маленьких*.

Отметим также, что лишь для «эмоционального», но не для «деонтического» *стыдно* возможно наличие «зрителя», т.е. лица или лиц, перед которым(и) *стыдно*, хотя для «эмоционального» *стыдно* оно и не является обязательным.

Не во всех случаях различие между «эмоциональным» и «деонтическим» *стыдно* оказывается достаточно отчетливым. Так, двустипшие *Когда темно, когда не видно, / Украсть не страшно и не стыдно* (из стихотворения Александра Тимофеевско-

¹⁵ Как в рассуждении персонажа басни Крылова «Стыдливый игрок», который проигрался в карты и в связи с этим отказался навесить умирающего отца, объяснив это следующим образом: *А мне по улице идти без сапогов, / Без платья, шляпы и чулков / Ужасно стыдно*.

го) может пониматься двояким образом: то ли 'когда темно... укравший человек... не испытывает стыда' («эмоциональное» *стыдно*), то ли 'когда темно... красть... позволительно' («деонтическое» *стыдно*).

Чем различаются *стыд* и *позор*?

Стыдно vs. позорно

Формы *стыдно* и *позорно* обладают полностью различным синтаксическим потенциалом. Несколько упрощая картину, можно сказать, что *стыдно* представляет собою предикатив (например, *Мне стыдно*), тогда как *позорно*, как правило, используется в функции обстоятельства «образа действия» (например, *позорно выступил*, *позорно провалился*), указывающее на «неуспешное», «бесславное» действие, «поражение», «провал». Прочие аспекты ситуации (этическая оценка, чувство стыда) могут присутствовать, но не они являются определяющими для наречия *позорно*. Можно сказать *позорно бежал с поля боя*, но не *позорно бежал из тюрьмы*, поскольку побег из тюрьмы, даже если считать его морально предосудительным, не может считаться «неудачей», «провалом». Наречие *позорно* может относиться к предикату, обозначающему действие, которое само по себе может быть «успешным» или «неуспешным», и тогда на «неуспешность», «провал» указывает именно это наречие: *позорно выступил на конференции*; *позорно отвечал на экзамене*; «Спартак» *играл просто позорно* и т. п. Но бывает и так, что наречие *позорно* относится к предикату, который уже сам по себе обозначает «неуспешное» действие, и тогда оно вносит или усиливает значение «беславного» поражения, «провала»: «Спартак» *позорно проиграл* (при том, что *проиграть* можно и *достойно*); *позорно провалился на экзамене*; *...и я вынужден был позорно ретироваться*; *Ваши попытки заняться выращиванием мха позорно провалились* (А. Линдгрэн, пер. Л. Брауде) и т. п.

Употребления, в которых *позорно* используется в качестве предикатива (со значением этической оценки) тоже встречаются в русских текстах, но обычно ощущаются устаревшими или стилизованными. Ср. несколько архаичное *Быть актером позорно для русского дворянина* (Писемский). Некоторая стилизация ощущается и в записи в дневнике доктора Полякова из рассказа М. Булгакова «Морфий»: *Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь*. По-видимому, лишь привычность известных строк Пастернака (*Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на*

устах у всех) с предикативным *позорно* мешает осознать, что они для современного языка находятся на грани, если не за гранью нормы. Для обозначения чувства *стыда* предикативное *позорно* вообще не употребляется. Поэтому аномально: **Мне позорно*; **позорно перед ним*.

Стыдный (устар. или разг.) vs. *позорный*

Употребление слова *позорный*, иллюстрируемое такими словосочетаниями, как *позорный поступок*, *позорное выступление на собрании*, *позорный провал*, *позорная ошибка*, *позорная трусость*, *позорное отступление* и т. п., в целом соответствует употреблению обстоятельственного наречия *позорно*. Прилагательное *позорный* чаще всего сочетается с существительными, обозначающими или характеризующими какое-либо «бесславное» действие. Правда, при этом «бесславно» может пониматься несколько шире, чем при использовании наречия *позорно*, и касаться не только «провала» или «неуспеха», но и каких-то других аспектов ситуации. Так, сочетание *позорная игра «Спартака»* может указывать не только на матч, проигранный «Спартаком», но и, например, на ничейный результат со слабым соперником (ср. *позорная ничья*) и даже на необидительную игру в выигранном матче; *позорная война* — это не обязательно проигранная война, но всегда — война, которая по той или иной причине *покрывает позором* тех, кто ее ведет.

Когда некоторую ситуацию называют *позорной*, это означает прежде всего, что ее участники каким-то образом оказались «не на высоте», и часто лишь контекст или общие знания коммуникантов позволяют установить, чем именно ситуация оказалась *позорной*. Так, высказывание *Мы оказались свидетелями позорной сцены* само по себе не сообщает, в чем именно заключалась «сцена» и почему говорящий считает, что она была *позорна*. Когда в «Раковом корпусе» доктор Донцова говорит Костоглову: «Вы мне сегодня на обходе устроили позорную сцену», — она исходит из того, что он прекрасно помнит, в чем состояла «сцена», и поймет, почему она называет ее *позорной*.

Для слова *позорный* возможны также метонимические употребления, как в дневниковой записи доктора Полякова из булгаковского «Морфия», объясняющего, почему он вырвал некоторую страницу из дневника: «...чтобы никто не прочел позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал собственный костюм». Конечно,

позорным здесь является не описание как таковое, а описываемый факт.

В современном языке прилагательное *позорный* обычно не предполагает заполнения валентности «для кого?». Ср. несколько устаревшее употребление:

Рассказывал мне это брат Сергея Ивановича... считавший... телесное наказание постыдным остатком варварства, *позорным* не столько для наказываемых, сколько для наказывающих (Л. Толстой, в памфлете с характерным названием «Стыдно»).

В отличие от слова *позорный*, слово *стыдный* в современном языке почти не используется, появляясь лишь в специальных условиях, в первую очередь — в полемическом контексте (в ответ на утверждение, что нечто делать — *стыдно*), например: *Что же тут стыдного?*; *Не вижу тут ничего стыдного!* или *Не считаю это стыдным*. Самостоятельное употребление прилагательного *стыдный*, как в следующем примере из повести Льва Толстого «Юность», современным языковым сознанием, пожалуй, воспринимается как устаревшее: *Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один с т ы д н ы й грех, который утаил на исповеди.*

Стыдить(ся) vs. опозорить(ся)/позорить(ся)

Различие *стыда* и *позора* всего ярче проявляется в семантике производных глаголов *стыдиться* и *опозориться/позориться*. Она полностью различна.

Глагол *стыдиться* прямо указывает на внутреннее, эмоциональное состояние человека (ср. толкования в [Мельчук, Жолковский 1984: 835], [Апресян 19976: 417]), который ассоциирует себя с чем-то таким, из-за чего другие люди могут думать о нем хуже; глагол *опозориться* представляет собою не прямое описание (интерпретацию) некоторого события, т.е. дает характеристику объективной ситуации, в которой имеют место своего рода обманутые ожидания, связанные с несоответствием действительных качеств *опозорившегося* человека его претензиям или репутации.

Поэтому мы можем услышать призыв *стыдиться!*, направленный на то, чтобы вызвать у адресата речи определенное эмоциональное состояние, пробудить у него чувство стыда по поводу какой-то ситуации, которая и так имеет место. Косвенным образом при этом говорящий призывает адресата речи прекратить или изменить ситуацию, по поводу которой делается

данный призыв. Но странно звучал бы призыв **(о)позорься!*, поскольку в этом случае говорящий призывал бы адресата речи не оправдать каких-то надежд или ожиданий, запятнать свою репутацию.

С другой стороны, желая прекратить или не допустить некоторую *позорную* ситуацию, вполне можно сказать *не позорься!* — призыв при этом непосредственно направлен на саму ситуацию, а в качестве аргумента используется косвенное обозначение этой ситуации при помощи глагола *позориться*. Выражение *не стыдись!* используется противоположным образом — как призыв, не стесняясь, осуществить действие, о котором идет речь (*Спой, светик, не стыдись*). Иными словами, *не позорься!* означает 'не делай', а *не стыдись!* — 'сделай'.

Соответственно, различаются и значения невозвратных глаголов *стыдиться* и *(о)позорить*. Если *стыдиться* — это 'призывать стыдиться', то *позорить* — 'навлекать позор' (часто своими *позорными* поступками). Иными словами, *стыдиться* указывает на речевой акт, посредством которого субъект пытается каузировать соответствующее эмоциональное состояние (обозначаемое глаголом *стыдиться*); субъект глагола *стыдиться* — всегда лицо. Напротив того, глагол *(о)позорить* указывает на сам тот факт, что репутация того, кого *опозорили/позорят*, оказывается подорванной по той или иной причине.

Действия, обозначаемые глаголами *стыдиться* и *позориться*, обладают различной степенью социализированности. *Стыдиться* можно за другого человека, *позорится* человек всегда сам. При этом, то, что человек *позорится* (т.е. его репутация оказывается подорванной), может быть результатом его контролируемых поступков, однако само по себе им не контролируется (таким образом, как это часто бывает при интерпретирующей номинации, одно и то же действие с одной точки зрения оказывается контролируемым, а с другой — нет)¹⁶.

Стыд vs. позор

Возвращаясь к словам *стыд* и *позор*, отметим, что эти слова концептуализуют действительность различным образом. Слово *позор* (как и его производные) соотносится с объективной

¹⁶ Интерес представляет также сопоставление глаголов *позорить* и *порочить* (а также *чернить*), тем более что существующие словарные описания таких глаголов, как *чернить* или *порочить*, могут ввести в заблуждение (некоторые наблюдения на этот счет содержатся в статье [Булыгина, Шмелев 2000]).

ситуации, которую говорящий интерпретирует следующим образом: действия некоторого субъекта свидетельствуют, что его претензии не соответствуют его действительным качествам, и это подрывает его репутацию в глазах других; в связи с этим субъект может испытывать нечто вроде стыда. Слово *стыд* (как и его производные) соотносится не с объективной ситуацией, а с чувством, которое испытывает субъект по поводу некоторой ситуации, в которую он тем или иным образом оказался вовлечен, а также со способностью *стыдиться*, т.е. испытывать такое чувство (чувство *стыда*). Поэтому к *стыду* *взывают*, а *позором покрывают* (или *позор навлекают на...*). С этим же связана возможность конструкции: *не доводил до позора, не допускал позора*, но не **не доводил до стыда, *не допускал стыда*. Ср. использование выражения *не допускать позора* в «Раковом корпусе»:

Первая его жена была — Амина... чувствительная очень... И ещё непокорчивая — сама ж с девчёнкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб всегда первый.

Иными словами, *позор* — это субъективное (т.е. интерпретирующее) описание объективной ситуации, а *стыд* — это объективированное описание субъективных чувств по поводу такой ситуации или способности испытывать такие чувства.

Замечание. Двойная интерпретация *стыда* (чувство и способность испытывать это чувство) доходит до чего-то похожего на энантиосемию: *стыд* как этическая способность человека сближается с *честью* (как в характерном сочетании *стыд и честь* в «Полтаве»: *И вскоре слуха Кочубея / Коснулась роковая весть: / Она забыла стыд и честь, / Она в объятиях злодея!* (и здесь *стыд* прямо противопоставит *позору*: именно в том, что Мария *забыла стыд*, и состоит *позор*), а чувство *стыда* — с ощущением *бесчестья* (в последнем случае *стыд* отчасти сближается с *позором*). Характерно лексическое варьирование русских пословиц и поговорок: с одной стороны, *Пора и честь знать* и *Пора и стыд знать*, *За честь голова погибает* и *За стыд голова погибает*, а с другой — *Стыд та же смерть* и *Бесчестье та же смерть* (см. [Даль 1957: 306])¹⁷.

На первый взгляд, при употреблении рассматриваемых слов в восклицаниях различия между ними до некоторой степени

¹⁷ О колебаниях *стыда* между «честью» и «бесчестьем» (*позором*), равно как и о выражениях, в которых *стыд* и *честь* утрачивают параллелизм, см. также [Арутюнова 2000б: 61].

стираются. Восклицание *Какой стыд!* кажется почти эквивалентным восклицанию *Какой позор!* — оба делаются по поводу чьего-то «недолжного» поведения. Но на самом деле между «восклицательным» *стыд* (обычно с определениями *какой* или *такой*) и «восклицательным» *позор* также имеется определенное различие. Восклицание *Какой стыд!* выражает эмоциональную оценку некоторой «недолжной» ситуации. Оно указывает на *стыд*, который по поводу этой ситуации испытывает говорящий или который, по его мнению, должны испытывать ее участники. Восклицание *Позор (X-у)!* используется несколько иначе. Оно представляет собою квазиперформатив: посредством такого восклицания говорящий *клеимит X-а позором*, сообщая о том, что наказанием за недолжное поведение X-а должен оказаться подрыв его репутации. Восклицание *Какой позор!* несколько ближе к *Какой стыд!*, но также нетождественно ему. *Какой позор!* указывает на то, что субъект попал в ситуацию, когда его репутация безнадежно подорвана. Скорее всего, ему при этом *стыдно*, но чувство *стыда* (перед свидетелями *позора*) — это дополнительный аспект ситуации, про который можно сообщить отдельно. Ср. следующий эпизод, описанный в книге Андрея Старостина «Большой футбол»:

И вот в самый решительный момент я вдруг почувствовал, что скольжу на своих безжизненных ногах и грузно валюсь на землю. А мимо меня нападающий противника проводит мяч и забивает гол. Какой позор! Мне стыдно было взглянуть на трибуны, на товарищей по команде.

И лишь в клишированной формуле *Стыд и позор X-у* значение слов *стыд* и *позор* становится почти неразличимым: само сочетание *стыд и позор* представляет собою нечто вроде «усиленного» *позор*, т. е. выступает в функции квазиперформатива.

Таким образом, ситуация *позора* предполагает оценку поведения субъекта со стороны общества, тогда как ситуация *стыда* — самооценку субъекта. Для *позора* важна публичность, для *стыда* на первом плане находится внутреннее состояние субъекта, сознающего, что «имеет отношение к чему-то плохому или отклоняющемуся от нормы» (формулировка из [Апресян 1997б: 417]). *Позор* бывает связан с несоответствием между амбициями субъекта и ставшими известными публике его действительными качествами. Для *стыда* существенно несоответствие между действительным положением субъекта и тем, что он считает общественно признанной нормой. Иначе говоря, часто мы говорим о *стыде*, когда субъект оценивает свое поведение на фоне общественно признанных этических норм.

Связь с общественно признанными этическими нормами объясняет, почему именно *стыд* может служить «регулятором» нравственности. Не случайно именно *стыд* (наряду с *жалостью* и *благоговением*) считал одним из первичных основ нравственной жизни Вл. Соловьев [1990: 119—132] — причем, как известно, из трех первичных основ нравственности только *стыд* он считал исключительной принадлежностью человека и называл его «корнем собственно человеческой нравственности» [1990: 131]. *Стыд* даже может повелевать человеку (как царевне из стихотворения А. Толстого «Поток-богатырь», которая заявила: *Кабы только не этот мой девичий стыд, / Что иного словца мне сказать не велит, / Я тебя, прощелыгу, нахала, / И не так бы еще обругала!*) и, как и всякая подлинная ценность, может профанироваться (ср. название брошюры Лидии Чарской «Профанация стыда»). *Стыд* непосредственно связан с представлением о «должном»; отсюда соединение в слове *стыд* и его производных представления об актуально переживаемом эмоциональном состоянии и представления об общезначимой этической норме¹⁸. На этом и основано отмеченное выше наличие двух режимов употребления слова *стыдно*, названных здесь «эмоциональным *стыдно*» и «деонтическим *стыдно*».

Мелкие слова как выразители жизненной позиции

Особую роль для реконструкции русской языковой картины мира играет анализ употребления так называемых «мелких» слов (по выражению Л. В. Щербы), т. е. модальных слов, частиц, междометий. Часто они выражают общие жизненные установки говорящего, причем скрытые в неассертивных компонентах высказывания. Не все носители русского языка обязаны разделять эти установки (и употреблять соответствующие «мелкие» слова), но можно утверждать, что, поскольку то или иное слово оказывается более или менее частотным в реальной русской речевой практике, соответствующая установка воспринимается носителями языка как нечто вполне

¹⁸ При этом важно подчеркнуть, что определенным нравственным содержанием обладают как «деонтическое», так и «эмоциональное» *стыдно*. Если «деонтическое» *стыдно* чаще всего указывает на некоторое общее правило, безотносительно к конкретному субъекту, то «эмоциональное» *стыдно* может указывать на нравственные переживания («муки совести») конкретного лица. В этом смысле «деонтическое» *стыдно* сближается с такими словами, как *нефиллично*, а «эмоциональное» *стыдно* — с такими, как *совестно*, *неловко*, *неудобно*.

«обычное». «Мелкие слова» такого рода обычно оказываются трудно переводимыми на другие языки. Это не означает, что никакой носитель иного языка никогда не может руководствоваться выраженными в этих словах внутренними установками. Но отсутствие простого и идиоматичного средства выражения установки, безусловно, бывает связано с тем, что она не входит в число культурно значимых стереотипов. Так, конечно, носитель, скажем, английского языка может «действовать *на авось*», но важно, что язык в целом «не счел нужным» иметь для обозначения этой установки специального модального слова.

*Авось**

Самым знаменитым из русских слов, выражающих общие установки, характерные для русской языковой картины мира, несомненно, является только что упомянутое знаменитое *авось*, которое Пушкин, как мы помним, даже называл «шиболетом народным».

Это слово обычно переводится на западноевропейские языки при помощи слов со значением 'может быть, возможно'. Однако *авось* значит вовсе не то же, что просто *возможно* или *может быть*. Если слова *может быть, возможно* и подобные могут выражать гипотезы относительно прошлого, настоящего или будущего, то *авось* всегда проспективно, устремлено в будущее и выражает надежду на благоприятный для говорящего исход дела (см., в частности, [Wierzbicka 1992: 433—435; Николаина 1993]).

Впрочем, специфика русского *авось* заключается не просто в надежде на то, что все будет хорошо. Надежда на везение, на удачу, вообще говоря, может быть свойственна людям независимо от языка, на котором они говорят. Трудно сказать, по какую сторону океана с большим энтузиазмом покупают лотерейные билеты. Главное в русском *авось* не сводится к надежде на благоприятное развитие событий или на неожиданную удачу. О человеке, который покупает лотерейный билет, вообще не говорят, что он действует *на авось*. Так скорее скажут о человеке, который не чинит крышу, готовую обвалиться, или строит атомную станцию без надлежащей системы защиты. Вопреки разуму он надеется, что ничего плохого не случится — что *обойдется* или *пронесет*¹⁹.

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Жизненные установки и дискурсные слова» [Шмелев 19966].

¹⁹ Так, в «Раковом корпусе», мальчик Дёма был готов отказаться от операции именно потому, что надеялся *на авось* (Да на авось).

Это и есть самые типичные контексты для *авось* — *Авось обойдется; Авось ничего; Авось рассосется; Авось пронесет*; ср. также: *Ну да ничего авось. Бог не выдаст, свинья не съест* (И. Грекова). Установка на *авось* обычно призвана обосновать пассивность субъекта установки, его нежелание предпринять какие-либо решительные действия (в частности, меры предосторожности). Важная идея, отраженная в *авось*, — это представление о непредсказуемости будущего: «всего все равно не предусмотреть, поэтому бесполезно пытаться застраховаться от возможных неприятностей». Так, в одной университетской газете недавно было опубликовано интервью со студенткой, которая объясняла, что не готовится к экзаменам, потому что «надеется на авось». Не случайно в песне Булата Окуджавы, в которой речь идет о том, как король «веселых солдат интендантами сразу назначил, а грустных оставил в солдатах — авось ничего», установка на *авось* оправдывает не действие (*интендантами сразу назначил*), а отсутствие действия (*оставил в солдатах*)²⁰.

Именно такая беспечность и отказ от принятия мер предосторожности и отражается в «русском *авось*». Именно эта установка лежит в основе поведения людей, которые строят атомные электростанции без надлежащих мер защиты, или тех русских туристов, которые покупают медицинскую страховку только в том случае, если без нее не дают визы. Да и персонаж сказки Пушкина, который «понадеялся на русский авось», тоже надеялся на то, что ему удастся избежать неотвратимой расплаты — щелчков от Балды. Поэтому надежда на *авось* — не просто надежда на удачу. Если символ фортуны рулетка, то надежду на *авось* может символизировать «русская рулетка».

Попав в затруднительное положение, носитель рассматриваемой установки предпочитает не сосредоточенно и методично искать выход из него, а твердить: *Только все обошлось бы, о Господи, — авось обойдется, авось обойдется* (Ю. Левитанский). При

А может само пройдет!). И более рационально настроенный Вадим Зацырко возражал ему: «Нет, Дёма, на авось мостов не строят. От авося только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя».

²⁰ Иногда эта установка состоит в том, чтобы откладывать решительное действие, разговор и т.п. «на потом» в надежде, что, может быть, *обойдется* и так. Ср. «У него не было ни малейшего желания идти к ней на раут, но он уже знал, что не сумеет отказаться. „Ладно, посмотрим, — сказал он сам себе. — Время еще есть, авось придумаю какую-нибудь отговорку“» (В. Белоусова, «Тайная недоброжелательность»).

благоприятном исходе дела человек с облегчением говорит: *Слава Богу, пронесло*, — и немедленно забывает об этом.

Говоря о «русском авось», можно заметить, что *авось*-установка обычно оценивается носителями русского языка отрицательно. Говоря о том, что слово *русский* в описываемое в романе «Жизнь и судьба» время «связывалось большей частью с отрицательными определениями», Вас. Гроссман приводит примеры «российской отсталости, неразберихи, русского бездорожья, русского авось». Многочисленные пословицы также свидетельствуют об отрицательном отношении к *авось*-установке: *От авось добра не жди; Авось плут, обманет; Держись за авось, поколь не сорвалось; Авосьевы города не горожены, авоськины дети не рожены; Кто авосьничает, тот и постничает; Держался авоська за небоську, да оба под мат угодили*. В случае же, когда *авось* используется для характеристики собственной установки, обычно бывает очевидна самоирония. Не случайно в современной русской речи слово *авось* чаще используется не в «прямом режиме», в функции модального слова, а в качестве краткого и яркого обозначения соответствующей установки, т. е. как существительное или в составе наречного выражения *на авось*.

На всякий случай, в случае чего, если что*

Интересно, что в современной русской речи значительно чаще, нежели несколько устаревшее *авось*, используются слова, выражающие, казалось бы, противоположную установку — отталкивание от легкомысленной беспечности и желание перестраховаться: *мало ли что, на всякий случай, если что, в случае чего, а вдруг...* и т. п. Однако представляется, что они не в меньшей степени, нежели *авось*, выражают установки, характерные для русской языковой картины мира.

Начнем с выражения *на всякий случай*, которое выражает примерно такое мироощущение: «произойти может все что угодно; всего все равно не предусмотреть; могут пригодиться любые ресурсы, которыми человеку посчастливилось располагать»²¹.

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (*на всякий случай, если что, вдруг*)» [Шмелев 2001].

²¹ В этом отношении *на всякий случай* сближается с пресловутым *авось*: человек *на всякий случай* запасается некоторым ресурсом — *авось* пригодится. Ср.: *Мы даже для Мандельштама держим за пазухой (мало*

Интересна история этого выражения. Будучи калькой французского *à tout hasard*, оно вошло в русский язык только в начале XIX в. Однако потребность в единице, выражающей такую установку, очевидно, существовала и раньше. Так, именно этим мироощущением руководствовался Осип из «Ревизора» Гоголя, когда говорил: «Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно» — хотя в то время в обиходный русский язык еще окончательно не вошло выражение *на всякий случай*.

При этом важно, что выражение *на всякий случай* предполагает контролируруемую деятельность и, выражаясь языком традиционного синтаксиса, выполняет в предложении функции обстоятельства цели, т. е. отвечает на вопрос «зачем (предпринимается данное действие)?», — так что возможность сочетания с ним может служить тестом на контролируемость²². В то же время «цель», на которую указывает выражение *на всякий случай*, не может считаться достаточно серьезным причинно-целевым основанием действия, и в этом отношении оно сближается с такими выражениями, как *просто так*, проанализированное в работе [Пеньковский 1995]. Не случайно выражения *просто так* и *на всякий случай* часто используются вместе — говорится, что нечто делается (*просто так, на всякий случай*). Но если *просто так* указывает лишь на то, что действие производится в отсутствие подлинной, заслуживающей упоминания цели, то *на всякий случай* содержит еще один компонент: субъект надеется, что результаты его действий могут оказаться полезными в случае возникновения неких непредвиденных обстоятельств. В этом смысле его можно было бы назвать условно-целевым наречием — подобно тому, как иногда говорят об условно-целевом предлоге *на случай* и условно-целевом союзе *на (тот) случай если*. Однако у «условно-целевого наречия» *на всякий случай* есть определенная специфика, состоящая в том, что использование выражения *на всякий случай* оставляет невыраженным ответ на вопрос: «А на какой именно случай?» Иногда

ли, авось пригодится) тот пяток неумело нацарапанных отрывков, который под пыткой вырвала у него эпоха (Ю. Карабчиевский).

²² Сочетание выражения *на всякий случай* с обозначениями неконтролируемых действий или состояний обычно приводит к аномалии или комическому эффекту. Впрочем, эффект может заключаться и в том, что состояние осмысливается как контролируемое. Ср.: — *Что ж ты, ЁЖ, такой колючий? / — Это я на всякий случай: / Знаешь, кто мои соседи? / Лисы, волки и медведи!* (Б. Заходер).

ответ на этот вопрос в той или иной степени может быть выведен из контекста — например, когда говорится *Хотя сейчас светит солнце, но ты возьми на всякий случай зонтик* ('на случай дождя') или *Мне сказали, что командировку едва ли оплатят, но я все-таки решил на всякий случай сохранить билет и квитанцию из гостиницы* ('на случай если командировку все же согласятся оплатить')²³. Но бывает и так, что остается неясным, о каком «случае» идет речь, и тогда можно говорить об «иррационализации» условия — особенно часто такая иррационализация имеет место при использовании оборота (*просто так, на всякий случай*), как в песне Ю. Кима, в которой рассказывается о том, как «заботливый Отец» (Сталин), чтобы «пацан», попавший в тюрьму в возрасте четырнадцати лет, «не скучал... и правильно воспитывался в камере вонючей», посадил вместе с ним *одних ученых десять тыщ и неученых десять тыщ, и несколько миллионов — просто так, на всякий случай*.

Та же установка на невозможность все предусмотреть содержится в выражениях *в случае чего* и *если что*. В отличие от выражения *на всякий случай*, они указывают не на цель контролируемого действия, а на условия, при которых вступит в силу данная инструкция (*В случае чего звони мне; В случае чего они придут нам на выручку; Если что, сообщите мне* и т. п.). Однако сами условия при этом не эксплицируются. Они могут использоваться и в качестве эвфемистического намека на известное адресату речи обстоятельство (*Если что — мы друг с другом не знакомы*), и в качестве туманного обозначения любой ситуации, в которой может оказаться полезным следование данной инструкции (*Если что — звони мне*). Часто общий контекст позволяет определить, о каком «случае» идет речь. Так, в повести А. Рыбакова «Страх» описываются мысли Сталина о Паукере, который изображал в карикатурном виде приговоренных к расстрелу Зиновьева и Каменева: «Истинное место этой скотины на виселице. В случае чего он также изобразил бы и ЕГО», — ясно, что *в случае чего* означает 'в случае если

²³ Иногда требуется более широкий контекст. Ср. пример из «Барышни-крестьянки», в котором описывается, как Алексей Берестов приехал в деревню к отцу: *...молодой Алексей стал жить покамест барыном, отпустив усы на всякий случай*. Что значит «отпустить усы на всякий случай», становится понятным лишь в контексте обсуждения спора между Алексеем и его отцом: Алексей намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался; они друг другу не уступали, но Алексей «на всякий случай» отпустил усы, которые воспринимались как непрменный атрибут военного.

Сталин также лишится власти'. Но иногда оказывается необходимой специальная экспликация — ср. другой эпизод из той же повести (Сталин разговаривает с Ежовым):

Миронов и Молчанов хорошие работники, особенно Миронов, — продолжал Сталин, — но они формалисты, крючкотворы, протокол для них все! Почему протокол для них все? Протоколом хотят себя застраховать, в случае чего оправдаться протоколом, выйти сухими из воды. А «в случае чего», спрашивается? Какого такого «случая» они боятся? Падения Советской власти? Ну, если Советская власть падет, то их первых же и повесят, никакими протоколами они не оправдаются, никто в их протоколы не посмотрит. Чего же они боятся? Смены партийного руководства? На этот случай они себя страхуют? По-видимому, так, именно на этот случай они себя и страхуют.

Наконец, случается, что точный смысл выражения *в случае чего* или *если что* так и остается непонятным собеседнику. Ср. характерный эпизод из одной детективной повести (завершение разговора следователя с главной героиней):

— И вот последнее, Ирина Григорьевна, — продолжал Соболевский. — Вот моя визитная карточка. Здесь оба телефона — рабочий и домашний. Если что — звоните, не задумываясь!

— Хорошо, — покорно пообещала я, абсолютно не понимая, что может означать это «если что».

(В. Белоусова, «По субботам не стреляю»).

Более того, иногда неясным может остаться не только условие, о котором идет речь, но также и то, что именно должно произойти при реализации данного условия. Ср.:

У меня тоже есть братья: один боксер, а другой просто очень здоровый детина. И я всю жизнь пребывала в уверенности: если что, пожалуйю братишкам, и... Дальше я даже не додумывала («Аргументы и факты», 2000, № 37).

Рассматриваемые выражения, как кажется, подчас ставят в тупик лексикографов. Так, *если что* получает в Малом академическом словаре [Евгеньева 19846] не слишком содержательное толкование «если случится, произойдет что-л.», иллюстрируемое примером из произведения Горбатова «Донбасс»: [Андрей] с надеждой подумал о Викторе. Если что — Виктор выручит, поддержит. Из толкования совершенно неясно, что же должно произойти, чтобы Виктор оказал помощь и поддержку. Но смысл фразы понятен: Андрей надеется на то, что «Виктор выручит, поддержит» в любом случае, если возникнет

потребность в его помощи. Для оборота *в случае чего* толкование в Малом академическом словаре конкретизировано: «если возникнут какие-л. опасные, сложные, неприятные и т.п. обстоятельства, обстановка». Иллюстрацией служит пример из произведения А. Н. Толстого «Махатма»: [Астор:] *В случае чего отсюда [из кабачка] можно дать тягу?* Конечно, трудно судить о том, что скрывается в приведенном толковании за «и т.п.», но естественно понимать его в том смысле, что обстоятельства, о которых идет речь, должны быть в том или ином отношении неблагоприятными. Именно на таком понимании основывались В. В. Гуревич и Ж. А. Дозорец [1988], истолковавшие оборот *в случае чего* следующим образом: «Если возникнут непредвиденные сложности, неприятности, какая-л. опасность» (в качестве английских эквивалентов они предложили обороты *if anything goes wrong* и *in case the worst happens*). Однако можно заметить, что обстоятельства, на которые указывает оборот *в случае чего*, вовсе не обязаны быть опасными, сложными или неприятными (так, высказывание *Неохота идти в магазин, да и едва ли кто-нибудь зайдет, а в случае чего — у меня припасены две бутылки «Бордо»* вовсе не предполагает, что говорящему как-то особенно неприятен приход гостей, на который здесь намекает выражение *в случае чего*, и указанные английские выражения никак не могут служить переводными эквивалентами для этого оборота). По существу, речь идет о любых обстоятельствах, в которых следование данной инструкции или использование данного ресурса может быть полезно, и оборот *в случае чего* в этом отношении не отличается от оборота *если что*. Пожалуй, в большей степени отвечает смыслу русского выражения *в случае чего* перевод, предлагаемый Оксфордским словарем [Wheeler, Unbegaun 1984]: «*if anything stops up*». Однако и этот перевод дает лишь приблизительное представление о смысле рассматриваемого выражения, поскольку в нем в недостаточной мере отражена идея непредсказуемости будущего, составляющая самую сердцевину рассматриваемого русского выражения.

Итак, мы видим, что противоположность установок, выраженных в слове *авось*, с одной стороны, и в выражениях *на всякий случай*, *в случае чего* и *если что* — с другой, относительна, и в некотором отношении они представляют собою как бы разные стороны одной медали. Установка на беспечность, выраженная в слове *авось*, вытекает из того соображения, что, поскольку всего все равно не предусмотреть, нет никакого смысла в том, чтобы пытаться как-то защититься от возможных неприятностей — лучше просто надеяться на благоприят-

ный исход событий. Сталкиваясь с необходимостью действовать, носитель такой установки часто действует наобум, наугад, надеясь на то, что «авось» из этого само собою выйдет что-нибудь хорошее; ср.:

...каждый отдельный вопрос еще разветвляется и порождает другие побочные, любой из которых может, как знать, обернуться главным. Нет смысла пытаться ответить на них по порядку. Почитаем, подумаем, поговорим — авось что-то и прояснится (Ю. Карачиевский).

Но, желая чувствовать себя в большей безопасности, он может *на всякий случай* предпринимать меры предосторожности, которые никак не диктуются трезвым расчетом и ориентированы на то, что произойти может все что угодно (тем самым он фактически надеется на то, что *авось* эти меры окажутся полезными, т.е. опять-таки недалеко уходит от того, чтобы рассчитывать на «авось»), а говоря о линии поведения в будущем, вынужден считаться с самыми невероятными и при этом четко не определенными возможными ситуациями, которые могут *в случае чего* возникнуть.

Иными словами, общим для всех рассмотренных выражений является представление, согласно которому произойти может все что угодно и все предусмотреть все равно невозможно. По-видимому, это представление является важным элементом русской языковой картины мира.

Небось*

Целый ряд русских лексических единиц отражает установку на «задушевность», которая, впрочем, имеет и другую сторону, описываемую ходовым выражением *лезут в душу*. Как «задушевность», так и ее оборотную сторону отражает, в частности, слово *небось*, не менее специфичное для русского языка, нежели *авось*.

Используя слово *небось*, говорящий демонстрирует свое знакомство с ситуациями подобного рода («я знаю, как в таких случаях бывает»). При этом *небось* выражает общую установку на фамильярность (противоположную представлению о неприкосновенности личной сферы), которая, как это часто бывает, соответствует разным видам отношения к объекту фамильяр-

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Жизненные установки и дискурсные слова» [Шмелев 1996б].

ности: от «интимной фамильярности» до «недружелюбной фамильярности»²⁴.

Когда говорящий высказывает предположение о чем-то близко знакомом ему в прошлом, хотя сейчас и недоступном его непосредственному наблюдению, он одновременно передается воспоминаниям и делает предположение: *От деревни той небось уж ничего не осталось, а я все во сне хожу к теткинному дому...; А в Крыму теплынь, в море сельди и миндаль, небось, подоспел* (А. Галич). Воспоминания такого рода носят самый интимный характер и высказываются, как правило, в форме внутренней речи. Но говорящий может использовать «интимное» *небось* и «вслух», как бы вторгаясь (часто навязчиво) в личную сферу адресата речи или третьего лица и как бы говоря: «Признавайся! От меня не скроешь», — например: *Ложись спать, устал небось; Небось проголодался; ср.: Что это с вами? Небось опять перебрали? (...)* *Небось голова болит* (Домбровский); *«Когда ты чесался-то? Дай-ка я тебя причешу, — вынула она из кармана зребешок, — небось с того раза, как я причесала, и не притронулся?»* (Достоевский). При помощи этого же средства строятся фамильярные (иногда шуточные) упреки: *Небось не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка?* (Тургенев)²⁵.

Отметим, что не всегда интимная фамильярность приятна адресату речи. Она может восприниматься им и как незаконное вторжение в его личную сферу, обсуждение того, чего он, может быть, не хотел бы обсуждать, — как в репликах Порфирия Петровича, обращенных к Раскольникову, ср.: *Я и за дворником-то едва распорядился послать. (Дворников-то, небось, заметили, проходя.)* (Достоевский).

Отсюда всего один шаг до недружелюбной фамильярности. Ср.: *Пусть поработает. Небось не развалится.* И, наконец, всякий элемент «интимной» фамильярности может совсем исчезать, и тогда остается одна враждебность: *Ты в лицо гляди, когда с тобой говорят, контра проклятая! Что глаза-то прячешь? Когда родную Советскую власть японцам продавал, тогда небось не прятал? Тогда прямо смотрел!* (Домбровский). Враждебность или

²⁴ В контекстах, несовместимых с такой установкой, например в научном дискурсе, слово *небось* не употребляется.

²⁵ Слово *небось* может использоваться и при фамильярном «подразнивании»: Е. Э. Разлогова заметила, что (в нормальной коммуникативной ситуации), увидев у приятеля новую вещь, при помощи данного слова можно построить шуточные предположения *Небось украл* или *Небось Петя подарил*, но не [?]*Небось купил*.

обида заметна и в случаях, когда под видом предположения говорящий при помощи слова *небось* вводит достоверно известную информацию, на фоне которой поведение адресата речи или третьего лица выглядит непоследовательным или лицемерным: ср. ...он материл таких литературных шулеров, таких лицедеев. «Ходят в сауну, но воспевают баню по-черному, с кваском, воспевают старух — носительниц трудолюбия и нравственности, а сами небось на уборочную не едут» (Д. Гранин); Мать не плакала, не дралась, но совсем перестала его замечать. Обед на стол поставит и не посмотрит — ел ли? И все молчит. Гарусов обижался и тоже молчал. С тетей Шурой оправдомшей она небось не молчала, очень даже разговаривала. По вечерам, когда они думали, что Гарусов спит. А он не спал, все слышал (И. Грекова).

Бытовые представления носителей русского языка

*Собираться и заодно**

Собраться / собираться

Внутренняя форма целого ряда русских лексических единиц включает в себя идею 'собрания' того, что как бы было разбросано на большом пространстве. Кафедральный храм в городе называется *собор*, термин *кафоллический* в «Символе веры» передается как *соборный* (и это дало начало одному из самых специфичных русских концептов — *соборности*); в дорогу мы вещи не пакуем, как носители западных языков, а *собираем*, и это так и называется — *собираться в дорогу*.

Во многих из названных слов идея 'собрания' уже стерлась. Но остается безусловно актуальным содержащееся в значении целого ряда русских языковых выражений общее представление о жизни, в соответствии с которым активная деятельность возможна только при условии, что человек предварительно мобилизовал внутренние ресурсы, как бы сосредоточив их в одном месте (как бы *собрал* их воедино). Чтобы что-то сделать, надо *собраться с силами, с мыслями* — или просто *собраться*, ср. *Наконец собрался тебе позвонить*; особенно характерны употребления типа *Все никак не соберусь, Собирался, но так и не собрался* и т.п. В работе [Зализняк, Левонтина 1996] отмечалось, что русское *собираться* имеет ряд особенностей, отличающих его как от русских синонимов *намереваться, намерен* и т.д., так и от европейских эквивалентов. В частности, в значении *собираться* есть элемент процессности, благодаря чему этот глагол может употребляться в контекстах типа *сжду*

* В основу данного раздела положена написанная совместно с И. Б. Левонтиной статья «Русское „заодно“ как выражение жизненной позиции» [Левонтина, Шмелев 1996а].

и собираюсь ей позвонить, целый час лежу и собираюсь встать. В большинстве случаев имеется в виду некоторый совершенно метафизический процесс, не имеющий осязаемых проявлений. Итогом его, собственно, и является совершение действия. Характерно, что форма совершенного вида *собраться* иногда фактически используется в значении 'сделать'; ср.: *Извините, что только сейчас собрался вам позвонить*. Соответственно, *не собрался* означает 'собирался, но не сделал'. Таким образом, «собираение» рассматривается как наиболее важный этап действия, который может представлять действие в целом. В той же работе отмечалось, что переживание намерения как процесса, отраженное в русском *собирается*, согласуется с расхожим представлением о русском национальном характере, состоящем в том, что русские «долго запрягают»¹.

Но раз самое трудное в действии — это *собраться*, то коль скоро человек *собрался*, то уже можно считать, что большая часть дела сделана и человеку, в сущности, уже почти все равно, сколько дел делать. На того, кто непостижимым образом сумел приступить к активной деятельности, можно наваливать любое количество дел, все они будут делаться *заодно*.

Это согласуется с другим расхожим представлением — о крайностях русской души: все или ничего. Человек либо вообще ничего не делает, либо, если уж начал, может свернуть горы. Известно, что русские «долго запрягают, да быстро едут».

Заодно

В русской речи постоянно встречаются такие высказывания, как: *Ты все равно встаешь, зажги заодно свет; Имей в виду, я много воды грею для уборки. Оставшиеся постираю кое-что для себя и Катю. Давай заодно и все свое грязное* (Пастернак). В высказываниях такого рода имеется в виду, что есть некоторый результат, который является желательным, но не настолько, чтобы оправдать усилия, направленные исключительно на его достижение. Однако, поскольку субъект все равно решает некоторую смежную задачу, он может достичь желаемого результата, почти не потратив дополнительных усилий. Многие вещи

¹ Отсутствие в характере человека такого свойства составляет его яркую индивидуальную особенность и характеризуется при помощи специального выражения — *легкий на подъем*.

человек не стал бы делать *специально*², но готов сделать их *заодно*. И даже в каком-то смысле делает их именно потому, что большая часть необходимых усилий (в частности, необходимое «собрание») все равно уже затрачена. Не стоило бы вставлять специально ради того (тем более что для этого еще надо *собраться*), чтобы зажечь свет, но проходя мимо выключателя, повернуть его совсем не трудно.

Можно выделить несколько наиболее характерных типов ситуаций, с которыми связывается русское *заодно*. Прежде всего, это ситуация побуждения к действию. Здесь выделяются две разновидности. Ср., с одной стороны: *Ты все равно идешь гулять, купи заодно хлеба* — и с другой: *Сходи, пожалуйста, за хлебом, заодно воздухом подышишь*. В первом случае говорящий убеждает адресата речи совершить некоторые действия, ссылаясь на то, что тому это совсем не трудно. Во втором — он соблазняет адресата возможностью без дополнительных усилий получить приятный или полезный для того результат³.

Более сложная стратегия, своего рода бытовое коварство реализуется в примерах типа *Специально за хлебом ходить не надо, сходишь заодно, когда пойдешь гулять*. Говорящий хочет заранее умалить заслуги адресата речи, чтобы не оказаться у него в долгу.

Несколько иные функции имеет слово *заодно* в тех случаях, когда говорящий описывает собственные действия. Это слово позволяет преуменьшить, в тех или иных целях, заинтересованность говорящего в результате действия; ср. *Зашел в магазин, заодно и водки купил* (эту фразу любил говорить один знакомый, возвращаясь из магазина и гремя бутылками).

Итак, поскольку *собраться* так трудно, мало что стоит делать *специально*. Почти обо всем можно сказать: *Да ну, лень, неохота*. Однако стоит представить действие как осуществляемое *заодно*, и его совершение будет выглядеть оправданным и даже будет казаться, что не совершить его было бы просто глупо. С другой стороны, действие может также оправдываться возможностью без дополнительных усилий, *заодно* сделать и еще что-то. Именно эта логика продемонстрирована в следующем рассуждении Л. Я. Гинзбург:

² *Специально ради чего-то* означает 'именно и исключительно с данной целью', которая тем самым, очевидно, обладает в глазах субъекта высокой ценностью.

³ Именно этот второй тип аргументации представлен в шуточной поговорке: *Сходим в баню, заодно и помоемся*.

Человек ходит без дела по улицам, и ему кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, чтобы зайти к NN, или — я воспользовался визитом к NN, чтобы наконец вечером прогуляться. Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия одного нужного.

Приведенный пример интересен тем, что Л. Я. Гинзбург выражает свою мысль не вполне идиоматично: по-русски конструкция *воспользовался прогулкой, чтобы навестить...* хотя и вполне грамматически правильна, но звучит не очень естественно — как буквальный перевод с какого-то иностранного языка. На идиоматичном русском можно было сказать, например: *Пошел прогуляться и заодно зашел к NN*. Дело в том, что Л. Я. Гинзбург, по-видимому, считает, что речь идет о человеческой природе вообще, тогда как описанная ею установка скорее реализует специфическую жизненную позицию, заключенную в русском *заодно*.

Непредсказуемость

*Неожиданности в русской языковой картине мира**

*Частотность слова **вдруг** в современной речи*

В замечательной статье В. Н. Топорова [1973] рассматривалась поразительная насыщенность текста «Преступления и наказания» словом *вдруг* и указывалось, что в романе неоднократно встречаются отрывки длиной в несколько страниц, где *вдруг* «выступает с обязательностью некоего классификатора ситуации, что можно сравнить с принудительным употреблением некоторых грамматических элементов (типа артикля)». Там же отмечалась тенденция предельно сблизить друг с другом разные употребления слова *вдруг* (в пределах одной или двух смежных фраз), несмотря на кажущуюся избыточность такого повтора. Несомненно, это обусловлено особенностями поэтики «Преступления и наказания»; но, кроме того, поразительная

* В основу данного раздела положена написанная совместно с Т. В. Булыгиной статья «Неожиданности в русской языковой картине мира» [Булыгина, Шмелев 1997в].

частотность слова *вдруг* в русской речи⁴ вытекает из некоторых особенностей его семантики, непосредственным образом соотносящихся с определенными установками, характерными для «русской языковой картины мира».

Здесь следует отметить, что использование слова *вдруг* в качестве обстоятельства (в таких примерах, как *заговорили все вдруг*), являются устаревшими (ср. примеры из Л. Толстого, приводимые в качестве иллюстрации соответствующих значений в Малом академическом словаре [Евгеньева 1981]: *...но вдруг [≈ сразу, тотчас] он не мог в душе согласиться с нею...; ...бывали влюблены в нескольких и оба вдруг [≈ одновременно] в одних и тех же*). Частотность слова *вдруг* в речи обеспечивается его употреблением в функции «дискурсивного слова» (*mots du discours*).

«Дискурсивные» употребления слова *вдруг* могут быть подразделены на два основных класса. С одной стороны, *вдруг* может использоваться в повествовании как показатель того, что событие, о котором повествуется, никак не предвещалось предшествующей ситуацией (*Вдруг раздался выстрел*) — в таком случае можно говорить о «нарративном» *вдруг*. С другой стороны, *вдруг* может использоваться в составе предположений, вводя гипотезу, которую, по мнению говорящего, следует учитывать, хотя ее реализация и маловероятна (*Вдруг он болен?*) — в таком случае можно говорить о «гадательном» *вдруг*⁵.

«Нарративное» *вдруг* часто сближают со словами *внезапно* и *неожиданно*. В частности, именно эти слова используются для толкования «нарративного» *вдруг* в большинстве толковых словарей, поэтому целесообразнее остановиться на них подробнее.

Неожиданно vs. внезапно

Несмотря на этимологическое сходство слов *внезапно* (от древнерусского *запа* 'надежда, ожидание') и *неожиданно*, между ни-

⁴ По подсчетам А. Н. Баранова (устное сообщение), в современной русской прозе частотность *вдруг* не ниже, чем у Достоевского; чрезвычайно частотно это слово и в бытовой непринужденной речи.

⁵ Отдельного упоминания заслуживает использование слова *вдруг* в вопросах (обычно — о причинах явления). В них оно указывает на то, что причины явления совершенно неясны говорящему, и потому само явление кажется ему удивительным: ср. *Что это ты вдруг такой расстроенный?; Куда это ты вдруг собрался?; Чего это ты вдруг так вырядился?; Что это он вдруг увлекся театром?; С чего бы вдруг...?* и т. п.

ми обнаруживаются существенные семантические различия. Не всякая *внезапность* бывает в то же время *неожиданностью* — ср.:

Его *внезапный* уход посреди доклада ни для кого не был *неожиданным* — все давно привыкли к его выходкам.

С другой стороны, возможны и *неожиданности*, не являющиеся *внезапными*. Это связано с тем, что *внезапным* всегда бывает какое-либо изменение ситуации, а *неожиданным* может быть и отсутствие каких-либо (ожидавшихся) действий. Мы говорим: *его неожиданное* (не **внезапное*) *присутствие/отсутствие*, но *внезапное появление/исчезновение* — ср.:

Неожиданное присутствие Заметова неприятно поразило Раскольников (Достоевский);

аномально было бы:

**Внезапное присутствие Заметова поразило Раскольникова.*

Ср. также: *Мы показали ему ту скандальную фотографию, но неожиданно он выказал полное равнодушие/промолчал/бровью не повел* и т. д., но не: *...*внезапно он выказал полное равнодушие* и т. д.

Вообще *внезапность* требует динамики, она характеризует события (т. е. то, что происходит в мире); *неожиданными* же бывают интенциональные объекты: факты, мысли, идеи, выводы, пропозиции.

Из сказанного вытекает различное понимание многих сочетаний, содержащих слова *неожиданно* и *внезапно*. Так, сочетание *внезапно опьянел* указывает на то, как произошло событие (только что был трезв, а уже через минуту пьян); напротив того, сочетание *неожиданно опьянел* ничего не сообщает о том, как происходил процесс опьянения — он вполне мог быть постепенным; *неожиданность* здесь относится к самому факту опьянения (опьянел, хотя выпил мало). Сочетание *внезапный голод* соотносится с событийным предикатом *внезапно проголодался*, а *неожиданный голод* указывает на неожиданность того факта, что субъект голоден — например, если он пришел после обильного банкета. *Внезапная дружба* означает, что люди *внезапно подружились*, а *неожиданная дружба* означает: *'неожиданно, что дружат* (ведь они такие разные)'. Ср. также: *Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделали больны* (Гончаров) и *Они заключили фиктивный брак, но неожиданно полюбили друг друга*.

Из того, что *неожиданными* бывают факты, а *внезапными* только события, вытекают разные возможности полной и

неполной номинализации — ср. *Его появление было неожиданным/внезапным; То, что он явился, было неожиданным, но не: *То, что он явился, было внезапным.* С этим же связано и то, что неожиданным может быть какой-то аспект ситуации (ср. *Неожиданным было не то, что он пришел, а то, что он пришел так скоро*), а внезапной — лишь вся ситуация в целом (ср. *Его приход был внезапным*). Поэтому характерны высказывания, эксплицирующие, в чем состояла неожиданность (*Неожиданным было то, что...; Неожиданностью было...; Неожиданность состояла в... и т.д.*); для «внезапности» такая экспликация неуместна (**Внезапным было то, что...*). В отношении неожиданности осмысленны вопросы *Почему / Чем это неожиданно?; В чем тут неожиданность?; Что тут неожиданного?*; в отношении внезапности такие вопросы не характерны: *?Чем это внезапно?* Именно поэтому наречие *неожиданно* часто относится не к предикату, а к каким-то атрибутам ситуации, выраженным прилагательными или наречиями — ср.: *неожиданно резкое политическое высказывание* (Довлатов); *«Коньячок есть у меня — согреемся», — неожиданно залихватски как-то сказал Василиса* (М. Булгаков).

В отличие от неожиданности, внезапность всегда конкретна. Иными словами, конкретные события (*появление, отъезд, помешательство, бракосочетание, смерть*) могут быть внезапными, но слова-классификаторы (*событие, происшествие* и т.п.) с этим прилагательным не сочетаются; ср.: *Неожиданное событие (происшествие и т.д.) изменило всю его жизнь; И тут он совершил совершенно неожиданный поступок* (но не: **внезапное событие, *внезапный поступок*); *История имела неожиданное* (но не **внезапное*) *продолжение*. Соответствующие высказывания со словом *неожиданный* не являются самодевуемыми. Они требуют последующей экспликации того, в чем состояло неожиданное событие, продолжение и т.п.⁶

Поскольку неожиданность может относиться к различным аспектам ситуации, высказывания, содержащие полностью номинализованные пропозиции, могут оказаться неоднозначными. В особенности это относится к номинализациям, имеющим валентность содержания. Так, сочетание *неожиданное выступление профессора N. на собрании* может пониматься двояким образом: то ли неожиданным был сам факт выступления (обычно профессор N. на собраниях молчит), то ли неожиданным оказалось содержание выступления (никто не ждал, что профессор N. будет говорить именно это).

⁶ Неожиданность в таких случаях относится не к способу осуществления события, а к тому факту, что данное событие произошло.

Вообще, отнесенность к содержанию чрезвычайно характерна для неожиданности. Скажем, *неожиданная эпиграмма* — это эпиграмма, содержащая неожиданный поворот мысли, сочетание *неожиданное зрелище* (но не **внезапное зрелище*) относится к неожиданности увиденного. Если *внезапное решение* — это 'внезапно принятое решение', то *неожиданное решение* — это не 'неожиданно принятое решение', а 'решение, неожиданное по содержанию' (точно так же, как *внезапная мысль* — 'мысль, внезапно пришедшая в голову', а *неожиданная мысль* — 'мысль, отличающаяся неожиданным содержанием').

Само существительное *неожиданность* используется не только как название свойства, но и как имя того, что является неожиданным, т. е. обладает этим свойством. Поэтому слово *неожиданность* нередко употребляется во множественном числе. Можно сказать: *Нас подстерегают разные неожиданности*. Существительное *внезапность* — это почти всегда название свойства (так, говорят о *факторе внезапности*), тогда как происшедшие внезапно события «внезапностями» обычно не называются. Соответственно, для слова *внезапность* множественное число не характерно. Вполне естественно звучит высказывание *Жизнь полна неожиданностей*, а фраза Чехова *Жизнь так полна внезапностей!*, как кажется, не вполне отвечает современной литературной норме. Можно также сказать *Это было полной неожиданностью*, но не **Это было полной внезапностью*.

Особенности семантики *неожиданности*, определяющие особенности употребления соответствующих слов, в целом отвечают их внутренней форме. Утверждение о *неожиданности* некоторого *P* предполагает наличие «субъекта ожидания», т. е. того, кто не ожидал *P* и для кого *P* тем самым оказалось неожиданным. Поэтому слова *неожиданно*, *неожиданный*, *неожиданность* имеют соответствующую сильную семантическую валентность (*неожиданно для кого*, например *неожиданно для всех*; *это было неожиданностью для него самого*), которая может оставаться незаполненной лишь в случаях, когда «субъект ожидания» однозначно выявляется из контекста. Объектом ожидания являются интенциональные сущности, соответственно, и *неожиданными* бывают факты, мысли, идеи, выводы (когда мы говорим *неожиданный приход*, это означает, что неожиданным был факт его прихода).

Семантика *внезапности* иная. *Внезапность* предполагает ментальность. Поэтому наречие *внезапно* естественным образом сочетается с событийными глаголами, а стативные глаголы в сочетании с ним получают «событийную» интерпретацию; ср.

Внезапно видит [\approx 'начинает видеть'] *всю ее...* (Пастернак)⁷. С подлинно стативными предикатами *внезапно* не сочетается — ср. нарочитую неправильность сочетания *внезапно* со стативным предикатом *смертен* в известном примере из «Мастера и Маргариты»: *Человек смертен, но это было бы полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен* — вместо семантически стандартного: *Плохо то, что он иногда внезапно умирает* или *Плохо то, что смерть иногда бывает внезапной*⁸.

Внезапность требует точной датировки события. Едва ли можно *внезапно потерять зонтик*, поскольку потеря зонтика нормально предполагает невозможность точно установить момент, когда это произошло. Однако можно *внезапно потерять дар речи*. Мы говорим, что событие произошло *внезапно*, если за мгновение до него не было никаких признаков, которые позволили бы к нему подготовиться. Иначе говоря, имеет место констатация отсутствия «подготовительного периода». *Внезапность* существует на фоне более обычной ситуации, когда определенные признаки предвещают событие и позволяют подготовиться к нему, так что оно происходит как бы постепенно⁹. Очень привычно сочетание *внезапная смерть* (так как бывает, что смерти предшествует достаточно длительный «период умирания») или *внезапное нападение*, так как бывает объявление войны; *внезапный приезд*, так как о приезде принято предупреждать заранее, и т. д.

⁷ Сочетания прилагательного *внезапный* с несобытийными именами возможны постольку, поскольку соответствующее имя может метонимически скрывать за собою событие. Вполне естественны сочетания с названиями состояний и явлений, предполагающими возникновение, такими как *внезапный ужас*, *внезапная тоска* (ср. у Пушкина: *тоской внезапной осеня*), *внезапные слезы*, поскольку они легко интерпретируются как 'внезапно возникший ужас', 'внезапно подступившая тоска', 'внезапно полившиеся слезы'. *Внезапный дождь* — это 'внезапно пошедший дождь', *внезапное решение* — 'внезапно принятое решение', *внезапные вопросы*, которые в «Раковом корпусе» Ахмаджан задавал Вадиму Зацырко, — это 'вопросы, задаваемые внезапно, ни с того ни с сего'.

⁸ О несочетаемости с наречиями типа *внезапно* как о тривиальном свойстве «статических» предикатов см. [Булыгина 1982].

⁹ Слова со значением *внезапности* могут использоваться для того, чтобы указать на отсутствие постепенности не только во временном плане, ср. *Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванова умиляло, что его кофейный загар внезапно переходит у поясницы в детскую белизну* (Набоков).

Можно внезапно вспомнить что-либо («внезапность» здесь заметна на фоне того, что можно вспомнить и не *внезапно*, а *долго и мучительно вспоминая*), но, как правило, нельзя *внезапно забыть*, хотя вполне нормальны сочетания *Он вдруг забыл...* или *Он неожиданно забыл...* (впрочем, сочетание *внезапно забыть* оказывается допустимым в некоторых особых ситуациях, когда необходимо подчеркнуть отсутствие постепенности: *Он внезапно забыл все французские слова*).

Отсутствие признаков, предвещающих событие, вообще говоря, вещь объективная. *Внезапный ливень* — это ливень, который объективно ничто не предвещало: небо было ясным, светило солнце и т.д.¹⁰ О том, что *внезапность* — это не субъективное впечатление, а объективная реальность, свидетельствует и возможность таких фраз, как *Мне показалось, что это произошло внезапно*: из них очевидно, что одно дело — как *показалось*, а другое — как было *на самом деле*. Поэтому для *внезапности*, в отличие от *неожиданности*, нет необходимости в «фигуре наблюдателя», *внезапность* может остаться никем не замеченной. В следующем примере отсутствие восприятия *внезапно* происшедшего события даже специально подчеркивается:

...Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то *внезапно* кончилась, на ней теперь был шелковый черный плащ (М. Булгаков).

Таким образом, *неожиданность* релятивизована относительно субъекта (то, что оказалось *неожиданным* для кого-то одного, может не быть *неожиданным* для другого), а *внезапность* — нет. Заметим, что *неожиданность* (но не *внезапность*) может быть релятивизована также относительно каких-то других аспектов ситуации наблюдения (ср. *резкое похолодание, неожиданное для нашего мягкого, ровного климата*, но не: **резкое похолодание, внезапное для нашего мягкого, ровного климата*)¹¹.

¹⁰ Как в характерном примере из синонимического словаря [Евгеньева 1970: 145]: *Дождь начинался внезапно, как и внезапно обрывался, словно кто в небе закрывал клапан*. Чаще дождь начинается постепенно: дует ветер, небо затягивает тучами, начинают падать первые капли, их все больше — и вот уже полило.

¹¹ Не являются контрпримерами ко всему сказанному такие сочетания, как *похолодание, слишком внезапно для нашего климата* или *Все это как-то слишком внезапно для меня*. Возможность использования предложно-падежной группы с *для* определяется в них сильной семантической валентностью слова *слишком*.

Разумеется, «неподготовленность» события, происшедшего *внезапно*, относительна. *Внезапное нападение* могло долго и тщательно (но тайно) готовиться нападавшими; фактор *внезапности* состоит здесь в том, что к нападению не могли подготовиться те, на кого напали. Однако это не ведет к релятивизации *внезапности*. Невозможность подготовиться к событию для каких-то участников ситуации устанавливается вполне объективно.

«Нарративное» *вдруг*

Бросающееся в глаза различие между словом *вдруг*, с одной стороны, и словами *внезапно* и *неожиданно* — с другой, состоит в различии их возможных синтаксических трансформаций. В отличие от слова *вдруг*, наречия *внезапно* и *неожиданно* входят в корреляцию с прилагательным и существительным. Если кто-то *пришел внезапно* или *неожиданно*, мы можем говорить о *внезапном* или *неожиданном приходе*; но фраза *Вдруг пришел Петя* не допускает подобной трансформации. Могло бы показаться, что данное различие целиком обусловлено отличиями в морфологической форме между рассматриваемыми словами. Но оно имеет и семантическую мотивировку. Если *внезапность* и *неожиданность* — это характеристики того, что имело место, то *вдруг* относится к способу представить происшедшее в рамках повествования. С этим связана и способность наречий *внезапно* и *неожиданно* находиться в рематической позиции (ср. эквивалентности *Он пришел внезапно* \Leftrightarrow *Его приход был внезапным*; *Он пришел неожиданно* \Leftrightarrow *Его приход был неожиданным*); «нарративное» *вдруг* в рематической позиции не употребляется¹².

В отличие от наречий *внезапно* и *неожиданно*, использование слова *вдруг* обуславливается не столько свойствами внеязыковой действительности, сколько способом говорить о ней. Если *внезапно* указывает на изменение положения дел в мире (событие), *неожиданно* — на изменение ментального состояния «субъекта ожидания» в тот момент, когда он узнает о чем-то *неожиданном*, то *вдруг* маркирует изменение в «коммуникативном пространстве». *Вдруг* — это знак того, что возможность положения дел, о котором идет речь в высказывании, никак не вытекает из ситуации, находящейся в поле зрения участников коммуни-

¹² *Вдруг* в позиции ремы — это всегда «обстоятельное» *вдруг* (со значением 'немедленно' или 'одновременно'); как уже говорилось, для современной речи «обстоятельное» *вдруг* не характерно.

кации. Если при развитии событий одно вытекает из другого, употребление слова *вдруг* оказывается неуместным — ср.:

Ах, как мне бы хотелось попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. Небо там серое, часто идут дожди, ветер воет в трубах. И там вовсе нет этого окаянного слова «вдруг». Там одно вытекает из другого (Е. Шварц).

Соответственно, в повествовании *вдруг* разрушает каузальные связи, которые мог бы попытаться установить адресат, так что каждый новый сюжетный ход никак не детерминируется предыдущими. Не случайно *вдруг* хорошо соединяется с безличными предложениями и другими конструкциями, устраняющими активного, целенаправленно действующего субъекта:

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам (Достоевский).

Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось (Достоевский).

Смена ситуации, на которую указывает «нарративное» *вдруг*, иногда приводит к тому, что «естественное» развитие событий нарушается и уже начатое действие не доводится до конца. Это может маркироваться введением в описание незаконченного действия частицы *было*, например: *Прекратившийся было дождь вдруг снова полил* (пример из Малого академического словаря [Евгеньева 1981]). Ср. также:

Он досматривал газету впробежь, материалы сессии и отгесненные ими другие сообщения. Он и шел-то курить. Он уже зашуршал *было* газетой, чтоб ее отдать — и *вдруг* заметил что-то, влез в газету — и почти сразу стал настороженным голосом выговаривать одно и то же длинное слово, будто протирая его между языком и небом: «Ин-те-рес-нень-ко... Ин-те-рес-нень-ко...» (Солженицын).

С идеей нарушения «естественного» хода вещей связано то, что во *вдруг* может быть заключено представление о «нелогичности» (иррациональности) соответствующей ситуации. Ср.:

Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства *вдруг* берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают *вдруг* в какой-то идеал, в свою мечту, совокупают на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что... (Достоевский).

Сочетание *и вдруг* часто указывает на нелогичность соединения двух ситуаций, каждая из которых сама по себе могла бы не вызывать удивления. Указание на нелогичность иногда создает эффект отрицательного отношения к ситуации, в которой, казалось бы, ничего плохого нет; ср. *Отношения у них были довольно прохладные — и вдруг водой не разольешь!*¹³

Часто *вдруг*, не сообщая адресату речи ни о каком новом, неизвестном тому событии, выражает эмоциональное отношение к новой ситуации:

Не дальше как вчера я тебе написал, что в твоих письмах к Ленечке я слышу обращение ко всему дому и нахожу естественно и без напряжения заботу и мысль обо мне. И *вдруг* особое твое письмо ко мне! Я прямо боялся его распечатать, думая, что кто-нибудь восстановил тебя против меня (и, наверное, справедливо) и я найду в нем печаль и упреки. И *вдруг* такое чудное, свободно дышащее, незаслуженно радостное содержание! (Пастернак).

Этот пример, в частности, показывает, что *вдруг* может вводить положительно оцениваемую новую ситуацию. Но чаще эмоциональное отношение противоположно: «все было тихомирно, и вдруг на тебе!»¹⁴. Ср.:

Он прожил у нас с полгода — вяло, тихо, довольно угрюмо... Но прошло несколько месяцев, и *вдруг* зверь показал свои когти (Достоевский).

¹³ Вне рамок повествования сочетание *и вдруг* фактически выступает в роли своего рода противительного союза, близкого по значению союзу *а* (ср. *Мальчик — и вдруг плачет* ≈ *Мальчик, а плачет*). Ср. также комический эффект, возникающий в примере из «Багрового острова» М. Булгакова, в котором говорящий (Савва Лукнич) исходит из посылки, что нелогично («курьезно») было бы разрешить постановку какой бы то ни было пьесы во всех городах СССР: *В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу... Нельзя все-таки... Пьеска — и вдруг всюду разрешена... Курьезно как-то...*

¹⁴ В следующем примере в первом предложении *и вдруг* вводит в поле зрения новую ситуацию в рамках повествования; но далее это же сочетание просто выражает возмущение по поводу ситуации, уже введенной в поле зрения адресата: *Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова (Зоценко).*

Иногда *вдруг* служит интродукцией для рассказа о дальнейшем развитии событий: *Пробиваюсь я вдоль забора и вдруг слышу голоса* (Лермонтов); *Вдруг из маминной из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой* (Корней Чуковский). В подобных случаях слову *вдруг* предшествует своего рода «экспозиция», а *вдруг* (часто в сочетаниях ...и *вдруг*... или ...как *вдруг*...) маркирует «завязку» некоторого «мини-сюжета», как в песне Галича: *Ну, гремела та самая опера, Где Кармен своєю бросила опера, А когда открывал Эскамилио, Вдруг свое я услышал фамилие*. Такие «мини-сюжеты» могут следовать друг за другом на протяжении повествования — ср.:

Тараканы прибежали, Все стаканы выпивали... Приходили к Мухе блошки, Приносили ей сапожки... Приходила к Мухе Бабушка-пчела... **Вдруг** какой-то старичок Паучок Нашу Муху в уголок Поволок... Муха криком кричит, Надрывается, А злодей молчит, Ухмыляется. **Вдруг** откуда-то летит маленький Комарик... (Корней Чуковский).

Апрельской ночью Леночка стояла на посту... / **Как** **вдруг** она заметила — огни летят, огни! / В Москву из Шереметьева огни летят, огни... / Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит... / **Как** **вдруг** машина главная свой замедляет ход (Галич).

«Гадательное» *вдруг*

«Гадательное» *вдруг* выражает в целом ту же самую идею, что и «нарративное» *вдруг*. Оно вводит в поле зрения адресата речи некоторую гипотезу, никак не вытекающую из того, что уже известно говорящему и адресату.

Слово *вдруг* в этом случае указывает на то, что говорящий не считает гипотезу сколько-нибудь вероятной (не видит причин, почему она должна была бы соответствовать действительности), но поскольку произойти может все что угодно, полагает, что эту гипотезу тоже стоит принять во внимание — как в известном анекдоте:

Рабинович, почему вы сидите дома в галстук? — А вдруг кто-нибудь зайдет. — Тогда почему без штанов? — Ай, ну кто зайдет к бедному еврею?

Отсутствие *вдруг* (например, *Может быть, кто-нибудь ко мне зайдет*) имплицировало бы, что говорящий готов считать данную гипотезу вполне реальной возможностью.

Тем самым использование *вдруг* делает прагматически безопасным высказывание самой невероятной гипотезы. Высказывая гипотезу без слова *вдруг*, всегда можно натолкнуться на возражение, указывающее на отсутствие причин, по которым гипотеза могла бы оказаться истинной, причем в составе такого возражения уместно употребить то же самое слово *вдруг* (например, *С чего это вдруг кто-то к тебе пойдет?*), но если слово *вдруг* уже было использовано при высказывании гипотезы, возражение теряет силу: гипотезу предлагается принять во внимание не потому, чтобы она была правдоподобна, а потому, что произойти могут самые неправдоподобные вещи.

Можно сказать, что в «гадательном» *вдруг* отражена важная идея, содержащаяся в целом ряде русских языковых выражений (и, в частности, в знаменитом «русском авось»), — а именно, представление о непредсказуемости будущего. При этом названные особенности слова *вдруг* позволяют использовать его как полемичное по отношению к *авось*. Ср. диалог: *Авось не упаду!* — *А вдруг упадешь?* Но при всей полемичности видно, что в этом диалоге обоих собеседников объединяет представление, что падение в данной ситуации маловероятно; просто первый беспечно считает, что указанной маловероятной возможностью можно пренебречь (хотя, конечно, произойти может все что угодно), а второй предпочитает учесть ее, несмотря на малую вероятность (поскольку произойти может все что угодно).

В некоторых контекстах *авось* и *а вдруг...* выражают почти противоположные идеи: *авось* — знак беспечности, *а вдруг...* указывает на желание перестраховаться (*Мало ли что? А вдруг*) или просто на появившуюся мысль о какой-то пугающей, хотя и невероятной возможности (как у Анны Петровны в пьесе Чехова «Иванов»: *...Представьте, что он разлюбил меня совершенно! Конечно, это невозможно, ну — а вдруг? Нет, нет, об этом и думать даже не надо*). Но есть и контексты, в которых они, напротив, сближаются. В «Раковом корпусе» и Дёмка, готовый отказаться от операции и говорящий: «Да на авось. А может само пройдет», — и Костоготов, настаивающий: «...Отпустите меня! Я хочу выздоравливать собственными силами. *Вдруг* да мне станет лучше, а?», — в равной степени готовы положиться на счастливый случай.

То же самое «гадательное» *вдруг* может выступать в придаточных условия (*Если вдруг...*). Хотя с формально-логической точки зрения условная конструкция вовсе не обязывает говорящего считать высоковероятной реализацию соответствующего условия, современная речевая практика настоятельно требу-

ет использования в условных придаточных элемента *вдруг*, если говорящий не имеет в виду имплицировать достаточно высокую вероятность того, о чем идет речь в придаточном. При таком употреблении *вдруг* близко по смыслу фразеологическому выражению *паче чаяния*; например: *А если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся...* (Окуджава) — вообще герой исходит из того, что «останется цел» («не для меня земля сырая»), но готов учитывать и маловероятную возможность собственной гибели.

При таком употреблении слово *вдруг* указывает на то, что говорящий сам не считает реализацию возможности, выраженной в придаточном условия, особенно вероятной, но — *на всякий случай* — готов считаться и с нею. Такая стратегия вполне соответствует общим установкам, характерным для русской языковой картины мира. Исходя из представления, согласно которому произойти может все что угодно, вообще-то имело бы смысл говорить только о тех возможностях, реализацию которых считаешь достаточно вероятной, — всего остального все равно не учесть. Но, с другой стороны, — опять-таки поскольку произойти может все что угодно, — не следует игнорировать самые невероятные предположения. Используя оборот *если вдруг...*, говорящий как бы дает понять: 'Я сознаю, что для этого нет причин, но, поскольку произойти может все что угодно, хочу рассмотреть и эту ситуацию'. Использование слова *вдруг* в такой ситуации является прагматически обязательным, а его отсутствие в условном придаточном порождает речевую импликацию 'говорящий считает реализацию данного условия весьма вероятной' (иными словами, высказывание, начинающееся словами *Если Петя позвонит, скажи ему...*, имплицировывает, что говорящий считает звонок Пети достаточно вероятным, — в противном случае следовало бы сказать *Если вдруг Петя позвонит...*). Собеседник, не согласный с такой импликацией, может возразить, используя в составе возражения слово *вдруг* (например, *Если Петя позвонит, скажи ему... — С чего это он вдруг позвонит?*), или выразить эту же гипотезу по-иному, а именно, добавив «недостающее» *вдруг*. Ср. характерный диалог доктора Глинки и Владимира Раевского из повести Веры Белоусовой «Второй выстрел»:

Он [доктор Глинка] понимающе кивнул и стал просить, чтобы я рассказал ему, «если чего узнаю».

— Да ну... — сказал я. — Ничего у меня не выйдет. Но если вдруг — тогда конечно!

Тем самым использование слова *вдруг* делает высказывание, содержащее придаточное условия, прагматически более

безопасным. Добавив слово *вдруг* в условное суждение или выражая условную просьбу, говорящий заранее снимает возможные указания на малую вероятность того, что условие будет выполнено; он показывает, что просто стремится учесть все возможности.

В целом общее представление о жизни, отраженное в «гадательном» и в «нарративном» *вдруг*, одно и то же. В соответствии с этим представлением рационально вывести происходящее из имеющихся предпосылок невозможно: произойти может все что угодно. Однако было бы излишне прямолинейно на основании наличия в русском языке слова *вдруг* и высокой частотности его в русской речи (иногда достигающего до почти грамматической обязательности) делать вывод о том, что русским свойственно представление об отсутствии в жизни причинной обусловленности и закономерных следствий. Возможен и прямо противоположный ход рассуждений. Необходимость специально указывать на отсутствие причинно-следственных закономерностей может быть связана с острым желанием видеть в том, что происходит в мире, не игру случая, а совокупность причинно обусловленных цепочек. Отклонения от закономерного хода вещей требуют специальной маркировки, как любые отклонения от нормы. Этой цели и служит слово *вдруг*.

Отношения между людьми

Во многих исследованиях русской языковой картины мира и «русского характера» отмечается то пристальное внимание, которое в русской культуре уделяется нюансам человеческих отношений. Именно на фоне этого внимания находит объяснение наличие в русском языке языковых единиц, отражающих, казалось бы, противоположные культурные установки. Так, в русской культуре высоко ценится *задушевное* общение (как писал Вас. Розанов, «среди „свинства“ русских, есть... одно дорогое качество — интимность, задушевность»), но в то же время носитель русской языковой картины мира чрезвычайно болезненно реагирует, когда ему *лезут в душу*. Для описания такого рода фактов недостаточно поверхностных ярлыков, характеризующих особенности русских культурных установок (таких как, например, «отсутствие представления о неприкосновенности личной сферы» или, наоборот, «нетерпимость к вторжениям в личную сферу») — для полной реконструкции

соответствующего фрагмента русской языковой картины мира необходим детальный семантический анализ всех языковых единиц, тем или иным образом связанных с описанием сферы межличностных отношений.

В данном разделе затрагиваются лишь немногие из таких русских слов, и притом дело по большей части ограничивается предварительными замечаниями. Речь пойдет о словах *закусить/закусывать* и *закуска*, современное употребление которых связано с представлениями о задушевном застольном общении, о глаголе *любить* (а также существительном *любовь*) и слове *счастье* (и его производных), функционирование которых в значительной мере определяется заложенной в русской языковой картине мира антитезой «горнего» и «дольнего», и, наконец, о словах, указывающих на дружеские отношения между людьми (*дружить*, *друг*, *подруга*, *приятель*, *товарищ*).

Закуска: «задушевность» в застольном общении*

Расхожее мнение, что главный атрибут русского застолья — это выпивка, не вполне соответствует действительности. Неповторимость русскому застолью придает не столько то, что оно предполагает обильные возлияния, сколько то, что выпивание сопровождается *закуской* и задушевным общением. «Она бы нам поставила закуски, / И вместе погуляли бы по-русски», — писал Давид Самойлов; как видим, для того чтобы *погулять по-русски*, самым важным оказывается не выпивка, а *закуска*¹⁵. Не случайно само слово *закуска* в этом значении (и выражение *выпить-закусить*) оказывается одним из лингвоспецифичных русских слов.

Чтобы понять, как представление о необходимости закуски связано с задушевным общением, полезно проследить историю этого слова. Любопытно, что интересующее нас значение у слова *закуска* появилось не так давно. Еще в середине XIX в.

* В основу данного раздела положен фрагмент написанной совместно с И. Б. Левонтиной статьи «Лексика начала и конца трапезы в русском языке», подготовленной для публикации в очередном выпуске сборника «Логический анализ языка», посвященном началам и концам.

¹⁵ Это представление, в соответствии с которым *закуска* еще важнее для русского застолья, нежели выпивка, нашла отражение в рекламной заметке в приложении к газете «Коммерсантъ» (за июнь 2001 г.), в которой говорилось: «Вас научат правильно выпивать, а главное, *закусывать*».

в народной речи оно, как и ныне совсем исчезнувшие слова *заядка* и *верхосытка*, обозначало легкое, обычно сладкое блюдо, завершавшее обед, т. е. то, что мы сейчас обычно называем *десертом* (следы такого понимания остались в выражении *оставить на закуску*)¹⁶.

В культуре высших слоев *закуска* понималась совершенно иначе. В первой трети XVIII в. это слово обозначало легкую трапезу перед обедом — нечто вроде завтрака или второго завтрака¹⁷. Впоследствии оно стало обозначать кушанья (два-три холодных блюда и водку), подаваемые за два-три часа до обеда в передней (еще в начале XIX в. считалось, что держать спиртные напитки на столе во время обеда неприлично)¹⁸. Тогда и установилась ассоциативная связь выпивки и *закуски*.

Затем *закуска* стала все более придвигаться к обеду, пока не превратилась в его часть. В современном устройстве обеда совершенно исчезла идея перерыва между закуской и обедом или тем более перехода в другое помещение¹⁹.

Современные значения слова *закуска* как раз и восходят к словоупотреблению высших слоев общества. *Закуской* называется: (1) легкая трапеза; (2) часть обеда, предвещающая первое блюдо; (3) легкая еда, сопровождающая употребление крепкого алкогольного напитка.

Первое из отмеченных значений слова *закуска* — значение «перекуса», «легкой трапезы» — было широко представлено в

¹⁶ В современном языке слово *закуска* вообще не может указывать на сладкое блюдо, даже вне рамок обеда. Все контексты, где *закуска* указывает на что-то сладкое, на современный слух звучат странно — ср.: *Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная (С. Т. Аксаков); Там кроме пяти фунтов чаю находилось еще несколько свертков с пастилою и прочими закусками (Погодин).*

¹⁷ Кое-где такое употребление слова *закуска* сохранялось и в XIX в. — ср.: *День именин в доме почтмейстерши начинался, по уездному обычаю, утреннею закуской (Лесков).* Мы помним, что «все утреннее угощение у именинницы на этот раз предположено было ограничить одним чаем».

¹⁸ Ср. *Этот оживленный и оригинальный разговор занимал все общество во время закуски и продолжался за обедом (Лесков); Закуске последовал обед (Гоголь).*

¹⁹ Впрочем, идея закуски и обеда в разных помещениях или хотя бы на разных столах кое-где сохранялась еще даже в начале XX в., ср.: *Дядя Хрисанф и Варвара переставляли бутылки с закуского стола на обеденный (М. Горький).*

языке XIX в.; ср. *Да это, друзья мои, не бивачная закуска, а целый пир!* (Данилевский); *..уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем* (Тургенев). Это значение в современном языке устарело. Заметим, что глагол *закусить* продолжает свободно употребляться в соответствующем значении — ср.: *Не хотите ли закусить чего-нибудь?*; *Хорошо бы закусить, а то до обеда еще далеко.*

Второе значение слова *закуска* указывает на определенное место в структуре обеда — на блюда, которые предшествуют основным блюдам трапезы. Данное значение, в противоположность первому, сохранило свою актуальность (ср. *холодные и горячие закуски* в меню ресторана — стандартный вопрос официанта: *Из закусок что будете заказывать?*). Интересно при этом, что для глагола *закусить* это значение, напротив, полностью вышло из употребления; ср. неправильное *«Суп нести? — *Нет, я еще закусываю».*

Однако и наиболее частотным, и наиболее лингвоспецифичным является то значение слова *закуска*, как, впрочем, и глагола *закусить* (*закусывать*), в котором они указывают на действие, сопровождающее питье крепких алкогольных напитков. *Закуска* указывает также на само блюдо, которым закусывают, когда выпивают: *Селедка — классическая закуска; Такую закуску грешно есть помимо водки.* Героя Довлатова инструктируют, посылая за водкой: *Останется мелочь — возьми чего-то на закуску* (С. Довлатов, «Соло на ундервуде»).

Обратим внимание на важные семантические отличия *закусить/закусывать* от *заесть/заедать*: ср. *заесть таблетку, заедать кефир булкой.* Если *закусывать* в норме можно только алкогольные напитки, то для *заедать* это не так. В следующем примере использование слова *закусывать* было бы невозможно: *За столом сидят двое, играют в домино, пьют кефир, заедают батоном* (М. Жванецкий, «Миниатюры»).

Интересно, что *закусывают* обычно не просто алкогольные, а именно крепкие напитки, причем чаще всего водку, самогон или спирт. Дело здесь не только в том, что легкие вина не требуют немедленного «закусывания», но и в том, что представление о трапезе с вином включает идею отдельной, самостоятельной ценности и еды, и питья.

При этом *закуска*, хотя она и играет вспомогательную роль, должна подходить к выпивке, она оттеняет, сопровождает и

украшает алкогольный напиток. Классическая закуска — селедка, грибы, соленые огурцы²⁰. Если же цель закусывания чисто функциональная — избежать быстрого опьянения, устранить сивушный привкус напитка или ликвидировать запах, чтобы скрыть факт выпивки, — иногда используется не слово *закусить*, а слово *заесть* или *зажевать*. Можно упомянуть также весьма яркий глагол *занюхать*. А в последнее время появилось, по аналогии со словом *закуска*, также и слово *запивка*.

Важность *закуски* для русского застолья объясняется той ролью, которую для русских играет задушевное общение и характерная для русской традиции особая культура питья. В соответствии с русским представлением о хорошей трапезе, самостоятельной ценности не имеет не только выпивка, но и еда как таковая²¹. Главное для русского застолья — не поесть и даже не выпить, а, разомлев от хорошей выпивки и *закуски*, открыть свою душу другому человеку.

Связь *закуски* и общения не случайна. Если человек выпьет мало, то не достигнет того состояния раскрепощенности и душевной распахнутости, которое рассматривается как специфически русское и оценивается положительно. Если же человек выпьет слишком много, то рискует оказаться выключенным из общения. *Закуска* позволяет снизить этот риск²². Именно такой модус, при котором люди выпивают, потом закусывают, потом «повторяют», и может привести их в искомое состояние. Поэтому *закуска* и представляет собою не менее важный компонент русского застолья, нежели выпивка²³.

²⁰ Часто, говоря о закуске, используют «гастрономические диминутивы»: *селечка, грибочки, огурчики*. В интервью газете «Известия» в феврале 2000 г. некий ресторатор даже сказал, что уменьшительные существительные превращают еду в *закуску*. Это связывает *закуску* с уютной атмосферой, которая также создается употреблением диминутивов.

²¹ Ср. высказывание Фадеева, переданное Николаем Чуковским: *Речь Фадеева превратилась в монолог, который невозможно ни запомнить, ни передать. ... Он рассказывал о писателях — соседях по переделкинским дачам. И пил водку большими стопками. Я помню, он сказал однажды о ком-то: «У него нормальное отношение к еде: как к закуске». Но сам он пил, почти не закусывая.*

²² Правда, русская традиция включает и представление об умении пить без закуски как о проявлении удалости. Отсюда присказки *Закуска — враг выпивки; После первой не закусываю* и т. д.

²³ Говоря о рассматриваемой ценностной установке, уместно привести и раздраженное замечание Набокова: *Я не терплю ресторанов,*

Любовь и счастье

Язык любви*

Для русской языковой картины мира чрезвычайно существенно противопоставление «горнего» и «дольнего». Различение «горнего» и «дольнего» проявляется, в частности, в целом ряде лексических оппозиций — таких как, например, блестяще проанализированная А. Б. Пеньковским [1991] пара *радость* — *удовольствие*. Но не менее показательным является и то, что ряд лексических единиц может функционировать в двух режимах, соответствующих плану «горнего» и плану «дольнего».

Так, два режима употребления можно выделить для глагола *любить*²⁴. В первом из них (*любить 1*) *любить* указывает на чувство (или, точнее, на чувство-отношение), которое субъект испытывает по отношению к объекту любви (*любить жену, мать, свою семью*); во втором (*любить 2*) — на свойство субъекта, состоящее в том, что субъект обычно испытывает удовольствие от реализации некоторой ситуации (*любить прогулки по лесу; любить, чтобы все вещи лежали на своем месте*)²⁵. Можно сразу сказать, что *любить 1* относится к сфере «высокого», а *любить 2* — к сфере «низкого».

Объектом для *любить 1* является лицо или группа лиц (а также любой объект, которому приписываются какие-то свойства лица). В рамках *любить 1* можно было бы различать «чувственную» любовь, в которой на первом плане желание быть вместе с объектом любви (прототипической для такой

водочки, закусок, музычки — и душевных бесед. Характерно, что, выражая отрицательное отношение к русскому представлению о душевном общении при совместной выпивке, Набоков упоминает в качестве одного из определяющих признаков такого общения именно *закуску* (отметим также использование в этом высказывании «гастрономических диминутивов»).

* В основу данного раздела положен фрагмент неопубликованного курса лекций «Ключевые концепты русской языковой картины мира», прочитанного мною в мае-июне 1994 г. в Венском экономическом университете.

²⁴ Семантике глагола *любить* посвящены также две недавно опубликованные работы: [Зализняк 1999] и [Апресян 2000]. Представляется, что ряд наблюдений, сделанных в указанных работах, вполне подтверждает положение о двух различных режимах употребления данного глагола.

²⁵ Те же два режима употребления можно выделить и у существительного *любовь*.

любви является любовь к человеку противоположного пола, связанная со стремлением к физической близости), и «альтруистическую» любовь, в которой на первом плане желание делать объекту любви добро. Впрочем, вероятно, речь может идти о более или менее детальной классификации чувств, концептуализуемых как *любовь*, — так, Владимир Соловьев различал альтруистическую любовь (к ближнему), основанную на *жалости*, и *благоговейную* любовь (к Богу)²⁶.

З а м е ч а н и е. Вопрос о наличии собственно лингвистических оснований для выделения различных лексических значений в рамках типов употребления, обозначенных здесь как *любить 1*, рассматривается в [Зализняк 1999] и [Апресян 2000]. Анна А. Зализняк приходит к выводу, что, хотя «человек по-разному любит свою мать, дочь, жену, любовницу, друга, собаку и родину», не существует чисто языковых оснований для разграничения разных лексических значений, соответствующих разным типам чувства любви (прежде всего — связанному и не связанному с наличием физической близости или стремлением к ней). Напротив того, Ю. Д. Апресян различает значения *любить 1.1* (*любить жену, полюбить циркачку*) и *любить 1.2* (*любить Родину, любить своих детей*). Именно с *любить 1.1*, по Ю. Д. Апресяну, соотносится один из самых фундаментальных концептов языковой картины мира — идеальная любовь, которая мыслится в русском языке как исключительно сильное и глубокое чувство, испытываемое однажды в жизни по отношению к единственному человеку другого пола, связанное с наличием физической близости или стремлением к ней, поднятое над бытом и способное дать человеку ощущение счастья. Ю. Д. Апресян указывает на ряд языковых свойств, отличающих *любить 1.1* от других значений глагола *любить* и, в частности, от *любить 1.2*: возможность употребляться в «длительном» значении ('находиться в состоянии влюбленности'), употребительность определенных причастных форм (например, формы *любящие*), соотнесенность с субстантивированными прилагательными (*любимый*), способность употребляться в абсолютной конструкции (*Они умеют любить*) и др. Представляется, впрочем, что почти все эти свойства могут быть присущи и *любить 1.2* — ср., например: *любящие родители; ты мой любимый* (слова матери, обращенные к ребенку); *То сердце не научится любить* [очевидно, *любить 1.2*], / *Которое устало ненавидеть* (Н. Некрасов). На то, что для русской языковой картины мира трудно провести четкое

²⁶ А, скажем, о. Павел Флоренский в «Столпе и утверждении Истины» упоминает классификацию Гейлинкса, различавшего в своей «Этике», вышедшей в 1665 г., *amor affectionis*, *amor benevolentiae*, *amor concupiscentiae* и *amor obedientiae*, и ставит им в соответствие греческие слова *φιλία*, *ἀφράπτη*, *ἔρως* и *στοιχηή*.

разграничение между *любить 1.1* и *любить 1.2*, указывает и одно из самых лингвоспецифичных русских любовных обращений — проанализированное И. Б. Левонтиной [1997] слово *родной*, соотносящееся с обоими типами любви (Ю. Д. Апресян также указывает на целый ряд свойств, общих для *любить 1.1* и *любить 1.2*). С другой стороны, впрочем, аргументы Ю. Д. Апресяна можно дополнить тем соображением, что именно *любить 1.1* локализуется с точки зрения русского языка в специально предназначенном для этого органе — *сердце*, тогда как *любить 1.2* может быть локализовано и в *душе*, а также тем фактом, что только с *любить 1.1* соотносится «начинательный» глагол *влюбиться* и производное от него *влюбленный* (в неметафорическом употреблении).

В целом именно чувство, обозначаемое глаголом *любить 1* (в обеих разновидностях: *любить 1.1* и *любить 1.2*), является в культуре вы с ш е й духовной ценностью, приобщающей человека «горнему» миру.

В отличие от *любить 1*, значение *любить 2* соответствует общей установке на получение удовольствия и, подобно категории *удовольствия*, относится в русской языковой картине мира к сфере низкого²⁷. Существенно отметить, что *любить 2* всегда содержит обобщение и не может обозначать актуальное эмоциональное переживание, удовольствие, полученное в некоторый конкретный момент. Поэтому английское *I loved that movie!* (в устах человека, который посмотрел некоторый кинофильм) или французское *j'ai beaucoup aimé ce tableau* не могут быть переведены на русский язык посредством предложения с глаголом *любить* (следует употребить оборот *очень понравиться*).

Объектом для *любить 2* в конечном счете всегда является некоторый класс ситуаций. Иногда он эксплицитно выражен дополнением при глаголе, в роли которого может выступать придаточное изъяснительное (*Люблю, когда в комнате порядок; Люблю, чтобы в комнате был порядок*), номинализованное обозначение ситуации (*Люблю порядок в комнате*) или же инфинитив, обозначающий собственное действие субъекта (*Люблю поспать*). При этом, поскольку *любить 2* не может обозначать удовольствие, получаемое в конкретной ситуации, подчиненное придаточное не может вводиться фактуальным союзом *что* (аномально: **Я люблю, что в комнате порядок*). Если же объект при *любить 2* выражен предметным именем, ситуации, доставляющие удовольствие субъекту, бывают связаны со стандарт-

²⁷ Более того, возможны сколь угодно отталкивающие утверждения об установке *любить 2* — например, *Я люблю смотреть, как умирают дети* (Маяковский).

ным способом использования объекта или взаимодействия с ним: *любить вино* значит любить его пить, *любить детективные романы* значит любить их читать, *любить детей* значит любить играть с детьми, наблюдать за ними и т.п. Для многих объектов стандартная ситуация использования объекта восстанавливается однозначно; на этом построена известная эпиграмма Козьмы Пруткина: «*Вы любите ли сыр?*» — *спросили раз ханжу.* / «*Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу.*». Действительно, *любить сыр* и значит находить в нем вкус, когда его ешь²⁸.

Различие *любить 1* и *любить 2* достаточно четко осознается носителями языка (нередко это выражается в указании на то, что установка, обозначаемая посредством *любить 2*, не есть подлинная любовь). «...Не вменяется в добродетель... любовь к естественным и противоестественным удовольствиям, любовь к напиткам, псовой охоте и конским ристаниям», — писал Владимир Соловьев. Различение *любить 1* и *любить 2* обеспечивается еще и тем, что для *любить 1* объект всегда конкретен, тогда как для *любить 2* объект, напротив, всегда имеет общеродовой статус²⁹. Можно вспомнить в этой связи следующее замечание Владимира Соловьева: «Если я люблю женщин, а не *эту* женщину, значит, я люблю только родовые качества, а не существо, и, следовательно, это не есть истинная любовь».

Разумеется, как и почти во всех случаях лексической многозначности, возможны диффузные употребления, в которых различие между *любить 1* и *любить 2* кажется более размытым. Так, первая строка стихотворения Лермонтова «Родина» (*Люблю отчизну я, но странною любовью!*) наводит на мысль, что в нем (как в большинстве случаев употребления сочетания *любить родину*³⁰) обсуждается *любовь 1*, не связанная с категорией удовольствия. Однако дальше становится понятно, что речь идет все же об установке, соответствующей *любить 2*:

²⁸ Ср. также известную шутку: *Ты помидоры любишь? — Кушать люблю, а так нет* (комический эффект здесь определяется тем, что трудно представить себе, какой иной стандартный способ получения удовольствия от помидоров — помимо того, чтобы их есть, — мог иметь в виду второй собеседник).

²⁹ Поэтому и отлагальное существительное *любитель*, соотносимое с *любить 2*, но не с *любить 1*, предполагает общеродовой статус объекта — ср. *любитель красивых женщин*, но не **любитель своей жены* [Булыгина, Шмелев 1989].

³⁰ Ср. патетическое восклицание Костоглолова из «Ракового корпуса»: *А я вот ранен под Воронежем, и шиш имею да сапоги залатанные — а родину люблю! Мне вот по бюллетеню за эти два месяца ничего не заплатят, а я всё равно родину люблю!*

Но я люблю — за что, не знаю сам — / Ее степей холодное
молчанье, / Ее лесов безбрежных колыханье, / Разливы рек
ее, подобные морям; / Проселочным путем люблю скакать в
телеге...

Все сказанное не означает, что различие разных видов любви, обозначаемых одним и тем же глаголом, является исключительной принадлежностью русской языковой картины мира. Сходное явление наблюдается во многих языках и может специально обыгрываться. Приведем английский (в русском переводе) и французский примеры, построенные на том, что говорящий намеренно не отграничивает «альтруистическую» любовь от «гедонистической»:

А ты спрашиваешь, люблю я тебя или нет! Люблю, как и
любой лакомый кусочек, от которого у меня прибавится жиру
(К. С. Льюис).

Tu aimes les fleurs, et tu les coupes. / Tu aimes les poissons,
et tu les manges. / Tu aimes les oiseaux, et tu les mis en cages.
/ Alors, quand tu dis que tu m'aimes, cela m'inquiète un peu
(Prévert).

Однако в русской языковой картине мира противопоставление двух видов любви оказывается более четко выраженным вследствие невозможности использовать глагол *любить* для обозначения конкретного чувства удовольствия. Тем самым противопоставляются чувство любви и «гедонистическая» любовь, представляющая собой не чувство, а свойство.

Счастье

С темой любви в русской языковой картине мира непосредственно связана тема *счастья*. Анна А. Зализняк [1999: 377] даже пишет, что *счастье* является 'целью' любви; Ю. Д. Апресян [2000: 180] также замечает, что идеальная любовь способна «дать человеку ощущение счастья».

Однако роль *счастья* в русской языковой картине мира к этому не сводится. Можно утверждать, что концепт *счастья* является для нее одним из ключевых. При этом для слова *счастье* можно выделить два круга употреблений: *счастье 1* 'удача' и *счастье 2* 'когда человеку так хорошо, что у него не остается неудовлетворенных желаний'. Аналогичные употребления выделяются и у прилагательного *счастливы*³¹.

³¹ При этом как *счастливы* 1, так и *счастливы* 2 могут относиться к различным метонимически связанным аспектам ситуации *счастья* —

Счастье 1, целиком принадлежащее сфере «бытового», иллюстрируется такими примерами, как *монетка на счастье; счастливиый случай; Ему улыбнулось счастье; Это счастье, что...; Какое счастье!; Без счастья и в лес по грибы не ходи; Кто счастлив в картах, тот несчастлив в любви*; ср. также: *Довольно счастлив я в товарищах моих, / Вакансии как раз открыты: / То старших выключат иных, / Другие, смотришь, перебиты* (Грибоедов). Оно не зависит от личных усилий и заслуг человека (ср. характерные пословицы *Дуракам счастье; Счастье придет, и на печи найдет; Счастье вольная птичка: где захотела, там и села*). Рассчитывать на *счастье 1* в традиционной русской картине мира близко к тому, чтобы *надеяться на авось*, и, подобно расчету на *авось*, может оцениваться невысоко. Ср., с одной стороны, пословицы *Счастье дороже ума; Счастье дороже богатства; Не родись красивым, а родись счастливым* и, с другой — скептическое *Сегодня счастье, завтра счастье — помилуй Бог, а ум-то где?* (Суворов) и пословицы *Счастье везет дураку, а умному Бог дал; Счастье без ума — дырявая сума (что найдешь, и то потеряешь); Счастье что волк: обманет да в лес уйдет; Счастью не верь, а беды не пугайся* [Даль 1957].

Главная особенность *счастья 2* в русской языковой картине мира заключается в том, что оно в основном принадлежит воображаемому миру. В высказываниях о реальном мире *счастье 2* почти не употребляется: ср. странное ²*У X-а счастье* (при нормальном *У X-а несчастье*) и совсем невозможное **Случилось счастье* (при полностью правильном *Случилось несчастье*)³². Для

ср. *счастливиый расклад, счастливая карта, счастливиый исход, счастливиый день, счастливиый изрок*.

³² Если говорят о *счастье* в реальном мире, то это счастье чаще всего относится к прошлому — ср. вполне естественные конструкции, выражающие сожаление или просто воспоминание о прошедшем счастье: можно *отлакивать ушедшее счастье* или *вспоминать ощущение счастья*, которое когда-то испытал; значительно более странно звучали бы конструкции, относящиеся к настоящему: ²*испытывать счастье; ²ощущать счастье*. Анна А. Зализняк в неопубликованной работе о *счастье* и *наслаждении* в русской языковой картине мира отметила, что «представление о том, что на свете счастья нет, отражено в русском языке в невозможности высказать утверждение, что оно есть». Впрочем, можно вспомнить, что, как отмечалось выше, тема *счастья* в русской языковой картине мира неразрывно связана с темой *любви*. Именно в связи с *любовью* можно говорить о том, что человек *счастлив*, как о его актуальном состоянии. Приведем также характерный диалог из романа Солженицына «В круге первом»: *...на одной из своих довоенных лекций, — а они тогда были чертовски смелые! — я*

счастливым 2 отнесенность к реальной ситуации возможна, но в основном когда речь идет о «счастье в семейной или личной жизни» (так, возможен вопрос: *Ты счастлив с нею?*), а также в особо эмфатической речи (например, *Я счастлив, что вы пришли* вместо более нейтрального *Я рад, что вы пришли*). Напротив того, самые характерные контексты употребления слова *счастье* — это высказывания о несостоявшемся счастье, мечты о будущем счастье или пожелания кому-л. счастья, а также общие рассуждения о том, чего кому-то не хватает для *полного счастья*, или просто о том, *что такое счастье* (А. Гайдар).

З а м е ч а н и е. Концепт *счастья* занимал важное место в советской идеологии. Стало общим местом крылатое выражение Короленко *Человек создан для счастья, как птица для полета*; школьникам постоянно задавались сочинения на тему «Что такое счастье?», но при этом ожидаемый ответ был заранее известен: *счастье* отдельного человека могло состоять в самоотверженном труде, вносящем вклад в осуществление того, что наметили партия и правительство и что вело к достижению всеобщего *счастья* в будущем. Именно *счастье* было кульминацией того, что должен был, в соответствии с положениями «Программы КПСС», установить на Земле коммунизм: «мир, труд, свободу, равенство, братство и *счастье* всех народов». При этом предполагалось, что частично это счастье уже достигнуто в Советском Союзе (ср., например, благодарность т. Сталину или партии за *наше счастливое детство*). Впрочем, не отрицалось и стремление к личному счастью (стандартные месткомовские поздравления обыкновенно включали пожелания *счастья в личной жизни*), но оно не должно было заслонять высоких целей строительства коммунизма — в противном случае оно клеймилось как *мещанское счастье* (формулировка, заимствованная у Помяловского, одна из повестей которого так и называется «Мещанское счастье»).

Советская идеологема *счастья* вызывала отталкивание у людей, не принимающих советскую идеологию³³. «Мы, как известно, не гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия», — писала Надежда Мандельштам, в неявном

развил эгегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записочку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой: «А вот я люблю — и с ч а с т л и в а! Что вы мне на это скажете?» — И что ты сказал?.. — А что на это скажешь?

³³ Заметим, что провозглашение *счастья* конечной целью человеческой деятельности не принимается традиционной христианской этикой — так, Владимир Соловьев называет воззрение, согласно которому в качестве конечной цели выбирается наслаждение, счастье или польза (гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм), «элементарным» и отвергает его.

виде полемизируя со ставшей крылатой мыслью Короленко. Показателен также диалог Нержина и Рубина в романе Солженицына «В круге первом»:

«Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово „счастье“ происходит от се-часье, то есть этот час, это мгновение!» — «Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. „Счастье“ происходит от со-частье, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья».

И в «Раковом корпусе» с Асей, убеждающей Дёму отказаться от ампутации ноги (*Да ты что!! Как это — ногу отрезать? (...) Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана для счастья!*), в следующей главе, сам того не зная, спорит Костоготов: «В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? — „Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!“ Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака». И совсем решительно опровергает идеологему *счастье будущих поколений* провозглашающий теорию «нравственного социализма» Шулубин из того же «Ракового корпуса»:

Так вот что такое нравственный социализм: не к счастью устроить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье!» — а ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям! (...) Счастье — это мираж! — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал — и был счастлив. А они мне в душу наплевали. А я для этого счастья книги с истиной — в печке жёг. А тем более ещё так называемое «счастье будущих поколений». Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал — каким ещё идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастье в веках, чтоб осмелиться подготавливать его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлёбываясь молоком — мы совсем ещё не будем счастливы. А делясь недостающим — уже сегодня будем! Если только заботиться о «счастье» да о размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество...

Специфика понимания *счастья* в современной русской языковой картине мира заключается в том, что *счастье 2* в ней хотя и не относится к сфере «горнего» (в отличие от *небесного блаженства*, оно всецело принадлежит здешнему, земному миру), но служит его секулярным аналогом. Для западных аналогов слов *счастливы* и *счастье* (английских *happy* и *happiness*, французских *heureux* и *bonheur*) такой отнесенности к сфере высокого нет. Поэтому в возвышенных контекстах эти слова вполне могут быть переданы посредством русских *счастливы*

и счастье — так, строки Декларации независимости *WE hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and Pursuit of Happiness...* естественным образом переводятся на русский: «Мы считаем самоочевидной Истиной, что все Люди созданы равными, что они наделены их Творцом определенными неотъемлемыми Правами, среди которых Жизнь, Свобода и Стремление к Счастью...»

Но в более приземленных контекстах слова *счастье* и *счастливы* звучат высокопарно или вовсе становятся неуместными. Так, французское *Je suis heureux de vous voir* не содержит такого преувеличения, как русское *Я счастлив вас видеть*. Английское *happy* отстоит от русского *счастливы* еще дальше. Прочитируем в этой связи небольшой отрывок из интервью с Кшиштофом Занусси, опубликованного в газете «Аргументы и факты» (2000, № 31) и озаглавленного «Счастье — это рекламный трюк»:

Но слово «счастье» — опасное слово. Помню мои беседы с Тарковским в Америке. Мы говорили о том, что слово «счастье» в разных языках имеет разное значение. Например, у воздушной компании «Олимпик» есть лозунг «Все здесь счастливы». Андрей спросил: «Как можно говорить, что счастлива вдова, летящая этим самолетом?» Счастье по-английски значит, что кофе хороший, кресло удобно и температура приятно... Оно слишком сильно связано с рекламой. Для славянина счастье — эйфория, или покой, или только надежда, тогда и страдая можно быть счастливым человеком. Думаю, счастье — не самая важная проблема в жизни.

В такого рода «бытовых» контекстах *X is happy* следовало бы переводить как *X-у хорошо* или *X полностью удовлетворен* (ср. высказывание *I am not happy with this suggestion*, которое можно перевести как *Мне это предложение не нравится* или *Меня это предложение не устраивает*, а также *We'll be happy to come* — приблизительный перевод: *Мы с удовольствием придем*).

Итак, в русском *счастье* — в отличие от его западных аналогов — наблюдается ключевой мотив русской языковой картины мира: противопоставление «низкого», «бытового» и «высокого», только «высокое» имеет здесь целиком земное содержание и не может пониматься как «горнее».

Язык дружбы

Важность дружеских отношений для русской культуры отмечают многие наблюдатели. Особый интерес, проявляемый в

русской культуре к сфере отношений между людьми, находит свое отражение в языке и, в частности, в обилии русских слов, обозначающих различные виды дружеских отношений (А. Вежбицка [Вежбицкая 1999: 344] сравнивает его с обилием слов, обозначающих 'рис' в языке хануноо): глагол *дружить* и существительные *друг*, *подруга*, *товарищ*, *приятель(-ница)* и *знакомый/-ая*.

Первые четыре из названных существительных были подвергнуты подробному анализу в уже упомянутой книге А. Вежбицкой, в которой «моделям „дружбы“» в русской культуре был посвящен специальный раздел [1999: 340–375]. В соответствии с анализом А. Вежбицкой, *друзья* образуют важную социальную категорию: это люди, на которых можно положиться, когда надо найти помощь и поддержку (ни слово *подруга*, ни слово *приятель* этого не предполагают); видеть своих *друзей*, беседовать с ними, проводить с ними много времени — это одна из наиболее важных составляющих русской жизни; и сюда же входит и помощь *друзьям*, когда они в ней нуждаются. Таким образом, для слова *друг* ключевыми оказываются потребность в интенсивном и душевном личном общении и помощь *другу* в случае необходимости.

Слово *подруга*, по А. Вежбицкой, указывает на особый тип «межженских» отношений: с *подругами* происходят сходные вещи, и они по этому поводу чувствует приблизительно одно и то же. Слово *приятель* подразумевает хорошее знакомство с другим человеком и удовольствие, получаемое от общения с ним; но, в отличие от слова *друг*, оно не предполагает желания поверять другому свои переживания, открывать ему душу, «делить с ним радость и горе», а также всегда рассчитывать на помощь и поддержку с его стороны. Наконец, слово *товарищ* в прототипическом случае указывает на мужскую солидарность, основанную на совместном участии в одних и тех же событиях групп мужчин, которых судьба собрала вместе.

Представляется, что тонкие наблюдения А. Вежбицкой могут быть отчасти уточнены и дополнены. Но прежде следует сделать общее замечание, касающееся рассматриваемой группы лексики. В ней как нигде велика роль индивидуальных представлений разных носителей языка, причем расхождения могут быть достаточно велики. Скажем, некоторые носители языка (особенно — представители молодого поколения, а также люди, в течение какого-то времени жившие за границей³⁴)

³⁴ Ср. словно списанный с природы диалог из повести В. Белоусовой «Тайная недоброжелательность»: «А в Америку графиня приехала

свободно употребляют словосочетание *друг X-а* (где X — лицо женского пола) в соответствии с английским *boyfriend*. Но другие носители языка (чаще старшего поколения) отвергают такое словоупотребление, а если они знакомы с иностранными языками, воспринимают его как неуклюжую семантическую кальку французского *ami* или немецкого *Freund*.

В связи с этим здесь особенно опасно полагаться на эксплицитные суждения носителей языка о том, какие требования предъявляются к *другу*, чем *дружба* отличается от «просто *приятельских*» отношений, как правильно употреблять слово *подруга* и т. п. Более того, в этой сфере ненадежными могут оказаться даже неасертивные компоненты смысла, поскольку нет никакой гарантии, что содержащиеся в них представления разделяются другими носителями языка. Приведем в этой связи диалог Астрова и Войницкого из пьесы Чехова «Дядя Ваня»:

Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? (...). А то, может быть, в профессоршу влюблен? — Она мой друг. — Уже? — Что значит это «уже»? — Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг.

Циническое представление о жизни (или об особенностях семантики слова *друг*), сделавшее возможным вопрос Астрова «Уже?», вовсе не казалось самоочевидным Войницкому; поэтому вопрос вызвал у него недоумение, так что Астрову пришлось данное представление эксплицировать. Характерно, что Войницкий и после этого не принял его, назвав «пошляческой философией».

Друг, приятель, товарищ

Нередко делается утверждение, что *приятелей* у человека может быть много, а (*настоящий*) *друг* — только один (и уж во всяком случае не больше двух-трех) — ср. пример *Приятель* —

почти сразу же после войны, уже без родителей, зато с двумя детьми... — А муж? — Не слышно. И, кажется, не было. Во всяком случае в Америке. „Друзья“ были, а мужа — нет, не было». Характерно, что автор (переехавший из Москвы в США относительно недавно), ставит слово *друзья* в кавычки. Ср. также высказывание, сделанное эмигранткой из России (из той же повести), в которой *друг* уже уверенно приравнивается к «бой-френду»: «Младшее поколение не приводит своих бой- и герлфрендов. Наталья, конечно, — дело другое. Я думаю, если бы она привела своего друга, графиня бы не возражала».

что! Их много бывает. А друг — один (С. Михалков), приводимый в [Евгеньева 1970] и цитируемый А. Вежбицкой [1999: 358]³⁵.

Представляется, что идея о количественном ограничении на множество людей, которые могут считаться чьими-то друзьями, не является общим достоянием носителей русского языка³⁶. *Не имей сто рублей, а имей сто друзей*, — говорит пословица. При таком употреблении сохраняется представление, что друзья — это те, кто придет на помощь в случае нужды, на кого можно положиться; именно поэтому хорошо иметь много друзей. По-видимому, эта идея — готовность помочь в случае необходимости — является ключевой для русского концепта друга. Она составляет ядро клишированного выражения *Будь другом* (при странности [?]*Будь приятелем*; [?]*Будь товарищем*) и сохраняется даже в таких «выветренных» употреблениях, как *Да у Андрея друзья по всему миру* — смысл этого высказывания, может, например, заключаться в том, что, в какой бы город Андрей ни приехал, ему будет где остановиться, и вообще он нигде не пропадет. Напротив того, интенсивное душевное общение не является необходимым условием для того, чтобы человека назвать другом (хотя при встрече друзья часто говорят обо всем на свете, *раскрывают друг другу душу* и не могут наговориться). Так, можно считать своим другом человека, с которым не виделся уже много лет, но про которого сохраняешь уверенность: понадобится — и он не подведет.

Правда, возможны и употребления, при которых на первый план как раз выходит идея дружеского общения (например, во время застолья), тогда как готовность друга помочь в явном виде отрицается, как, например, в пословице: *Как при пире, при беседе — много друзей; как при горе, при кручине — нет никого* [Даль 1957: 777]. Но представляется, что значение слова друзья в таких употреблениях несколько сдвинуто — говорящий и хочет сказать, что это не настоящие друзья.

Однако возможны (по крайней мере в идиолектах некоторых носителей языка) и ослабленные употребления слова

³⁵ Такого рода утверждения делаются и лингвистами, описывающими особенности значения слова *друг*, отличающие его от *приятель*, — например, Е. В. Урысон [2000: 107] пишет, что относиться как к другу человек может «к очень н е б о л ь ш о м у количеству людей, обычно — не больше чем к двум-трем».

³⁶ Ср. недавно слышанное высказывание: *Мне ее жалко: у нее почти нет друзей*. Слово *почти* указывает на то, что друзья все-таки есть, но мало — вероятно, один-два. Но если бы такое количество друзей и считалось общепризнанной нормой, высказывание потеряло бы смысл.

друг, в которых оно мало чем отличается от *приятель*, например: *У него полно друзей, но по-настоящему близок он только с Петей*. В таком ослабленном употреблении оно сходно и с английским *friend*. Говоря об изменении в значении английского слова *friend*, А. Вежицка [Вежицкая 1999: 331] замечает, что если раньше говорили *true friend* 'истинный друг', то для современного языка характерно сочетание *close friend* 'близкий друг'. Первое сочетание предполагает высокие требования, предъявляемые к другу (так что подлинным другом может быть только тот, кто полностью им удовлетворяет); второе — содержит представление о достаточно большом круге «просто друзей», из которых выделяется более узкий круг близких друзей. Но интересно, что по-русски можно сказать и *настоящий друг*, и *близкий друг*; тем самым можно полагать, что слово *друг* в разных ситуациях и, вероятно, в разных идиолектах может указывать как на близкого человека, на которого можно положиться, так и на члена более широкого круга приятелей.

А. Вежицка [Вежицкая 1999: 325] указывает также на возможность сказать *a friend of mine* (при странности *?a son of mine*). Поскольку значение конструкции можно сформулировать приблизительно так: 'не играет роли, сколько их, не играет роли, который из них', — это также может свидетельствовать о том, что в современном английском *friend* рассматривается не как индивид, связанный со мною особыми узами, а как один из членов «дружеского круга». Но показательно, что и русское *друг* может использоваться в конструкции, имеющей сходное значение: *один мой друг* (при аномальности **один Петин брат; *один мой сын*)³⁷, — и, значит, может функционировать в ослабленном режиме, сближаясь по значению с английским *friend*.

Все сказанное не означает, что предложенное А. Вежицкой описание русского слова *друг* не соответствует его реальному семантическому содержанию. Несомненно, в нем выражен взгляд на дружбу, свойственный многим носителям языка и находящийся отражение в их речи; но распространен и менее требовательный взгляд на тот же предмет, и он отражается в ослабленном употреблении слова *друг*, из которого «выветриваются» определенные семантические компоненты.

Коснемся еще вкратце глагола *дружить*. По-видимому, в отличие от слова *друг*, глагол *дружить* предполагает, что люди общаются между собою и получают удовольствие от обще-

³⁷ См. об этом [Шмелев 1996а: 216—217].

ния³⁸. Человека, который живет в другой стране и с которым мы давно не виделись и не разговаривали, я могу назвать своим *другом* (если считаю, что могу на него положиться), но не могу сказать, что мы *дружим*. Возможно сочетание *друг по переписке*, но нельзя **дружить по переписке*. В целом глагол *дружить* предполагает отношения, в чем-то близкие к тем, которые закодированы в английском *friend* (в современном понимании). Именно с глаголом *дружить* семантически связан «начинательный» глагол *подружиться* — т.е. ‘завязать отношения, описываемые глаголом *дружить*’. Характерны также прилагательное *дружеский* и наречие *дружески*, относящиеся в первую очередь к внешним проявлениям (взаимного) благорасположения: *дружеский тон*; *дружеская улыбка*; *дружеский разговор*; *дружески похлопать по плечу*. Кстати, обратим внимание на то, что наречия ²*приятельски*, ²*товарищески* неупотребительны, а прилагательные *приятельский* и *товарищеский* имеют другое значение.

Что касается до слова *приятель*, можно обратить внимание на то, как на его современное понимание оказывает влияние народная этимология, связавшая его со словом *приятный*³⁹. В результате на первый план в идее *приятеля* вышло не хорошее отношение (*приянь*), а удовольствие, получаемое от общения с ним. Приведем рассуждение Е. В. Урысон [2000: 108]: «**Приятелей** объединяет совместное проведение времени, общие вкусы, благодаря чему им приятно быть в компании друг друга», — поэтому *приятель* оценивается «с точки зрения его близости и приятности его компании». Прилагательное *приятельский* (например, *приятельские отношения*; *приятельский разговор*) соответствует значению мотивирующего слова, означая приблизительно ‘такой, какой обычно бывает между приятелями’.

Наконец, в отношении слова *товарищ* описание А. Вежицкой может быть дополнено указанием на то, что, как заметила

³⁸ Именно этот аспект (общение, приятные беседы) того типа отношений, который обозначается в русском языке посредством глагола *дружить*, отражен в замечаниях одной из участниц интернетовской дискуссии на тему «Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной без „задних мыслей“?»: «К глубокому сожалению, практика показывает, что дружба между мужчиной и женщиной действительно возможна. Женщина думает: „Что-то он странно ухаживает. Говорит, говорит... Замуж не зовёт. И даже не соблазняет. Уж не большой ли он...“ А он, оказывается, *дружит* с нею».

³⁹ На самом деле оно этимологически родственно, например, английскому *friend*.

Е. В. Урысон [2000: 107], оно предполагает равенство и обязанность друг другу помогать, «но, в отличие от друзей, не вследствие внутренней близости, а потому, что так полагается с точки зрения норм поведения в обществе, в коллективе». Заметим, что это представление выходит на первый план в производном наречии *по-товарищески*, т.е. 'в соответствии с принятыми в коллективе нормами поведения по отношению к товарищу'.

Друг vs. подруга

Говоря о существительном *подруга*, А. Вежицка [Вежицкая 1999: 352—357] подчеркивает, что в нем выражено представление о «внутриженских» отношениях⁴⁰. По А. Вежицкой, «*подруга* — это человек, дающий женщине или девочке весьма необходимое и чрезвычайно ценное общество „кого-то, подобного ей самой“». Доказывая, что *подруга* — это не просто 'друг женского пола' и что у лиц мужского пола не может быть *подруг* (в рассматриваемом смысле), А. Вежицка [Вежицкая 1999: 354] обращает внимание на то, что высказывание 'Он пошел гулять с подругами' звучит странно.

Но если принять тезис о специфическом «внутриженском» характере отношений, закодированных в слове *подруга*, непонятно, почему такие выражения, как *подруга детства* и *школьная подруга*, не обязательно указывают только на отношения между девочками, а вполне могут относиться к подругам детства или школьным подругам мальчиков. Приведу также ряд высказываний, сделанных участниками интернетовской дискуссии на тему «Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной без „задних мыслей“?» (авторы приведенных высказываний — лица мужского пола)⁴¹:

⁴⁰ Помимо рассматриваемого значения, у слова *подруга* есть еще три значения, которые А. Вежицка упоминает [1999: 352—353], но не рассматривает: во-первых, слово *подруга* может иметь значение, близкое английскому *girlfriend*; во-вторых, в выражении *подруга жизни* оно относится к жене человека; в-третьих, *подруга* может использоваться в метафорическом значении «любимый товарищ» — не только по отношению к женщине, но также по отношению к конкретному объекту или абстрактному понятию, когда соответствующие слова относятся к женскому роду.

⁴¹ Высказывания приводятся в том виде, в каком они помещены в Интернет их авторами (только исправлены очевидные орфографические и пунктуационные ошибки и выделено встречающееся в них слово *подруга*).

...я не знаю литературы по данному вопросу, но, думается, на основе личного опыта могу сказать. То, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, — это очевидно. У меня лично **подруг** даже больше, чем друзей.

У меня всегда было немало **подруг**. Была какая-то невидимая грань, табу, даже неосознанное. Эта женщина друг и все. И никаких «задних мыслей».

А лично мне общаться с женщиной приятно, всегда приятно, **подруга** она мне или не только...

В то же время справедливо утверждение о том, что для женщин более типично иметь *подруг*, нежели для мужчин. Некоторые замужние женщины, говоря о женщинах, с которыми дружат как они сами, так и их мужья, предпочитают говорить *моя подруга*, а не *наша подруга* (тогда как другие не видят в том, чтобы сказать *наша подруга*, ничего странного).

Можно, конечно, допустить, что дело здесь в различии идиолектов разных носителей языка, но, по-видимому, есть и еще один важный момент. В основе отношений, закодированных в слове *подруга*, лежит представление об относительно давнем знакомстве и о постоянном общении, состоящем не в экзистенциальном разговоре «о самом главном» (что более характерно для *друга*), а в том, чтобы *делиться* друг с другом своими *переживаниями* и сплетничать о ближних. Отдельный факт состоит в том, что в русской культуре такой тип общения поощряется скорее для женщин, чем для мужчин. Наличие у мужчины *подруг* (в рассматриваемом смысле), т. е. женщин, с которыми он постоянно *делится переживаниями* и занимается сплетнями, может вызывать удивление с точки зрения стереотипных представлений о гендерных ролях, но не является полной аномалией⁴².

⁴² Здесь можно провести аналогию с междометием *ой*. В статье [Шмелев 1993б] я высказал предположение, что междометие *ой* выступает в русском языке как специфически «женское» междометие. Однако после этого мне приходилось обращать внимание на употребление этого междометия мужчинами. Вероятно, точнее было бы сказать, что выражаемые этим междометием эмоции традиционно считаются неподобающими для «настоящих мужчин»; но если, вопреки стереотипным гендерным ожиданиям, мужчина испытывает такие эмоции, он вполне может выразить их, сказав: *Ой*.

Философия жизни

Жизнь по правде

*Правда в кругу смежных концептов**

Истина и правда

Французское *vérité*, английское *truth*, немецкое *Wahrheit* могут переводиться на русский язык двояким образом: *истина* и *правда*. Различиям концептуализации *истины* и *правды* в современном русском языке посвящен целый ряд лингвистических работ (в частности, [Перцова 1988; Арутюнова 1991; 1992а, в; 1995; Шатуновский 1991; Степанов 1997: 325—328]), а также «метаязыковых» комментариев носителей языка.

По-видимому, главное различие между *истиной* и *правдой* может быть резюмировано следующим образом.

Истина — это представление о мире, соответствующее действительности. Чтобы знать *истину*, человек должен ее *установить*, проанализировав имеющиеся в его распоряжении данные. Так, ученый в целях *познания истины* (а не *правды*) проводит эксперимент; суд выясняет *истину*, сопоставляя показания свидетелей и заключения экспертов; какие-то общие *истины* могут открываться человеку, наблюдающему жизнь. Абсолютная *истина* соответствует всеобъемлющему представлению о мире, которое доступно только Богу; поэтому абсолютную *истину* знает только Бог. Но люди могут иметь частные правильные представления, и это означает, что им могут быть известны частные *истины*. Познанная *истина* часто делается общим достоянием и превращается в *избитую истину* (но не бывает **избитых правд*).

Правда — это характеристика высказывания о мире, соответствующего истине (но не само высказывание), или сведений,

* В основу данного раздела положены фрагмент моей статьи «Лексический состав русского языка как отражение „русской души“» [Шмелев 1996в], а также краткая заметка [Шмелев 1995].

которые какой-то человек знает и может *скрыть* от других людей или сообщить им. Для слова *правда* типичны употребления, дающие оценку чьему-то высказыванию (*Это правда*) или в составе оборота *сказать/говорить правду*. При этом в русской культуре поощряется говорение *правды*, сколь бы неприятной она ни была (ср. выражения *горькая правда*; *резать правду-матку*). Узнать *правду* — это узнать нечто такое, что какие-то другие люди знают, но скрывают. Рассерженная мать расспрашивает детей, стремясь *узнать правду* (а не *истину*), кто разбил ее любимую чашку. Вообще мы можем просить или требовать: *Скажи мне правду* (но не *истину*). В суде свидетели клянутся говорить *правду* (а суд, как уже говорилось, стремится на основе показаний свидетелей и иных данных установить *истину*). Если человек, знающий *правду*, сообщает лишь часть релевантных сведений, а остальные утаивает или заменяет ложью, мы говорим о *полуправде* (не может существовать **полуистины*). Нередко говорят, что у *каждого своя правда*, и это соответствует тому, что люди знают о мире разные вещи, что может вести к тому, что у них оказываются разные представления о жизни (но мы не говорим **У каждого своя истина*). Люди иногда скрывают *правду*, но иногда, напротив, стремятся донести до других людей (или даже навязать другим людям *свою правду*). Подходящее название для газеты — «*Правда*» (а не «*Истина*»), в нем содержится идея, что в газете сообщается *правда*, скрываемая другими газетами; но мы можем вообразить себе религиозный журнал «*Слово истины*» (и антирелигиозную брошюрку «*Правда о темных делах церковников*»).

Итак, *истина* абсолютна и зависит только от реального положения дел, ее источником является «горный» мир; *правда* релятивизована относительно того, что люди знают (и скрывают от других или сообщают им), она целиком относится к жизни людей, т. е. к «дольнему» миру. Утверждение *Трое говорят истину: дураки, дети и пьяные* (в этом переводе В. Г. Гак [1995: 27] цитировал одну немецкую пословицу) говорит о пьяных, детях и дураках как о людях, которым только и доступно познание высшей истины (другие люди обычно делают ложные утверждения)¹; утверждение *Правду говорят только пьяные, дети и дураки* (это мне кажется более правильным переводом упомянутой немецкой пословицы²) указывает на то, что пьяные, дети и дураки не могут скрыть правды (а другие люди не говорят правды, даже если знают ее).

¹ Ср. изречение *Устами младенца глаголет истина*.

² Ср. толкование пословицы *Kinder und Narren sagen die Wahrheit*, которое дается в словаре *Wahrig Deutsches Wörterbuch*: «Kinder sind zu unschuldig und Narren zu dumm, als daß sie lügen könnten».

Впрочем, данные, приведенные в книге Б. А. Успенского [1994: 191—192], свидетельствуют, что в языке древнерусских памятников соотношение понятий *правда* и *истина* было едва ли не противоположным: *правда* воспринималась как принадлежность Божественного мира (*Божья правда*), а *истина* относилась к человеческому миру. Как же могло получиться, что соотношение *правды* и *истины* оказалось инвертированным?

Более внимательный анализ показывает, что имела место не инверсия, а лишь некоторый сдвиг в указанном противопоставлении. Дело в том, что *правда* и *истина* противопоставлены не по одному, а по двум признакам: кроме принадлежности к Божественному или человеческому миру существенно также, связывается ли истинность с соответствием действительности или с соответствием правилам, правильностью.

Современное русское понятие *истина* предполагает соответствие действительности, которую во всей полноте может знать только Бог (т.е. принадлежит «горнему» миру). Русское *правда* относится к человеческому, «дольнему» миру и при этом предполагает соответствие моральным нормам, предписывающим *говорить правду*; здесь существенно взаимодействие с другим значением слова *правда* (иллюстрируемым, например, выражениями *жить по правде*, *судить по правде* и предполагающим соответствие общим нормам морали и справедливости).

По-видимому, в языке древнерусских памятников дело обстояло несколько иначе. Отчасти упрощая картину, можно сказать, что *истина*, как и в современном языке, предполагала соответствие действительности, но целиком принадлежала человеческому миру: речь шла о реально переживаемой действительности. *Правда* была ориентирована на соответствие высшей подлинной реальности, идеалу, имеющему Божественное происхождение; это то, что должно быть и что в идеале совпадает с тем, что есть на самом деле. Таким образом, в современных словах *правда* и *истина* сохранилось свойственное языку древних памятников противопоставление того, что есть (*истина*), тому, что должно быть (*правда*); но изменилось представление о принадлежности *правды* и *истины* Божественному и человеческому: если раньше акцент ставился на том, что нормы являются богоустановленными (*правда*), а действительность реально переживается людьми (*истина*), то в современном понимании в фокусе находится то обстоятельство, что то, как обстоят дела на самом деле, во всей полноте ведомо лишь Богу (*истина*), тогда как моральные нормы регулируют человеческую жизнь (*правда*).

Что же важнее для современного русского языкового сознания: *правда* или *истина*? На этот вопрос однозначного ответа нет.

С одной стороны, *истина* важнее, поскольку она принадлежит Богу, или «горнему» миру. *Правда* с этой точки зрения оказывается «приземленной», относящейся к «дольнему» миру. Это различие отчетливо видно из семантики сочетаний *познать истину* (без указания источника) и *узнать* (у кого-л. или от кого-л.) *правду*. *Истина* абсолютна, она не может относиться к конкретному человеку и поэтому не может быть *обидной*; ее нельзя *резать* в глаза (ср. выражение *резать правду-матку*).

С другой стороны, *правда* близко связана с человеческой жизнью, а *истина* является отвлеченной и холодной. Тургенев писал:

Истина не может доставить блаженства... Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен.

Истина выше, но *правда* ближе человеку. Таким образом, каждая из них оказывается в каком-то смысле «важнее». Как писал Пришвин, «правды надо держаться — истину надо искать».

Добро и благо

Несколько иначе обстоит дело со словами (и понятиями) *добро* и *благо* (см. об этих словах статью [Левонтина 1995]). Единое представление о «чем-то хорошем» отражено в слове *добро* в этическом, а в слове *благо* — в утилитарном аспекте. Недаром именно слово *добро* используется в триаде *Истина, Добро, Красота*.

Если *добро* выражает абсолютную оценку, то *благо* — относительную. Можно сказать: *В такой ситуации развод для нее — благо* (хотя вообще в разводе ничего хорошего нет). Кроме того, то, что для одного человека *благо*, для другого может таковым не быть. Поэтому можно говорить о *моем, твоём, его благое*, но не *добре*; ср. также сочетание *общественное благо* (но не *добро*).

Добро находится внутри нас, мы судим о *добре* исходя из намерений — ср. часто употребляемый оборот *хотеть кому-л. добра* (ср. также формулу *Да я же тебе добра желаю*). Можно *делать* людям *добро* (но не *благо*), поскольку это непосредственная оценка действия намерений человека безотносительно к результату.

Для того чтобы судить о *благое*, необходимо знать результат действия. Достоверно судить о том, что было *благом*, можно лишь *post factum*. Для слова *благо* характерны конструкции

с целевыми предложениями (когда речь идет не о достоверно известном, а лишь об ожидаемом результате действия): *для или ради чьего-л. блага*. Люди могут работать *на благо родины, на благо будущих поколений*³. Во всех этих случаях речь идет о более или менее отдаленном результате наших действий, на который люди могут надеяться (или делать вид, что надеются). Этот результат может не зависеть от намерений человека. Более того, возможен и такой взгляд на жизнь:

Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер: всякий делающий всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла (Солженицын).

Слово *добро* употребляется для указания на результат каких-л. действий или событий, не зависящий от намерений человека, лишь в клишированном обороте *не к добру*⁴.

Будучи свободным от утилитарного измерения, целиком находясь в сфере этики, *добро* оказывается во всех отношениях важнее, чем *благо*. Оно одновременно и выше, и, будучи связано с этическим, «внутренним» измерением, ближе человеку.

Итак, анализ пар *правда — истина* и *добро — благо* показывает, что для взгляда на мир, отраженного в русском языке, чрезвычайно существенными оказываются два противопоставления: во-первых, противопоставление «возвышенного», «горнего» и

³ В таком более «возвышенном» употреблении наряду со словом *благо* может использоваться почти в том же значении слово *счастье* (например, *для счастья будущих поколений*), которое выражает идею, что человеку так хорошо, что он ничего больше не хочет, и при этом обычно относится к чему-то находящемуся за пределами актуальной ситуации.

⁴ В этой связи интересно сопоставить переводы известной формулы из «Фауста» (*ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft*). Перевод «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», приведенный в качестве эпиграфа к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (ср. перевод Н. А. Холодковского под редакцией М. Л. Лозинского: «Частица силы я, желавшей вечно зла, творившей лишь благое»), выражает тот смысл, что вопреки желаниям Мефистофеля его действия приводят к *благу*; но можно обратить внимание, что оборот *совершает благо* не вполне отвечает современным языковым нормам. Перевод Пастернака «Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла» содержит стандартный оборот *творить добро*, но выражает несколько оксюморонный смысл (ведь *творить добро* уже предполагает *желать добра*). Впрочем, как кажется, такой оксюморон вполне соответствовал смыслу цинического высказывания Мефистофеля.

«приземленного», «дольного» и, во-вторых, противопоставление «внешнего», отвлеченного и «внутреннего», связанного с этическим измерением. Важным является, с одной стороны, «возвышенное» (*истина* и *добро*), а с другой — этически значимое (*добро* и *правда*).

Справедливость в русской наивной этике*

Справедливость представляет собою одну из базовых этических ценностей русской языковой картины мира. При этом само слово *справедливый*, выражая идею, которая оказывается в каком-то смысле специфичной для русской культуры, не имеет точных переводных эквивалентов в западных языках, в которых ему соответствуют слова, подчеркивающие скорее 'законность' (ср. французское *juste*, английское *just*), 'честность' (ср. английское *fair*) или 'правоту' (ср. немецкое *gerecht*).

Особая значимость *справедливости* для русской культуры отражена в статье «Справедливость» из «Словаря русской ментальности» под ред. А. Лазари [Lazari 1995]:

Справедливость / JUSTICE / Also the concept of justice/righteousness possesses many common characteristics with 'truth', 'truthfulness', 'sincerity' it goes beyond the boundaries of the meaning of those lexemes. The desire for righteousness is a feeling which, to a great extent, defines the way the Russian perceives the surrounding world. The idea of justice is derived from the teaching of Christianity about truth: *For the righteous Lord loveth righteousness; His countenance doth behold the upright* (Psalm, 11: 7); *All thy commandments are faithful...* (Psalm, 119: 137); *Righteous art Thou, O Lord, and upright are Thy judgments* (Psalm, 119: 137). Divine law is on a higher level than the justice of man which being based on the human interrelationship is imperfect and incomplete; hence the prejudice of the Russian people towards legal institutions the imperfections of which, by definition, are determined by their human dimension. Cf.: **Закон; Право.** / The greatest authority for a Russian is a just man. The statement 'severe but just' is measure of superiors in the army, in civil service, in church, etc. / In the period of totalitarian regimes, the idea of 'justice' was taken advantage of by the communist elite for political objectives — it constituted the same measure of punishments towards the so-called 'enemies' of the Soviet authorities.

* В основу данного раздела положены фрагмент моей статьи «Функциональная стилистика и моральные концепты» [Шмелев 1999] и написанная совместно с И. Б. Левонтиной статья «За справедливостью пустой» [Левонтина, Шмелев 2000б].

Что такое справедливость?

Что же такое *справедливость*? Хотя большинство носителей русского языка довольно ясно представляют себе смысл этого слова, определить его очень трудно. В первом приближении можно сказать, что для него существенна идея суда — реального или метафорического. *Справедливым* мы называем человека, который занимается распределением благ (или наказаний). *Справедливым* может быть учитель, но не ученик, судья, но не подсудимый⁵.

Справедливость предполагает иерархичность арбитров: справедливость сама по себе — характеристика действий кого-то, наделенного полномочиями арбитра; чтобы судить о том, справедливы или несправедливы действия «арбитра», говорящий как бы присваивает себе функции «арбитра второй степени»; чтобы судить о том, справедливо ли суждение о справедливости, необходимо быть «арбитром третьей степени» и т. д.

Итак, *справедливость* предполагает, что «судья» принимает решение, которое касается распределения благ или наказаний, и говорящий или другой субъект оценки характеризует это решение как адекватное ситуации (ср. [Шатуновский 1996: 128—133]). Он должен делать это *справедливо*, т. е. давать каждому по потребностям или по заслугам. Когда журналист пишет, что суд был *строг, но справедлив*, он хочет сказать, что вынесенное наказание соответствовало тяжести вины (как говорит пословица, *поделом вору и мука*). С разных точек зрения как *несправедливость* оценивается и «уровниловка», и имущественное неравенство.

Справедливость предполагает беспристрастность — ср. в изложении В. В. Шульгина описание требований к Председателю Государственной думы:

Председателю Думы нужно вот что: во-первых, голос... во-вторых... внимание нужно, в-третьих, чтобы независимый был, не кланялся ни правительству, ни революции, и чтобы **справедливый** был... если левые скандалят — выбросить, правые — тоже вон!

Кроме того, *справедливость* подразумевает глубокий и разносторонний анализ ситуации, часто требующий учета разно-

⁵ Справедливым (или несправедливым) мы называем также вынесенное «судьей» решение и — метонимически — последствия этого решения, как в песне Галича «Репортаж о футбольном матче»: *досадный и несправедливый гол*.

образных аспектов и обстоятельств. Далеко не всегда ясно, что является *справедливым*. Человек может подробно обосновать, что ему представляется справедливым и почему, так как *справедливость* весьма рациональна и не обязательно обладает непосредственной очевидностью. Присущий *справедливости* релятивизм проявляется и в том, что зачастую с разных точек зрения *справедливыми* представляются противоположные вещи. Заметим, что именно этим свойством *справедливости* объясняется то, что это слово является типичным инструментом социальной демагогии.

То, что *справедливость* рассудочна и плюралистична, позволяет людям иногда самые неожиданные вещи оценивать как *несправедливые*. Так, героиня «Повести о Сонечке» М. Цветаевой считала *несправедливым* расстаться с человеком, которого она разлюбила:

Потому что, Марина, любовь — любовью, а справедливость — справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда: бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный.

Однако в речи чаще встречаются не столь экзотические суждения о *справедливости* и *несправедливости*, а, напротив, высказывания, в которых отражается упрощенное, вульгарное представление о *справедливости*⁶. «Высшей справедливостью» тогда считается равновесие между добром и злом, которые сделал человек, и добром и злом, которые делают ему (если кто-то кому-то сделал нечто хорошее/плохое, то *справедливо*, чтобы и ему было хорошо/плохо); или же «торжество справедливости» приравнивается к восстановлению равенства. Это представление пародируется в задачах из книги Г. Остера «Ненаглядное пособие по математике»:

У старшего брата 2 конфеты, а у младшего 12 конфет.
Сколько конфет должен отнять старший у младшего, чтобы

⁶ Это особенно характерно для случаев, когда человек как жажду *справедливости* концептуализует то, что в действительности является жадной мести или тщеславием. Ср.: *Костов!! — укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду! — и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворенного чувства справедливости* (Солженицын, «В круге первом»); *Все же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравились потому, что это было справедливо* (Солженицын, «В круге первом»).

справедливость восторжествовала и между братьями наступило равенство?

Допустим, твой лучший друг дал тебе 9 раз по шее, а ты ему — только 3 раза. Сколько еще раз ты должен дать по шее своему лучшему другу, чтобы восторжествовала справедливость?

Справедливость vs. законность

В книге «Россия в обвале» А. Солженицын вслед за многими другими авторами отмечает следующую особенность русского мировосприятия: «Веками у русских не развивалось правосознание, столь свойственное западному человеку. К законам было всегда отношение недоверчивое, ироническое: да разве возможно установить заранее закон, предусматривающий все частные случаи? ведь все они непохожи друг на друга. Тут — и явная подкупность многих, кто вершит закон. Но вместо правосознания в нашем народе всегда жила и ещё сегодня не умерла — тяга к живой справедливости»⁷.

Противопоставление *справедливости* и *законности*, которое на многих языках и выразить невозможно, для русского языка и самоочевидно, и необычайно существенно⁸. Оно настолько укоренено в русском языковом сознании, что в плену его находят даже высшие государственные чиновники — ср. высказывание А. Починка в интервью газете «Аргументы и факты» (1999, № 48):

Считаю, что нужно действовать по закону — и будет все в порядке. Конечно, обидно, когда попадают в тяжелую налоговую ситуацию хорошие люди. Потому что мы вынуждены брать налог, даже когда чувствуется, что по справедливости не надо было бы. Но закон есть закон.

⁷ В повести В. Белоусовой «Тайная недоброжелательность» приехавший из России детектив высказывает об одном эмигрантском семействе, живущем в небольшом американском городке, но культивирующем свою «русскость», предположение, что «в их системе обойти закон — это русская удаля»; таким образом, скепсис по отношению к закону может связываться с поощрением *удали*.

⁸ Уже после того, как данная книга была сдана в издательство, я наткнулся на очередное подтверждение этого. В газете «Известия» (2002, 1 февраля) был опубликован отчет о социологическом исследовании, проведенном РОМИР, в котором говорится, что «56,9 процента россиян согласны с утверждением, что власть должна управлять страной по справедливости, а не по букве закона».

Обычно в случае противоречия между законом и справедливостью в русской культуре непосредственное чувство на стороне справедливости⁹.

Справедливость отличается от законности тем, что законность формальна, в то время как *справедливость* требует апелляции к внутреннему чувству. Этим *справедливость* сближается с *честностью*. Эти два понятия вообще имеют много общего. Например, если два человека за одну и ту же работу получили неодинаковое вознаграждение, можно сказать что это *нечестно* или *несправедливо*. Однако *справедливость* сильно отличается и от *честности*.

Справедливость vs. честность

Честность подобно *законности* предполагает обращение к какому-либо (писаному или неписаному) кодексу. Прилагательное *честный* применимо к самым разным ситуациям. В нем выражается идея неопороченности, незапятнанности (*честное имя*), но самое главное — идея следования определенным правилам. Правила эти могут быть разными: одни — для того чтобы говорить о *честной службе*, другие — для того чтобы сказать *Я честная девушка*, третьи — чтобы сделать вывод: *Теперь он как честный человек должен жениться*. Этические представления меняются в зависимости от социального или исторического контекста. Так, скажем, по свидетельству Льва Толстого, в Москве (по крайней мере в эпоху, описываемую в романе «Анна Каренина») слово *честный*, произнесенное с ударением, «означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и то, что они способны при случае подпустить шпильку правительству». Возможны еще более экзотические представления

⁹ Если же предпочтение отдается закону в ущерб *справедливости*, это должно быть специально эксплицировано, как в интервью, которое генеральный директор «Союзплодимпорта» (СПИ) дал газете «Коммерсантъ» (2001, 5 декабря). В ответ на реплику корреспондента: «Ваши оппоненты в неофициальных комментариях говорят: да, может быть, мы поступаем не по закону, но... нужно восстановить справедливость и вернуть товарные знаки государству...» — он сказал: «Покажите мне хоть один закон РФ, где присутствует слово „справедливость“. Сделка по покупке товарных знаков совершена в полном соответствии с законом... Так что никаких законодательных основ для ее аннулирования нет. Да и вообще, справедливость — понятие относительное».

о добропорядочности — ср. характерное сочетание *честные контрабандисты* («Тамань» Лермонтова)¹⁰.

Но в основном круге употреблений самое главное в *честности* — это чтобы все было без обмана: без вранья и без жульничества. Поэтому *честность* может сближаться с *искренностью* и *откровенностью* и противопоставляться *лживости* (ср. выражения *честно говоря* и *откровенно говоря*). С другой стороны, *честность* часто противопоставляется *жульничеству*. *Честный человек* — это человек, который не только не лжет, но и вообще не обманывает и тем более не крадет (ср. в пьесе Даниила Хармса: *Украл я, что ли? Ведь нет! Елизавета Эдуардовна, я честный человек*). В этом же смысле мы можем говорить о *честной игре*, *честной торговле*, *честном заработке*. А если кто-то жульничал, то это значит, что он поступил *нечестно*.

Жульничество нетерпимо не только в коммерции, но и едва ли не в большей степени — в игре, которая должна вестись «по правилам». И если в жизни «честь выше почестей» (девиз, начертанный на фамильном гербе моей бабушки), то в игре «честная игра важнее выигрыша». Недаром в некоторых видах спорта присуждают особый приз «честной игры»¹¹.

Итак, если человек хочет быть *честным*, то он должен заглядывать внутрь себя, проверяя, соответствуют ли его намерения и побуждения требованиям морального кодекса. Если же человек хочет быть *справедливым*, взгляд его должен быть направлен на окружающую действительность.

Страсть справедливости

Выше говорилось, что *справедливость* обосновывается рационально и предполагает всесторонний анализ ситуации. Но осо-

¹⁰ Встречаются и полностью идеологизированные представления о честности, как в примере из фантастического романа Ю. Долгушина «Генератор чудес», печатавшегося в журнале «Техника — молодежи» в 1939—1940 гг.: «Что такое честность? Быть честным — значит ли это только говорить правду и не обманывать чужого доверия? Нет, это значит думать правду и верить людям. Это значит видеть мир и людей такими, каковы они есть, и любить их. Это особая система мышления, смелого и простого, свободного от тумана той лживой морали буржуазного мира, что исподволь обволакивает людей едким налетом неискренности, отчуждения, вражды».

¹¹ В спортивных изданиях иногда говорят о «призе справедливой игры». Но, по-видимому, это просто неудачный перевод английского названия приза (*fair play*). Игроки могут играть *честно* или *нечестно*, а *справедливым* (или *несправедливым*), в соответствии с нормами русского языка, может быть только судейство.

бенность русской культуры состоит в том, что в ней *справедливость* может восприниматься не только разумом, но и эмоционально (ср. выражение *чувство справедливости*). Более того, в русской культуре существует особое чувство — *любовь к справедливости* или *страсть справедливости*. Тогда это уже не релятивная ценность, а нравственный абсолюте; она не обосновывается, а ощущается непосредственно. Ср. отрывок из «Повести о Соичке» М. Цветаевой:

Я никогда не встречала в таком молодом — такой страсти справедливости. (Не *его* — к справедливости, а страсти справедливости — в нем.) (...) «Почему я должен получать паек, только потому, что я — актер, а он — нет? Это несправедливо». Это был его главный довод, резон всего существа, точно (да *точно* и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное, во всех случаях — несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда сразу, отовсюду видимое — как золотой шар Храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи Нескучного. / Неправедливо — и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Неправедливо — и *нет*. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя А. потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость. / *Неправедливо* он произносил так, как кн. С. М. Волконский — *некрасиво*. Другое поколение — другой словарь, но вещь — одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как бедный: — это дорого, как делец — это непрактично — / — так Володя А. произносил: — это несправедливо. / Его несправедливо было — *неправедно*.

В качестве нравственного абсолюта *справедливость* воспринимается как нечто присущее структуре мироздания и составляет один из его высших организующих принципов¹².

Тяга к *справедливости* связана с такой жизненной установкой, когда человек даже в мелочах отвергает привилегии или удачу и хочет пользоваться только заслуженными благами и почестями. Такая установка иногда осознается как характерное свойство русского человека¹³. Конечно, западным людям также

¹² Ср. замечания, сделанные Е. Тмарченко в статье «Идея правды в „Тихом Доне“» («Новый мир», 1990, № 6) относительно народных представлений о «справедливости как законе, объемлющем равно человеческий и природный мир», и о том, что справедливости место больше «на небесах», чем «на земле».

¹³ Многие народы считают, что в жизни очень важна *честность*, но особенно высоко она ценится в протестантской культуре (даже есть специальное выражение — «протестантская честность»). В отличие

бывает свойственно нежелание пользоваться какими-то привилегиями, но мотивировка обычно бывает несколько иной: человек отвергает не столько неза заслуженные, сколько незаконные привилегии.

Требование *справедливости* можно связать с пресловутым «русским максимализмом». В отличие от *честности*, которая принадлежит «минималистской этике», *справедливость* может быть отнесена к «перфекционистской этике». «Быть честным» означает просто «не жульничать, не обманывать». Быть *справедливым* — значит быть в состоянии осуществить *справедливый суд*, т. е. взвесить все обстоятельства дела, все детали и «воздать каждому по делам его». Кто на земле способен на это?¹⁴ Ориентация на едва ли достижимый идеал в сочетании с изначально присущим *справедливости* релятивизмом еще больше усиливает демагогический потенциал этого слова¹⁵.

Аксиология справедливости

Вопрос об аксиологии *справедливости*, о ее месте среди других нравственных ценностей очень сложен.

Поскольку *справедливость* предполагает скрупулезный учет различных обстоятельств дела и несовместима с *широтой души*, она может восприниматься как ценность низшего уровня. Человек, добивающийся справедливости, может оцениваться либо как бездушный, либо как мелкий.

Относительно низкий аксиологический статус *справедливости* можно связать и с тем, что эта характеристика не относится к суду последней инстанции. Оценить решение арбитра как *справедливое* может только суд более высокой инстанции. В свое время В. Ходасевич написал:

от *честности*, в требовании *справедливости* часто усматривают нечто, свойственное русским в большей степени, чем другим народам.

¹⁴ Можно было бы сказать, что быть *справедливым* может только Бог. Но называя Бога *справедливым*, говорящий присваивал бы себе полномочия судьи по отношению к Богу, как бы допуская и возможность *несправедливости* Бога, а это, разумеется, для религиозного дискурса нелегально (как писал ап. Павел, «изделие ли скажет сделавшему (его): „зачем ты меня так сделал?“»). Совсем другое дело — в быту жаловаться на *несправедливую судьбу* или, наоборот, говорить, что судьба обошлась с ним *справедливо*.

¹⁵ Поэтому для многих людей советского времени характерно настроенное отношение к *справедливости*, которая, как и многие другие концепты, подверглась идеологическому искажению.

Кто прав последней правотой, / За справедливостью пустой
/ Тому невместно волочиться.

В этих строчках под *пустой справедливостью* понимается людское признание, деньги, заслуженная слава. Над этими суетными ценностями стоит *последняя правота*, которую художник ощущает за собою.

Часто высказывается представление, в соответствии с которым гораздо выше *справедливости* в системе этических ценностей стоят *доброта* и *милосердие*. Ср. следующий диалог:

— Что может быть важнее справедливости? — Важнее справедливости? Хотя бы — милость к падшим (С. Довлатов, «Соло на ундервуде»).

Желание *справедливости* при таком подходе (вообще характерном для С. Довлатова) воспринимается если и не как зло, то, по крайней мере, как нечто, несовместимое с подлинным добром. Процитируем в этой связи Александра Гениса (статья «Довлатов и окрестности», напечатанная в журнале «Новый мир», 1998, № 7):

Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить. (...) / Если Иешуа у Булгакова — абсолютное добро, то что олицетворяет Воланд? Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость.

Сходная мысль выражена в интервью, которое о. Александр Борисов дал газете «Аргументы и факты» (2001, № 1):

Для любого человека характерно стремление к справедливости. А справедливость очень редко оказывается добром. Чаще — злом. Евангелие против всякой справедливости. Оно — за милосердие.

Это представление об иерархии нравственных ценностей может соответствовать пресуппозитивному компоненту высказывания. Оно отражено, например, в следующем высказывании, в котором частица *даже* возможна постольку, поскольку *справедливость* понимается автором как нечто заведомо менее важное по сравнению с *милосердием*:

Милосердия или даже простой **справедливости** новый нарком не знал (Ю. Домбровский).

С другой стороны, как уже говорилось, *справедливость* может пониматься как нравственный абсолют (иногда в таком случае говорят о *высшей справедливости*). Тогда она может включаться

в ряд основных нравственных ценностей наряду с *правдой* и *милосердием*:

А душа, уж это точно, ежели обожжена, / **Справедливей,**
милосерднее и праведней она (Б. Окуджава).

В некоторых случаях *справедливость* противопоставляется «голой правде» («правде факта») как нечто более важное и глубокое, как в следующем примере из «Идиота» Достоевского.

[Аглая говорит князю Мышкину по поводу его слов об Ипполите:] ...Очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна **правда**, стало быть, — **несправедливо**.

И пораженный князь отвечает: *Это я запомню и обдумаю.*

Сходное восприятие отражено и в дуэтишке Игоря Губермана:

Нету правды и нет справедливости
Там, где жалости нету и милости.

То, что *справедливость* может не противопоставляться *милости*, связано с особым представлением о *несправедливости*. Человек чрезвычайно болезненно воспринимает, когда по отношению к нему или к кому-то, кому он сочувствует, проявляется *несправедливость*. Причем очень важно, что о *несправедливости* часто говорят, имея в виду не столько просто неправильное распределение благ, сколько то, что человек получает недостаточно тепла, внимания, любви и это ему обидно (об *обиде* см. [Зализняк 2000]). Именно в этом случае *справедливость* воспринимается не только разумом, но и эмоционально; именно о такой справедливости говорят *чувство справедливости*, *любовь к справедливости* и *страсть справедливости*.

Таким образом, в русской культуре прослеживаются две линии. С одной стороны, *справедливость* может быть ниже *милости*, что связывается с характерной русской жалостливостью. С другой же стороны, *справедливость* может и не противопоставляться *милости*. Пока *справедливость* основана на объективности, беспристрастности, это ценность низшего уровня. Но она начинает восприниматься как высшая ценность, когда пропитывается эмоциями, прежде всего болью за человека обиженного, пострадавшего от *несправедливости*.

Долг и обязанность*

Рассмотрение соотношения понятий *долга* и *обязанности* открывает еще ряд особенностей этических представлений носителей русского языка. Можно сказать, что *долг* метафоризируется как изначально существующий внутренний голос (или, быть может, голос свыше), указывающий человеку, как ему следует поступить, тогда как *обязанность* метафоризируется как груз, который необходимо перенести с места на место. Различие метафорических представлений во многом обуславливает различное языковое поведение рассматриваемых слов¹⁶.

Мы можем возложить на кого-л. *обязанность*, как возлагают груз, но нельзя **возложить долг*. Долгом нельзя кого-либо *обременить*, его нельзя *принять на себя*, как *принимают обет* или *берут обязательства*. Долг можно в какой-то момент *осознать*, можно *счесть что-то своим долгом*, но это предполагает, что долг существовал и ранее, хотя и не осознавался. Мы говорим: *У него нет никаких обязанностей*, — но нельзя сказать: **У него нет никакого долга*. Можно отрицать наличие конкретной обязанности: *Я не обязан делать это!*; *В мои обязанности не входит делать это!* или даже *У меня нет обязанности делать это!* Но отно-

* В основу данного раздела положен фрагмент написанной совместно с Т. В. Булыгиной статьи «Концепт долга в поле долженствования» [Булыгина, Шмелев 1991].

¹⁶ Рассматриваемое значение лексемы *долг* (в этом значении *долг* представляет собою *singulare tantum*) следует отличать от значения 'взятое взаймы, что должно вернуть', выражаемое формами обоих чисел. При этом следует иметь в виду, что *долг/долги* может употребляться метафорически, например в евангельских притчах; ср. также: *Я в долгу перед дочерью капитана Мифонова* (Пушкин); *мысль о неоплатном долге высших классов народу* (Достоевский) — но даже в этом случае не следует смешивать это значение с рассматриваемым здесь значением слова *долг* 'что должно делать'. Возможно и диффузное употребление, совмещающее оба указанных значения слова *долг*; например: *Это была прежде всего тема о долге слоя, воспользовавшегося культурой, интеллигенции перед народом... Этот долг должен быть уплачен* (Н. Бердяев); ср. другое возможное продолжение: *Этот долг должен быть исполнен*. Связь обоих значений отмечается и В. И. Далем: «Общий долг человека вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина, исполнением этих обязанностей он в долгу, они составляют долг его, как взятые у кого взаймы деньги или вещи...» В силу всего сказанного едва ли можно согласиться с решениями толковых словарей, рассматривающих *долг* (*singulare tantum*) и *долг/долги* как омонимы. В то же время подчеркнем, что предметом рассмотрения в данном разделе является только первое из указанных значений.

сительно *долга* можно утверждать только, что он состоит не в этом, а в чем-то другом. Ведь *долг* существует изначально, независимо от воли его носителя или посторонних лиц.

Иными словами, наличие у всякого человека *долга*, позволяющего выбрать правильную линию поведения, как бы разумеется само собою. Поэтому невозможны интродуктивные экзистенциальные предложения типа **У него есть определенный долг* (ср.: *У него есть определенные обязанности*). Экзистенциальные предложения со словом *долг* возможны, только если они сообщают о конкретном аспекте *долга*: *Вспомни, что у тебя есть долг перед семьей!*

Для человека важно иметь *чувство долга*, прислушиваться к *голосу долга*, к тому, что *повелевает долг*. Во всех этих контекстах слово *обязанность* не употребляется. *Обязанности* не надо чувствовать, их надо просто *знать* (естественно поэтому желание *уточнить круг своих обязанностей*).

Обязанности могут *распределяться* и *перераспределяться*, как можно распределять груз между людьми, которые должны его нести (ср. *нести обязанности*). Но нельзя *распределять долг*; нельзя сказать: **Родительский долг в их семье распределялся так: мать учила детей музыке, а отец зарабатывал деньги*. Свою *обязанность* можно переложить на кого-то другого; *долг* нельзя поручить другому человеку.

Для человека с *чувством долга* именно *голос долга* — высшая инстанция, которая определяет его поведение. Представление, реконструируемое на основе поведения русского слова *долг*, как нельзя лучше соответствует замечаниям Ф. Уилрайта, сделанным по другому поводу в книге «Метафора и реальность»:

Всякий человек, обладающий нравственным чувством, постоянно ощущает себя чьим-то адресатом — не в том смысле, что он галлюцинирует, а в том смысле, что он внимает некоему тайному беззвучному голосу, воспринимаемому внутренним ухом. Это нечто, лежащее вне желаний, способное иногда подавить или возбудить желание. Так слово (Логос) имеет тенденцию стать слуховым образом, символизирующим правильность, Должное, что придает смысл суждениям морали.

Все сказанное свидетельствует о том, что для этических представлений носителей русского языка чрезвычайно существенно именно понятие *долга*, которое определенным образом соотносится с другим важным моральным концептом — понятием *совести*. *Долг* — это в н у т р е н н и й голос, который напоминает нам о в ы с ш е м; если же мы не следуем велению *долга*,

этот же внутренний голос предстает как *совесть*, которая укоряет нас. *Обязанность* же представляет собою нечто внешнее и утилитарное, и уже поэтому она не играет столь же существенной роли для русской языковой ментальности, как *долг*.

Судьба*

Существительное *судьба* имеет в русском языке два значения: 'события чьей-либо жизни' (*В его судьбе было много печального*) и 'таинственная сила, определяющая события чьей-либо жизни' (*Так решила судьба*). В соответствии с этими двумя значениями слово *судьба* возглавляет два различных синонимических ряда: (1) *доля, участь, удел, жребий* и (2) *рок, фатум, фортуна*.

Между указанными двумя значениями есть и формально-грамматические различия: *судьба* как 'таинственная внешняя сила' всегда употребляется абсолютивно; *судьба* как 'то, что выпадает на чью-л. долю', имеет две синтаксические валентности: *чья судьба* и *какая судьба*.

Однако в обоих случаях за употреблением этого слова стоит представление о том, что из множества возможных линий развития событий в какой-то момент выбирается одна (*решается судьба*). После того как *судьба решена*, дальнейший ход событий уже как бы предопределен, и это отражено во многих русских пословицах, концептуализующих судьбу как некое существо, подстерегающее человека или гонящееся за ним (ср. *Судьбы не миновать; От судьбы не уйдешь*).

Важная роль, которую данное представление играет в русской картине мира, обуславливает высокую частоту употребления слова *судьба* в русской речи и русских текстах, значительно превышающую частоту употребления аналогов этого слова в западноевропейских языках. Исходя из частотности упоминаний *судьбы* в русской речи некоторые исследователи делают вывод о склонности русских к мистике, о фатализме «русской души», о пассивности русского характера (ср., например, [Wierzbicka 1992: 65—75, 397 и сл.]). Такой вывод представляется несколько преувеличенным. В большинстве употреблений слова *судьба* в современной живой речи нельзя усмотреть ни мистики, ни фатализма, ни пассивности — ср. такие высказывания, как *Наша судьба в наших руках; Судьбу матча решил гол, забитый на 23-й минуте Ледяховым; Народ должен сам решить*

* В основу данного раздела положен фрагмент моей статьи «Метафора судьбы: предопределение или свобода?» [Шмелев 1994].

свою судьбу; Меня беспокоит судьба документов, которые я отослала в ВАК уже два месяца тому назад, — и до сих пор не получила открытки с уведомлением о вручении. Приведем также отрывок из выступления Солженицына в Ростовском университете в сентябре 1994 г., ярко отражающий идею выбора в ситуации, когда «решается судьба», но не содержащий ни мистики, ни фатализма:

Не внешние обстоятельства направляют человеческую жизнь, а направляет ее характер человека. Ибо человек сам — иногда замечая, иногда не замечая — делает выбор и выборы, то мелкие, то крупные... И от выборов тех и других — решается ваша судьба.

Но с другой стороны, слово *судьба* оказывается одним из самых характерных слов русского языка (и здесь можно полностью согласиться с А. Вежицкой), поскольку соединяет в себе две ключевые идеи русской языковой картины мира: идею непредсказуемости будущего и идею, в соответствии с которой человек не контролирует происходящие с ним события. Только эти идеи присутствуют в понятии *судьбы* не одновременно, а сменяют друг друга, когда *решается судьба*. Пока *судьба* еще не *решилась*, будущее остается непредсказуемым, а человек может *изменить* свою *судьбу* и вообще может выступать как *творец* своей *судьбы*. Но как только *судьба решилась*, человек уже не властен над ходом событий, которые зато уже могут быть с той или иной степенью полноты предсказаны.

Кроме того, представление о *судьбе* дает удобный способ примириться с непредсказуемостью жизни, с тем, что не все в ней зависит от человека, и с тем, что в ней может происходить то, чего мы вовсе не хотели бы. Такие сентенции, как *Такая уж у меня судьба; Не судьба была встретиться; Значит, не судьба* представляют собою формулы «примирения с действительностью», столь характерные для русского дискурса.

Но встречается и иное преломление представления, заложенного в слове *судьба*. Так, *судьба* может пониматься как своего рода Божественный замысел о человеке, следование которому не является фаталистически предопределенным, но может рассматриваться как нравственный долг. Соответственно, отклонение от того, что «предначертано» *судьбой* оказывается возможным, но трактуется как уклонение от выполнения долга. Так, в следующем высказывании Н. А. Струве переосмысляются ходячие изречения типа *От судьбы не уйдешь; Судьбы не миновать*:

В христианском преломлении, судьба не слепой рок, она предполагает высший смысл, таинственную синергию (сотрудничество) между велением Божиим и волей человека, свободное исполнение человеком Божьего замысла. (...) Мандельштам не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею.

Точно также и в четверостишии И. Губермана о том, как нелегко «свою судьбу — туманный текст — прочесть, нигде не переврав», отражено представление о судьбе как о предназначении, в соответствии с которым человек должен стараться жить. *Перевернуть текст судьбы* здесь не значит ошибиться, *предсказывая* (кому-то) *судьбу*, или соврать, *рассказывая* другим людям (свою) *судьбу*, а значит жить, отклоняясь от того, что предназначено судьбой.

Возможны и иные модификации представлений, закодированных в русском слове *судьба*. В. А. Жуковский писал когда-то: «У одного умного человека спросили: что такое случай? Он отвечал: и н ко г н и т о П р о в и д е н и я». Разные употребления слова *судьба* в современной русской речи могут рассматриваться как «инкогнито», скрывающие за собою общие жизненные установки говорящего.

Библиография

Словари (принятые сокращения)

- БАС — Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.; Л.: Наука, Ленингр. отд., 1948—1966.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М.: Рус. яз., 1978—1980.
- МАС1 — Словарь русского языка: В 4 т. / Редкол.: С. Г. Бархударов (отв. ред.) и др. М.: ГИС, 1967—1980.
- МАС2 — Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т русского языка; Под. ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981—1984.
- СО — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка: Около 57 000 слов. 13-е изд., испр. М.: Сов. энцикл., 1981.
- СЛРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 9 (М). М.: Наука, 1982.
- ССРЛЯ 1957 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. М.; Л.: Наука, 1957.
- ССРЛЯ 1963 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 14. М.; Л.: Наука, 1963.
- ССРЯ — Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. Л., 1971.
- СУ — Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ГИС, 1935—1940.
- СЯП — Словарь языка Пушкина. В 4 т. / Редкол.: В. В. Виноградов (отв. ред.) и др. М.: ГИС, 1956—1961.

Список литературы

- Адамец 1966 — *Адамец П.* Порядок слов в современном русском языке. Прага: Academia, 1966.
- Алехина 1975 — *Алехина М. И.* Категория определенности — неопределенности предмета в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
- Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика (синонимические средства языка). М.: Наука, 1974.

- Апресян 1978 — *Апресян Ю. Д.* Языковая аномалия и логическое противоречие // *Tekst. Język. Poetyka. Wrocław, 1978.*
- Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Интегральное описание языка и толковый словарь // *Вопр. языкознания. 1986. № 2.*
- Апресян 1988 — *Апресян Ю. Д.* Прагматическая информация для толкового словаря // *Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.*
- Апресян 1994 — *Апресян Ю. Д.* О языке толкований и семантических примитивах // *Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1994. № 4.*
- Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
- Апресян 1997а — *Апресян Ю. Д.* **Гордиться** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. М., 1997.
- Апресян 1997б — *Апресян Ю. Д.* **Стыдиться** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. М., 1997.
- Апресян 2000 — *Апресян Ю. Д.* **Любить 2** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. М., 2000.
- Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 1976.
- Арутюнова 1980а — *Арутюнова Н. Д.* Сокровенная связка // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. Т. 39. № 4.*
- Арутюнова 1980б — *Арутюнова Н. Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // *Аспекты семантических исследований. М., 1980.*
- Арутюнова 1981 — *Арутюнова Н. Д.* Фактор адресата // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40. № 4.*
- Арутюнова 1983а — *Арутюнова Н. Д.* Тождество или подобие? // *Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.*
- Арутюнова 1983б — *Арутюнова Н. Д.* Бытийные предложения личной и бытийной сфер // *Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н.* Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение. М., 1983.
- Арутюнова 1991 — *Арутюнова Н. Д.* Истина: фон и коннотации // *Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.*
- Арутюнова 1992а — *Арутюнова Н. Д.* Речеповеденческие акты и истинность // *Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.*
- Арутюнова 1992б — *Арутюнова Н. Д.* Речеповеденческие акты в зеркале чужой речи // *Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.*
- Арутюнова 1992в — *Арутюнова Н. Д.* Правда и истина: проблемы квантификации // // *Linguistique et slavistique: Mélanges offerts à Paul Garde. Aix-en-Provence, 1992.*
- Арутюнова 1995 — *Арутюнова Н. Д.* Истина и этика // *Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.*

- Арутюнова 1997 — *Арутюнова Н. Д.* О стыде и стуже // *Вопр. языкознания.* 1997. № 2.
- Арутюнова 2000a — *Арутюнова Н. Д.* Два эскиза к «геометрии» Достоевского // *Логический анализ языка: Языки пространств.* М., 2000.
- Арутюнова 2000b — *Арутюнова Н. Д.* О стыде и совести // *Логический анализ языка: Языки этики.* М., 2000.
- Баранов 1984 — *Баранов А. Н.* Коммуникативно-смысловая оппозиция «данное — новое» (метаязык и некоторые приложения): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
- Баранов 1993 — *Баранов А. Н., Плузган В. А., Рахилина Е. В.* Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М: Помовский и партнеры, 1993.
- Беллерт 1978 — *Беллерт И.* Об одном условии связности текста // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. 8. М., 1978.
- Белоусова 1981 — *Белоусова А. С.* Русские существительные со значением лица // *Вопр. языкознания.* 1981. № 3.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* *Общая лингвистика.* М.: Прогресс, 1974.
- Бергельсон 1981 — *Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е.* Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.* 1981. Т. 40. № 4.
- Бирюлин 1994 — *Бирюлин Л. А.* Семантика и синтаксис русского имперсонала: *verba meteorologica* и их диатезы. München: Verlag Otto Sagner, 1994. (*Specimina philologiae slavicae*, Bd. 102).
- Богуславский 1993 — *Богуславский А.* Об «удивительном» может в вопросительных предложениях // *Категория сказуемого в славянских языках: модальность и актуализация.* München: Verlag Otto Sagner, 1993. (*Slavistische Beiträge*, Bd. 305).
- Бондарко 1971 — *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола (значение и употребление). М., 1971.
- Булыгина 1961 — *Булыгина Т. В.* Некоторые вопросы классификации частных падежных значений (на материале сочетаний с генитивом в современном литовском языке) // *Вопросы составления описательных грамматик.* М., 1961.
- Булыгина 1977 — *Булыгина Т. В.* Проблемы теории морфологических моделей. М.: Наука, 1977.
- Булыгина 1980a — *Булыгина Т. В.* Синхронное описание и внеэмпирические критерии его оценки // *Гипотеза в современной лингвистике.* М., 1980.
- Булыгина 1980b — *Булыгина Т. В.* Грамматические и семантические категории и их связи // *Аспекты семантических исследований.* М., 1980.
- Булыгина 1982 — *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // *Семантические типы предикатов.* М., 1982.

- Булыгина 1983 — Булыгина Т. В. Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983.
- Булыгина 1984 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Прагматические аспекты теории референции // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
- Булыгина, Шмелев 1985 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Референциальные характеристики синтаксических нулевых элементов // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. М., 1985.
- Булыгина, Шмелев 1986 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. О когнитивном статусе именных групп // Анализ языковых систем: История логики и методологии науки. Киев, 1986.
- Булыгина, Шмелев 1988а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Интерпретация семантических аномалий в реальном тексте // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. М., 1988.
- Булыгина, Шмелев 1988б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Механизмы квантификации в естественном языке и семантика количественной оценки // Референция и проблемы текстообразования. М., 1988.
- Булыгина, Шмелев 1988в — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Несколько замечаний о словах типа *несколько* (к описанию квантификации в русском языке) // Язык: система и функционирование. М., 1988.
- Булыгина, Шмелев 1988г — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Вопрос о косвенных вопросах: является ли установленным фактом их связь с фактивностью? // Логический анализ языка: Знание и мнение: Сб. науч. тр. М., 1988.
- Булыгина, Шмелев 1989а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // Вопр. языкознания. 1989. № 3.
- Булыгина, Шмелев 1989б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
- Булыгина, Шмелев 1990а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Аномальные» высказывания: проблемы интерпретации // *Metody formalne w opisie języków słowiańskich*. Białystok, 1990.
- Булыгина, Шмелев 1990б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Возможности» естественного языка и модальная логика // Вопросы кибернетики: Язык логики и логика языка. М., 1990.
- Булыгина, Шмелев 1990в — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Аномалии в тексте: проблемы интерпретации // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Булыгина, Шмелев 1990г — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Синтаксические нули и их референциальные свойства // Типология и грамматика. М., 1990.
- Булыгина, Шмелев 1991а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Референциальные, коммуникативные и прагматические аспекты неопределенно-

- личности и обобщенноличности // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- Булыгина, Шмелев 1991б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Концепт долга в поле долженствования // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Булыгина, Шмелев 1992а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Персональный дейксис: Общие замечания // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Булыгина, Шмелев 1992б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Темпоральный дейксис: Общие замечания // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Булыгина, Шмелев 1993а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Гипотеза как мыслительный и речевой акт // Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993.
- Булыгина, Шмелев 1993б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Коммуникативная модальность: констатация возможности, гипотезы и квазисообщения // Категория сказуемого в славянских языках: модальность и актуализация. München: Verlag Otto Sagner, 1993. (Slavistische Beiträge, Bd. 305).
- Булыгина, Шмелев 1994 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Оценочные речевые акты извне и изнутри // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.
- Булыгина, Шмелев 1996а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Оценка при вторичной коммуникации // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокура. М., 1996.
- Булыгина, Шмелев 1996б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Неспецифицированный пол и согласование при анафоре // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2.
- Булыгина, Шмелев 1997а — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
- Булыгина, Шмелев 1997б — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Референция и смысл выражений *мясопуст* (*мясопустная неделя*) и *сырпуст* (*сырпустная неделя*) // Вопр. языкознания. 1997. № 3.
- Булыгина, Шмелев 1997в — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Неожиданности в русской языковой картине мира // ПОЛГТРОПОН: К 70-летию В. Н. Топорова. М.: Индрик, 1997.
- Булыгина, Шмелев 2000 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Грамматика позора // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
- Бурас, Кронгауз 1987 — Бурас М. М., Кронгауз М. А. Взаимодействие референциальных характеристик: фактор времени // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте: Тез. докл. раб. совещания. М., 1987.
- Бурас, Кронгауз 1990 — Бурас М. М., Кронгауз М. А. Концептуализация в языке: все или ничего // Язык и структура знания. М., 1990.

- Буслаев 1959 — *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Вайс 1985 — *Вайс Д.* Высказывания тождества в русском языке: опыт их отграничения от высказываний других типов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. М., 1985.
- Василевская 1979 — *Василевская Л. И.* Синтаксические возможности имени собственного. I // Лингвистика и поэтика. М., 1979.
- Василевская 1983 — *Василевская Л. И.* Синтаксические возможности имени собственного (метонимический перенос у антропонимов). IV // Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.
- Василевская 1984 — *Василевская Л. И.* Метонимия в собственных именах // Проблемы структурной лингвистики 1982. М., 1984.
- Вежбицкая 1982 — *Вежбицкая А.* Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Вежбицкая 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Вендлер 1985 — *Вендлер З.* Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Вендлер 1987 — *Вендлер З.* Факты в языке // Философия, логика, язык. М., 1987.
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Русский язык. М.; Л.: Учпедгиз, 1947.
- Виноградов 1976 — *Виноградов В. В.* О поэзии Анны Ахматовой // *Виноградов В. В.* Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
- Витгенштейн 1958 — *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
- Гак 1972 — *Гак В. Г.* Повторная номинация и ее стилистическое использование // Вопросы французской филологии. М., 1972.
- Гак 1977 — *Гак В. Г.* К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977.
- Гак 1995 — *Гак В. Г.* Истина и люди // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Гладров 1992 — *Гладров В.* Семантика и выражение определенности/неопределенности // Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
- Гловинская 1989 — *Гловинская М. Я.* Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989.
- Гловинская 1993 — *Гловинская М. Я.* Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

- Головачева 1979 — *Головачева А. В.* Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Грайс 1985 — *Грайс Г. П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985.
- Григорян 1988 — *Григорян А. Г.* Передний и задний во временном аспекте // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. Т. 2. М., 1988.
- Гуковский 1965 — *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965.
- Гуревич, Дозорец 1988 — *Гуревич В. В., Дозорец Ж. А.* Краткий русско-английский фразеологический словарь. М.: Рус. яз., 1988.
- Даль 1957 — *Даль В. И.* Пословицы русского народа. М.: Худож. лит., 1957.
- Даль 1978 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1: А—З. М.: Рус. яз., 1978.
- Даль 1979 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2: И—О. М.: Рус. яз., 1979.
- Даль 1980а — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3: П. М.: Рус. яз., 1980.
- Доннелан 1982 — *Доннелан К. С.* Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Евгеньева 1970 — *Евгеньева А. П.* (ред.). Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Т. 1: А—Н. М.: Наука, 1970.
- Евгеньева 1981 — *Евгеньева А. П.* (ред.). Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. М.: Рус. яз., 1981.
- Евгеньева 1984а — *Евгеньева А. П.* (ред.). Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 3. М.: Рус. яз., 1984.
- Евгеньева 1984б — *Евгеньева А. П.* (ред.). Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. М.: Рус. яз., 1984.
- Елистратов 1997 — *Елистратов В. С.* Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М.: Рус. словари, 1997.
- Ермакова 1977 — *Ермакова О. П.* Проблемы лексической семантики производных и членимых слов: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1977.
- Ермакова 1986 — *Ермакова О. П.* Местоимение какой-то // Филол. науки. 1986. № 1.
- Зализняк 1967 — *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М.: Наука, 1967.
- Зализняк, Падучева 1974 — *Зализняк А. А., Падучева Е. В.* О контекстной синонимии единственного и множественного числа существительных // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и машинного перевода. Вып. 4. М., 1974.
- Зализняк 1991 — *Зализняк Анна А.* Словарная статья слова *говорить* // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.

- Зализняк 1999 — *Зализняк Анна А.* Любовь и сочувствие: к проблеме универсальности чувств и переводимости их имен (в связи с романом М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия») // *Rask*. 1999. 9/10.
- Зализняк 2000 — *Зализняк Анна А.* О семантике щепетильности (*обидно, совестно, неудобно* на фоне русской языковой картины мира) // *Логический анализ языка: Языки этики*. М., 2000.
- Зализняк, Левонтина 1996 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б.* Отражение национального характера в лексике русского языка (размышления по поводу книги: *A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations*. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1992) // *Russian Linguistics*. 1996. Vol. 20.
- Зализняк, Шмелев 1997 — *Зализняк Анна А., Шмелев А. Д.* Время суток и виды деятельности // *Логический анализ языка: Язык и время*. М., 1997.
- Замятин, Замятин 1994 — *Замятин Д. Н., Замятин А. Н.* (сост.). Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России. М.: МИРОС, 1994.
- Звегинцев 1980 — *Звегинцев В. А.* Статус имен собственных в языке и речи // В честь на академика В. Георгиев. *Езиковедски проучвания*. София, 1980.
- Золотова 1982 — *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982.
- Исаченко 1960 — *Исаченко А. В.* Русский язык в сопоставлении со словацким. Praha, 1960.
- Капанадзе 1973 — *Капанадзе Л. А.* Номинация // *Русская разговорная речь*. М., 1973.
- Кацнельсон 1965 — *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л.: Наука, 1965.
- Кибрик 1992 — *Кибрик А. А.* Местоимения как дейктическое средство // *Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис*. М., 1992.
- Китайгородская 1993 — *Китайгородская М. В.* Чужая речь в коммуникативном аспекте // *Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект*. М., 1993.
- Кифер 1985 — *Кифер Ф. О.* О роли прагматики в лингвистическом описании // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 16. М., 1985.
- Князев 1978 — *Князев Ю. П.* Нейтрализация противопоставлений по виду и залогу // *Проблемы теории грамматического залога*. Л., 1978.
- Копчевская-Тамм, Шмелев 1994 — *Копчевская-Тамм М., Шмелев А. Д.* Алешина с Машей статья (о некоторых свойствах русских «прилагательных прилагательных») // *Scando-Slavica*. 1994. T. 40.
- Коул 1982 — *Коул П.* Референтная непрозрачность, атрибутивность и перформативная гипотеза // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 13. М., 1982.

- Красильникова 1989 — *Красильникова Е. В.* Семантика и функции форм числа имен существительных в разных типах речи // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М.: Наука, 1989.
- Красильникова 1990 — *Красильникова Е. В.* Имя существительное в русской разговорной речи: функциональный аспект. М.: Наука, 1990.
- Крейдлин 1982 — *Крейдлин Г. Е.* Об одном типе синтагматически обусловленной номинации // НТИ/ВИНИТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1982. № 3.
- Крейдлин, Рахилина 1984 — *Крейдлин Г. Е., Рахилина Е. В.* Семантический анализ вопросно-ответных структур со словом *какой* // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. Т. 43. № 5.
- Крейдлин, Чехов 1988 — *Крейдлин Г. Е., Чехов А. С.* Соотношение семантики, актуального членения и прагматики в лексикографическом описании анафорических местоимений (на материале группы ТОТ) // Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 178. М., 1988.
- Крейдлин, Шмелев 1994 — *Крейдлин Г. Е., Шмелев А. Д.* Математика помогает лингвистике. М.: Просвещение, 1994.
- Крипке 1982 — *Крипке С.* Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Крипке 1986 — *Крипке С.* Загадка контекстов мнения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986.
- Кронгауз 1984 — *Кронгауз М. А.* Тип референции именных групп с местоимениями *все, всякий и каждый* // Семиотика и информатика. Вып. 23. М., 1984.
- Кронгауз 1987 — *Кронгауз М. А.* «Воплощенное» и «невоплощенное» имя собственное: некоторые аспекты референции // Экспериментальные методы в психолингвистике. М., 1987.
- Кронгауз 1989 — *Кронгауз М. А.* Время как семантическая характеристика имени // Вопросы кибернетики: Семиотические проблемы. М., 1989.
- Кронгауз 1990 — *Кронгауз М. А.* Структура времени и значение слов // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Кронгауз 1991 — *Кронгауз М. А.* Словарная статья слова *жена* // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.
- Кронгауз 1997 — *Кронгауз М. А.* [Review:] Шмелев А., *Референциальные механизмы русского языка*, Тампере, University of Tampere (= *Slavica Tampere*nsia 4), 1996, 281 стр. // *Russian Linguistics*. 1997, Vol. 21.
- Крылов 1983 — *Крылов С. А.* Морфосинтаксические механизмы выражения категории детерминации в современном русском языке // Разработка и применение лингвистических процессоров. Новосибирск, 1983.
- Крылов 1984 — *Крылов С. А.* Детерминация имени в русском языке: теоретические проблемы // Семиотика и информатика. Вып. 23. М., 1984.

- Крылов 1985 — *Крылов С. А.* Прилагательное в составе определенной дескрипции // Тезисы конференции аспирантов и молодых научных сотрудников (ИВАН СССР). Т. I. История. Литературоведение. Языкознание. Ч. II. М., 1985.
- Кузьмина 1989 — *Кузьмина С. М.* Семантика и стилистика неопределенных местоимений // Грамматические исследования: Функционально-стилистикальный аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М.: Наука, 1989.
- Левин 1998 — *Левин Ю. И.* Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Левонтина 1995 — *Левонтина И. Б.* «Звездное небо над головой» // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Левонтина 1997 — *Левонтина И. Б.* Милый, дорогой, любимый // Рус. речь. 1997. № 5.
- Левонтина, Шмелев 1996а — *Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Русское «заодно» как выражение жизненной позиции // Рус. речь. 1996. № 2.
- Левонтина, Шмелев 1996б — *Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* «Попречный кус» // Рус. речь. 1996. № 5.
- Левонтина, Шмелев 1999 — *Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке // Логический анализ языка: Языки динамического мира. Дубна, 1999.
- Левонтина, Шмелев 2000а — *Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Родные просторы // Логический анализ языка: Языки пространств. М., 2000.
- Левонтина, Шмелев 2000б — *Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* За справедливостью пустой // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
- Линский 1982 — *Линский Л.* Референция и референты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Лисицын 1995 — *Лисицын А. Г.* Анализ концепта свобода — воля — вольность в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.
- Лихачев 1979 — *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979.
- Лихачев 1989 — *Лихачев Д. С.* Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.: Сов. писатель, 1989.
- Лосев 1981 — *Лосев А. Ф.* О понятии языковой валентности // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40. № 5.
- Маловицкий 1971 — *Маловицкий Л. Я.* Вопросы истории предметно-личных местоимений (местоимения *кто-*, *что-*основ) // Местоимения. Череповец, 1971.
- Мартемьянов 1981 — *Мартемьянов Ю. С.* Об исчислении словарных входов. II // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 19. М., 1981.
- Мельчук 1974 — *Мельчук И. А.* О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залогов. Л., 1974.

- Мельчук, Жолковский 1984 — Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка: Опыт семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14).
- Микадзе 1982 — Микадзе Н. Г. Контекстная семантика местоимений // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Ges.-u.-sprachwiss. Reihe. Jena, 1982. Jg. 31. Heft 3.
- Молок 1986 — Молок Ю. А. Поэт города — город поэта // Блок А. А. Город. М., 1986.
- Молотков 1986 — Молотков А. И. (ред.) Фразеологический словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1986.
- Немзер 1983а — Немзер А. С. Литературная позиция В. А. Соллогуба (1830—1840-е гг.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
- Немзер 1983б — Немзер А. С. Проза Владимира Соллогуба // Соллогуб В. А. Избранная проза. М., 1983.
- Николаева 1979а — Николаева Т. М. Акцентно-просодические средства выражения категории определенности — неопределенности // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Николаева 1979б — Николаева Т. М. Словосочетания с лексемой «один»: Форма, значение и их контекстная маркированность // Синтаксис текста. М., 1979.
- Николаева 1983 — Николаева Т. М. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42. № 4.
- Николаева 1988 — Николаева Т. М. Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
- Николина 1984 — Николина Н. А. Структурно-семантические особенности предложений типа «Жизнь есть жизнь» // Предложение как многоаспектная единица языка. М., 1984.
- Николина 1993 — Николина Н. А. Семантика и функции слова «АВОСЬ» в современном русском языке // Многоаспектность синтаксических единиц. М., 1993.
- Ожегов 1981 — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 13-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1981.
- Ожегов, Шведова 1992 — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ Ltd, 1992.
- Падучева 1973а — Падучева Е. В. Анафорические связи и глубинная структура текста // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
- Падучева 1973б — Падучева Е. В. Наименование объектов — проблемы семантики и стилистики // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.
- Падучева 1974 — Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: Материалы к трансформационной грамматике русского языка. М.: Наука, 1974.

- Падучева 1977 — Падучева Е. В. О производных диатезах отпредикатных имен // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
- Падучева 1979 — Падучева Е. В. Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении // НТИ/ВИНИТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1979. № 9.
- Падучева 1981 — Падучева Е. В. Местоимение ЭТО с предметным антецедентом // Проблемы структурной лингвистики 1979. М., 1981.
- Падучева 1982а — Падучева Е. В. Референциальные аспекты высказывания (семантика и синтаксис местоименных слов): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1982.
- Падучева 1982б — Падучева Е. В. Референциальные аспекты высказывания (семантика и синтаксис местоименных слов): Дис. ... докт. филол. наук. М., 1982.
- Падучева 1982в — Падучева Е. В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла // Семиотика и информатика. Вып. 18. М., 1982.
- Падучева 1983 — Падучева Е. В. К теории референции: имена и дескрипции в неэкстенциональных контекстах // НТИ/ВИНИТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1983. № 1.
- Падучева 1985 — Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Падучева 1987 — Падучева Е. В. Предложения тождества: семантика и коммуникативная структура // Язык и логическая теория. М., 1987.
- Падучева 1990 — Падучева Е. В., Крылов С. А. Местоимение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Падучева, Успенский 1979 — Падучева Е. В., Успенский В. А. Подлежащее или сказуемое: (Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биноминативных предложениях) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1979. Т. 38. № 4.
- Пеньковский 1989 — Пеньковский А. Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987. М., 1989.
- Пеньковский 1991 — Пеньковский А. Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Пеньковский 1995 — Пеньковский А. Б. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Перцова 1988 — Перцова Н. Н. Формализация толкования слова. М.: МГУ, 1988.
- Плунгян, Рахилина 1995 — Плунгян В. В., Рахилина Е. В. «С чисто русской аккуратностью...» (к вопросу об отражении в языке некоторых стереотипов) // Московский лингвистический журнал. 1995. № 2.

- Поливанова 1983 — *Поливанова А. К.* Выбор числовых форм существительных в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.
- Пропп 1951 — *Пропп В. Я.* Проблема артикля в современном немецком языке // Памяти акад. Л. В. Щербы. Л., 1951.
- Рвачев 1966 — *Рвачев Л. А.* Математика и семантика. Киев, 1966.
- Ревзин 1978 — *Ревзин И. И.* Структура языка как моделирующей системы. М.: Наука, 1978.
- Ревзина 1979 — *Ревзина О. Г.* Функциональный подход к языку и категория определенности — неопределенности // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Рестан 1985 — *Рестан П.* Позиция личной формы глагола в некоторых элементарных повествовательных предложениях в современном русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. М., 1985.
- Розенталь 1974 — *Розенталь Д. Э.* Практическая стилистика русского языка. М.: Высш. шк., 1974.
- Русская грамматика. Т. 1—2. М.: Наука, 1980.
- Сандакова 1990 — *Сандакова М. В.* Релятивы в лексике русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Селезнев 1985 — *Селезнев М. Г.* Функционирование механизмов определенной референции в процессе синтеза текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
- Селезнев 1987 — *Селезнев М. Г.* Референция и номинация // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
- Селиверстова 1988 — *Селиверстова О. Н.* Местоимения в языке и речи. М.: Наука, 1988.
- Серл 1982 — *Серл Дж. Р.* Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Соколова 1980 — *Соколова Л. А.* Неопределенно-субъектные предложения в русском языке и в поэтике А. Блока // Образное слово А. Блока. М., 1980.
- Соловьев 1990 — *Соловьев В. С.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
- Тихонов 1985 — *Тихонов А. Н.* Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М.: Рус. яз., 1985.
- Топоров 1973 — *Топоров В. Н.* Поэтика Достоевского и ранние схемы мифологического мышления («Преступление и наказание») // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск: МордГУ им. Н. П. Огарева, 1973.

- Топоров 1989а — *Топоров В. Н.* Об иранском элементе в русской духовной культуре. 3. Мир и воля // Славянский и балтийский фольклор. М., 1989.
- Топоров 1989б — *Топоров В. Н.* Пространство культуры и встречи в нем // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М., 1989.
- Туровский 1991 — *Туровский В. В.* Память в наивной картине мира: забыть, вспомнить, помнить // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Урысон 1995а — *Урысон Е. В.* Душа 1, сердце 2 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: Проспект. М., 1995.
- Урысон 1995б — *Урысон Е. В.* Ум 1, разум, рассудок, интеллект // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: Проспект. М., 1995.
- Урысон 1997 — *Урысон Е. В.* Силы 2, энергия // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. М., 1997.
- Урысон 2000 — *Урысон Е. В.* Друг 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. М., 2000.
- Успенский 1994 — *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М.: Гнозис, 1994.
- Ушаков 1938 — *Ушаков Д. Н.* (ред.) Толковый словарь русского языка. Т. 2. М., 1938.
- Фасмер 1987 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 3 (Муза — Сят). М., 1987.
- Федосюк 1983 — *Федосюк М. Ю.* Семантически недостаточные предложения в художественной прозе // Рус. яз. в школе. 1983. № 5.
- Федосюк 1989 — *Федосюк М. Ю.* Имплицитная предикация в русской речи: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1989.
- Филлмор 1983 — *Филлмор Ч.* Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. М., 1983.
- Цивьян 1979 — *Цивьян Т. В.* Наблюдения над категорией определенности — неопределенности в поэтическом тексте // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Чепкина 1993 — *Чепкина Э. В.* Внутритекстовые автор и адресат газетного текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1993.
- Шальяпина 1976 — *Шальяпина З. М.* К проблеме коммуникативной организации текста и ее отражение в семантической записи // Вычислительная лингвистика. М., 1976.
- Шатуновский 1982 — *Шатуновский И. Б.* Проблемы словообразовательной транспозиции: Дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1982.
- Шатуновский 1991 — *Шатуновский И. Б.* «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.

- Шатуновский 1996 — *Шатуновский И. Б.* Семантика предложения и неререферентные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
- Шелякин 1978 — *Шелякин М. А.* О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Семантика номинации и семиотика устной речи: Лингвистическая семантика и семиотика I. Тарту, 1978.
- Шмелев 1983 — *Шмелев А. Д.* О референции агентивных существительных // Филол. науки. 1983. № 4.
- Шмелев 1984а — *Шмелев А. Д.* Изображение действительности в ранней прозе В. А. Жуковского // Рус. речь. 1984. № 2.
- Шмелев 1984б — *Шмелев А. Д.* Определенность — неопределенность в названиях лиц в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
- Шмелев 1984в — *Шмелев А. Д.* Определенность — неопределенность в названиях лиц в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
- Шмелев 1984г — *Шмелев А. Д.* К типологии генерических именных групп // Лингвистические исследования: Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика. Ч. 2. М., 1984.
- Шмелев 1987 — *Шмелев А. Д.* Семантика возможных миров и высказывания тождества // Тезисы конференции аспирантов и молодых научных сотрудников / ИВАН СССР. Т. 2 М., 1987.
- Шмелев 1988а — *Шмелев А. Д.* Проблема выбора релевантного денотативного пространства и типы миропорождающих операторов // Референция и проблемы текстообразования. М., 1988.
- Шмелев 1988б — *Шмелев А. Д.* Конструкции с глаголами названия // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности М., 1988.
- Шмелев 1989а — *Шмелев А. Д.* Пробный камень теории референции // Вопросы кибернетики: Семиотические исследования. М., 1989.
- Шмелев 1989б — *Шмелев А. Д.* Модальные слова в математическом тексте // Новейшие направления лингвистики. М., 1989.
- Шмелев 1990 — *Шмелев А. Д.* Парадокс самофальсификации // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Шмелев 1991а — *Шмелев А. Д.* Референциальные значения в поэтическом тексте // Поэтика и стилистика 1988—1990. М., 1991.
- Шмелев 1991б — *Шмелев А. Д.* Словарная статья слова УБИЙЦА // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.
- Шмелев 1993а — *Шмелев А. Д.* Неокаузальная теория референции // Каузальность и структуры рассуждений в русском языке. М., 1993.
- Шмелев 1993б — *Шмелев А. Д.* Речевая травестия в Новый год // Искусство кино. 1993. № 10.

- Шмелев 1994 — Шмелев А. Д. Метафора судьбы: предопределение или свобода? // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
- Шмелев 1995 — Шмелев А. Д. Правда vs. истина в диахроническом аспекте (краткая заметка) // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Шмелев 1996а — Шмелев А. Д. Референциальные механизмы русского языка. Tampere, 1996. (Slavica Tampereusia 4).
- Шмелев 1996б — Шмелев А. Д. Жизненные установки и дискурсные слова // Aspekteja. Tampere, 1996. (Slavica Tampereusia 4).
- Шмелев 1996в — Шмелев А. Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // Рус. яз. в школе. 1996. № 4.
- Шмелев 1996г — Шмелев А. Д. Именованье и автономность имени // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.
- Шмелев 1997а — Шмелев А. Д. Символические действия и их отражение в языке // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Шмелев 1997б — Шмелев А. Д. Дух, душа и тело в свете данных русского языка // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Шмелев 1999 — Шмелев А. Д. Функциональная стилистика и моральные концепты // Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999.
- Шмелев 2000а — Шмелев А. Д. «Широта русской души» // Логический анализ языка: Языки пространств. М., 2000.
- Шмелев 2000б — Шмелев А. Д. Плюрализм этических систем в свете языковых данных // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
- Шмелев 2000в — Шмелев А. Д. «Общие» слова // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000.
- Шмелев 2001 — Шмелев А. Д. Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (на всякий случай, если что, вдруг) // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001.
- Шмелев, Шмелева 1981 — Шмелев А. Д., Шмелева Е. Я. К построению семантической классификации имен деятеля в русском языке // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания русского как иностранного языка. М., 1981.
- Шмелев 1961 — Шмелев Д. Н. Стилистическое употребление форм лица в современном русском языке // Вопросы культуры речи. Вып. 3. М., 1961.
- Шмелева 1983 — Шмелева Е. Я. Названия производителя действия в современном русском языке (словообразовательно-семантический анализ): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
- Шмелева 1984 — Шмелева Е. Я. Названия производителя действия в современном русском языке (словообразовательно-семантический анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.

- Щерба 1928 — *Щерба Л. В.* О частях речи в русском языке // Рус. речь. Новая серия, II. Л., 1928.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.
- Яковлева 1983 — *Яковлева Е. С.* Значение и употребление модальных слов, относимых к разряду показателей достоверности/недостоверности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
- Яковлева 1994 — *Яковлева Е. С.* Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.
- Яковлева 1995 — *Яковлева Е. С.* Час в русской языковой картине времени // Вопр. языкознания. 1995. № 6.
- Яковлева 1997 — *Яковлева Е. С.* Час в системе русских названий времени // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997.
- Biggs 1975 — *Biggs C.* Quantifiers, definite descriptions and reference // Formal Semantics of Natural Language: Papers from a Colloquium Sponsored by the King's College Research Center. Cambridge etc., 1975.
- Bílý 1999 — *Bílý M.* [Review:] Aleksej D. Šmelev, *Referencial'nye mehanizmy russkogo jazyka* (= Slavica Tampereusia 4), Tampere 1996, 281 pp. // Scando-Slavica. 1999. T. 45.
- Bonnot-Saoulski 1983 — *Bonnot-Saoulski C.* L'étude des indéfinis dans une théorie de l'énonciation // III^e Colloque de linguistique russe. Paris, 1983.
- Brunot 1922 — *Brunot F.* La pensée et la langue. Paris, 1922.
- Bulygina, Shmelev 1987 — *Bulygina T. V., Shmelev A. D.* Non-empirical criteria for the evaluation of linguistic description // Тезисы докладов VIII Международного конгресса по логике, методологии и философии науки. Т. 1 (Секции 1—5, 7, 12). М., 1987.
- Bunt 1985 — *Bunt H.* Mass Terms and Model-Theoretic Semantics. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1985.
- Carlson 1982 — *Carlson G. K.* Generic terms and generic sentences // Journal of Philosophical Logic. 1982. Vol. 11. № 2.
- Castañeda 1979 — *Castañeda H.-N.* On the philosophical foundations of the theory of communication: Reference // Contemporary perspectives in the Philosophy of Language. Minneapolis (Min.), 1979.
- Channon 1983 — *Channon R.* A comparative sketch of certain anaphoric processes in Russian and English // American Contributions to the 9th International Congress of Slavists. 1983.
- Chesterman 1991 — *Chesterman A.* On Definiteness: A Study with Special Reference to English and Finnish. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991.
- Chvany 1973 — *Chvany C.* On the role of presupposition in Russian existential sentences // Chicago Linguistic Society: Papers from the 9th Regional Meeting. Chicago, 1973.

- Cole 1978 — *Cole P.* In the origins of referential opacity // *Syntax and Semantics. Pragmatics*. Vol. 9. N. Y. etc., 1978.
- Dahl 1970 — *Dahl Ö.* Some notes on indefinites // *Language*. 1970. Vol. 46. № 1.
- Dobrzyńska 1975a — *Dobrzyńska T.* Opozycja: potencjalno'szæ — aktualno'szæ w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności // *Poradnik językowy*. 1975. Zes. 6.
- Dobrzyńska 1975b — *Dobrzyńska T.* Kategoria aspektu w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności // *Poradnik językowy*. 1975. Zes. 7.
- Dobrzyńska 1975c — *Dobrzyńska T.* Opozycja aspektu dokonanego i niedokonanego a stosunek formacji podmiotowych do ich podstatów czasownikowych // *Poradnik językowy*. 1975. Zes. 8.
- Dobrzyńska 1975d — *Dobrzyńska T.* Kategoria czasu w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności // *Poradnik językowy*. 1975. Zes. 9.
- Dreizin 1982 — *Dreizin F., Priestly T.* A systematic approach to Russian obscene language // *Russian Linguistics*. 1982. Vol. 6. № 2.
- Eco 1987 — *Eco U.* The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. London etc.: Hutchinson, 1987.
- Fillmore 1971 — *Fillmore Ch. J.* Verbs of judging: An exercise in semantic description // *Studies in Linguistic Semantics*. N. Y., etc., 1971.
- Fodor 1979 — *Fodor J. D.* The Linguistic Description of Opaque Contexts. N. Y.; L.: Garland, 1979.
- Garelli 1983 — *Garelli J.* Le temps des signes. Paris, 1983.
- Geach 1962 — *Geach R.* Reference and Generality. Ithaca (N. Y.): Cornell Univ. Press, 1962.
- Givón 1971 — *Givón T.* Negation in language: pragmatics, function, ontology // *Working Papers on Language Universals*. 1971.
- Guiraud-Weber 1984 — *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. Paris, 1984.
- Guiraud-Weber 1990 — *Guiraud-Weber M.* La structure de la personne indéterminée: la sujet zéro en russe et le pronom on en français // *Revue des études slaves*. 1990. T. 62. Fasc. 1—2.
- Kibrik 1994 — *Kibrik A. A.* Anaphora in Russian narrative prose: A cognitive account [Manuscript-1994].
- Krámský 1972 — *Krámský J.* The Article and the Concept of Definiteness in Language. The Hague; Paris: Mouton, 1972.
- Kripke 1980 — *Kripke S.* Naming and Necessity. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1980.
- Kuno 1976 — *Kuno S.* Subject, theme and the speaker's empathy // *Subject and Topic. Symposium on subject and topic in the Univ. of California, Santa Barbara, Mar. 1976*. N. Y.: Acad. Press, 1976.
- Lakoff, Johnson 1980 — *Lakoff G., Johnson M.* Metaphors We Live by. The Univ. of Chicago Press, 1980.

- Langacker 1985 — *Langacker R.* Observations and speculations on subjectivity // Iconicity in Syntax. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Larsson 1973 — *Larsson I.* Teilmenge und Gesamtmenge im russischen System der Quantificatoren // *Slavica lundensia*. 1973. Vol. 1.
- Lazari 1995 — *Lazari A.* (ed.). The Russian Mentality: Lexicon. Katowice, 1995.
- Leinonen 1982 — *Leinonen M.* Russian aspect, «temporal'naja lokalizacija» and definiteness / indefiniteness. Helsinki, 1982. (Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja № 27).
- Lewis 1983 — *Lewis D.* Truth in fiction // *Lewis D.* Philosophical Papers. Vol. 1. Oxford: Basil Bl., 1983.
- Lyons 1977 — *Lyons J.* Semantics. Cambridge, etc.: Cambridge Univ. Press, 1977.
- Milner-Gulland 1997 — *Milner-Gulland R. R.* The Russians. Blackwell Publishers; 1997.
- Récánati 1981 — *Récánati F.* On Kripke and Donnellan // Possibilities and Limitations of Pragmatics: Proceedings of the Conference on Pragmatics, Urbino, July 8—14, 1979. Amsterdam, 1981.
- Schoorl 1980 — *Schoorl S.* Opacity and transparency: A pragmatic view // The Semantics of Determiners. London; Baltimore, 1980.
- Sørensen 1963 — *Sørensen H. S.* The Meaning of Proper Names. With a Definiens Formula for Proper Names in Modern English. Copenhagen, 1963.
- Searle 1958 — *Searle J. R.* Proper names // *Mind*. 1958. Vol. 67.
- Searle 1979 — *Searle J.* The logical status of fictional discourse // Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language. Indianapolis, 1979.
- Shopen 1973 — *Shopen T.* Ellipsis as grammatical indeterminacy // *Foundation of Language*. 1973. Vol. 10. № 1.
- Wheeler, Unbegaun 1984 — *Wheeler M., Unbegaun B.* Oxford Russian-English Dictionary. Oxford, 1984.
- Wierzbicka 1969 — *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Wrocław: Zał. narodowy im. Ossolińskich, 1969.
- Wierzbicka 1985 — *Wierzbicka A.* Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor: Karoma Publishers Inc., 1985.
- Wierzbicka 1987a — *Wierzbicka A.* English Speech Act Verbs: A Semantic Dictionary. Sydney; N. Y.: Acad. Press, 1987.
- Wierzbicka 1987b — *Wierzbicka A.* Boys will be boys: 'radical semantics' vs. 'radical pragmatics' // *Language*. 1987. Vol. 63. № 1.
- Wierzbicka 1988 — *Wierzbicka A.* The Semantics of Grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1988.
- Wierzbicka 1991 — *Wierzbicka A.* Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin: de Gruyter, 1991. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 43).
- Wierzbicka 1992 — *Wierzbicka A.* Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. N. Y., 1992.

- Wierzbicka 1997 — *Wierzbicka A.* Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. Oxford Univ. Press, 1997.
- Wills 1977 — *Wills D. D.* Participant Deixis in English and Baby-Talk // Talking to Children: Language Input and Acquisition. Cambridge, 1977.

Указатель лексических единиц

В указатель вошли лексические единицы, которые специально анализировались или использовались для иллюстрации того или иного положения, выдвинутого в работе.

Ø/ты 171–175, 178–183

Ø_{змн} 172, 176–185

Ø_{стихи} 161

А 418

авось 300, 396–399, 402–403, 420, 432

автор 40, 41, 44, 74, 77, 115, 117, 207–210, 236

аккуратность 358

ассистент 222

Бабушка 228

беглец 208

бедняжка 219

безбрежный 348

безволие 374

безмозглый 307

безмолвствовать 61

белеть(ся) 244

бескомпромиссный 375

бескрайний 348

бессердечный 307

бесчестье 393

благо 446–448

благоговение 395

блаженство 434

ближайший, близкий, близко
320, 321

болен 62

болтун 216–218, 220, 221

бородач 213, 215, 216

ботаника 226

брат 227, 229, 235

братоубийца 235

бродить 353

бродяга 219, 353

будущий 41, 42

бывает 61, 68, 237

бывший 41, 42

было 417

быть может 102

⟨быть⟩ в дефиците 66

⟨иметься⟩ в продаже 66

⟨быть⟩ в раздражении 63

в случае чего 300, 398, 400–403

⟨быть⟩ в ужасе 179

вдова 227, 228

вдовец 228

вдруг 300, 398, 409, 410, 416–422

верный 307

вероятно 96, 101, 109, 111

верхосытка 424

вести 62

весь/все 81–88, 97, 125, 126

ветер 366

вечер 331, 332, 334, 335, 337,
338, 341

вечерний 335

вздумать 152

⟨быть⟩ виноватым 64

влюбиться, влюбленный 429

- внезапно, внезапность, внезапный 410–416
- водитель 206, 211, 236
- водить 62
- возможно 96, 102, 108, 109, 272, 396
- волокита 216
- вольнодумец 219
- вольный 352, 366
- вольняшка 347
- воля 298, 343–348, 350, 352, 365, 366
- воспользоваться 409
- вперед 317, 318
- впереди 317–319
- враг 227
- вратарь 223, 227
- время 318–320
- вроде 109
- всадник 211, 212, 214
- всегда 60–62, 68, 194, 196, 197, 199, 237
- вслед за 318
- вспомнить/вспоминать 150, 151, 153
- всякий 50, 81, 84, 88, 89, 126, 159
- вы 163, 166, 168–171, 182, 184, 185
- выбраться 300
- выгнать/выгонять 143, 144
- выдать/выдавать 134
- выключатель 226
- выкуривать 62
- вымереть 66, 70
- выпивать 62
- выпить-закусить 423
- высокомерный 376
- выяснить 150
- Гадать** 150
- глумиться 299
- глупец 219–221
- глупый 307
- говорить 236, 237
- голова 307, 309, 310, 313, 314
- (быть) голодным 63
- горбун 213
- гордиться 376–378
- гордо 376, 377
- гордость 375, 376, 378
- гордый 376, 377
- гордыня 376, 378
- гостеприимство 365
- грешить (на) 134
- грудь 315
- грузоотправитель 233
- грязнуля 218
- гулена 355
- гульнуть 355
- гуляка 216, 355
- гуляние 355, 356
- гулять 355–357
- Да** ну 408
- далекий 320
- даль 300, 348
- дезертир 208
- делиться 442
- дело, дельно, дельный, дельность 372
- деляга 218
- день 332, 334, 335, 340, 341
- деSSERT 424
- дети 56, 58, 60, 229
- деятель 232
- директор 220, 225
- доблестно 363
- доблесть 362, 363
- добро 446–448
- доброта 456
- добрый 307
- догадаться/догадываться 150, 151, 155
- договориться 150
- долг 458–460
- долго 147
- доля 460
- домашний очаг 351
- домогаться 299
- донести/доносить 134
- достоинство 376
- достойно 389

доцент 222, 223
доярка 222
древний 322
друг 74, 227, 228, 232, 423,
436-442
дружба 435, 437
дружеский, дружески 440
дружить 423, 436, 439, 440
думать 150, 156
дурак 216-218
дурачок 219
дурища 219
дух 301-306, 308, 309
душа 301-308, 314, 315, 403, 422,
429
душегрейка 306

Если что 300, 398, 400-402

Жадина 218

жалеть 154
жалость 395, 428
ждать 107, 108, 110
же 151
желчный, желчь 315
жена 40-42, 228, 229, 231,
233-235, 237
женолюб 233, 234
женоубийца 234, 235
жилка 313
жребий 460
жульничество 453

За 317

заботиться 169
забыть 307
заведующий 114, 224
заговенье, заговор(ся) 330
загромождать 70
загул 355, 364
загулять 355, 356
задаваться 376
задирать нос 376
задним числом 319
задушевность 358, 403
задушевный 422, 427

заедка 424
заесть/заеда(ть) 425, 426
зажевать 426
закон 448, 452
законность 451, 452
закусить/закусывать 423, 425, 426
закуска 423-426
занюхать 426
заодно 300, 406-409
запивка 426
запропасться 152
затем 318
защитник 221, 223
звать(ся) 30
зеленеть 244
злодей 219
злоумышленник 233
знакомый/-ая 227, 229, 436
знаток 66, 237
знать 64, 148, 150, 151, 153, 155,
156
зритель 214

Игрок 218

идти 62
известно 147-150, 152
извилина 314
изредка 92, 93, 97
иконописец 232
иногда 61, 62, 68, 69, 98
иностранец 227, 228
интересно 148, 149, 151, 152
интересоваться 150
информировать 134
искренность 453
истина 443-448

К утру 337-339

каждый 81, 84, 87-89, 99, 125
кажется 109, 110, 155, 156
какой бы то ни было 81
какой такой 151
какой-нибудь 99, 102, 107, 109,
125, 130, 131
какой-то 102, 109, 111-113,
118-120, 124, 128, 129, 131,
245, 251

карлик 213
 кассир 225
 католический 406
 квартальный 223
 квартиросъемщик 233
 китобой 233
 кичиться 299
 кишки 315
 клеймить 394
 клятвопреступник 232
 книголюб 233
 когда 57, 64
 когда-нибудь 110
 когда-то 110, 113
 козел 297
 колесо 226
 количество 97
 конечно 101
 кораблестроитель 233
 корить 382
 космос 344
 кости 307, 313
 костяк 313
 красавец 213
 краснеть(ся) 244
 крикун 216
 кровно 310, 311
 кровные 309, 310, 312
 кровный 311
 кровопийца 311
 кровопролитие 311
 кровосос 311
 кровь 307, 309–315
 кто-нибудь 108–110
 кто-то 108–112
 кураж 364
 курить 61, 62
 курица 307

Ласковый 307
 легкий на подъем 407
 лень 408
 лесоруб 233
 лжец 218
 лживость 453
 либерал 218

луна 58
 лыжник 211, 212, 214, 215
 льстить 299
 любимец 227
 любимый 428
 любитель 60, 65, 237, 430
 любить, любовь 60, 62, 64, 65,
 297, 315, 423, 427–431, 433
 любовник 216
 любой 81, 99, 126
 любопытство 299
 любящие 428

Мало 83, 89–94, 97
 мало какие 94
 мало кто 94–96
 мало ли что 398, 420
 мало что 94
 масленица 328
 масло 326
 маслопуст 326
 мастерица 223
 математичка 225
 мать 74, 76, 228–231
 машинистка 226
 маяться 300, 353–354
 мгновение 316
 меланхолия 360
 мелочиться 357
 мелочность, мелочный 300, 357
 мер- 370
 мерзавец 219
 мечтатель 217
 миг 316
 милосердие 456, 457
 милость 456, 457
 минута 316
 мир 343–344, 367, 371, 373
 мириться 375
 мирный 373
 мирок 351, 352
 многие 89, 94–97
 много 82, 89, 91–94, 97
 многое 94, 97
 может быть 396
 мозг, мозги 307, 313, 314
 мой 190, 193

- молодец 218, 220
 молодой 320–322
 молоток 227
 молчаливый 61
 момент 316
 мочь 68, 69, 108, 151, 152
 мошенник 218
 муж 228, 229
 мужественно 362
 мужество 350, 362, 363
 мужеубийца 235
 мучиться 354
 мы 163, 166–171, 182, 183
 мясо 313
 мясоед 323, 328
 мясопуст 322–331
 мясопустная неделя 324–328
 мясопустная суббота 326
 мясопустный 324, 326
- На** всякий случай 398–400, 402, 403, 421
 на закуску 424, 425
 на случай 399
 на (тот) случай если 399
 наверно 102, 109
 надзиратель 223
 надменный 376
 назвать 30, 237
 называть(ся) 30
 намереваться, намерен 406
 нападающий 223
 наплеватьство 368, 369
 наплевать 368
 напоследок 318
 нарушитель 211
 наступать/стучать 134
 наутро 336–339
 (быть) не в духе 237
 не находить себе места 300, 353, 354
 небось 403–405
 негодяй 217, 218
 недалекий 320
 неделя 327
 недоумевать 150
- незнакомец 227
 некий 121, 122, 124, 125
 некоторые 78, 82, 97
 некто 121–124
 неловко 382, 395
 немало 92, 93
 немногие 89, 94–97
 немного 83, 89–95, 97
 немногое 94
 немногочисленные 95
 необъятность 366
 неожиданно, неожиданность,
 неожиданный 409–416
 неохота 300, 402, 408
 неприкаянность, неприкаянный
 300, 353
 неприлично 382, 395
 непримиримость 375
 нередко 92
 несколько 92, 95, 97
 несправедливо, несправедливость,
 несправедливый 449, 450,
 452–455, 457
 несчастье 432
 неудобно 382, 395
 неуместно 382
 нечасто 92
 нечестно 452, 453
 -нибудь 102, 108, 109, 130–132
 ночь 332, 334, 335, 341
 нравиться 57, 60, 64, 65
- Обвинение** 138, 142
 обвинить/обвинять 136–139
 обет 458
 обжитой 350
 обида, обидно 154, 457
 обладатель 213
 обязанность 458–460
 обязательство 458
 один 107, 111–113, 117, 118, 190,
 191, 214, 229, 230, 245
 однажды 113, 114
 однокурсник 227
 однофамилец 227
 ой 442
 он 159, 163, 166, 171, 192, 224

- опозорить 392
 опозориться 391
 оскорбитель 208
 особа 231
 остряк 216, 217, 220
 осудить/осуждать 136–139
 осуждение 136, 139
 отвага 360, 362, 363
 отважно 363
 отвертка 226
 отгул 355, 357
 отец 227–230
 откровенно, откровенность 453
 отпустить 329
 отцеубийца 233–235
 охотник (до) 66
- Память** 313, 315
 партнер 212
 пассажир 211, 214
 пастух 221
 паче чаяния 421
 перед 317, 318
 переживания 442
 перессориться 70
 печенка, печенки (всеми
 печенками, сидеть в
 печенках), печень 307, 315
 писец 223
 письмоводитель 223
 пить 62
 плевать 368–370
 плоскогубцы 226
 плоть 301, 303, 308, 309
 плюнуть 368–370
 по-видимому 101
 по-товарищески 441
 победитель 77, 117, 208, 209
 под утро 336–338
 подлец 217, 218
 подобострастный 299
 подорожать 66
 подруга 423, 436, 437, 441, 442
 подружиться 440
 подслушивать 299
 подсматривать 299
- позади 317–318
 поздний 322
 позор 383, 389–394
 позорить 392
 позориться 391, 392
 позорно 389–390
 позорный 390–392
 покой 349, 352, 353
 покупатель 223, 225
 полагать 153, 154
 полуправда 444
 полюбостыствовать 150, 152
 помыкать 299
 понимать/понять 150
 понравиться 429
 понятно 150
 попрек, попрекнуть/попрекать
 138, 141–144, 379–382
 порочить 392
 после 318
 пост 323
 пострадавший 211
 постыдиться 385
 постыдный 385
 потерпевший 211
 поутру 336, 339, 340
 похвала 136
 (быть) похожими 71, 88
 почки 315
 правда 443–448, 453, 457
 право 448
 работа 448, 456
 пред- 318
 предмет 231, 232
 предок 318
 предполагать 107
 предстоящий 318
 предшествующий 318
 предъявитель 114
 предыдущий 318–319
 прежде 317, 318
 прежний 41, 42
 преподаватель 223
 преследователь 214
 пресмыкаться 299
 (быть) при смерти 61

приблизительно 156
 приволье 300, 348, 349, 353, 366
 приезжий 208
 примирение, примиренно,
 примиренность, примиренный,
 примирить(ся)/примирять(ся)
 367, 368, 370–372, 374, 375
 примиренчество 375
 присмиреть 373
 пристыдить 385
 пришелец 208
 приязнь 440
 приятель 229, 423, 436–440
 приятельский 440
 приятный 440
 прогул 357
 прогулка 355
 прогулять 355
 продавец 223, 225
 продавщица 223
 прокричать 145
 прокурор 223
 проректор 222
 просто 399, 400
 простор 300, 347–350, 352, 353,
 364, 365
 просторный 348
 пространство 347, 348
 профессор 223
 прочитывать 62
 прошептать 145
 Прощеное воскресенье 322, 326
 пустити(ся)/пущатися 324
 -пуст(ный) 324–327, 329
 пустой 329
 пьяница 59, 61
 <быть> пьяным 61, 63, 237

Работать 357
 рад 57, 64
 радоваться 57, 64
 радость 427
 радушие 365
 разгул 355, 364–365
 разгуляться 348, 355
 раздолье 300, 348, 349

размах 300, 349, 355, 357, 364,
 365
 размышлять 150
 разрешение,
 разрешить/разрешать 324, 325
 разум 301, 310, 312
 разъехаться 70, 84
 ранний 322
 раньше 37, 317
 раскаиваться 154
 рассказать 150
 расхваливание 136
 расхлябанность 358
 расчетливый 362
 редактировать 222
 редактор 222
 редко 68, 92, 93, 97
 <быть> редкостью 66
 решить/решать 150, 153
 рисоваться 299
 родители 74, 228, 229, 231
 родное, родной 350, 365, 366,
 429
 родные 350, 365
 роженица 206, 211, 214
 рок 460
 руководитель 222, 225
 руководить 222
 русский 358, 398
 рыботорговец 232

С вечера 338
 с утра 336–338
 с утраца 336
 с утречка 336, 337
 сам 169–171
 сварщик 220
 свидетель 212, 214
 свинство 358
 свобода 298, 343–347, 366
 свой 104, 344, 353
 седмица 327
 секретарь 221
 секунда 316
 селезенка 315
 сердце 297, 301, 302, 304, 307,
 310, 312–315, 428

- сердцевед 233
 сигнализировать 134
 сидеть 236
 силы 305
 сказать 31, 135, 141, 150
 сколько 97
 скоротать 335
 следующий 318, 321
 слобода 344, 345
 слушатель 211
 смело, смелость 362, 363
 смертный 61
 смирение 370–375
 смиренно, смиренный 373–375,
 377
 смирительная рубашка 373
 смирить(ся) 370–372
 смиренный 373, 374
 соавтор 210
 собеседник 212
 собеседница 212
 собирать 406
 собираться 300, 406, 407
 собор 406
 соборность 406
 соборный 406
 собрать 406
 собраться 300, 305, 406–408
 совместно 382, 395
 совесть 459
 соглядатай 299
 сожалеть 154
 создатель 207, 209
 солгать 134
 солнце 58, 59
 сообразить 150
 сообщить 150, 151, 153
 соотечественник 227
 сосед 212, 214, 227, 229
 социолог 224
 специально 408
 справедливо, справедливость,
 справедливый 448–457
 спрашивать/спросить 149, 150
 старый 322
 столько 97
 стоматолог 224
 странно 154
 студент 223
 стыд 382, 383, 385, 390–395
 стыдить 385, 387, 388, 392
 стыдиться 391–393
 стыдно 383–389, 391, 394, 395
 стыдный 390, 391
 субъект 232
 судьба 460–462
 судья 223
 сулить 299
 счастливый 431–435
 счастье 297, 352, 423, 431–435,
 447
 считать 154
 сын 228–230
 сыр 326
 сыро- 327
 сыроедение 327
 сыропуст 322, 323, 325–327, 329
 сыропустная неделя 325–328
 (быть) сытым 58, 60, 173, 179
- Т**ак 399
 такой 187–189
 тело 302, 306–308
 телогрейка 306
 телохранитель 233, 234
 тесно 348
 теснота 350
 тип 232
 -то 108, 110, 111, 113, 117, 127,
 131, 246, 247
 товарищ 232, 423, 436, 438, 440,
 441
 товарищеский 440
 токарь 220, 224
 томиться 354
 тоска 359–362, 364, 365
 тоскливый 361
 тосковать 353
 тот 244
 трус 217, 362
 ты 168, 169, 171–175

- Убийца** 77, 114, 115, 207–210, 218, 237
 -убийца 233–235
 уголок 350, 351
 угонщик 208
 удалой 364
 удаль 358–360, 362–365, 426, 451
 удалться, удача 363
 удел 460
 удивительно 154
 (быть) удивленным 154
 удовольствие 427, 429
 ум 297, 301, 307
 умерение 370
 умный 307
 упрек 138, 140–142, 144
 упрекнуть/упрекать 138–141, 144
 урод 213
 усмирить(ся)/усмирять(ся) 373
 (быть) утомленным 63
 утренний 335
 утречком 336
 утро 331–335, 340
 утром 335, 336
 участник 212
 участь 460
 ученик 223
 уют, уютно, уютный 349–353, 426
- Фатум** 460
 фибры 306, 315
 физичка 225
 философ 216, 219
 фискальть 300
 фортуна 460
- Хвастаться** 299
 хвастун 218
 хитрец 218
 хитрый 307
 хладнокровие 310
 хлебосольство 357, 358, 364, 365
 ходить 62, 66, 236
 хорошо 57, 58, 65
 хотеть 107–109
 хохот, хохотать 360
- храбрость 362, 363
- Царь** 221, 225
 целиком 84
 целый 84, 86, 87
- Час** 316
 часто 68, 92
 человек 74, 76
 человеколюбец 233
 чернить 299, 392
 честность, честный 448, 452–455
 честь 393, 453
 число 97
 читатель 221, 236
 читать 62, 236
 чревоугодник 233, 234
 что 57, 64
 чтобы 57, 64
 чудака 218
 чудотворец 217
 чужеземец 227
- Шалун** 216
 широкий 357, 359, 360, 364
 широта 300, 355–359, 366, 455
 ширь 300, 348, 349
 штука 231, 232
 штуkenция 231
 штуковина 231
 штучка 231
- Щедрость** 358
- Эмигрант** 208
 это 53, 151, 171, 189–192, 215, 224
 этот 77, 119, 190, 225, 231
- Юрист** 224
 юродивый 374
- Я** 157, 162–169
 ябедничать 300
- À tout hasard** 399
 afternoon 333

aimer 429
ami 437
ante meridiem 333, 334
après-midi 333, 335
aus dem Kopf 314

Bonheur 434
boyfriend 437
by heart 315

Carne- 329
carnevale 327-331
courage 364
cozy 351

Day 340

Fair 448, 453
Freund 437
friend 439, 440

Gemütlich, Gemütlichkeit 351
gerecht 448
gezellig, gezelligheid 352
girlfriend 441
guffaw 360

Happiness, happy 434, 435
heureux 434, 435
honte 382
humility 372, 374

Journée 340
just 448
juste 448

Love 429

Masopust 328
matin 332, 333, 335
mięsopust 328, 330
Morgen 332
morning 332, 333

Nachmittag 333
night 341

Par coeur 315
per capita 303
pomeriggio 333
post meridiem 333

Sehnsucht 361
shame 382
soirée 340
sophistication 350

Truth 443

Vale 329
vérité 443

Wahrheit 443, 444
walk 356

Научное издание

Алексей Дмитриевич Шмелев

**РУССКИЙ ЯЗЫК И ВНЕЯЗЫКОВАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

Издатель А. Кошелев

Корректор М. Григорян

Оригинал-макет подготовлен А. Шипуновой

Подписано в печать . Формат 60×90 ¹/₁₆.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная.

Усл. печ. л. 20,5. Заказ № 184

Издательство «Языки славянской культуры».

129345, Москва, Оборонная, 6–105; № 02745 от 04.10.2000.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: Lrc-kozirov@mtu-net.ru

Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Облиздат».

248640, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».

Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.

(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication

by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru

or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).